



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

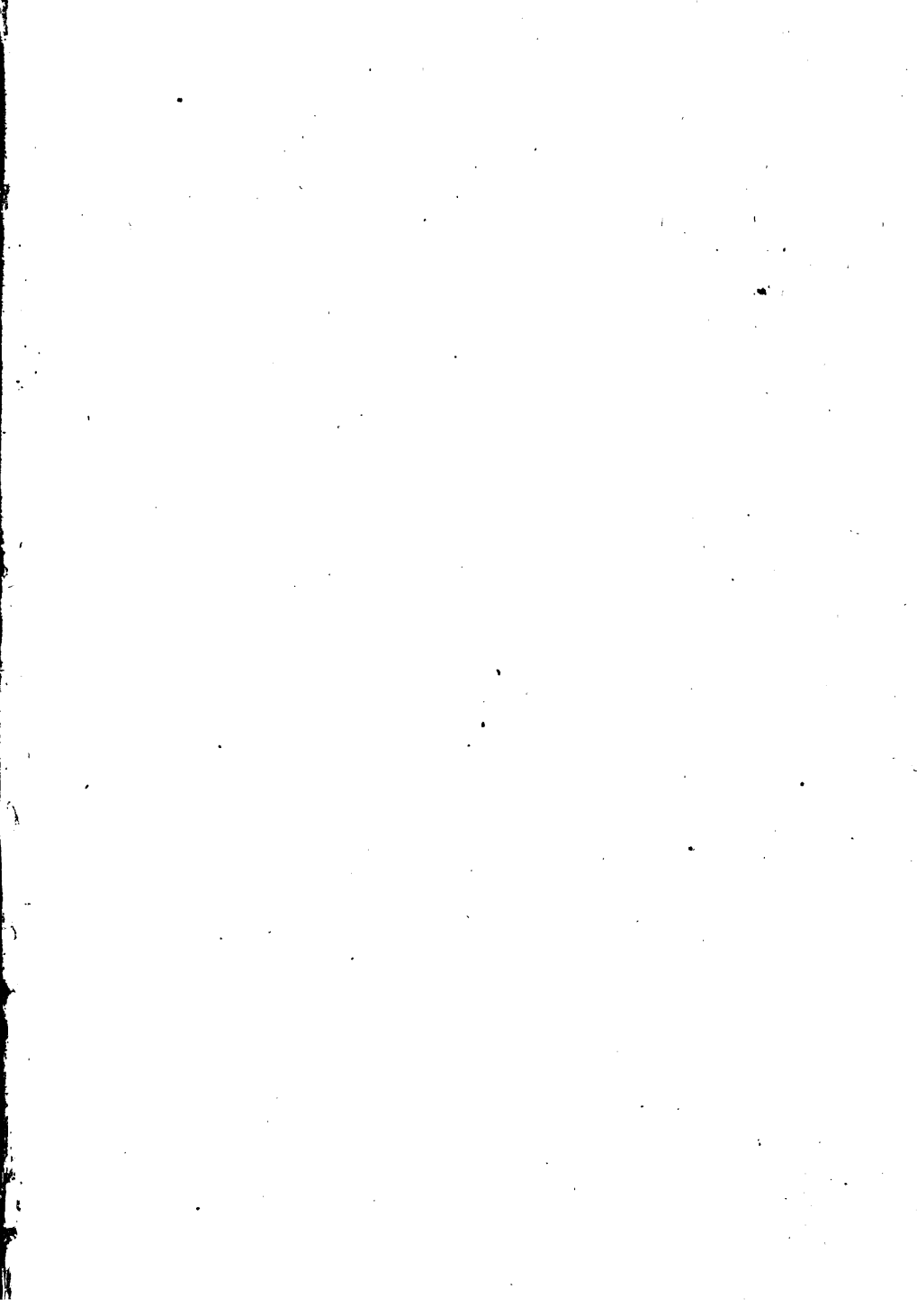
О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4120.720 (1)



**HARVARD
COLLEGE
LIBRARY**



~~200~~
~~11600~~

~~112~~
~~2385~~

Библиотека „Свободная Россія“, № 28.

Д. Д. Хелидовъ.

Очерки по исторіи

новѣйшей русской литературы.

1-я часть.



МОСКВА.
Типографія Г. Лиснера и Д. Совео.
Водяная, Крестовоздвиж. пер., д. Лиснера.

1906.



Slav 4120.720 (1)

✓



59.2

Вмѣсто предисловія.

Предлагаемые „Очерки“ имѣютъ цѣлью оказать сильную помощь при ознакомленіи съ талантливейшими русскими писателями послѣдоголевого періода, продолжившими русской литературѣ широкую дорогу въ Европу, но до сихъ поръ еще не удостоившимися занять соотвѣтствующаго ихъ первокласснымъ талантамъ мѣста въ русской школѣ.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы наше общество совсѣмъ не было знакомо съ новой русской литературой этого періода. Кто же изъ болѣе или менѣе образованныхъ русскихъ людей не читалъ такихъ писателей, какъ Григоровичъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Островскій, Салтыковъ, Некрасовъ, Достоевскій и друг. Но знакомство съ писателемъ путемъ простаго чтенія его произведеній, безъ всякой системы, внѣ всякой связи съ исторіей его времени, безъ уясненія себѣ общественно-историческихъ задачъ, которыя онъ преслѣдовалъ, едва ли можетъ быть названо серьезнымъ и имѣющимъ важное образовательное значеніе. Если подходить къ этому вопросу съ серьезными требованіями, то съ этой точки зрѣнія придется сказать, и притомъ сказать чистую правду, что огромному большинству нашего общества исторія вообще всей новой русской литературы очень мало извѣстна.

Наша средняя школа не даетъ настоящаго историческаго курса литературы: она тщательно обходитъ молчаніемъ все, что именно нужно и важно для такого изученія: вліяніе окружавшей писателя среды, общихъ

условій времени, идейныхъ теченій, общественныхъ настроеній. Держась стараго педагогическаго предразсудка, въ силу котораго только отдаленная старина представляетъ предметъ, годный для серьезнаго изученія въ школѣ, она расширяетъ программы по древнему періоду литературы въ ущербъ новому. Литература XIX вѣка вслѣдствіе недостатка времени, какъ обыкновенно говорится, приходится съ грѣхомъ пополамъ, бѣгло, спѣшно и заканчивается Пушкинымъ, Гоголемъ, въ лучшемъ случаѣ — Лермонтовымъ, Кольцовымъ. Только въ послѣдніе годы немногіе изъ талантливѣйшихъ писателей послѣдоголеваго періода удостоились попасть въ программы нѣкоторыхъ учебныхъ заведеній.

Такимъ образомъ учащаяся и кончившая курсъ молодежь, въ громадномъ большинствѣ идущая мимо историко-филологическаго факультета, остается навсегда съ самыми скудными историко-литературными свѣдѣніями. А между тѣмъ весьма понятный и естественный интересъ къ текущей литературѣ влечетъ ее къ произведеніямъ писателей самой новѣйшей формаціи, — писателей, часто имѣющихъ громкую европейскую извѣстность. Какъ великъ пробѣлъ въ историко-литературныхъ знаніяхъ этой молодежи, опредѣлить нетрудно: отъ появленія „Мертвыхъ Душъ“ до разсказовъ М. Горькаго или Л. Андреева, Куприна и друг. прошло слишкомъ 50 лѣтъ, а отъ „Евгеній Онѣгина“ — еще болѣе. За это время успѣла совершиться цѣлая литературная эволюція. Въ новѣйшей литературѣ процессъ развитія, какъ извѣстно, совершается быстрѣе, — иногда два, три десятка лѣтъ значатъ очень много. Легко себѣ представить, въ какомъ положеніи находится читатель, отъ „Онѣгина“ или „Мертвыхъ Душъ“, перескочившій прямо къ рассказамъ того или другаго писателя послѣднихъ дней. Снабженный весьма скуднымъ запасомъ историко-литературныхъ свѣдѣній вообще, совершенно незнакомый съ громаднымъ литературнымъ періодомъ новаго времени, онъ, конечно, не въ состояніи разобраться въ вопросахъ, возникающихъ не-

-вольно въ его головѣ, при чтеніи современнаго автора. Хотя эти вопросы большею частію не новы, но они коренятся въ неизвѣстномъ ему періодѣ, а нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ и болѣе длинную и сложную исторію, будучи тѣсно связаны съ различными теченіями европейской мысли, основательное знакомство съ которыми у него тоже отсутствуетъ. Оставленный безъ помощи науки, безъ ея руководства, онъ, конечно, не можетъ отнестись спокойно и критически къ проводимымъ новѣйшимъ писателемъ идеямъ. А талантъ писателя дѣйствуетъ на него иногда такъ сильно, что онъ теряетъ всякую способность самостоятельно размышлять, задаваться какими бы то ни было вопросами и, предаваясь безотчетнымъ восторгамъ, послушно идетъ за нимъ въ данномъ направленіи.

Какъ важны для читателя болѣе или менѣе основательныя историко-литературныя знанія, видѣть нетрудно. Для примѣра возьмемъ вопросъ объ отрицательномъ отношеніи къ интеллигенціи, къ образованію, къ цивилизаціи вообще, — вопросъ, съ которымъ читатель зачастую встрѣчается въ новѣйшихъ произведеніяхъ нашей литературы. Это — вопросъ очень старый, и для надлежащаго отношенія къ нему, нехудо знать его исторію. Не особенно зарываясь въ глубокую древность, все-таки не мѣшаетъ припомнить то широкое европейское движеніе конца XVIII и начала XIX вѣковъ, которое носитъ названіе романтизма, и хотя самый ближайшій источникъ его — Ж. Ж. Руссо. Въ нашей русской литературѣ этотъ вопросъ имѣетъ также длинную, интересную и поучительную исторію. Пушкинскій Алеко, по примѣру европейскихъ романтическихъ героевъ, бѣжавшій въ дикій цыганскій таборъ изъ городовъ, гдѣ „просить денегъ да цѣпей“; славянофилы, идеализировавшіе народъ и его прошлое и питавшіе твердую увѣренность, что онъ самъ рѣшитъ вопросъ о лучшей общественной организаціи безъ всякой помощи интеллигенціи, живущей, по ихъ мнѣнію, чужимъ умомъ, т.-е. умомъ Европы; народники

70-х годовъ, вмѣстѣ съ Достоевскимъ и Толстымъ отрицательно относившіеся къ интеллигенціи и приходившіе къ заключенію, что интеллигенція должна учиться у народа, а не наоборотъ, — все это стадіи развитія у насъ того же самаго вопроса.

Индивидуалистическія стремленія, замѣтно пробивающіяся въ нашей литературѣ послѣдняго періода и представляющія также характерный признакъ ея романтической окраски, тоже не новы. Они коренятся въ томъ же европейскомъ движеніи, имѣютъ тѣсную связь съ учениемъ Ницше и другихъ европейскихъ индивидуалистовъ, и болѣе, и менѣе близкихъ къ нашему времени; они имѣютъ и у насъ двухъ крупныхъ представителей, — тѣхъ же Достоевскаго и Толстого, влияние которыхъ на европейскую литературу въ настоящее время не подлежитъ сомнѣнію. Правда, индивидуализмъ Достоевскаго и Толстого чисто моральный и притомъ демократическій, но все же онъ имѣетъ сходство съ индивидуализмомъ Ницше, Ибсена, и другихъ европейскихъ мыслителей и художниковъ, которые за проблемой личности не видятъ проблемы общественной... Все это — вопросы живые, серьезные, интересующіе образованныхъ людей, — вопросы, рѣшенія которыхъ жадно ищетъ наша молодежь. Чувствуется настоящая потребность въ руководствѣ, которое могло бы оказать помощь въ такомъ трудномъ положеніи*).

Наше время есть время громаднаго спроса на образованіе. Русская интеллигенція растетъ и ширится. Изъ дворянской она давно стала разночинной и теперь понимается, по словамъ Г. Успенскаго, „въ званій и сословій, въ размѣровъ благосостоянія и общественнаго положенія“. 70 лѣтъ тому назадъ почти вся русская

*) Въ настоящее время вышла уже 2-я часть „Очерковъ по исторіи Зап.-Европ. литературъ“ П. Когана. Обѣ части могутъ быть рекомендованы для ознакомленія съ этими вопросами въ исторіи зап. литер.

интеллигенція заключалась въ московскихъ студенческихъ кружкахъ, исключительно дворянской молодежи, о которыхъ Герценъ говорилъ тогда, что въ нихъ, въ этихъ „мальчикахъ, только что вышедшихъ изъ дѣтства, — Россія будущаго“, что „Россія этими дѣтьми частію начала приходить въ себя“... И это было вѣрно: тогда среди всеобщаго умственного застоя и царившей въ обществѣ пошлости только въ этихъ юныхъ головахъ хранились сѣмена живой мысли, вскорѣ, дѣйствительно, обнаружившія свою жизнеспособность. Но мы теперь, несмотря на роковыя задержки на пути, все-таки отошли на большое разстояніе отъ этого темнаго періода нашей жизни. Тогда и теперь — два далекихъ и различныхъ историческихъ момента. Въ настоящее время живая мысль распространилась широко по всей землѣ русской, и понятіе „русская интеллигенція“ имѣетъ очень широкій объемъ. Задачу ея тотъ же Г. Успенскій, какъ художникъ, очень образно и вѣрно опредѣляетъ слѣдующими словами: „въ полѣ свѣтять сучья хворосту, въ избѣ — лучина, въ богатомъ домѣ — лампа. Но вездѣ разными способами задача исполняется одна и та же: во тьму вносится свѣтъ“. Эта интеллигентная задача — всюду и всякими способами вносить свѣтъ — и отличаетъ главнымъ образомъ наше время, — время неизбежной, настойчивой потребности самаго широкаго распространенія просвѣщенія. И странно видѣть, что среди этихъ усиливающихся съ каждымъ днемъ запросовъ на образованіе, среди обнаруживающейся повсюду жажды научнаго знанія наша школа не выказываетъ ни малѣйшаго желанія удовлетворить ихъ. Но обратимся къ нашему предмету.

Въ нашей педагогической литературѣ уже много говорилось о вредѣ пробѣловъ въ историческомъ знаніи, которыми отличаются у насъ учебныя программы и руководства, издавна страдающія мыслебоязнью. Знаніе своей исторіи однако до сихъ поръ не поставлено въ нашей школѣ съ достаточною полнотою, наукою и не оцѣ-

нено надлежащимъ образомъ съ педагогической точки зрѣнія. И потому мы еще со школьной скамьи привыкаемъ смотрѣть на свое даже недалекое прошлое, какъ на что-то скучное, безжизненное, канувшее въ вѣчность и не имѣющее никакой связи съ тѣми вопросами, которые волнуютъ наше время. У насъ до сихъ поръ не образовалось прочной привычки искать надежной опоры для своей дѣятельности въ историческомъ знаніи, и мы смѣло думаемъ, что можно жить и дѣлать исторію, не зная ея. Особенно значительными пробѣлами отличаются историко-литературныя программы по новому періоду. Нигдѣ не дають себя чувствовать такъ сильно педагогическіе предрасудки, какъ въ школьной постановкѣ именно этой части предмета. Здѣсь сквозить особенное недовѣріе и даже какъ будто отрицаніе ея общеобразовательнаго значенія. Въ самомъ дѣлѣ, что могутъ дать учащимся тѣ отрывочныя безсвязныя свѣдѣнія изъ біографій писателей и отдѣльно выхваченныя черты изъ ихъ произведеній, которыя сообщаетъ имъ школа? Выносить ли ея ученики основательное и чрезвычайно важное для выработки правильнаго мировоззрѣнія, для образованія твердыхъ убѣжденій знакомство съ идеями и стремленіями лучшихъ, даровитѣйшихъ людей предшествовавшихъ поколѣній?

Пренебрежительное отношеніе школы къ нашей новой литературѣ особенно непростительно и обидно, потому что она отличается отъ другихъ литературъ свойствами, имѣющими огромную воспитательную силу: въ лучшихъ произведеніяхъ талантливейшихъ представителей русскаго „одухотвореннаго реализма“ помимо высокихъ художественныхъ достоинствъ всегда есть очень богатое идейное содержаніе и какая-то необыкновенная свѣжесть и юношески горячее стремленіе къ добру и свѣту. Знатокъ новѣйшей русской литературы, С. А. Венгеровъ, даетъ очень вѣрное объясненіе этихъ особенностей. „Въ силу своеобразнаго положенія русской интеллигенціи“, гово-

рять онъ, „вслѣдствіе малой культурности окружающей среды, принужденной замыкаться исключительно въ сферѣ интеллектуальныхъ интересовъ, — въ силу этого разлада русская литература есть центральное проявленіе русскаго духа, фокусъ, въ которомъ сошлись лучшія качества русскаго ума и сердца. Нигдѣ она не является такимъ исключительнымъ проявленіемъ національнаго гения, какъ у насъ“... „Такое центральное положеніе русской литературы не могло не сообщить ей особенностей, рѣзко отличающихъ ее отъ литературъ другихъ европейскихъ народовъ. Главная изъ нихъ та, что наша литература никогда не замыкалась въ сферѣ чисто художественныхъ интересовъ и всегда была каеедрой, съ которой раздавалось учительное слово. Всѣ крупныя дѣятели нашей литературы въ той или другой формѣ отзывались на потребности времени и были художниками проповѣдниками. Эта знаменательнѣйшая черта съ особенною яркостью обрисовалась въ послѣдніе 60 лѣтъ, но начатки ея идутъ очень далеко“... Не удивительно ли послѣ этого видѣть, что именно этотъ 60-лѣтній періодъ нашей литературы и находится въ полномъ пренебреженіи въ нашей школѣ?

Если мы искренно желаемъ воспитать подрастающее поколѣніе въ лучшихъ идеяхъ, возбудить въ немъ высокія нравственныя стремленія, то мы должны позаботиться о возможномъ сближеніи школьнаго преподаванія съ серьезными, запросами жизни, къ чему изученія новѣйшей литературы нашей служить наилучшимъ средствомъ. Отзывчивость нашихъ писателей на потребности времени обязываетъ насъ обратить особенное вниманіе на идейную сторону ихъ произведеній, познакомиться съ историческими условіями, при которыхъ имъ пришлось развиваться и дѣйствовать, и съ тѣми задачами, которыя ставило передъ ними ихъ время. Нельзя поэтому выбирать изъ программы такихъ писателей, какъ Бѣлинскій, Достоевскій, Л. Н. Толстой, такихъ поэтовъ, какъ

Некрасовъ, и суживать задачу школьнаго изученія литературы, ставя исключительною его цѣлью „выработку эстетическаго вкуса и стиля“ учащихся. Нельзя также давать кое-какіе обрывки ихъ біографій и кое-что изъ ихъ произведеній, тенденціозно выбравши наименѣе затрогивающее окружающую жизнь, наиболѣе удаленное отъ живыхъ ея вопросовъ.

Русскіе писатели, о которыхъ идетъ рѣчь, всѣ начали свою дѣятельность во второй половинѣ 40-хъ годовъ, за исключеніемъ только Л. Н. Толстого, выступившаго съ первыми своими повѣстями нѣсколько позднѣе. Настроеніе и идеи этой эпохи съ большею или меньшею силой отражаются въ творествѣ каждаго изъ нихъ. Если Л. Толстой прошелъ, какъ мы знаемъ, мимо этого умственнаго движенія русской жизни и его демократизмъ воспитался главнымъ образомъ на сочиненіяхъ Ж. Ж. Руссо, то это все-таки не заставило его идти совсѣмъ въ разрѣзъ со своими литературными сверстниками, такъ какъ первоисточникъ русскаго демократизма у всѣхъ одинъ и тотъ же — французская просвѣтительная литература XVIII вѣка. Толстой уже въ первыхъ своихъ произведеніяхъ обнаруживаетъ стремленія, соотвѣтствующія основнымъ интересамъ эпохи 40-хъ годовъ, а въ дальнѣйшемъ развитіи его идей видна еще болѣе тѣсная связь ихъ съ эпохой нашего народничества. 40-е годы — важный періодъ русской общественной жизни. Они продолжаютъ прерванное во второй половинѣ 20-хъ годовъ общественное развитіе и готовятъ эпоху великихъ реформъ. Это — время выработки подъ новыми вліяніями европейской науки и литературы самыхъ необходимыхъ, отсутствовавшихъ у насъ, общественныхъ понятій, на которыхъ воспитались указанные писатели и въ свою очередь воспитывали русское общество. Наиболѣе яркое и талантливое выраженіе эта эпоха нашла въ сочиненіяхъ Бѣлинскаго и Герцена. Первый и особенно второй томъ сочиненій послѣдняго въ только-что вышедшемъ

русскомъ изданіи заключаютъ въ своемъ содержаніи обильный историко-литературный матеріалъ, относящійся къ этой эпохѣ. Серьезные и авторитетные изслѣдователи новѣйшаго періода русской литературы находятъ возможнымъ и справедливымъ даже назвать 40-е годы эпохой Бѣлинскаго. Ясно, что оба эти писатели не могутъ быть обойдены молчаніемъ. Давно и прочно установлено также огромное значеніе Бѣлинскаго и для всего новѣйшаго періода русской литературы. Бѣлинскій, по словамъ С. А. Венгерова, — „средоточіе русской мысли своего времени, энциклопедія русскаго ума и чувства, первоисточникъ всего великаго, хорошаго, эстетически-вѣрнаго и этически-правильнаго, что было въ русской литературѣ послѣднихъ 60 лѣтъ“. Исторія послѣдовательнаго развитія взглядовъ Бѣлинскаго, прибавимъ мы, есть въ извѣстной мѣрѣ исторія общественнаго развитія за этотъ періодъ, потому что за нимъ, руководясь его идеями, шли многіе ряды поколѣній. Бѣлинскій былъ настоящимъ ихъ вождемъ. Нужно ли послѣ этого доказывать необходимость возможно полнаго, серьезнаго знакомства съ его жизнью и дѣятельностью?

Мы думаемъ, что такіе главные двигатели нашего общественнаго развитія какъ, Герценъ и Бѣлинскій, должны непременно занять видныя мѣста въ исторіи русской литературы. Въ 1-й части нашихъ „Очерковъ“, содержаніе которой составитъ исторія николаевскаго тридцатилѣтія (1825—1855 гг.), мы и постараемся это сдѣлать, конечно, въ извѣстныхъ предѣлахъ, сообразуясь съ поставленной нами главной задачей—дать въ сжатой формѣ исторію развитія русской литературы за этотъ періодъ.

60-е и 70-е годы русской жизни прошли также не безслѣдно если не для всѣхъ, то для большинства писателей 40-хъ годовъ и вызвали новыя направленія общественной мысли и новыхъ дѣятелей литературы. Тургеневъ въ періодъ нашего общественнаго возрожденія (1855—1863 гг.) съ чуткостью тонкаго художника отмѣ-

чалъ различныя общественныя настроенія и направленія мысли, характеризующія и 40-е и 60-е годы, а нѣсколько позже схватилъ характерныя черты движенія 70-хъ годовъ. Въ ту же свѣтлую эпоху Островскій освободился отъ усвоенной имъ въ началѣ 50-хъ годовъ узко-патріотической точки зрѣнія на русскую жизнь и написалъ пѣлый рядъ лучшихъ своихъ пьесъ, и дѣятельность его впервые получила вѣрную оцѣнку въ замѣчательныхъ статьяхъ талантливаго критика того времени, Добролюбова. Крупныя произведенія Гончарова и Достоевскаго также отражаютъ идеи и настроенія этихъ десятилѣтій. Даже гениальность Л. Толстого не освобождаетъ его отъ солидарности со многими интересами 60-хъ и 70-хъ годовъ. На рубежѣ этихъ двухъ замѣчательныхъ десятилѣтій нашей жизни сдѣланы важныя поправки въ общественномъ міровоззрѣніи, и переходъ изъ одного десятилѣтія въ другое представляетъ образцовый примѣръ правильной общественной реакціи, которая не стремится уничтожить со-всѣмъ предшествующее направленіе мысли, не ведетъ къ застою, а только исправляетъ неизбѣжныя въ каждомъ сильномъ движеніи ошибки, крайности увлеченій, сглаживаетъ шероховатости, смягчаетъ рѣзкости. Сильныя альтруистическія стремленія этого времени, покаянное настроеніе русскаго интеллигента, сознаніе своей вины и долга передъ народомъ, идеализація крестьянской жизни и большія наивныя ожиданія отъ деревни, будто бы хранящей въ своихъ нѣдрахъ чудотворныя начала новой общественности — составляютъ характерныя черты эпохи народничества. Лучшій и наиболѣе талантливый писатель этого „совѣстливаго“ періода нашей жизни, Г. Успенскій въ своихъ произведеніяхъ развѣтываетъ передъ нами широкую картину народной жизни съ характерными измѣненіями ея строя подъ напоромъ новыхъ теченій жизни и общественной мысли, — картину, проникнутую высокимъ нравственнымъ настроеніемъ, глубокою любовью къ чело-вѣку, скорбью о его гибели, смягченной часто свѣт-

лымъ юморомъ. Муза Некрасова негодующе рыдаетъ по 1877 годъ, рисуя въ чудныхъ поэтическихъ образахъ народное горе и цѣлый рядъ героевъ и героинь передовой русской дружины, боровшейся за народные интересы. Въ тѣсной связи съ общественной жизнью этого періода стоитъ художественная сатира Салтыкова. Ея зеркало отражаетъ уродливыя, отрицательныя явленія этого времени, порожденныя главнымъ образомъ наступившею и съ каждымъ годомъ усиливавшеюся реакціей.

Все это обязываетъ насъ дать по возможности полныя характеристики этихъ десятилѣтій, выяснить связь между фактами общественной жизни и произведеніями крупныхъ, современныхъ ей писателей, при чемъ, конечно, выдвинуть впередъ творцовъ русскаго соціального романа, ставшаго съ 60-хъ годовъ господствующею формою изящной русской литературы. Этотъ періодъ по нашему плану, составить содержаніе II части нашихъ „Очерковъ“, которая появится въ самомъ скоромъ времени.

Едва ли не самую трудную задачу представляетъ собою характеристика двухъ послѣднихъ десятилѣтій XIX вѣка. Это — время, когда реакціонныя силы взяли верхъ. Оно отличается политическимъ индифферентизмомъ, равнодушіемъ къ общественнымъ дѣламъ, общей вялостью, апатіей. Это была реакція противъ идеаловъ предшествующей эпохи — время Волынскихъ, Меньшиковыхъ, Леонтьевыхъ и др. публицистовъ и беллетристовъ того же пошиба. Конечно, и въ это трудное время встрѣчаются отрадные исключенія, и въ послѣднее десятилѣтіе является рядъ новыхъ крупныхъ талантовъ. Но вотъ что говорилъ покойный Н. К. Михайловскій въ 1899 году: „какая-то безжалостная коса быстро срываетъ новые ростки, какая-то мрачная сила мѣшаетъ имъ развертываться и дать могучую листву, подъ тѣнью которой можно было бы укрыться отъ непогоды, яркій цвѣтъ, на которомъ отдохнулъ бы глазъ, и питательный плодъ“. Одинъ изъ самыхъ сильныхъ и искреннихъ беллетристическихъ та-

лантовъ, М. Горькій, приносилъ въ то же время безпощадно строгій приговоръ надъ собою и своимъ поколѣніемъ, говоря: „мы сами холодны и жестки. Дѣйствительность, которую мы когда-то горячо хотѣли перестроить, сломала и смяла насъ... Надъ жизнью несется запахъ гніенія; трусость, холопство пропитываютъ сердца, лѣнь вяжетъ умы и руки мягкими путами“. Намъ кажется, однако, что въ этихъ характеристикахъ слишкомъ ужъ много горькой безнадежности, которая обыкновенно въ такіе тяжелые годы переполняетъ душу лучшихъ, горячо любящихъ родину людей. Общественное тѣло далеко не все было поражено гангреной, и здоровыя его части продолжали усиленную работу, кипѣвшую внутри. Результаты этой внутренней работы стали видны, какъ только получилась возможность говорить и дѣйствовать съ большей свободой, чѣмъ прежде. Переживаемый нами трудный и смутный періодъ — неизбежный результатъ сорокалѣтней реакціи, начавшейся въ 60-е годы и особенно свирѣпствовавшей въ послѣднее двадцатилѣтіе.

Трудность изображенія періода наружной тоски и апатіи и напряженной внутренней работы мысли усложняется еще и близостью его къ текущимъ событіямъ и несобранностью и неразработанностью матеріаловъ, что и вынуждаетъ насъ отложить выпускъ III части нашихъ „Очерковъ“, въ которую должны войти 80-е и 90-е годы, на болѣе продолжительный срокъ.

Для того, чтобы предлагаемый въ нашихъ „Очеркахъ“ періодъ новѣйшей русской литературы поставить въ органическую связь съ предшествовавшимъ ему литературнымъ развитіемъ, мы находимъ необходимымъ дать краткій общій обзоръ всей русской литературы, отъ начала русской письменности до 30-хъ годовъ XIX столѣтія. Такой обзоръ напомнить читателямъ въ общихъ чертахъ особенности русской литературной исторіи въ связи съ главными событіями русской жизни и создававшимися ея ходомъ условіями, которые то задерживали

наше духовное развитіе, то благопріятствовали ему. Необходимость такого „Введенія“ въ исторію новѣйшей русской литературы будетъ ясна, какъ мы надѣмся, изъ нашего изложенія его содержанія: намъ кажется, что оно подготовитъ къ болѣе правильному пониманію многихъ явленій новѣйшаго періода русской жизни и литературы.

Въ заключеніе мы считаемъ нужнымъ сдѣлать еще нѣсколько *предварительныхъ замѣчаній*, касающихся самой постановки исторіи литературы, какъ науки, ея объема, задачи въ настоящее время, а также и болѣе подробнаго разъясненія главной задачи, поставленной въ нашей книгѣ.

Сто лѣтъ съ небольшимъ назадъ, а у насъ, въ Россіи и меньше того, исторія литературы, сравнительно очень молодая наука, еще не существовала. Она сводилась къ списку писателей, къ изученію стиля каждаго изъ нихъ и внѣшнихъ литературныхъ формъ, въ которыя отливались ихъ произведенія.

Это было время продолжавшагося еще господства ложнаго классицизма. Но начавшееся съ конца XVIII вѣка основательное изученіе древнихъ классическихъ литературъ создало эстетическую критику; эстетическая теорія разрабатывалась далѣе романтиками на широкихъ основаніяхъ нѣмецкой метафизики, выдвигавшихъ впередъ поэтическое творчество, какъ самую высокую дѣятельность человѣческаго духа, совмѣщающую въ себѣ всѣ другія, и исторія литературы обрабатывалась въ исторію поэзіи.

Это было уже значительное расширеніе историко-литературной сферы: романтическая школа дала историческую точку зрѣнія и первые опыты ли-

тературной исторіи. Вниманіе ученыхъ къ народной поэзіи, признаніе ея художественныхъ достоинствъ и права на мѣсто въ исторіи повело къ дальнѣйшему расширенію предѣловъ этой науки. Важно было то, что романтики, на знамени которыхъ стояло слово: „національность“ заговорили о поэзіи, какъ объ отраженіи національной дѣйствительности. Дальнѣйшая работа историческихъ изученій и стремленія къ углубленію своихъ наблюденій надъ дѣйствительною жизнью у писателей XIX вѣка, проникавшихся общественными интересами, раздвигали рамки исторіи литературы все шире и шире: она становилась отраженіемъ историческихъ процессовъ жизни общества.

Въ настоящее время насъ уже не удовлетворятъ не только изученіе стили и литературныхъ формъ, но и историческое изученіе исключительно поэтическихъ произведеній. Изъ пройденнаго каждымъ изъ насъ школьнаго курса, какъ бы онъ ни былъ убогъ, мы все-таки знаемъ, что исторія литературы не ограничивается исторіей поэзіи, что ея объемъ гораздо шире. Мы знаемъ, что есть эпохи, въ которыя художественное творчество или почти, или совсѣмъ отсутствуетъ. Въ допетровскомъ періодѣ нашей письменности, намъ, по необходимости, приходилось имѣть дѣло съ сочиненіями спеціальными, дѣловыми, съ законодательными актами, лѣтописями, сборниками правилъ домостроительства и т. п. и изъ нихъ узнавать объ идеальныхъ стремленіяхъ вѣка, извлекать популярныя, типичныя воззрѣнія извѣстной общественной среды.

Исторія литературы въ настоящее время занимается не только анализомъ поэтическихъ произведеній — она изслѣдуетъ общественные понятія и нравы данной эпохи, слѣдитъ за умственнымъ

движеніемъ вѣка, за непрерывной борьбой старыхъ понятій съ новыми, наблюдаетъ за смѣной общественныхъ настроеній, вторгается даже въ исторію другихъ наукъ, отыскивая тамъ источники новыхъ идей и оцѣнивая ихъ силу и значеніе. Этотъ широкій объемъ исторіи литературы объясняется ея главной задачей — выяснить всю совокупность общихъ понятій каждой данной эпохи, отразившихся въ ея литературныхъ произведеніяхъ.

Читатель, которому попадалась въ руки „Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка“ Геттнера, припомнить, что онъ встрѣчался тамъ не только съ поэтами, но и съ учеными, философами, историками. „Исторія новѣйшей англійской литературы“ Тэна на ряду съ романистами, Диккенсомъ и Теккереемъ, рассматриваетъ критиковъ, историковъ, философовъ, какъ Маколей, Карлейль и Милль. Поэтому и намъ придется имѣть дѣло не съ одними поэтами и беллетристами.

Главное содержаніе нашихъ „Очерковъ“ составляютъ рассказы о жизни и дѣятельности писателей послѣднегоголевскаго періода. Почти всѣ они начали свою дѣятельность въ одно и то же время, именно — во второй половинѣ 40-хъ годовъ, и первыя произведенія многихъ изъ нихъ привѣтствовали незадолго до своей смерти нашъ знаменитый критикъ Бѣлинскій. Каждый изъ нихъ оригиналенъ, самобытенъ, что всегда составляетъ необходимую принадлежность и отличительную черту сильнаго литературнаго таланта. Но при всей разницѣ ихъ натуръ, характеровъ, обстоятельствъ личной жизни cadaго, у нихъ найдутся и общія черты, потому что ихъ жизнь и дѣятельность проходили при однихъ и тѣхъ же историческихъ условіяхъ, которыя и наложили на нихъ свою печать. При этомъ всѣ они, за

рѣдкими исключеніями, принадлежать къ высшему сословію, къ родовитому и богатому русскому дворянству: въ то время разночинецъ очень рѣдко появлялся на литературномъ поприщѣ. 30-е, 40-е и 50-е годы составляютъ еще прямое продолженіе дворянскаго періода нашей литературы. Черты классовой психологіи также замѣтно объединяютъ ихъ.

Если ихъ дѣятельность началась съ половины 40-хъ годовъ, то подготовительный къ ней періодъ обнимаетъ 30-е и конецъ 20-хъ годовъ. Мы и должны по возможности, основательно познакомиться съ періодомъ, который начинается 25-мъ и оканчивается 55-мъ годами прошлаго вѣка. Мы должны узнать, въ какомъ состояніи находилась въ то время общественная жизнь, какія новыя идеи распространялись въ образованномъ слоѣ общества, какова была духовная жизнь широкихъ общественныхъ круговъ, каково было ихъ настроеніе; намъ придется коснуться и источника новыхъ идей, т.-е. науки того времени. Это будетъ общая, подготовительная часть нашихъ „Очерковъ“, которая дастъ намъ возможность болѣе глубокаго пониманія поэтическихъ произведеній выше указанныхъ писателей и болѣе вѣрной оцѣнки ихъ дѣятельности.

Но мы вовсе не думаемъ отодвигать поэзію на задній планъ. Поэтическія произведенія, конечно, занимаютъ въ исторіи литературы главное центральное мѣсто: они даютъ плоть и кровь общимъ понятіямъ, представляютъ живую дѣйствительность, по нимъ мы лучше, яснѣе видимъ общую жизнь даннаго періода. Но историкъ литературы, повторяемъ, никакъ не можетъ ограничиться изученіемъ и разборомъ только поэтическихъ произведеній. Всякое поэтическое произведеніе есть

продуктъ очень сложный: съ одной стороны, оно отражаетъ нравственную личность поэта, т.-е. его идеи и чувства, съ другой — вліяніе среды и историческихъ условій, въ которыхъ воспитался и жилъ поэтъ и отъ которыхъ, какъ бы онъ ни былъ гениаленъ, совсѣмъ отрѣшиться не можетъ. И чѣмъ популярнѣе произведеніе, чѣмъ сильнѣе оно произвело впечатлѣніе на общество, т.-е. отвѣтило на его умственные запросы и совпало съ его настроеніемъ, тѣмъ болѣе необходимо, для выясненія его историческаго значенія, возможно широкое и обстоятельное знакомство съ исторіей времени, въ которое жилъ и дѣйствовалъ поэтъ. Кромѣ того, истинное поэтическое произведеніе, будучи создано подъ извѣстными вліяніями, въ свою очередь вліяетъ на общественные умы и нравы. Исторія литературы должна прослѣдить и это вліяніе и указать его въ извѣстныхъ историческихъ фактахъ. Изъ сказаннаго становится ясною и тѣсная связь поэзіи съ жизнью и общественная роль поэта; выясняется и цѣль изученія поэзіи.

Исторію литературы называютъ иногда исторіей идеаловъ, и это справедливо: поэзія, занимающая въ ней центральное мѣсто, болѣе всего хлопочетъ объ идеальномъ; даже ея отрицательныя изображенія, какъ, напр., у Гоголя или въ комедіяхъ Островскаго, всегда руководимы или, точнѣе сказать, вызываемы высокими идеальными стремленіями поэта.

Но идеалы, кстати сказать, бываютъ разные: очень выспренніе, т.-е. возвышенные, иногда доходящіе до полной неосуществимости (такіе идеалы справедливо называютъ утопіями, мечтательными идеалами), и менѣе возвышенные, не оторванные отъ земли, осуществленіе которыхъ возможно въ

болѣе или менѣе близкомъ будущемъ. Конечно, чѣмъ выше идеаль, тѣмъ онъ красивѣе, привлекательнѣе, тѣмъ способнѣе онъ возбудить чувство энтузіазма, особенно молодое; но тѣмъ скорѣе онъ приведетъ къ полному разочарованію и мучительной тоскѣ, лишь только его коснется трезвая мысль. Относительно выбора идеаловъ можно посовѣтовать принять въ руководство слѣдующее соображеніе: большая или меньшая возможность осуществленія идеала всегда находится въ прямой зависимости отъ суммы благопріятныхъ для него условій въ окружающей насъ дѣйствительности. Если, напр., въ дѣйствительности не окажется ни одного условія, необходимо для достиженія идеала, то онъ, при всѣхъ усиліяхъ съ нашей стороны, останется неосуществленнымъ. Если въ окружающей насъ жизни есть уже нѣкоторыя изъ необходимыхъ условій, то остальные, недостающія можно и должно вызывать, создавать нашими собственными усиліями, которыя въ такомъ случаѣ не окажутся безплодными. „Жизнь“, говоритъ Герценъ, „осуществляетъ только ту сторону мысли, которая находитъ себѣ почву“...

Избранный нами періодъ русской литературы едва ли не самый поучительный въ этомъ отношеніи. Мы увидимъ изъ него, какъ мучительно и долго бились, путаясь, какъ въ тенетахъ, въ выпрѣннихъ, отвлеченныхъ умствованіяхъ даровитѣйшіе изъ русскихъ образованныхъ людей, какъ нѣкоторые изъ нихъ такъ и не успѣли высвободиться изъ этихъ тенетъ и выйти на настоящую дорогу. Мы такъ же ясно разглядимъ и вѣрно оцѣнимъ тѣ истинныя, идеальныя для того времени требованія, которыя осуществились въ дальнѣйшемъ ходѣ русской жизни, и ихъ, такъ сказать, оправдала сама русская исторія. Мы легко

отличимъ эти настоятельныя требованія времени отъ тѣхъ эффектныхъ, мнимо-національныхъ идеаловъ, которые создавались въ кабинетахъ и гостиныхъ извѣстной части тогдашняго образованнаго дворянства безъ серьезнаго вниманія къ текущей дѣйствительности, безъ ея изученія, и потому оказались или совсѣмъ, или въ значительной мѣрѣ ложными. Мы увидимъ, что и поэзія этого періода, несмотря на все препятствія и временныя уклоненія отъ жизненной правды, въ лицѣ лучшихъ, талантливейшихъ поэтовъ пошла по тому вѣрному направленію, которое ей было указано и завѣщено великими ихъ предшественниками, Пушкинымъ и Гоголемъ, и повела за собою лучшую образованнѣйшую часть русскаго общества. Мы поймемъ тогда, что истинная поэзія потому-то и имѣетъ важное значеніе для жизни, что она вырабатываетъ не мечтательные, а живые идеалы, которые и служатъ руководствомъ въ жизни всякаго истинно образованнаго человѣка.

Есть еще очень важное условіе, соблюденіе котораго необходимо при историко-литературномъ изученіи и на которое мы должны указать. При анализѣ или оцѣнкѣ того или другого сочиненія писателя или всей его дѣятельности, взятой въ цѣломъ, мы должны подходить къ нимъ съ требованіями, соответствующими историческимъ условіямъ того, а не нашего времени. Въ исторіи литературы, какъ во всякой исторіи, мы замѣчаемъ процессъ развитія. Вмѣстѣ съ измѣненіями въ жизни общества происходятъ измѣненія въ литературѣ. Въ произведеніяхъ художественныхъ являются новые типы; но этого мало, мѣняется постепенно и самый способъ изображенія, совершенствуется художественная техника, мѣняются и совершенствуются литературныя приемы и формы,

и самый языкъ; наконецъ, происходятъ перемѣны и въ отношеніяхъ писателя къ изображаемой жизни. Естественнo, что въ соотвѣтствіи со всѣми этими перемѣнами мѣняются и требованія критики. Словомъ сказать, все находится въ процессѣ развитія. Отсюда ясно, что справедливость требуетъ отъ историка большой осторожности въ приложеніи критической мѣрки къ разсматриваемому произведенію. Всякій согласится съ нами, что нельзя, напр., подходить съ одними и тѣми же требованіями къ трагедіи Софокла, къ трагедіи Шекспира и къ драмѣ Островскаго. Находясь одно отъ другого на разстояніи вѣковъ, эти литературныя явленія отличаются рѣзкими чертами времени, къ которымъ надо еще прибавить не менѣе рѣзкія черты національныя. А въ новѣйшей литературѣ, гдѣ процессъ развитія совершается быстрѣе, требуется отъ историка еще болѣе осмотрительности: здѣсь иногда оказывается совершенно неприложимой современная намъ критическая мѣрка къ писателю такому, который жилъ всего тридцать-сорокъ лѣтъ до нашего времени, потому что два-три десятка лѣтъ развитія иногда значатъ очень много. Можно указать для примѣра нѣсколько оцѣнокъ, въ которыхъ отсутствовала историческая точка зрѣнія.

Въ переходный періодъ отъ романтизма къ реализму въ Германіи, въ 30-хъ годахъ XIX вѣка, было поднято гоненіе на Гёте. Съ точки зрѣнія тогдашняго политическаго движенія, неудержимаго стремленія къ свободѣ, охватившаго нѣмецкую молодежь, многіе писатели этой эпохи и въ особенности одинъ изъ вождей этого движенія, Л. Бёрне, строго осуждали Гёте и какъ писателя, и какъ человѣка за то, что онъ не былъ проповѣдникомъ политической свободы, за то, что не

боролся съ деспотизмомъ; горячность осужденія доходила до того, что его называли „примованнымъ холопомъ“. Короче сказать, примѣняли къ великому нѣмецкому поэту, стоявшему на самомъ рубежѣ XVIII и XIX столѣтій, невѣрную политическую мѣрку 30-хъ годовъ XIX вѣка. Бёрне даже ставилъ ему въ вину его занятія естествознаніемъ, совершенно забывая, что и въ этой области за нимъ не мало ученыхъ заслугъ. Но любопытно, что такая же точно судьба постигла и самого Бёрне: къ нему самому примѣняется теперь та фальшивая мѣрка, которая установилась въ Германіи со времени Франко-прусской войны: какъ Бёрне, такъ и соратникъ его Гейне и вся школа 30-хъ годовъ, извѣстная подъ именемъ „Молодой Германіи“, подверглись опалѣ за то, что возвеличивали Францію передъ Германіей и отъ первой ожидали свободы: ихъ называютъ теперь и плохими патриотами, и плохими пророками, совершенно забывая, что ихъ борьба содѣйствовала много и преобразованію, и возвышенію Германіи.

Въ нашей литературѣ есть очень яркій примѣръ подобной же несправедливости. Въ 60-хъ годахъ только-что истекшаго столѣтія русская критика воздвигла гоненія на Пушкина и его произведенія, и ошибка была опять та же самая. Писаревъ разбиралъ, напр., Онѣгина, героя 20-хъ годовъ, такъ, какъ можно было разбирать героя современнаго ему романа. Сочиненія Пушкина были признаны бесполезными за отсутствіе въ нихъ тенденцій, желательныхъ съ точки зрѣнія критиковъ 60-хъ годовъ. При этомъ упускалось изъ виду, что въ 20-хъ и 30-хъ годахъ въ нашей литературѣ были поставлены совсѣмъ инныя задачи, что она переживала моментъ смутной романтической идеализаціи и что только Пушкинъ

силою своего генія могъ создать такое вполне реальное, высокопоэтическое произведение, какъ „Онѣгинъ“. Чтобы избѣжать подобныхъ ошибокъ, повторяемъ, мы должны относиться къ поэту съ точки зрѣнія условій его времени, принимая во вниманіе и обстоятельства его личной жизни, и всю ту обстановку, которая его окружала.

Намъ осталось сдѣлать еще одно существенно важное замѣчаніе. Мы уже говорили о томъ, что знакомство съ писателемъ путемъ простаго чтенія его произведеній, чтенія безъ всякой системы, часто спѣшнаго, нерѣдко случайнаго, безъ связи съ исторіей времени не имѣетъ серьезнаго образовательнаго значенія. Здѣсь скажемъ еще рѣшительнѣе — такое чтеніе, хотя бы оно сопровождалось сильнымъ, захватывающимъ художественнымъ интересомъ и доставляло эстетическое наслажденіе, все-таки не даетъ глубокаго пониманія читаемаго произведенія. Читать и наслаждаться поэтическими красотами сочиненія еще мало: надо и задумываться надъ изображеніями поэта. Покойный Островскій въ своей юбилейной рѣчи о Пушкинѣ въ 1880 году, перечисляя заслуги геніальнаго писателя, справедливо замѣтилъ: „первая заслуга великаго поэта въ томъ, что черезъ него умнѣетъ все, что можетъ поумнѣть; кромѣ наслажденія, кромѣ формъ для выраженія мыслей и чувствъ. поэтъ даетъ и самыя формулы мыслей и чувствъ, Богатые результаты совершеннѣйшей умственной лабораторіи дѣлаются общимъ достояніемъ“.... Отсюда ясно, что тотъ читатель, который читаетъ впопыхахъ, лишаетъ себя главнаго — идейнаго интереса: онъ не воспользуется „богатыми результатами этой совершеннѣйшей умственной лабораторіи“. Въ каждомъ истинно поэтическомъ произведеніи встрѣ-

чаются очень мелкія, но существенно важныя подробности, очень тонкія, но характерныя черты рисунка, упустивъ которыя, не представишь себѣ ясно образа, не поймешь вполне значеніе изображаемаго событія, характера изображаемаго лица. А читатель, въ особенности молодой, неопытный, руководимый мыслью, что все, что изображаетъ поэтъ, такъ просто, легко, такъ знакомо, поглощаетъ быстро страницу за страницей, не останавливаясь, ни надъ чѣмъ не задумываясь. Тутъ уже, конечно, не можетъ быть и рѣчи о внимательномъ, вдумчивомъ анализѣ фактовъ, характеровъ, объ усиліяхъ понять задачу поэта, главную идею произведенія. Такого читателя обыкновенно увлекаетъ одинъ только интересъ къ внѣшней сторонѣ сочиненія, часто — одно только желаніе узнать поскорѣе развязку происшествія.

А между тѣмъ, значеніе поэтическаго произведенія, главная его сила заключается вовсе не въ хитро придуманной завязкѣ или развязкѣ, не въ сложности или запутанности обстоятельствъ, введенныхъ въ него, и даже не въ новизнѣ изображаемыхъ предметовъ и явленій. Нѣтъ, истинно поэтическое произведеніе цѣнно, дорого намъ тѣмъ, что мы, встрѣчаясь въ немъ съ знакомымъ явленіемъ жизни, видимъ это явленіе въ такой оригинальной постановкѣ, что открываемъ новыя стороны, которыхъ не замѣчали прежде, и оно поражаетъ насъ этимъ новымъ видомъ и заставляетъ вновь глубоко задуматься надъ нимъ.

Возьмемъ, напримѣръ, такое всѣмъ знакомое явленіе русской жизни, какъ внѣшній европеизмъ. Еще съ первой половины XVIII вѣка, съ легкой руки Кантемира это явленіе становится мишенью для насмѣшекъ русскихъ сатириковъ; журналы

екатерининской эпохи, въ особенности Новиковскіе, выставляютъ на позоръ круглое невѣжество нашихъ щеголей и щеголихъ, одѣтыхъ по послѣдней парижской модѣ; это же явленіе становится потомъ предметомъ художественной сатиры и въ Крыловской баснѣ, и въ Грибоѣдовской комедіи, да и у Гоголя — въ картинѣ, напр., губернаторскаго бала и у мн. др. писателей. Кажется, что этотъ предметъ уже разсмотрѣнъ со всѣхъ сторонъ и весь интересъ къ нему исчерпанъ до послѣдней капли. Но это только кажется. Прочтите или припомните въ разсказѣ о юности гр. Толстого главу, подъ названіемъ „Comme il faut“, и вы убѣдитесь сейчасъ же, что гениальный писатель отыскалъ въ немъ новый интересъ, раскрылъ намъ поразительно новыя стороны этого явленія, съ которыхъ никто изъ предшествовавшихъ писателей его не разсматривалъ. Уже здѣсь ново то, что понятіе, означенное этимъ французскимъ заглавіемъ, разсматривается въ отношеніи къ юношѣ, которому оно прививается съ самыхъ раннихъ лѣтъ, и авторъ, забираясь въ самую глубь юной души, внимательно и подробно слѣдитъ за всѣми тѣми опустошеніями, которыя производитъ въ ней это понятіе. Онъ, давая намъ всѣ признаки „comme il faut“, показываетъ, какъ оно вытравляетъ постепенно лучшія человѣческія чувства, окончательно извращаетъ правильный взглядъ на окружающихъ людей и поселяетъ отвращеніе ко всякому полезному труду. Онъ рассказываетъ, какого огромнаго труда стоило ему приобрести всѣ нужныя качества, чтобы стать человѣкомъ „comme il faut“, сколько драгоцѣннаго времени потратилъ онъ въ постоянныхъ наблюденіяхъ за своими ногтями, въ упражненіяхъ для приобрѣтенія умѣнія кланяться, танцовать, разговаривать,

въ постоянномъ осматриваніи частей своего костюма; сколько потребовалось труда и времени на выработку способности придать своему лицу въ каждую минуту, когда понадобится, „выраженіе нѣкоторой изящной, презрительной скуки“. Внимательное чтеніе этой главы вамъ сразу уясняетъ тѣсную связь этого давно знакомаго явленія съ цѣлымъ рядомъ ложныхъ понятій, группирующихся вокругъ него и имѣющихъ вредное вліяніе и на отдѣльное лицо, и на общественныя отношенія. Вотъ что говоритъ Толстой въ концѣ главы, указывая на главное зло, причиняемое этимъ явленіемъ: „ни потеря золотого времени, употребленнаго на постоянную заботу о соблюденіи всѣхъ трудныхъ для меня условій „*comme il faut*“, исключаящихъ всякое серьезное увлеченіе, ни ненависть и презрѣніе къ $\frac{1}{10}$ рода человѣческаго, ни отсутствіе вниманія ко всему прекрасному, совершающемуся внѣ кружка „*comme il faut*“, — все это было еще не главное зло, которое мнѣ причиняло это понятіе. Главное зло состояло въ томъ убѣжденіи, что „*comme il faut*“ есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ *comme il faut*; что, достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняетъ свое назначеніе и даже становится выше большей части людей“.

Вотъ какова сила великаго художника-писателя! Она можетъ обновить старый, казавшійся совсѣмъ затрепаннымъ предметъ; она углубляетъ наше пониманіе жизни вообще и пробуждаетъ серьезный интересъ къ ея явленіямъ. Нельзя не согласиться съ Островскимъ: трудно не поумнѣть, читая съ толкомъ, внимательно, вдумчиво великія творенія поэтовъ, читая не для одного только эстетическаго наслажденія.

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	<i>Стран.</i>
Вмѣсто предисловія.	III—XXVII
Введеніе	1— 44
I. Успѣхи нашей общественности и литературы при Екатеринѣ II и Александрѣ I.	45— 64
II. Вліяніе правительственной системы въ царствова- ніе Николая I на общественную жизнь и литера- туру.	65— 81
III. Образованіе кружковъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ XIX в.	81— 98
IV. Нѣмецкая идеалистическая философія и ея вліяніе на русское общество 30-хъ и 40-хъ годовъ	98—117
V. Вліяніе западно-европейской поэзіи и утопиче- скаго социализма	118—146
VI. П. Я. Чаадаевъ	146—167
VII. Жизнь русской интеллигенціи въ эпоху германо- поклоненія	167—180
VIII. Славянофильство и Западничество	180—209
IX. Разногласія, споры и разрывы въ московскихъ кружкахъ 40-хъ годовъ.	209—220
X. Общественное движеніе 40-хъ годовъ.	220—234
XI. В. Г. Бѣлинскій	234—382
XII. Д. В. Григоровичъ.	382—403
Важнѣйшія пособія.	403—404

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Просимъ читателя прежде, чѣмъ приступить къ чтенію „Очерновъ“, исправить слѣдующія важныя опечатки:

<i>Стран.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Слѣдуетъ читать.</i>
26	30	появлявшаяся	появившаяся
34	13	приемникахъ	преемникахъ
38	13	„гисторіей“	„гисторій“
49	16	свободить	освободить
90	32	говориль	говорить
102	15	по его опыту	по его мнѣнію
117	23	der kritichen	der kritischen
121	12	Донъ-Кихотъ	Донъ-Карлосъ
193	17	докторины	доктрины
205	29	Психологіи	Психологія
288	21	болѣе и менѣе	болѣе или менѣе
315	11	господство	господства



ВВЕДЕНИЕ.

Въ началѣ нашей исторической жизни стоятъ два крупныя событія чрезвычайной важности: основаніе русскаго государства и введеніе у насъ христіанства. Первое положило начало постепенному объединенію разрозненныхъ племенъ, населявшихъ Россію, второе послужило могущественнымъ средствомъ къ пробужденію нравственнаго сознанія и создало почву для сближенія съ христіанскими народами Запада, рѣзко отдѣливъ насъ отъ магометанскаго Востока. Но дальнѣйшій ходъ исторіи нельзя назвать благопріятнымъ для нашего духовнаго развитія. Географическое положеніе Россіи на крайнемъ востокѣ Европы, на границѣ съ Азіей, поставило насъ въ необходимость вести трудную и продолжительную борьбу съ азіатскими кочевниками, направлявшимися въ Европу, невольно заслоняя послѣднюю отъ ихъ ударовъ. При этомъ возникшее вскорѣ дробленіе русской земли на удѣлы и междоусобныя войны за нихъ значительно ослабили народныя силы и обусловили удачу татарскаго нашествія и послѣдовавшаго за нимъ ига, тяготѣвшаго надъ нами въ теченіе двухъ слишкомъ вѣковъ. Татарское владычество не только задержало наше умственное развитіе, но и оставило вредныя слѣды на нашихъ нравахъ. Оно, по мнѣнію историковъ, имѣло сильное вліяніе на русскій государствен-

ный, общественный и семейный бытъ. Періодъ возвышенія Москвы, расширенія ея территоріи и борьбы ея съ татарами былъ не менѣе продолжителенъ, труденъ и также отвлекалъ народныя силы отъ внутренней культурной работы. Экономическая жизнь народа находилась все время въ первобытномъ состояніи. Ростъ государства былъ вызванъ у насъ элементарными потребностями самосохраненія и самозащиты, объ удовлетвореніи высшихъ, какъ увидимъ, оно заботилось мало. Исслѣдователи нашей старины справедливо находятъ, что въ нашемъ историческомъ прошломъ преобладали стихійные процессы и очень поздно и слабо проявлялось начало сознательной цѣлесообразной общественной жизни.

Христіанство, какъ извѣстно, пришло въ Россію изъ Греціи цѣлымъ столѣтіемъ позднѣе, чѣмъ къ южнымъ и западнымъ славянамъ, и именно въ то время, когда давно начавшійся разладъ между греческой и римской церковью сталъ усиливаться и вскорѣ привелъ къ окончательному разрыву. Старанія грековъ, нашихъ учителей, были между прочимъ направлены на первыхъ же порахъ къ тому, чтобы внушить намъ непримиримую вражду къ латинскому западу, уклонившемуся, по ихъ мнѣнію, отъ чистаго христіанскаго ученія. Эти настойчивыя внушенія имѣли свое дѣйствіе: изъ опасеній за чистоту нашей вѣры, мы начали чуждаться культурныхъ народовъ Европы, среди которыхъ уже давно и широко развивалась умственная жизнь, и наше собственное развитіе, вслѣдствіе этого отчужденія, было задержано надолго. Новое вѣроученіе распространялось сначала въ верхнихъ слояхъ городского населенія, въ средѣ, ближайшей къ дружинѣ и князю; проведеніе его въ народныя массы встрѣ-

чало многія препятствія, среди которыхъ однимъ изъ самыхъ важныхъ являлся недостатокъ такихъ учителей, которые умѣли бы говорить съ народомъ на простомъ, доступномъ ему языкѣ. Поученія проповѣдниковъ подобныхъ Кириллу Туровскому, въ совершенствѣ усвоившему византійское риторское искусство, при всей ихъ талантливости, были не понятны народу. Народъ долгое время продолжалъ коснѣть въ грубомъ язычествѣ, а потомъ перешелъ къ такъ называемому „двоевѣрію“, т.-е. смѣшенію христіанскихъ понятій съ языческими, слѣды которыхъ сохранились въ немъ и до нашего времени. Однако мы все-таки достигли значительныхъ успѣховъ исторической жизни въ Кіевскій періодъ на югѣ. Краснорѣчивымъ свидѣтельствомъ тому служить наша литература.

Первый домонгольскій періодъ русской литературы въ лучшихъ историко-литературныхъ трудахъ отмѣчается, какъ „пора свѣжей непосредственности“, пора „международнаго общенія, еще не возбуждавшаго вѣроисповѣдныхъ опасеній“, какъ время чрезвычайно оживленной дѣятельности въ жизни и литературѣ, разнообразные памятники которой: лѣтописи, житія, поученія, хожденія свидѣлствуютъ о нашихъ значительныхъ литературныхъ успѣхахъ. Знакомясь съ ними, мы выносимъ отрадное убѣжденіе, что два основныя событія нашей исторіи, о которыхъ мы упомянули въ началѣ, прошли для насъ не безслѣдно. Въ этихъ первыхъ пробахъ русскаго пера уже ясно обозначаются новые христіанскіе идеалы, вступающіе въ борьбу съ господствующими еще языческими понятіями, замѣчается горячее стремленіе просвѣтить читателя и, что въ особенности удивительно, при существовав-

шемъ уже удѣльномъ строѣ, почти всюду сквозить сознаніе единства русской земли. Зато послѣдующіе вѣка (съ XIII-го по XVII-ый включительно) представляются временемъ полного застоя. Успѣшно усвоенныя въ верхнихъ общественныхъ слояхъ на первыхъ порахъ новыя идеи и литературныя формы остались почти до эпохи Петра безъ всякаго движенія. Многіе серьезные изслѣдователи нашей старой письменности справедливо отказываютъ ей въ какомъ бы то ни было развитіи.

Начавшееся съ XIV вѣка возвышеніе Москвы, просвѣщеніе которой стояло гораздо ниже, чѣмъ въ старыхъ русскихъ центрахъ, Кіевѣ и Новгородѣ, не могло способствовать расширенію нашего умственного кругозора. Историки отмѣчаютъ, что въ московскій періодъ уровень нашихъ знаній понизился. Побѣда надъ татарами, окончательное освобожденіе отъ ига подняли наше національное самолюбіе, а паденіе Византіи, объясняемое нашими книжниками, какъ наказаніе божіе за уклоненіе съ пути истиннаго благочестія (Флорентійская унія), настолько усилило его, что мы начали смотрѣть на себя, какъ на единственную христіанскую націю, сохранившую во всей чистотѣ Христову вѣру и за то направляемую самимъ Провидѣніемъ по пути къ славѣ. Москва, въ глазахъ нашихъ книжниковъ, послѣ паденія Константинополя, представлялась третьимъ Римомъ, который долженъ стоять вѣчно. Отсюда стало все сильнѣе и сильнѣе развиваться наше національное самомнѣніе, окончательно перешедшее въ національную и исповѣдную нетерпимость, и мы начали относиться даже къ христіанамъ другихъ вѣроисповѣданій, какъ къ „поганымъ“ язычникамъ, чему въ значительной степени способствовала борьба, хотя и съ хри-

стіанскимъ, но другого вѣроисповѣданія государствомъ, литовско-польскимъ. Но ни внѣшнему росту Москвы, быстро увеличивавшей свои владѣнія и постепенно распространявшей свое вліяніе на дальнія области, ни ея представленію о собственномъ могуществѣ не соотвѣтствовало ея внутреннее развитіе.

Кромѣ указанныхъ выше неблагопріятныхъ для ея развитія историческихъ условій, есть еще одно очень важное: третьему Риму не доставало правильно поставленной школы. Если въ первомъ, до-монгольскомъ періодѣ наши лѣтописи свидѣтельствуютъ о томъ, что русскіе князья заботились о заведеніи школъ, то въ памятникахъ второго мы встрѣчаемся только съ постоянными жалобами и указаніями на ихъ недостатокъ. Существовавшая древнерусская школа была школою простой грамотности съ направленіемъ церковно-служебнымъ. Въ ней исключительно учили „четью“ и „пѣтью“ церковному. Свѣтская наука отсутствовала. Неудивительно, что у русскихъ людей съ XII вѣка складывается прочное убѣжденіе въ совершенной бесполезности книжныхъ знаній для мірянина. Иностранные путешественники XVI и XVII вѣка, признавая даровитость русскаго человека, свидѣтельствуютъ о почти поголовной безграмотности въ Россіи. Достаточно извѣстны жалобы архіепископа Геннадія и указанія Стоглаваго собора на недостатокъ грамотности даже у людей, ищущихъ священническихъ мѣстъ. Отдѣльные случаи значительной для того времени образованности бывали рѣдки и всегда представляли собой плоды чужой иностранной школы. Наша древняя школа грамотности не давала никакихъ научныхъ знаній и не развивала умственно. Въ лучшихъ изслѣдованіяхъ нашей старины

образованность древнерусскаго учительнаго словія удачно характеризуется словомъ „книжность“. Самое обученіе чтенію состояло въ томъ, что книгу (часословъ, псалтирь и т. д.) одну за другою выучивали наизусть. Книжное содержаніе такимъ образомъ усваивалось механически, одною памятью, безъ всякой системы, безъ переработки и не служило матеріаломъ для какихъ-либо обобщеній, выводовъ, — источникомъ новой, собственной мысли читающаго. Обильный книжный запасъ въ головѣ такого книжника лежалъ мертвымъ капиталомъ, давая ему только возможность приводить на память буквальные пространныя выдержки изъ писанія. Но самостоятельныхъ разсужденій отъ него и не требовалось. Подобныя разсужденія считались даже вредными, еретическими.

„Всѣмъ бѣдамъ матеръ — мнѣніе“, говорили наши книжники. Допускалось только весьма характерное для русской средневѣковой письменности „плетеніе словесъ“, т.-е. риторическія украшенія, при изложеніи чужихъ, готовыхъ мыслей. Если порою, въ видѣ исключенія, появлялось живое слово, то оно тотчасъ клеймилось названіемъ „ереси“ и подвергалось жестокимъ преслѣдованіямъ. Наша исторія знаетъ многихъ выдающихся людей этого періода, какъ невинныхъ страдальцевъ за свои искреннія убѣжденія, за свое мнѣніе, часто не заключающее въ своемъ содержаніи ничего опаснаго для нашей вѣры, а иногда даже свидѣтельствующее о чистомъ и высокомъ пониманіи ея духа. Истины христіанской религіи и морали понимались въ то время грубо: онѣ приводили исключительно къ слѣпому благоговѣнію передъ буквой писанія и къ строгому исполненію обряда. Все написан-

ное въ церковной книгѣ имѣло въ глазахъ книжника силу неизмѣннаго догмата; разобраться въ содержаніи книги, отличить въ немъ существенно важное отъ второстепеннаго, неважнаго онъ не умѣлъ. Поэтому всякая поправка въ церковной книгѣ, хотя бы очевидной ошибки, была не возможной, считалась преступной. При полномъ отсутствіи критическаго взгляда и пріемовъ, литературная дѣятельность писателя — книжника заключалась главнымъ образомъ въ простой компиляціи стараго книжнаго матеріала. „Самыя поученія“, говоритъ одинъ изслѣдователь, составлялись часто изъ выписокъ, заимствованныхъ изъ самыхъ разнообразныхъ произведеній“. Одностороннимъ направленіемъ древнерусскаго просвѣщенія и недостаточностью его объясняется и развитіе у насъ религіозно-церковнаго формализма, заставлявшаго наше учительное сословіе очень много заниматься мелкими обрядовыми вопросами и упускать изъ вида самое главное — разъясненіе народу сущности христіанскаго ученія.

Мы получили изъ Византіи главнымъ образомъ черезъ посредство южныхъ славянъ богатое, но одностороннее литературное наслѣдство, удовлетворявшее почти исключительно одной религіозной потребности. Русскій читатель постоянно вращался въ сферѣ церковно-религіозныхъ вопросовъ, и нашей старой литературѣ такъ и не удалось выйти изъ этого тѣснаго круга и стать свѣтской. Другія новоевропейскія литературы испытывали также чужія вліянія, ни одна изъ нихъ не имѣла такого цѣлостнаго, самобытнаго, органическаго развитія, какъ древне-греческая, въ которой народная поэзія послужила основаніемъ для дальнейшаго литературнаго развитія, и смѣна литературныхъ родовъ и формъ совершалась послѣ-

довательно въ ихъ преимуществахъ и взаимной обусловленности. Но вліянія, испытанныя литературою западной Европы, были болѣе разнообразны: въ раннихъ періодахъ они находились также подъ вліяніемъ христіанскихъ идей, а потомъ вскорѣ началось вліяніе античной литературы Греціи и Рима, въ эпоху возрожденія, которой у насъ совсѣмъ не было; притомъ нигдѣ возникшая подъ чужими вліяніями письменность не становилась въ такія рѣзко враждебныя отношенія къ народной поэзіи, какъ у насъ. Христіанство было усвоено нами въ духѣ суроваго аскетизма, съ точки зрѣнія котораго вся народная поэзія представлялась сплошь языческою, и потому подвергалась строгому осужденію. Со времени первыхъ христіанскихъ проповѣдниковъ и до XVIII вѣка народные обычаи и преданія, все самыя невинныя развлечения народа предаются проклятіямъ и суровымъ обличеніямъ, какъ ненавистные слѣды язычества. Пѣсни и игры называются не иначе какъ „бѣсовскими“ или „безчинными“, или „идольскими“. „Стоглавый соборъ“ и „Домострой“ строго осуждаютъ „глумотворцевъ“ (шутниковъ), „гусельниковъ“ народныя пѣснь, причитанія „жальныя“ (т.-е. причитанія на могилахъ по умершимъ), даже ловы съ собаками и со птицами и съ медвѣди“. За все это грозили проклятіями и вѣчными адскими муками. Весьма характерно для этого суроваго благочестія и вмѣстѣ съ тѣмъ удивительно, что въ слѣпкомъ подражаніи византійскимъ обличителямъ древнегреческаго политеизма наши книжники предполагали и въ русскихъ людяхъ, не знавшихъ въ то время ни греческаго языка, ни даже названій греческихъ боговъ, какія-то „еллинскія заблужденія“, „еллинскія прелести“ и обличали ихъ въ

поклоненіи будто бы Дію (Зевсу) и Артемидѣ. Всякое невинное веселье, всякая шутка строго осуждались. „Смѣхъ не созидаетъ, не хранитъ; говоритъ древне русскій книжникъ, „но погубляетъ, и созиданіе разрушаетъ, смѣхъ Духа Святаго печалитъ, не пользуется и тѣло растлѣваетъ; смѣхъ добродѣтели прогнать, потому что не помнить о смерти и вѣчныхъ мукахъ. Отыми отъ меня, Господи, смѣхъ и даруй плачь и рыданіе“. „Домострой“ представляетъ интересное изображеніе трапезы съ гостями; „егда ѣдяху съ благодареніемъ и съ молчаніемъ или съ духовною бесѣдою, тогда ангели невидимо предстоятъ и пишутъ дѣла добрая; и ѣства въ сладость бываетъ....“ „аще скарედныя рѣчи и блудное срамословіе и смѣхотвореніе, и всякое глумленіе, или гусли и плясаніе, и скаканіе, и всякія игры, и пѣсни бѣсовскія, — тогда якоже дымъ отгонитъ пчелы, также и отыдутъ ангели Божіи отъ тоя трапезы и смрадныя бесѣды; и возрадуются бѣси....“ Даже въ XVII вѣкѣ, въ началѣ царствованія Алексѣя Михайловича, который только въ послѣдствіи сталъ отступать отъ аскетическихъ правилъ, подвергаются проклятіямъ и преслѣдованію „сатанинскія пѣсни“, „еллинскіе обычаи“, „прелестники“, „скоморохи“ и „бѣсовскія игры“. Въ половинѣ XVII вѣка, по разсказу ученаго путешественника, саксонца Олеарія, въ самой Москвѣ патріархъ велѣлъ собрать всѣ музыкальные инструменты и сжечь ихъ на Болотѣ, гдѣ казнили въ то время преступниковъ. „Эти безконечныя проклятія“, говоритъ академ. А. Н. Пыпинъ, „достигли только одной цѣли: они лишили литературу непосредственной жизненности, богатаго источника художественной красоты, лишили потомство самыхъ

яркихъ свидѣтельствъ о пережитой исторіи (потому что многія преданія исчезли изъ памяти народной безслѣдно); но все-таки не смогли истребить эту народную поэзію. Она продолжала жить въ народѣ, не смотря на всѣ запрещенія, потому что была слишкомъ необходимымъ элементомъ бытовой и нравственной жизни, неустранимой эстетической потребностью⁴.

Мы увидимъ вскорѣ, какъ глубоко заблуждались наши славянофилы и ихъ позднѣйшіе послѣдователи, считая именно Русь Московскую хранительницею истиннаго народнаго духа, его сокровенныхъ глубинъ.

Итакъ, старая русская письменность, слагавшаяся по чужимъ образцамъ, была безжизненна, лишена художественной красоты, потому что чуждалась живого источника — народнаго преданія; она все время относилась къ нему враждебно. Но не смотря на это, народное преданіе сохранилось. Народъ сохранилъ свои пѣсни, сказки, былины, пословицы, причитанія и т. п. Поэтическое его творчество не прекращалось, потому что составляло естественную духовную потребность. Выдѣляя изъ своей среды особенно одаренныхъ природою личностей: пѣтарей, бахарей, сказителей, вопленицъ, каликъ, скомороховъ, кобзарей и пр., народъ продолжалъ свою творческую работу подъ самыми разнообразными вліяніями: и подъ вліяніемъ своей церковной книги, и подъ вліяніемъ чужого сказанія, все усваивая, всему придавая свой національный колоритъ.

Словесное художественное творчество русскаго народа, какъ и всякаго другого, существовало искони. Задолго до введенія христіанства и начала нашей письменности у насъ, несомнѣнно, находился въ обращеніи значительный запасъ

народно-поэтического преданія. Неопровержимымъ тому свидѣтельствомъ служить, между прочимъ, глубоко приникнутый народнымъ духомъ знаменитый памятникъ нашей старой письменности — „Слово о полку Игоревѣ“, давшее возможность профес. Буслаеву сдѣлать блестящую и вѣрную догадку объ обилии и широкомъ распространеніи народнаго поэтического преданія въ эпоху, даже предшествовавшую поэзіи Бояна. Но мы не знаемъ этого стараго эпоса, отрывки и слѣды котораго дошли до насъ, въ тщательно собранныхъ въ настоящее время и напечатанныхъ былинахъ. Вслѣдствіе враждебнаго отношенія нашихъ книжниковъ къ поэтическимъ произведеніямъ народа они долгое время не записывались, переходили отъ одного поколѣнія къ другому въ теченіе многихъ вѣковъ устно и на этомъ длинномъ пути должны были, конечно, значительно измѣниться. Многое изъ ихъ стараго содержанія потерялось совсѣмъ, многое изъ сохранившагося, утративъ свой старый смыслъ, могло подвергнуться передѣлкамъ, искаженіямъ, наконецъ, многія новыя черты были наложены позднѣйшими эпохами.

А между тѣмъ сохраненіе въ возможной цѣлости народнаго преданія имѣетъ чрезвычайно важное значеніе въ литературѣ. У всякаго народа между книжною литературою и устною народною поэзіею существуетъ тѣсная связь и взаимное вліяніе. Поэтическія преданія, попадая въ руки книжныхъ людей, подвергаются обработкѣ: искусственной группировкѣ фактовъ, урѣзкамъ однихъ частныхъ, распространенію и дополненію другихъ, облюбованныхъ возбужденною фантазіею писателя. Обработанное такимъ образомъ и записанное преданіе становится уже предметомъ чтенія, а не устной передачи, легендой въ точномъ

смыслъ этого слова. Легенда, создавшаяся на народной основѣ, спускается обратно въ нижніе слои народа, который, читая или слушая ее въ собственной устной передачѣ, вновь передѣлываетъ на свой ладъ, придавая ей мѣстную окраску. Такимъ образомъ на христіанскомъ востокѣ (въ Египтѣ, Сиріи, на Балканскомъ полуостровѣ), создалась вся та масса христіанскихъ легендъ, которыя распространились потомъ по всей западной Европѣ и у насъ Мы получили ихъ главнымъ образомъ изъ ближайшаго источника — отъ южныхъ славянъ, въ сербскихъ и болгарскихъ переводахъ и отчасти передѣлкахъ.

Но судьба христіанской легенды у насъ и на Западѣ была различна. У насъ значительная часть ея была отвергнута („отреченная легенда“) книжниками, всегда относившимся къ ней подозрительно, и потому она хотя и проникла въ народъ и оставила слѣды въ разныхъ сказаніяхъ, повѣрьяхъ народныхъ, былинахъ, особенно въ духовныхъ стихахъ, но довольно поздно. По той же причинѣ она не могла повліять на верхи русскаго общества и не имѣла дальнѣйшаго литературнаго развитія. На Западѣ же она не только проникла въ народную мысль, но и поднялась въ литературныя сферы, подвергалась поэтической обработкѣ писателей различныхъ національностей, иногда входила въ циклъ рыцарскихъ сказаній (какъ въ легендѣ о св. Гралѣ и Артурѣ) и наконецъ на ея основѣ, именно на основѣ сказаній о хожденіяхъ по раю и аду, создалась великая поэма Данта, отразившая въ нѣкоторыхъ частностяхъ современную поэту жизнь его родины, а въ цѣломъ все средневѣковое міросозерцаніе. Она имѣетъ и общечеловѣческое, и вѣчное значеніе. Поэтическій талантъ Данта создалъ такіе

реальные образы, которые оставили далеко позади старые образы легенды и, дѣлая шагъ впередъ, открывалъ путь для дальнѣйшаго развитія поэзіи. Когда средневѣковое міросозерцаніе было пережито, новыя движенія западной мысли — гуманизмъ и реформація — отодвинули его въ область далекихъ воспоминаній, и оно продолжало жить только въ нижнихъ слояхъ народа, а вверху сдѣлалось вскорѣ предметомъ научныхъ изслѣдованій. У насъ же средневѣковое міросозерцаніе стало настолько прочнымъ и почти общимъ достояніемъ, что только къ концу XVIII вѣка начало расшатываться и то только въ верхахъ образованнаго общества... Сатира Ека-терининской эпохи и современные ей мемуары показываютъ намъ, какъ оно твердо держалось въ русскомъ обществѣ. Если фонвизинская г-жа Простакова широко типична и его совѣтница, по словамъ гр. Панина, всѣмъ родня, то и полуграмотный суевѣрный дворянинъ Нащокинъ, бессмысленно глумившійся надъ убитымъ при электрическихъ опытахъ профес. Рихманомъ, не представлялъ для своего времени рѣдкаго исключенія.

Мы уже говорили, что, при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, народъ нашъ все-таки сохранилъ свою поэзію. Намъ необходимо теперь сказать о ея важномъ значеніи для старой и новой русской литературы. По прошествіи столѣтій со времени введенія христіанства, овладѣвъ, наконецъ, основнымъ христіанскими истинами, народная поэзія, хотя и поздно, и съ трудомъ начала, однако, проникать въ старую нашу письменность. Этотъ народно-поэтический элементъ былъ вскрытъ въ ней также профес. Буслаевымъ, который мастерски сумѣлъ изъ отдѣльных обмолвокъ стараго книжника, изъ безсознательно и отрывочно зане-

сенныхъ въ книгу народныхъ чертъ возстановить цѣльную картину патріархальнаго быта, показать силу религіознаго народнаго чувства и опредѣлить основныя черты уже христіанизованнаго народнаго міровозрѣнія. „Главное вниманіе историка русской литературы“, говоритъ онъ, „должно быть обращено на народныя преданія и сказанія, составляющія основу всѣхъ лучшихъ духовныхъ повѣствованій. Не смотря на разнообразіе интересовъ не только церковныхъ, но и свѣтскихъ, не смотря на примѣсь вымысла и даже міеологіи, эти народныя сказанія дышатъ неподдѣльнымъ чувствомъ искренняго вѣрованія...“ „въ нихъ больше чистоты убѣжденій и искренности, нежели во многихъ витіеватыхъ передѣлкахъ, разбавленныхъ пустымъ многословіемъ“ (т.-е. „плетеніемъ словесъ“). Изъ производимаго Буслаевымъ искуснаго анализа одного и того же повѣствованія по различнымъ его спискамъ и редакціямъ мы, дѣйствительно, убѣждаемся и въ искренности вѣрованій, и въ разнообразіи интересовъ народа, и въ присутствіи міеическаго элемента. Эта легендарная поэзія, полународная, полукнижная возникла у насъ съ первыми монастырями нашими, но распространялась также медленно въ народныхъ массахъ, какъ и самое христіанство. Последующее возвышеніе и паденіе разныхъ областей и городовъ ярко отразилось въ ней. Есть между прочимъ очень интересныя примѣры различныхъ областныхъ точекъ зрѣнія и сообразно съ ними мѣстныхъ видоизмѣненій одной и той же легенды. Народный духъ, складъ народной фантазіи все-таки хотя и поздно, и отрывочно, сказался, какъ мы видимъ, на многихъ произведеніяхъ нашей до-петровской письменности. Начавшись простой перепиской привезенныхъ къ намъ книгъ на чу-

жомъ языкѣ, а потомъ перейди къ подражанію чужимъ образцамъ, она невольно, однако, ~~должна~~ была допустить, хотя въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ затрогивались живые вопросы русской жизни, чисто русскія слова и цѣлыя изреченія. Такимъ образомъ русская дѣйствительность и рѣчь — насильно врывались въ книгу, но имъ препятствовало невѣжественное самомнѣніе книжниковъ, заставлявшее выражаться изысканно, чуждаться жизни и живой рѣчи. Еслибы наше просвѣщеніе не упало такъ низко, какъ оно упало въ Московскій періодъ, и гоненіе „міра и плоти“ не овладѣло нашими московскими книжниками въ такой степени, можно съ увѣренностью сказать, что нашей литературѣ предстояло бы болѣе успѣшное развитіе.

Но сложившійся, повидимому, прочно строй древне-русской жизни сталъ колебаться подъ напоромъ новыхъ незамѣтно въ теченіе вѣковъ прокрадывавшихся западныхъ вліяній. Дѣло началось съ вопросовъ религіозныхъ, господствовавшихъ въ жизни древней Руси. Съ конца XIV вѣка въ Новгородѣ и Псковѣ, которые не прерывали своихъ торговыхъ связей съ Европой, появляется цѣлый рядъ ересей, возникшихъ подъ вліяніемъ уже бродившихъ тогда въ Европѣ протестанскихъ идей. При всѣхъ извѣстныхъ крайностяхъ, въ которыя впадали наши еретики, въ ихъ взглядахъ обнаруживается часто болѣе высокое религіозное пониманіе и возвышенныя гуманныя стремленія къ равенству и свободѣ, какъ это выразилось, напримѣръ, у боярскаго сына, Матвѣя Башкина, давшего свободу своимъ рабамъ. Еретики нерѣдко обращались къ пастырямъ съ справедливымъ укоромъ, указывая на ихъ жизнь, далекую отъ евангельскихъ заповѣдей, на церковный форма-

лизмъ и небрежное отношеніе къ своей паствѣ, лишенной вразумительнаго разъясненія св. писанія. Не мало также волновалъ вопросъ о монастырскихъ имуществѣхъ,—вопросъ, приличествуетъ ли монастырямъ накапливать большія богатства и владѣть населенною собственностью, т.-е. крестьянами, собирая съ нихъ оброки. Впрочемъ и въ самой учительной средѣ находились люди съ болѣе высокимъ уровнемъ образованія и болѣе глубокимъ пониманіемъ религіозныхъ истинъ, которые возставали противъ тѣхъ же недостатковъ своего сословія: противъ роскошной и праздной жизни въ монастыряхъ, противъ стремленія монастырей къ накопленію богатствъ и въ особенности противъ крайней нетерпимости и жестокости въ отношеніяхъ къ еретикамъ. Таковы были мнѣнія преподобнаго Нила Сорскаго и его послѣдователей, подвижниковъ, извѣстныхъ подъ именемъ „заволжскихъ старцевъ“. Все это сильно взволновало охранителей стараго преданія, особенно къ концу XV вѣка. Закипѣла жестокая борьба между новыми и старыми взглядами. Представителями послѣднихъ явился знаменитый архіеп. Геннадій и Іосифъ, основатель Волоколамскаго вскорѣ разбогатѣвшаго монастыря. Борьба перешла и въ XVI вѣкъ, продолжалась и по смерти Іосифа Волоколамскаго его учениками, „іосифлянами“, занимавшими потомъ высшія церковныя должности. Русская охранительная партія, убѣжденная въ томъ, что та земля, которая „переставливаетъ“ обычаи, недолго живетъ, всѣми силами старалась особенно на Стоглавомъ соборѣ „утвердить неколебимо въ роды и роды русскую національную отчину и православную старину“. Но ни цѣлые соборы, собиравшіеся для строгаго осужденія еретиковъ и всякаго рода новшествъ,

ни заточенія, ни казни не могли уничтожить новыхъ взглядовъ. Они продолжали держаться въ русскомъ обществѣ и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе развивались и распространялись при поддержкѣ постепенно усиливавшихся вліяній Запада. При всѣхъ нашихъ стараніяхъ отдаляться отъ „латины“, мы никакъ не могли оградить себя окончательно отъ западныхъ книжекъ, идей, обычаевъ, которые вторгались въ нашу жизнь вмѣстѣ съ пробуждавшимся запросами русской мысли и нарождавшимися потребностями русскаго государства. Москва не имѣла средствъ къ ихъ удовлетворенію: въ ней отсутствовали какъ научныя, такъ и многія необходимыя практическія знанія. Пришлось по неволѣ обращаться къ иностранцамъ. Мы стали вызывать съ Запада образованныхъ людей, художниковъ, техниковъ, мастеровъ. Къ концу XVII вѣка въ Москвѣ выросла цѣлая нѣмецкая слобода, уже имѣвшая возможность удовлетворить живую любознательность великаго преобразователя Россіи.

Первыя движенія русской мысли, какъ и слѣдовало ожидать, обнаружились въ области религіозныхъ вопросовъ. Это было, какъ мы сказали, въ концѣ XIV вѣка. Но уже въ первой половинѣ XVI замѣчается вліяніе западныхъ свѣтскихъ книгъ, нарождается „земская мудрость“, т.-е. является потребность въ свѣтскомъ знаніи. „Вліяніе латинства“, фряжскаго на жизнь, литературу, искусство, „говорить ак. Тихонравовъ, очень ощутительно въ Московскомъ государствѣ въ это столѣтіе; два направленія въ литературѣ и просвѣщеніи — новое и старое уже выясняются въ XVI вѣкѣ: расколъ (не церковный, а общественный) обнаружился“. И въ самомъ дѣлѣ, появляются книги съ западнымъ направленіемъ:

альманахи, планидники, книги о судьбѣ. Распространяются астрологическія сусвѣрія. Русскіе люди заглядываютъ въ эти новыя книги и въ нихъ ищутъ разрѣшенія своихъ недоумѣній, перестаютъ бояться думать и разсуждать; несмотря на строгіе запреты, налагаемые Стоглавомъ и Домостроемъ, начинаютъ интересоваться явленіями природы. Не только въ литературѣ, но и въ жизни становится замѣтнымъ вліяніе западныхъ обычаевъ, и въ искусствѣ иконописномъ является новая манера — начинаютъ писать „по живству“. Все это представляетъ значительный шагъ впередъ сравнительно съ тою умственной неподвижностью, которою отличался предшествующій періодъ. Но западническая партія въ то время не имѣла еще настолько силы, чтобы торжествовать побѣду надъ охранителями. На сторонѣ послѣднихъ стояло большинство старыхъ книжниковъ и власти, какъ свѣтская, такъ и духовная. Стоглавый соборъ рѣшительно заявилъ о своихъ симпатіяхъ къ старинѣ; онъ возвелъ на степень догматовъ и освятилъ своимъ авторитетнымъ признаніемъ всѣ тѣ мелочныя правила русской церковной практики, которыя возникли на почвѣ своеобразнаго пониманія религіи и являлись чисто національными особенностями, отличавшими русское православіе. Но прошло не болѣе ста лѣтъ, какъ всѣ эти мнѣнія и правила были осуждены, и тѣ, которые остались имъ вѣрны, подверглись преслѣдованіямъ, какъ раскольники.

За это время въ Москвѣ произошли значительныя перемѣны. Для борьбы съ католической пропагандой въ Кіевѣ въ началѣ XVII вѣка появилась академія, гдѣ учили древнимъ языкамъ, грамматикѣ, риторикѣ и др. наукамъ, принятымъ въ іезуитскихъ польскихъ училищахъ. Питомцамъ

этой академіи суждено было занести въ Москву первыя начала просвѣщенія. Въ половинѣ этого вѣка любимецъ тишайшаго царя московскій бояринъ Ртищевъ вызвалъ изъ Кіева для своей только-что основанной школы нѣсколько ученыхъ иноковъ, которые должны были учить латини, греческому языку и разнымъ наукамъ, новымъ для Москвы, при чемъ и самъ бояринъ сѣлъ на ученическую скамью. Вопросъ о неискренности церковныхъ книгъ давно подымался въ Москвѣ. Въ началѣ XVI вѣка для перевода и исправленій книгъ былъ вызванъ съ Афона учившійся на Западѣ инокъ Максимъ Грекъ, о неискренности книгъ заявлялъ Стоглавъ и совѣтовалъ писать ихъ съ „добрыхъ переводовъ“, которыхъ, кстати сказать, почти не было. Въ началѣ XVII вѣка вопросъ этотъ былъ поднятъ снова. Но при невѣжествѣ нашихъ книжниковъ и благоговѣйномъ отношеніи къ буквѣ писанія, книжное исправленіе было дѣломъ опаснымъ. Когда помощникъ Максима Грека долженъ былъ въ одной молитвѣ исправить нѣсколько дѣйствительно невѣрныхъ строкъ, то его „дрожь великая поймала, и ужасъ напалъ“. Неудивительно, что первые справщики XVII вѣка: Діонисій, игумень Троицкаго монастыря, и инокъ, Арсеній Глухой, жестоко пострадали, какъ и ихъ предшественникъ въ этомъ дѣлѣ, Максимъ Грекъ. Они безвинно подверглись пыткамъ и заточенію, заподозрѣнные въ ереси. Арсеній справедливо замѣтилъ о своихъ обвинителяхъ, что они не знаютъ „ни православія, ни кривославія, божественныя писанія по чернилу проходятъ, разума же въ нихъ не нудятся свѣдѣти... Есть иніи и таковы, которые на насъ ересь взвели, а сами едва и азбуку знаютъ, а что восемь частей слова разумѣть, роды, числа,

времена и лица, званія и залого, то имъ и на разумъ не всхаживало, священная философія и въ рукахъ не бывала“. Съ половины XVII вѣка книжное исправленіе переходитъ въ руки кievскихъ ученыхъ; оно начинается еще при патріархѣ Іосифѣ, но особенно ревностно принимается за него Никонъ, шестилѣтнее патріаршество котораго ознаменовано происхожденіемъ церковнаго раскола. Ученые кievляне нашли, что и печатные тексты, и рукописи полны ошибокъ. Пришлось обратиться къ греческимъ подлинникамъ, за которыми нарочно посылали на Аѳонъ. По сличеніи съ ними въ русскихъ рукописяхъ, кромѣ разнаго рода ошибокъ, найдены были недавнія вставки, очевидно, сдѣланныя невѣжественными прежними справщиками, но сдѣланныя согласно съ установленными на Стоглавомъ соборѣ мнѣніями и правилами. Надлежало сдѣлать исправленія по привезеннымъ греческимъ оригиналамъ. Вѣрность такого рѣшенія подтверждалась и пріѣхавшими въ Москву вселенскими патріархами. Но ни ученые кievляне, ни греческія книги, ни даже вселенскіе патріархи не представлялись авторитетными въ глазахъ московскихъ книжниковъ — старовѣровъ, за которыми теперь стояла уже значительная часть народа. Какъ кievляне, такъ и греки давно уже подозрѣвались въ ереси. Протопопъ Аввакумъ убѣжденно говорилъ вселенскимъ патріархамъ, что у нихъ „православіе пестро стало отъ насилія турецкаго Махмета“, и рекомендовалъ имъ у насъ учиться. Всѣ попытки примирить взгляды старовѣровъ съ никоновскими нововведеніями были безуспѣшны. Противники не понимали другъ друга: одни относились критически къ книжному содержанію и разсматривали его съ научной исторической точки зрѣнія,

съ которой многое въ русской церковной книгѣ и обрядѣ являлось неправильнымъ уклоненіемъ отъ вселенской старины и практики, другіе слѣпо вѣрили въ написанную букву, и для нихъ не существовало никакой старины и практики, кромѣ московской. И греки, и южные славяне, и юго-западные руссы, по ихъ мнѣнію, отступили, принявъ унию, отъ чистаго православія, и оно сохранилось нерушимымъ только въ Московскомъ царствѣ. Эта мысль о московскомъ царствѣ, какъ единомъ во всемъ мірѣ православномъ, была, мы уже знаемъ, старая, но она вошла теперь въ плоть и кровь московскихъ людей и имѣла уже широкое распространеніе въ народѣ. Тѣ книжныя особенности и мелочи церковнаго обряда, за которыя такъ твердо стояли старовѣры, были чисто русскими, національными, выросшими на почвѣ своеобразнаго народнаго пониманія религіи и поэтому были для нихъ особенно цѣнны съ своей національной точки зрѣнія. Въ сущности старовѣры отстаивали ту самую національную „отчину“ и „православную старину“, которую старался утвердить неколебимо въ роды и роды „Стоглавый соборъ“. Такимъ образомъ церковный расколъ подготовлялся вѣками и былъ неизбѣжнымъ послѣдствіемъ и завершеніемъ московскаго періода нашей исторіи. Совершившимся при Никонѣ отдѣленіемъ громадной части русскаго народа отъ господствующей церкви объясняется въ значительной мѣрѣ тотъ разрывъ между интеллигенціей и народомъ, въ которомъ славянофилы, какъ увидимъ, исключительно обвиняли Петра.

Для насъ весьма важно также указать здѣсь и на другое имѣющее связь съ первымъ несправедливое обвиненіе преобразователя, будто онъ своими реформами остановилъ или прервалъ

самобытное развитіе русскаго народа. Изъ нашего, хотя и бѣглаго, очерка все-таки видно, что тотъ процессъ, который заслуживаетъ названія развитія, начался за долго до Петра. Борьба старыхъ понятій съ новыми, какъ мы видѣли, обнаружилась у насъ съ конца XIV вѣка, когда подъ вліяніемъ западныхъ идей впервые тронулась и забродила до-петровская Русь. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе усиливались западныя вліянія и расширялись. Въ XVI и XVII вѣкахъ шла горячая борьба между охранителями старины и приверженцами новыхъ взглядовъ. Въ этой борьбѣ старой Руси съ новой, какъ мы сказали, побѣда была въ XVI вѣкѣ на сторонѣ консервативной партіи, но уже съ половины XVII вѣка, съ расширеніемъ западнаго вліянія и съ переходомъ правительства на сторону новаго направленія, дѣло принимаетъ иной болѣе благопріятный оборотъ для этого направленія. Тѣ самыя „новшества“ зарожденіе которыхъ обличалъ Стоглавъ, теперь становятся господствующимъ явленіемъ, по словамъ ак. Тихонравова. „Этотъ поворотъ къ западному отражалъ на себѣ паденіе аскетическаго идеала Византіи и вызывалъ также осужденіе приверженцевъ старины. Старовѣры называли своихъ противниковъ „альманашиками“, „звѣздо-четцами“, говорили о нихъ, что они „вздымаются выше облака, хвалятся разумѣніемъ небесныхъ и земныхъ своею внѣшнею мудростью, измѣряютъ лице небу и земли“... Но Москва, этотъ третій Римъ, твердая прежде опора древнерусскаго благочестія и центръ его, въ XVII вѣкѣ начинаетъ измѣнять ему и въ глазахъ старовѣровъ становится „новымъ Вавилономъ“, воздвигающимъ на нихъ гоненія, которыя заставляютъ ихъ оставить „пространство житія“ (т.-е. спокойную жизнь) и

идти „тѣснымъ путемъ“, (т.-е. или укрываться отъ преслѣдованій, разбѣгаясь по окраинамъ Московскаго государства, или томиться въ заточеніи). Отсюда, какъ нельзя болѣе ясно, что и западное вліяніе началось, и разрывъ между народомъ и образованнымъ классомъ совершился задолго до появленія Петра. Видно также, что Петръ своими преобразованіями въ европейскомъ духѣ вполнѣ выражалъ давнія стремленія русскихъ людей выйти изъ тѣсныхъ рамокъ стараго преданія, освободиться отъ церковной опеки и въ усвоеніи европейскаго знанія найти новые пути къ свободной работѣ ума, къ свободному убѣжденію. Если геній и могучая воля Петра дали сильный толчекъ этому движенію, то отъ этого нисколько не измѣнилось направленіе, въ которомъ, какъ мы видѣли, съ XIV вѣка двигался русскій умъ, ища освобожденія.

До-петровской Руси все время недоставало того общечеловѣческаго начала, безъ котораго невозможно развитіе какого бы то ни было народа, и она сама жадно искала его съ давнихъ поръ. Гдѣ же ей было искать его, какъ не на Западѣ, у тѣхъ народовъ, которые опередили ее въ культурномъ развитіи? И могла ли она остаться при тѣхъ одностороннихъ обветшалыхъ взглядахъ, которые отстаивались старовѣрами? По ихъ мнѣнію, намъ нужно было только сохранить старую форму религіи; это они считали совершенно достаточнымъ какъ для настоящей, такъ и для будущей жизни русскаго народа. Объ усвоеніи научнаго знанія, о дальнѣйшемъ развитіи не было и рѣчи. Напротивъ, въ поученіяхъ и школьныхъ записяхъ XVII вѣка писали: „Братіе, не высокоумствуйте, но въ смиреніи пребывайте, по сему же и прочая разумѣвайте. Аще кто ти речеть: вѣси ли

всю философію? И ты ему рци: еллинскихъ борзостей не текохъ, ни риторскихъ (!) астрономъ не читахъ, не съ мудрыми философы не бывахъ, учуся книгамъ благодатнаго закона, аще бы мощно моя грѣшная душа очистити отъ грѣха“; или говорилось: „учися грамотѣ, учися и держати умъ, высочайшаго не ищи, глубочайшаго не испытай“. Князь Курбскій, сочувствовавшій просвѣщенію, свидѣтельствуетъ, что въ Московской Руси запрещаютъ чтеніе книгъ любознательнымъ юношамъ, пугая тѣмъ, что этотъ отъ книгъ „ума изступилъ“, „въ книгахъ зашелся“, а тотъ „въ ересь впалъ“. Задолго до Петра сознавалось потребность въ ученѣ. Толковали объ ученѣ давно и очень много. О необходимости его говорилъ еще знаменитый архіепископъ Геннадій въ концѣ XV вѣка, о заведеніи училищъ толковалъ Стоглавый соборъ въ XVI вѣкѣ, въ XVII вѣкѣ объ этомъ говорятъ еще чаще, но когда въ половинѣ этого столѣтія бояринъ Ртищевъ открылъ школу, гдѣ преподавали ученые кіевляне, то къ ней отнеслись враждебно: кіевскіе иноки-учителя оказались „старцами недобрыми“, а про обученіе латинскому языку прямо говорили: „кто по-латыни научился, тотъ съ правого пути со-вратился“. Заиконоспасское училище съ латинскимъ языкомъ, основанное Симеономъ Полоцкимъ и покровительствуемое самимъ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ, встрѣтило враждебное отношеніе со стороны Чудовской школы съ греческимъ языкомъ, въ которой господствовало московское консервативное направленіе. Возникшая мелочная богословская полемика между руководителями ихъ велась въ духъ того времени и имѣла, какъ извѣстно, жестокой конецъ для талантливаго ученика Симеона Полоцкаго, Сильвестра Медвѣдева,

дѣятеля съ большими литературными и общественными заслугами, оклеветаннаго своими врагами и невинно казненнаго. Очень характерна для стараго московскаго направленія грамота царя Ѳеодора Алексѣевича, ученика Симеона Полоцкаго, данная Московской академіи, которая тогда проектировалась. „Отъ церкви благословенныя и благочестивыя науки да будутъ“, говоритъ она, „а отъ церкви возбраняемыхъ наукъ, наипаче же магіи естественной и иныхъ, такимъ не учить и учителей таковыхъ не имѣти. А еще таковые учителя, гдѣ обрящутся, и оныя со учениками, яко чародѣи, безъ всякаго милосердія да сожгутся“. Науки, слѣдовательно, раздѣлялись на благочестивыя и неблагочестивыя, на благословенныя отъ церкви и неблагословенныя, и нетрудно догадаться, что всякое знаніе, не входящее въ кругъ церковно-служебныхъ свѣдѣній, подвергалось строгому осужденію и относилось къ разряду неблагочестивыхъ наукъ. Та же грамота запрещала имѣть иностранныхъ учителей въ домахъ, а пріѣзжающихъ иностранцевъ постановляла подвергать испытанію въ вѣрѣ черезъ блюстителя и учителей академіи. „Московская академія (по проѣкту) царя Ѳеодора“, говоритъ историкъ Соловьевъ, — „это цитадель, которую хотѣла устроить для себя православная церковь при необходимомъ столкновеніи съ иновѣрнымъ Западомъ; это не училище только, — это страшный инквизиціонный трибуналъ; произнесутъ блюстители съ учителями слова: виновенъ въ неpravoslavіи“, — и костеръ запылаетъ для преступника!“ Старая до-петровская Русь жила „простыней ума“ и „нелюбопытательное благочестіе“ ставила выше всего. Одно изъ поученій говоритъ: „богомерзостенъ предъ Богомъ любяй геометрію, а се

душевниі грѣси учиться астрологіи и еллинскимъ книгамъ... Проклинаю мудрость тѣхъ, иже „зрять на кругъ небесный“... Указывалась одна только истина, не ведущая къ гибели: „елико ти предано отъ Бога готовое ученіе, то содержи“.

Вторая половина XVII вѣка была временемъ крутого перелома въ умственной жизни русскаго народа. Шла жестокая беспощадная борьба старой Руси съ народившейся новой. Церковный расколъ широко захватывалъ русскую жизнь, онъ касался вопросовъ семейныхъ, общественныхъ, государственныхъ. Въ немъ сказалось все наше прошлое: и вѣковой умственный застой, результатомъ котораго было круглое невѣжество, и національное самомнѣніе, издавна изумлявшее иностранцевъ, и крайняя нетерпимость ко всему иноземному, проявлявшаяся на каждомъ шагу, и грубость нравовъ, обнаруженная въ этой кровавой борьбѣ обѣими противными сторонами. Старовѣры не признавали науки, не хотѣли мириться ни съ какими полезными нововведеніями; они отстаивали старый аскетическій идеалъ, которымъ отрицались всѣ свѣтлыя явленія человѣческой жизни. „Дѣтей своихъ учите, Бога для, неослабно страху Божию; играть не велите“, поучалъ протопопъ Аввакумъ. По его совѣтамъ и наставленіямъ, вся жизнь должна быть построена по строгимъ монашескимъ правиламъ. Его негодованіе возбуждала и новая манера болѣе живого иконописанія, появлявшаяся у насъ съ XVI вѣка. Съ строгимъ осужденіемъ относился онъ ко всѣмъ нововведеніямъ. „Охъ, охъ, бѣдная Русь!“ восклицалъ онъ, „чего-то тебѣ захотѣлось нѣмецкихъ поступковъ и обычаевъ?“

Москва до Никона въ его глазахъ была образцомъ церковнаго и гражданскаго устройства. Те-

перь онъ оплакивалъ эту старую Московскую Русь. Но въ концѣ XVII вѣка старые взгляды уже теряли свою силу. Иноземное знаніе, искусство, обычаи, обстановка жилищъ сильно привлекали русскихъ людей. Даже среди духовныхъ лицъ находились люди образованные, какъ, напр., Димитрій Ростовскій, употреблявшій латинскій языкъ въ своихъ письмахъ и цитировавшій латинскихъ классиковъ. Югозападные русскіе ученые и нѣмецкая слобода, можно сказать, сдѣлали свое дѣло. Съ помощью первыхъ произведено было исправленіе церковныхъ книгъ, возникла новая для насъ схоластическая школа, свѣтская литература, появилась у насъ польская школьная драма; вторая положила начало нѣмецкимъ сценическимъ представленіямъ, которыхъ также не знала старая Русь, и познакомила съ иноземнымъ обычаемъ, знаніемъ и искусствомъ. Въ лицѣ Симеона Полоцкаго и его ученика Сильвестра Медвѣдева, мы видимъ первыхъ свѣтскихъ писателей и придворныхъ стихотворцевъ. „Послѣдніе годы XVII вѣка“, говоритъ акад. А. Н. Пыпинъ, „царствованіе Θεодора Алексѣевича и правленіе царевны Софьи, задолго до первыхъ нѣсколько опредѣленныхъ дѣйствій юноши Петра, представляютъ обильный наплывъ разнородныхъ западныхъ вліяній въ дѣлѣ военномъ, промышленномъ, бытовомъ, наконецъ, книжномъ, — наплывъ безпорядочный, случайный, но несомнѣнно нарушавшій лѣнивое теченіе стараго преданія, носившій въ себѣ зародыши многихъ движеній дальнѣйшаго времени“. Могучая воля Петра I придала этому неправильному, безпорядочному, случайному наплыву европейскихъ новшествъ правильность, порядокъ, постоянство, устраняя по возможности все то, что задерживало или стѣсняло наше сближеніе

съ образованнымъ Западомъ. Западныя вліянія идутъ теперь уже прямою дорогою къ намъ изъ Европы, а не пробираются окольными путями черезъ Псковъ и Новгородъ или Польшу и Кіевъ.

Процессъ, совершавшійся вначалѣ безсознательно, стихійно, превратился въ сознательное стремленіе русскаго ума выбиться изъ-подъ церковной опеки, стѣснявшей всякое свободное его движеніе. Какъ росло народное сознаніе, какъ постепенно въ теченіе вѣковъ прогрессировала русская народная мысль, прекрасно показано акад. Тихонравовымъ въ изслѣдованіи цикла сказаній о раѣ, начиная съ посланія новгородскаго архіепископа Василя (XIV вѣка) къ тверскому епископу Θεодору и кончая повѣстью о бражникѣ (XVII вѣка). „Древнѣйшіе памятники этого цикла, принятые древнею Россіею изъ Византіи, открываютъ доступъ въ земной рай только святымъ и суровымъ аскетамъ, умертвившимъ въ себѣ воздержаніемъ и молитвою всѣ вожделѣнія плоти...“ Повѣсть же о бражникѣ допускаетъ въ рай мірянина-гуляку.

Тихонравовъ показываетъ, какъ самая мысль о существованіи рая на землѣ, несомнѣнная для новгородскаго владыки Василя въ XIV вѣкѣ, подвергается чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе и болѣе сомнѣніямъ. Архіепископъ Василій рассказываетъ о своихъ духовныхъ дѣтяхъ, нашедшихъ на горѣ земной рай и не возвратившихся оттуда, какъ о дѣйствительномъ фактѣ. Московскія сказанія XV вѣка уже придаютъ видѣніямъ земного рая аллегорическій смыслъ. А въ XVII вѣкѣ сомнѣнія въ существованіи рая на землѣ выражаются сатирическою пословицею: „новгородскій рай нашелъ!“ и повѣстью „О бражникѣ“, которая пародируетъ сказанія этого цикла. Повѣсть раз-

сказываетъ о бражникѣ, который „зѣло много вина пилъ во вся дни живота своего, — а всякимъ ковшомъ Господа Бога славилъ“. По смерти онъ является передъ воротами рая и спорить съ разными святыми, не пускающими его въ рай. Онъ въ каждомъ находитъ какую-нибудь чело-вѣческую слабость и, указывая на нее, настаиваетъ на своемъ правѣ имѣть мѣсто въ раю наряду съ ними. Эта повѣсть, по словамъ Тихо-нравова, проводитъ мысль, что жизнь не должна быть бичеваніемъ плоти, что матерія имѣетъ свои неотъемлемыя права. Въ новозавѣтныхъ святыяхъ, апостолахъ, евангелистахъ бражникъ открываетъ чело-вѣческія увлеченія, не помѣшавшія имъ до-стигнуть рая. Не грозный богословскій форма-лизмъ, не суровый аскетизмъ, а евангельское слово любви составляетъ сущность христіанства, по понятіямъ бражника. Евангелисту, который замыкаетъ веселому гулякѣ врата рая, этотъ „міролюбецъ“... говоритъ: „Выдери изъ евангелія тотъ листъ, гдѣ написано: любите другъ друга“. „Въ складѣ понятій бражника“, восклицаетъ Тихо-нравовъ, „не выражается ли окрѣпшее направленіе новой исторической эпохи, того XVII вѣка, въ кото-ромъ, къ ужасу отсталыхъ старовѣровъ, не только среди мірскихъ, но и среди иноковъ ослабѣло гоне-ніе плоти, міра и дьявола? Не высказывается ли въ бражникѣ чело-вѣкъ, созрѣвшій для реформы и готовый встрѣтить ее горячимъ сочувствіемъ“...

Такимъ образомъ, мы видимъ ясно, какъ глу-боко проникало національную мысль стремленіе вырваться на свободу изъ тѣснаго круга средне-вѣковыхъ понятій. Существовала, очевидно, часть народа, тянувшая къ свѣту знанія, — та часть, изъ которой выходили, не смотря на всѣ пре-пятствія, Посошковы и Ломоносовы. Русскій умъ,

дѣйствительно, былъ уже подготовленъ къ принятію петровскихъ реформъ, и преобразователь Россіи не только не прерывалъ хода народнаго развитія, какъ это говорили славянофилы и говорятъ донинѣ ихъ послѣдователи націоналисты-самобытники разныхъ толковъ, но явился яркимъ сильнымъ выразителемъ давнихъ завѣтныхъ желаній русскаго человѣка и дѣйствовалъ въ чисто русскомъ духѣ и направленіи. Его истинный патріотизмъ не подлежитъ сомнѣнію: онъ не „повернулъ въ нѣмецкую улицу“, какъ говорятъ и до нынѣ наши патріоты.

Еще съ XVI вѣка въ русскую литературу входятъ уже не только византійскіе историческіе романы, издавна черезъ южныхъ славянъ какъ-то пробравшіеся къ намъ, но и латинскія, польскія, нѣмецкія произведенія, и научныя, и легкія, беллетристическія, и даже шуточные. Но въ петровскую эпоху легкая литература не играла видной роли, на первый планъ выдвигались учебныя руководства, переводы научныхъ сочиненій, брошюры, касающіяся событій и вопросовъ текущей жизни, и церковная проповѣдь, замѣнявшая собою отсутствовавшую журнальную публицистику. Это была самая горячая пора ученія. Въ центрѣ этой учебной литературы стоялъ самъ великій преобразователь. Онъ самъ лично руководилъ ею: правилъ корректуру основанныхъ имъ же первыхъ вѣдомостей, выбиралъ книги для переводовъ, составлялъ программы для руководствъ и указывалъ идеи, которыя слѣдовало распространять путемъ печати“. Работы было много, и она отличалась большимъ разнообразіемъ. Какъ новыя идеи прививаются туго, такъ и старыя отживаютъ не сразу. Приходилось бороться съ той литературой противнаго лагеря, которая распро-

странялась рукописными тетрадами и листами — съ литературой старовѣрческой. Большое значеніе въ этой борьбѣ имѣла литературная дѣятельность „московскихъ новосіающихъ Аѳинъ“, т.-е. московской славяно-греко-латинской Академіи. Она сооружала въ честь петровыхъ побѣдъ „торжественныя врата“ и выпускала объяснительныя къ нимъ брошюры, въ которыхъ раскрывала значеніе военныхъ событій, защищала вообще образъ дѣйствій Петра, указывая, напр., на необходимость общенія съ другими народами, на пользу заграничныхъ путешествій. Такое же публицистическое значеніе имѣли проповѣди знаменитаго сподвижника Петра, образованнѣйшаго человѣка своего времени архіепископа Теофана Прокоповича, и нѣкоторыхъ другихъ церковныхъ ораторовъ той эпохи.

Въ сочиненіяхъ Теофана, образъ мыслей котораго выработался въ заграничныхъ школахъ, помимо вліяній Петра и гораздо ранѣе встрѣчи съ нимъ, едва ли не всего ярче и полнѣе отразилась эпоха преобразованій со всѣми ея духовными интересами и жестокой борьбой въ духѣ русскаго XVII вѣка. Самымъ значительнымъ изъ сочиненій Теофана и самымъ замѣчательнымъ литературнымъ памятникомъ вѣка признается „Духовный регламентъ“... Представляя собой законодательный актъ, сборникъ правилъ, которыми должны руководствоваться члены вновь учрежденной духовной коллегіи (синода), онъ въ тоже время является живой, ѣдкой сатирой на тогдашнее учительное сословіе и имѣетъ въ виду широкую общественную задачу — урегулировать отношенія между мірянами и духовенствомъ, которое, по старому преданію, имѣло власть вязать и рѣшить всѣ жизненные вопросы. Учительное сословіе не признавало науки, а „Регламентъ“ видѣлъ въ ученѣѣ

„корень, сѣмя“ всякой пользы для церкви и отечества. Историческое значеніе „Регламента“ очень велико: его идеи — идеи вѣка. Проникнутый духомъ терпимости и стремленіемъ къ свѣту знанія, онъ выражаетъ взгляды, которые проводились и въ другихъ законодательныхъ актахъ петровскаго времени, и въ проповѣдяхъ лучшихъ церковныхъ ораторовъ, и въ предисловіяхъ къ учебникамъ, и въ сочиненіяхъ образованныхъ передовыхъ людей, какъ историкъ Татищевъ, и въ сатирахъ Кантемира, и частію въ разсужденіяхъ простаго грамотника — самоучки, крестьянина Посошкова.

Взгляды этого послѣдняго представляютъ весьма характерное явленіе петровской эпохи. Посошковъ нѣкоторыми своими понятіями принадлежалъ еще до-петровской старинѣ. Его взгляды смѣсь стараго съ новымъ. Такая смѣсь господствовала и въ жизни этого переходнаго времени и отражалась въ литературѣ. Рядомъ, напр., съ „Регламентомъ“ стоитъ большое богословско-полемическое сочиненіе „Камень вѣры“ Стефана Яворскаго, проникнутое духомъ религіозной нетерпимости и требующее суровыхъ мѣръ противъ „люторской ереси“. Въ этомъ произведеніи вообще выражень сильный протестъ противъ новаго направленія. Оно напоминаетъ отдаленную московскую старину. Если зародыши идей „Регламента“ можно отыскать у Нила Сорскаго и „заволжскихъ старцевъ“, то идеи „Камня вѣры“ во многомъ совпадаютъ съ взглядами Іосифа Волоцкаго и многочисленныхъ его единомышленниковъ, „іосифлянъ“. Такимъ образомъ въ литературѣ петровскаго времени совмѣщаются оба направленія: и старое и новое, и ея памятники даютъ намъ возможность видѣть ясно тѣсную связь этой эпохи съ прошлою жизнію народа, наблюдать преем-

ственность и развитіе идей, и краснорѣчиво свидѣтельствуютъ, что преобразовательная эпоха не была крутымъ переломомъ, внезапнымъ переворотомъ, совершившимся по волѣ Петра, какъ это казалось славянофиламъ, а, напротивъ, представляетъ собою явленіе органическое.

Главные культурныя приобрѣтенія петровской эпохи заключаются въ томъ, что русское просвѣщеніе и литература получаютъ свѣтскій характеръ, что вмѣсто старой московской книжности и средневѣковой схоластики, притекавшей къ намъ въ XVII вѣкѣ изъ Польши черезъ нашъ юго-западъ, намъ открылась возможность брать изъ первыхъ рукъ новѣйшее реальное знаніе Европы и усваивать новѣйшія теченія европейской мысли въ новыхъ литературныхъ формахъ. Нашему сближенію съ Европой, крайне опасному съ до-петровской точки зрѣнія, особенно благоприятствовало то, что оно совершалось силою царской власти, устранявшей легко многія помѣхи. Эта власть сразу санкціонировала новое западное направленіе. Она была единственной въ то время силой, на которую могло опереться новое движеніе. Стремленія русскихъ западниковъ представлялись разрозненными, общественной силы еще не существовало; церковная власть враждебно относилась къ свободной наукѣ, упорно держась мертвой средневѣковой схоластики, которая, какъ извѣстно, и послѣ Петра, долго господствовала въ нашей церковной школѣ. Оставалось надѣяться только на царскую власть. Петръ оправдалъ эту надежду. Оттого то онъ внушалъ и внушаетъ до сихъ поръ благоговѣйное чувство передовымъ русскимъ людямъ. Лучшіе представители русской образованности отъ Теофана Прокоповича, Кантемира, Татищева,

Ломоносова и до Пушкина, Бѣлинскаго. Тургенева и др. чтили и чтутъ память о великомъ преобразователѣ Россіи.

XVIII вѣкъ выставилъ цѣлый рядъ горячихъ послѣдователей Петра: ученыхъ, писателей, поэтовъ, которые ревностно защищали введенную имъ науку, заботясь о распространеніи просвѣщенія въ Россіи, насаждали новое для насъ, но давно уже господствовавшее въ Европѣ ложноклассическое направленіе, а во второй половинѣ столѣтія принялись за усвоеніе французскаго рационализма. Къ сожалѣнію, ходъ нашего развитія былъ задержанъ при ближайшихъ прѣемникахъ Петра: консервативная партія взяла верхъ, и русское просвѣщеніе въ этотъ періодъ влачило жалкое существованіе, какъ объ этомъ свидѣлствуютъ сатиры Кантемира.

Такого рода задержки въ распространеніи просвѣщенія, въ развитіи русской общественной мысли мы встрѣтимъ не одинъ разъ въ теченіе двухъ послѣднихъ столѣтій: многовѣковой умственный застой до-петровской Руси еще долго будетъ давать себя чувствовать, тормозя ходъ русской исторической жизни. Но мы увидимъ въ то же время, что никакія неблагопріятныя этому процессу обстоятельства не въ состояніи окончательно остановить его или дать ему иное направленіе: нѣтъ такой силы, которая могла бы уничтожить жизненные факты и идеи, глубоко запавшіе въ общественное сознаніе и имѣющіе всѣ права на существованіе и развитіе.

Борьба за свободу науки и литературы наполняетъ весь XVIII вѣкъ. Широкое развитіе въ этомъ столѣтіи сатиры, которая всегда и вездѣ вызывается борьбою противоположныхъ направленій, убѣждаетъ насъ въ этомъ. Почти нѣтъ

русскаго писателя въ это время, который бы не становился подъ часъ сатирикомъ. Даже Ломоносовъ, этотъ серьезный ученый и горячій патриотъ, былъ вынужденъ въ защиту свободы научнаго слова написать грубовато-ѣдкую сатиру на русскую бородатую старину („Гимнъ русской бородѣ“) Средневѣковое міровоззрѣніе господствовало очень долго въ русскихъ умахъ, просвѣщеніе распространялось медленно съ задержками, и средствъ къ этому было мало, новыя идеи прививались съ трудомъ. „Въ Москвѣ“, писалъ Сумароковъ Екатеринѣ, „и народу и глупостей больше; ста Мольеровъ требуетъ Москва. Люди здѣсь только что во вкусъ приводятся“. По словамъ акад. Тихонова, до 1762 года въ Москвѣ не было ни одной книжной лавки, и книгъ въ обращеніи было очень мало, торговали больше рукописями, лубочными тетрадями, листами. И гдѣ же? „Стыдно сказать“, говоритъ современникъ, „въ Толкучемъ (рынкѣ), вмѣстѣ съ желѣзными обломками, на ряду съ подовыми (т.-е. пирогами, пекущимися прямо на печномъ поду), на рогожкахъ или на тѣхъ самыхъ ларяхъ, въ кои на день цѣпныхъ собакъ запирали, такъ что и подойти бывало страшно“. Такъ стояло дѣло просвѣщенія въ Москвѣ, древней столицѣ. Въ провинціи книги встрѣчались еще рѣже, ихъ добывали съ большимъ трудомъ и за огромныя деньги.

Но вотъ наступаетъ вѣкъ Екатерины, царствование которой не даромъ называется просвѣтительной эпохой.

„Петръ далъ намъ бытіе, Екатерина — душу“, говорили современники. Въ этихъ словахъ есть извѣстная доля правды. Французское вліяніе, начавшееся при Елизаветѣ, теперь усиливается. Мы знакомимся уже съ тѣми писателями, которые

пришли на смѣну ложно-классикамъ (Монтескье, Вольтеръ, Руссо и др.) и такъ же господствовали уже въ Европѣ, какъ и ихъ предшественники. Императрица въ молодости зачитывалась ими и съ нѣкоторыми изъ нихъ вела дѣятельную переписку“. Результаты ея увлеченія французскими философами были довольно значительны. Она сама взялась за перо, къ немалому удивленію русскаго общества, смотрѣвшаго на писателя, какъ на скомороха, и изъ ея рукъ вышло замѣчательное произведеніе — „Наказъ“. Правда „Наказъ“ оказался не по плечу депутатамъ, собравшимся въ комиссію для составленія проекта новаго уложенія, частію встрѣтилъ враждебное отношеніе и не имѣлъ практическаго приложенія, но онъ произвелъ сильное впечатлѣніе на умы и несомнѣнно содѣйствовалъ зарожденію русскаго общественнаго мнѣнія. Французское вліяніе вообще сильно сказалось на нашей литературѣ, нравахъ, на воспитательныхъ проектахъ императрицы и Бецкаго, на всей жизни нашего молодого общества. Здѣсь были увлеченія, крайности, многое изъ идейнаго содержанія въ сочиненіяхъ французскихъ просвѣтителей было схвачено налету, поверхностно, стало повѣтріемъ, модой и, конечно, заслуживало осужденіе нашихъ сатириковъ. Но нельзя отрицать и благотворнаго дѣйствія на русскіе умы этого новаго умственнаго движенія. Подъ вліяніемъ его у насъ возникаютъ мысли, которыхъ прежде и въ поминѣ не было. Французская просвѣтительная литература затрогивала самые живые и важные вопросы общественные, нравственные, политическіе и часто предлагала рѣшеніе ихъ въ общедоступной беллетристической формѣ. Здѣсь было и богатое идейное содержаніе, и талантливое, изложеніе, и увлеченіе всѣмъ этимъ весьма

понятно, естественно и плодотворно. „Но это опять заимствованіе чужого“! возражаютъ обыкновенно наши патріоты.

XVIII вѣкъ часто упрекаютъ въ подражаніи и заимствованіяхъ, какъ будто онъ больше ничего и не достигъ. Но XVIII вѣкъ только продолжалъ то, что было начато въ предшествующіе вѣка. Мы видѣли уже, что всякій разъ, когда являлась у насъ потребность въ какихъ-либо научныхъ или практическихъ знаніяхъ, мы всегда обращались за ними къ Западу. Теперь при сближеніи съ Европою эти заимствованія и подражанія, естественно, умножились. При этомъ упрекающіе совершенно забываютъ о тѣхъ культурныхъ результатахъ, которые были достигнуты нами при помощи этихъ прямыхъ заимствованій и часто довольно уродливыхъ подражаній. Наша литература, вновь созданная въ XVIII вѣкѣ по иностраннымъ образцамъ, начавъ съ подражаній, сначала очень далекихъ отъ русской дѣйствительности, потомъ быстро развиваясь, все болѣе и болѣе сближается съ русской жизнью и живою народною рѣчью. Такъ, напр., въ драмѣ отъ латино-польской школьной драмы и библейскихъ „дѣйствъ“ пастора Грегори черезъ нѣмецкія, французскія, итальянскія пьесы мы доходимъ до производства собственныхъ драмъ въ псевдоклассическомъ вкусѣ, правда, не имѣющихъ еще художественныхъ достоинствъ, но не лишенныхъ идейнаго содержанія, а къ концу вѣка передъ нами уже комедія Фонъ-Визина. Иноземная форма не помѣшала вполнѣ проявиться русскому комическому таланту, ярко отразившему въ ней національный бытъ и нравы. Изъ латино-польскаго источника черезъ южно-русскую школу пришло къ намъ стихотворное искусство. Кіевскіе ученые

перенесли къ намъ силлабическій стихъ и риѣму. Вкусы были еще грубы и вполнѣ удовлетворялись „риѣмотворными писаніями“ Симеона Полоцкаго. Среди нашихъ грамотниковъ также пользовались симпатіями южно-русскіе псалмы и канты, вызвавшіе подражанія и отразившіеся на духовныхъ стихахъ. Риѣмованная рѣчь проникла въ народный разсказъ, лубочную картинку и произвела такъ называемый лубочный стихъ, которымъ такъ удачно воспользовался Пушкинъ въ своей сказкѣ „О погѣ Кузьмѣ Остолопѣ и работникѣ его Балдѣ“. Первые опыты любовной лирики пользуются еще силлабическимъ стихомъ и Кантемиръ пишетъ имъ свои сатиры, но уже Тредьяковскій заявляетъ о необходимости для насъ тоническаго стихосложенія, а Ломоносовъ подтверждаетъ это своими образцами. Псевдоклассическая ода и стихотворная сатира, надо отдать имъ справедливость, становятся съ самаго начала для насъ средствомъ къ изображенію подлинной русской дѣйствительности. Къ началу XIX вѣка уже явился истинный поэтъ художникъ Жуковскій съ „плѣнительною сладостію стиха“. Правда, мы долгое время воспѣвали разныхъ фантастическихъ героевъ въ своихъ поэмахъ по образцамъ ложноклассиковъ, но кончили въ этомъ родѣ „Полтавой“ и „Евгеніемъ Онѣгинымъ“. Въ области прозаической повѣсти и романа мы также начали съ подражаній. Подъ вліяніемъ западной повѣсти, приходившей къ намъ въ XVI и XVII вѣкахъ, у насъ явились попытки самостоятельныхъ повѣстей и „гисторіей“, которыя постепенно освобождались отъ житійнаго, легендарнаго элемента и принимали характеръ свѣтскаго, бытового, даже шутливаго повѣствованія. Къ этой рукописной еще литературѣ въ половинѣ XVIII вѣка присоединяется печатный пере-

водный романъ, вызвавшій также подражанія. Но въ концѣ столѣтія является уже русскій бытовой романъ Нарѣжнаго, котораго недаромъ называютъ родоначальникомъ реалистической школы и предшественникомъ Гоголя. Итакъ, мы брали чужія иноземныя формы и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе наполняли ихъ чисто національнымъ содержаніемъ, начинали съ дѣтски наивныхъ подражаній и кончали самобытными произведеніями.

Успѣшное развитіе нашей литературы XVIII вѣка, обозначавшееся въ постепенномъ сближеніи ея съ жизнью, должно было естественно привести къ народной идеѣ. Самый языкъ тяжелый, искусственный, съ господствовавшей въ немъ славянской стихіей мало-по-малу черезъ сближеніе съ живою народною рѣчью трудами многихъ образованныхъ работниковъ становился гибкимъ легкимъ, способнымъ выражать новыя понятія, введенныя въ обращеніе новою образованностью. Съ постепеннымъ развитіемъ общественныхъ чувствъ у передовыхъ русскихъ людей является мысль о народной массѣ, о ея тяжеломъ положеніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ зарождается интересъ къ изученію народности. Преслѣдуемая и гонимая благочестивомъ невѣжествомъ древнерусскихъ книжниковъ, народная поэзія получаетъ наконецъ доступъ въ печатную книгу во второй половинѣ XVIII вѣка. Вмѣстѣ съ любовными пѣснями (романсами) того времени въ „Сборникъ разныхъ пѣсенъ“, изд. Чулковымъ, появляется народная пѣсня. Вниманіе и сочувствіе къ народнымъ произведеніямъ въ то время еще многимъ казалось страннымъ: митрополитъ Платонъ о новомъ новиковскомъ изданіи тѣхъ же самыхъ пѣсенъ отзывался неодобрительно и называлъ ихъ „сумнительными“. Древняя Русь еще давала себя

чувствовать! Но это не остановило Чулкова, и онъ продолжалъ свои работы по собиранію пѣсенъ, сказокъ, обрядовъ и суевѣрій народныхъ. „Правда“, говоритъ акад. А. Н. Пыпинъ, „псевдоклассическій взглядъ, пренебрегавшій простою народностью по ея грубости, нерѣдко уродовалъ ее, по своему прикрашивая (какъ напр., Богдановичъ нелѣпо прикрашивалъ пословицы); тѣмъ не менѣе народная стихія становилась болѣе и болѣе привычной въ книгѣ; нѣкоторые писатели (какъ Фонъ-Визинъ, Новиковъ, Радищевъ, Чулковъ, Поповъ, Н. Львовъ, В. Майковъ и др.) еще въ концѣ XVIII вѣка умѣли хорошо передавать черты быта, народный языкъ. Все это прокладывало путь для дальнѣйшаго и болѣе сильнаго вліянія народной стихіи въ языкѣ и содержаніи литературы“.

Здѣсь мы должны снять еще одно несправедливое славянофильское обвиненіе XVIII вѣка въ полной отчужденности отъ народа. Мы видимъ, напротивъ, что образованнѣйшіе люди этого времени, хотя и не быстро, но все же съ каждыиъ дальнѣйшимъ шагомъ ближе и ближе подходятъ къ кореннымъ вопросамъ русской жизни и, чѣмъ далѣе, тѣмъ сознательнѣе начинаютъ служить интересамъ народа. Надо было много имѣть благороднаго мужества, чтобы въ томъ обществѣ, представители котораго, собравшись въ комиссію составленія проекта новаго уложенія, „вопіяли о расширеніи крѣпостнаго права“, говорить о необходимости его уничтоженія. Указанія на это коренное зло русской жизни начинаются съ 60-хъ годовъ XVIII вѣка. Новиковъ и Радищевъ являются первыми защитниками народныхъ интересовъ и первыми страдальцами за нихъ. Все это должно быть поставлено, по всей справедливости, въ особую заслугу литературѣ и образованности этого

столѣтія. Мы увидимъ далѣе, что вліяніе европейской науки и литературы, возбуждая въ насъ высшія общечеловѣческія стремленія, благотворно сказалось и на передовыхъ людяхъ александровской эпохи и на идеалистахъ 40-хъ годовъ XIX вѣка, на знамени которыхъ стояло то же самое освобожденіе народа. И самый интересъ къ серіозному изученію народности возбужденъ былъ у насъ, какъ увидимъ, тою же европейскою наукою. Въ послѣднее предреформенные и въ слѣдующіе за реформой годы XIX вѣка народное направленіе усилилось, выдвинуло новыя молодыя силы, беззаветно отдавшіяся служенію народнымъ интересамъ, и создало новое идеалистическое теченіе мысли въ народничествѣ 70-хъ годовъ этого вѣка.

Даже въ вѣкъ господства аристократической, ложно-классической теории поэзіи у насъ, какъ мы видѣли, находились люди, которые не брезговали народной пѣсней и даже подражали ей. Въ началѣ XIX столѣтія, когда на смѣну ложно-классицизму является романтизмъ, стремленіе къ воспроизведенію народныхъ мотивовъ въ нашей поэзіи усиливается. Пушкинъ создаетъ высокохудожественные образцы народнаго эпоса и лирики. Гоголь очаровываетъ поэзіей своихъ разсказовъ изъ малороссійской народной жизни и подъ сильнымъ впечатлѣніемъ украинскихъ пѣсенъ рисуетъ многія картины въ своемъ „Тарасѣ Бульбѣ“. За ними идутъ Лермонтовъ, Кольцовъ, Тургеневъ, Некрасовъ, Григоровичъ, Достоевскій, Л. Н. Толстой, Гл. Успенскій, Салтыковъ, Слѣпцовъ и мн. др., въ произведеніяхъ которыхъ мы находимъ цѣлый рядъ живыхъ, художественныхъ сценъ, картинъ и характеровъ народныхъ. Вліяніе народной поэзіи на нашу литературу становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ ближе къ нашему времени,

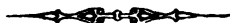
и вмѣстѣ съ этимъ растетъ интересъ и участіе русскаго образованнаго общества къ народной жизни. Изъ различныхъ явленій, совершающихся на нашихъ глазахъ и краснорѣчиво свидѣтельствующихъ о прочности и плодотворности сближенія русской интеллигенціи съ народомъ, мы убѣждаемся окончательно въ полной несостоятельности славянофильской точки зрѣнія на этотъ вопросъ.

Здѣсь, намъ кажется, мы можемъ остановиться и подвести итогъ сказанному. Мы считаемъ особенно важнымъ правильное разрѣшеніе вопроса объ отношеніи интеллигенціи къ народу. Съ этимъ вопросомъ мы встрѣтимся въ нашихъ „Очеркахъ“ не одинъ разъ. Читатели увидятъ, что отголоски славянофильскихъ мнѣній отдавались въ разныхъ кружкахъ русскаго общества въ разное время и въ искаженномъ, обезображенномъ видѣ дожили до нашихъ дней. Въ этихъ видахъ мы старались въ нашемъ „Введеніи“ выдвинуть на первый планъ все то, что служить къ разъясненію длинной, но въ высшей степени интересной исторіи этихъ отношеній. Указавъ на нашу изолированность въ средніе вѣка со всѣми вредными послѣдствіями для духовнаго роста народа, мы особенно распространили нашъ рассказъ о значеніи народной поэзіи и объ отношеніи къ ней старой московской письменности. Съ возможностью для насъ полнотой мы старались передать исторію западныхъ вліяній, возникающихъ еще въ средніе вѣка вслѣдствіе жаднаго исканія мыслящими русскими людьми международныхъ общечеловѣческихъ началъ, безъ которыхъ невозможно никакое духовное развитіе. Мы показали при этомъ, почему и когда начался разрывъ или расколъ между образованными русскими людьми

и темными массами народа. Далѣе, мы находили необходимымъ выяснить, что наше свободное общеніе съ Западомъ, начавшееся съ Петра I, и борьба новой Россіи съ обветшалыми понятіями старой Руси въ теченіе XVIII вѣка дали положительные культурные результаты, что путемъ заимствованій и подражаній мы пришли въ литературѣ къ самобытному національному творчеству. По справедливому и мѣткому замѣчанію Герцена, „на приказъ Петра образоваться Россія черезъ сто лѣтъ отвѣтила Пушкинымъ“. Пушкинъ, дѣйствительно, — результатъ нашего духовнаго развитія, совершившагося въ эти сто лѣтъ. Своими зрѣлыми поэтическими трудами онъ даетъ новую самостоятельную русскую поэзію, исчерпывая всѣ роды и виды ея. Простотою, вѣрностію тона и правдивостію изображенія русской жизни его поэтическіе образцы превосходятъ всѣ прежнія попытки въ этомъ родѣ. Но этого мало, сближеніе литературы съ жизнью привело насъ къ сознанію обязанностей по отношенію къ народу, и литература стала приобрѣтать серьезное значеніе, она стала средствомъ для выраженія общественнаго мнѣнія. Къ концу XVIII вѣка стало замѣтно проявленіе этой силы, которая, какъ мы видѣли, въ эпоху Петра еще отсутствовала. Развитіе этой силы и борьба ея съ враждебными ей началами въ дальнѣйшемъ ходѣ жизни будутъ уже составлять содержаніе нашихъ „Очерковъ“.

Въ заключеніе мы должны еще прибавить нѣсколько словъ для избѣжанія всякихъ недоразумѣній. Въ наше изложеніе особенностей русской литературной исторіи мы не вносили ничего личнаго. Мы пользовались трудами академиковъ: Буслаева, Тихонравова, Пыпина, Веселовскаго и др. русскихъ ученыхъ. Вездѣ мы старались ука-

зывать вѣрную, установившуюся въ наукѣ, точку зрѣнія какъ на цѣлыя литературныя періоды, такъ и на отдѣльныя произведенія нашей старой и новой словесности. Цѣлью нашего „Введенія“ было поставить на эту научную точку зрѣнія читателя, который встрѣтится въ нашихъ „Очеркахъ“ съ ошибочными взглядами и на московскую старину, и на петровскую эпоху, и на слѣдующее за ней XVIII столѣтіе.



Успѣхи нашей общественности и литературы при Екатеринѣ II и Александрѣ I.

I.

Начало періода, съ которымъ намъ предстоитъ познакомиться, совпадаетъ съ началомъ тридцатилѣтняго царствованія Императора Николая I-го (1825 — 1855 гг.) Этотъ періодъ русской жизни имѣеть рѣзкія отличительныя черты, но въ то же время онъ тѣсно связанъ съ предшествовавшимъ ему временемъ.

Чтобы установить эту связь и указать преемственность идей, завѣщанныхъ предшествовавшимъ временемъ, намъ придется вернуться нѣсколько назадъ, къ послѣднимъ десятилѣтіямъ XVIII вѣка и припомнить нѣкоторые факты изъ исторіи нашего общественнаго и литературнаго развитія.

Въ просвѣтительную эпоху Екатерины создается и упрочивается критическое отношеніе къ жизни — развивается сатирическая литература, и сатира обнаруживаетъ настолько смѣлости, что касается коренныхъ золъ русской жизни. Чѣмъ ближе къ концу вѣка, тѣмъ болѣе распространяется переводный иностранный романъ, вытѣснившій старинныя рукописныя повѣсти. Этотъ романъ создаетъ большой кругъ читателей въ среднемъ общественномъ слоѣ, смягчаетъ нравы, подгото-

вляеть успѣхъ русскаго сентиментализма, всего ярче выразившагося въ сочиненіяхъ Карамзина. Извѣстный своими мемуарами А. Т. Болотовъ, говоритъ, что, благодаря чтенію романовъ, онъ „сталъ смотрѣть на всѣ происшествія въ свѣтѣ какими-то иными благонравнѣйшими глазами“. Если мы обратимся къ драмѣ, то и здѣсь встрѣтимся также съ новыми явленіями, свидѣтельствующими о несомнѣнномъ движеніи впередъ. Мѣщанская драма, какъ противодѣйствіе ложноклассической трагедіи, имѣла въ Москвѣ большой успѣхъ, который раздражалъ и приводилъ въ негодованіе русскаго Расина, Сумарокова; явились попытки самобытной народной комедіи и наконецъ комедія Ф. Визина. Театръ перестаетъ служить средствомъ развлеченія для двора; онъ привлекаетъ зрителя изъ среднихъ слоевъ и приобретаетъ воспитательное значеніе для общества. В. И. Лукинъ мечтаетъ о русской народной комедіи, о народномъ театрѣ. Въ средѣ передовыхъ молодыхъ людей того времени развивается широкая дѣятельность филантропическаго и просвѣтительнаго характера.

Гдѣ же источникъ этихъ умственныхъ возбужденій? — Западная наука и литература, пересаженная на русскую почву самимъ правительствомъ. Намъ уже извѣстно, что правительство положило начало и переводамъ съ иностранныхъ языковъ, и русской журналистикѣ, и русскому театру. Потомъ вся эта литературная работа переходитъ въ руки образованной молодежи и поддерживается ея силами; Академія, Петербургскій Шляхетскій корпусъ и Московскій Университетъ играютъ здѣсь выдающуюся роль: они даютъ переводчиковъ, при нихъ издаются журналы съ участіемъ профессоровъ и студентовъ, они же

даютъ театру актеровъ и драматурговъ, Сумарокова и Ф. Визина. Екатерина II, подобно Петру, посылаетъ русское юношество для усовершенствованія въ наукахъ за границу: въ числѣ посланныхъ былъ, напримѣръ, и знаменитый Радищевъ, сочиненія котораго показываютъ не только основательное знакомство съ французскими и нѣмецкими философами, но и стремленіе провести здравыя гуманныя идеи въ русскую жизнь. Все это служило средствомъ для выраженія только-что зарождавшагося въ Россіи общественнаго мнѣнія.

Сколько здѣсь зародышей здороваго общественнаго развитія, сколько отрадныхъ явленій въ литературѣ и жизни! Замѣтное литературное развитіе съ стремленіемъ къ самобытности, распространеніе просвѣщенія, смягченіе нравовъ, и, наконецъ, какъ самое очевидное доказательство того, что европейская наука пошла намъ въ прокъ — проявленія общественнаго самосознанія и самодѣятельности, обнаружившихся въ попыткахъ серьезной критики русской жизни и въ дѣйствіяхъ „Дружескаго Общества“, съ его семинаріями и типографической компаніей.

Чтобы сдѣлать вѣрную оцѣнку дѣятельности Новикова и „Дружескаго Общества“, достаточно вспомнить о томъ жалкомъ состояніи просвѣщенія въ Москвѣ, о которомъ мы вскользь говорили въ нашемъ „Введеніи“. Въ упомянутой „переводческой семинаріи“ работали даровитые молодые люди изъ Московскаго Университета и другихъ учебныхъ заведеній. Здѣсь сдѣлано множество полезныхъ переводовъ и немало написано оригинальныхъ сочиненій. Типографическая компанія, во главѣ которой стоялъ Новиковъ, напечатала ихъ и пустила ихъ въ обращеніе; открывъ книжныя лавки не только въ Москвѣ, но и во многихъ про-

винціальныхъ городахъ, она положила начало правильной книжной торговлѣ въ Россіи. Новиковъ, по справедливому замѣчанію И. Кирѣевского, „не только распространилъ книгу, но и создалъ у насъ любовь къ чтенію“. Достаточно еще вспомнить, что знаменитый Карамзинъ, въ теченіе четырехъ лѣтъ работая въ семинаріи Дружескаго общества, именно здѣсь проходилъ серьезную литературную школу, и та реформа русскаго языка, которая въ нашихъ учебникахъ всецѣло приписывается ему одному, въ значительной степени составляетъ заслугу „Дружескаго общества“, т.-е. многихъ его членовъ, трудившихся на литературномъ поприщѣ, пускавшихъ въ оборотъ новыя слова и вырабатывавшихъ общими дружными усиліями тотъ легкій и пріятный стиль, которымъ въ послѣдствіи Карамзинъ писалъ свои „Письма русскаго путешественника“ и повѣсти. Карамзинъ оказался только болѣе талантливымъ литераторомъ, чѣмъ другіе его товарищи по перу, и значительно опередилъ ихъ всѣхъ. Нельзя не вспомнить здѣсь и о заслугахъ Радищева. Радищевъ, посланный въ Лейпцигскій университетъ и успѣшно усвоившій европейскую науку, представляетъ собою выдающагося по способностямъ и по большой нравственной высотѣ челоуѣка, который, выработавъ серьезнымъ научнымъ трудомъ цѣльное положительное міровоззрѣніе, хотѣлъ въ своемъ знаменитомъ „Путешествіи изъ Петербурга въ Москву“ примѣнить свои идеалы къ русской дѣйствительности. Онъ ратовалъ противъ безправія въ общественной жизни и проповѣдовалъ законность. Его общественныя воззрѣнія были тѣ же, что и въ знаменитомъ „Наказѣ“ императрицы, написанномъ въ первые годы царствованія. Его критика русской жизни была та же, что и

въ сатирическихъ журналахъ Новикова, только предѣлы ея были гораздо шире. Его сочиненіе — несомнѣнный показатель значительнаго успѣха у насъ европейской науки и гуманныхъ общественныхъ идей.

Но извѣстно, какой печальный исходъ имѣли всѣ эти полезныя личныя и общественныя начинанія. Императрица Екатерина еще съ конца 60-хъ годовъ начала охлаждать къ тѣмъ философскимъ взглядамъ, которыхъ держалась въ молодости и подъ вліяніемъ которыхъ написанъ „Наказъ“. Желаніе щадить интересы того общественнаго слоя, на который главнымъ образомъ опиралась ея власть, заставила ее задолго до бурныхъ событій во Франціи отказаться отъ своей собственной мысли освободить крѣпостныхъ крестьянъ и вообще быть осторожной въ допущеніи свободы слова. Извѣстно раздраженіе ея противъ новиковскаго „Трутня“, повлекшее за собой прекращеніе этого лучшаго изъ тогдашнихъ сатирическихъ журналовъ; подъ ея же давленіемъ, вѣроятно, покончилъ свое существованіе и второй журналъ Новикова „Живописецъ“. Чѣмъ далѣе, тѣмъ чаще становилась она въ противорѣчіе съ дарованной ею же свободой „мыслить и изъясняться“. Достаточно вспомнить негодованіе, которымъ она встрѣтила „дерзкіе и предосудительные“, по ея мнѣнію, „Вопросы“ Фонвизина. Европейскія событія послѣдняго десятилѣтія XVIII вѣка только усилили ея подозрительность и недовѣріе ко всякому проявленію живой свободной мысли, и она окончательно утратила прежнюю охоту къ поощренію прогрессивныхъ стремленій русской печати. Слѣдствіемъ такой перемѣны ея настроенія было полное разногласіе между нею и только-что зародившимся общественнымъ мнѣніемъ. Жертвами этого раз-

ногласія явились лучшіе его представители: Радищевъ, Новиковъ и весь его кружокъ. Такимъ образомъ находившееся еще въ младенческомъ возрастѣ русское общество, только что взявшееся за книжку, было заподозрѣно въ какихъ-то разрушительныхъ стремленіяхъ. Это печальное недоразумѣніе приостановило успѣшный ходъ русскаго общественнаго развитія. „Вмѣстѣ съ правительственными сферами“, говоритъ академикъ А. Н. Пыпинъ, „и громадное большинство слегка образованныхъ людей также были предубѣждены противъ свободы мысли и слова: для понятій патріархальныхъ, въ самомъ дѣлѣ, немислима никакая критика. Это предубѣжденіе поддерживалось еще ложною у нѣкоторыхъ мыслью, что будто бы оно согласно съ „духомъ нашего народа“; въ простодушномъ невѣжествѣ, массъ увидѣли подтвержденіе опасеній противъ науки, и свобода мысли была сочтена за нарушеніе національнаго преданія“.

Вступленіе на престолъ императора Александра I-го было встрѣчено общимъ ликованіемъ. Появились новые журналы, спѣшившіе воспользоваться предоставленной въ ту пору широкой свободой слова. Приближенные къ государю лица обсуждали коренныя преобразованія. Но не замедлила явиться и оппозиція, во главѣ которой сталъ представитель новаго сентиментальнаго направленія въ литературѣ, Карамзинъ. Онъ подалъ государю записку „О древней и новой Россіи“, въ которой выразилъ удивительно отсталые взгляды. Въ ней онъ говорилъ противъ приготовленнаго Сперанскимъ проекта государственной реформы, противъ отмѣны крѣпостного права, находилъ, что высшее образованіе стѣснительно для дворянъ, а низшее — опасно для массы. Не

въ формахъ и учрежденіяхъ, по его мнѣнію, а въ лицахъ вся суть дѣла. Необходимы заботливые правители для страны, умѣло выбранные губернаторы; хорошіе священники важнѣе школы для деревни. „Это — вещи, которыя, дѣйствительно, нужны“, говорилъ онъ, „безъ прочаго обойдемся и не будемъ завидовать никому въ Европѣ“.

„Записка“ Карамзина, выражавшая взгляды консервативной дворянской партіи, какъ и проектъ государственныхъ преобразованій Сперанскаго, представителя новыхъ общественныхъ взглядовъ, — два любопытныхъ документа общественной борьбы того времени, долго остававшіеся государственной тайной. Оба появились въ одно время и написаны были для одного только императора. Общество не знало о нихъ. „Эта внѣшняя судьба двухъ произведеній очень характеристична,“ говоритъ А. Н. Пыпинъ. „Общественному мнѣнію, до тѣхъ поръ совершенно безгласному и едва существовавшему какимъ-то темнымъ образомъ, только что дана была первая возможность высказаться, столь ограниченная, что выслушивалъ его одинъ императоръ“... „Если бы поставленные ими вопросы были хоть нѣсколько доступны для взаимной критики обѣихъ сторонъ, они могли бы найти себѣ какое-нибудь разъясненіе. Но этого не случилось: вся практика жизни не допускала ничего подобнаго“... „Между тѣмъ задача дѣйствительно стояла; два направленія дѣйствительно зародились въ обществѣ, и нерѣшенный вопросъ стала разъяснять сама жизнь — тѣмъ сложнымъ и труднымъ процессомъ, которымъ она наперекоръ препятствіямъ ищетъ своихъ цѣлей.“

Какъ Карамзинъ, такъ и Жуковскій, представитель, какъ долго думали, другого литератур-

наго направленія, романтизма, оба одинаково были настроены и не желали никакого движенія впередъ. Они были вполне довольны русскою дѣйствительностью, а если что въ ней и не нравилось, можно было уйти, по ихъ мнѣнію, въ область фантазіи. „Поэтъ имѣетъ два міра. Если ему скучно и непріятно въ существенномъ, онъ уходитъ въ страну воображенія“, по теоріи Карамзина. „Что нужды стихотворцу, дѣйствующему на одно воображеніе“ — говоритъ Жуковский — „если разсудокъ найдетъ вещи совсѣмъные такими, какими представляются онѣ воображенію“? Это, какъ видите, одни и тѣ же взгляды, одна и та же теорія. Между этими писателями много общаго. Нѣкоторые изслѣдователи справедливо считаютъ Жуковского сентименталистомъ, а не романтикомъ: ему не доставало существенно-важныхъ чертъ, отличающихъ европейскихъ романтиковъ — протеста и народности. Неподвижность и ограниченность міросозерцанія Жуковского отмѣчаетъ въ своей новой книгѣ о немъ и академикъ А. Н. Веселовскій. „Онъ не романтикъ“, говоритъ онъ, „какимъ называли его у насъ и еще называютъ, а карамзинецъ, мимо котораго проходили событія и настроенія, зарождалась новая поэтическая школа, а онъ былъ тѣмъ же, какимъ сложился въ 1805—20-хъ годахъ, гуманно и любовно относясь ко всему, что было ему встрѣчно, что укладывалось въ его пониманіе жизни“... „Теперь, когда переписка Жуковского стала намъ извѣстнѣе прежняго и къ ней присоединились откровенія его дневника, его психологическій обликъ сталъ намъ яснѣе, ограниченность его кругозора понятнѣе“. Поэзія Жуковского — изящное выраженіе внутренняго мягкаго чувства, но она чужда общественнаго содержанія, чужда всякаго волненія, борьбы;

чужда какихъ бы то ни было колебаній и сомнѣній человѣческой души. „Онъ не могъ постигнуть глубины души Гёте и даже своего любимца Шиллера, не понималъ Гамлета; поэзія Байрона приводила его въ ужасъ; Гейне, по его мнѣнію, — свободный собиратель и провозгласитель всего низкаго, отвратительнаго, развратнаго“.. Сказаннаго, намъ кажется, достаточно, чтобы видѣть, почему Жуковскій, какъ поклонникъ сентиментальнаго піэтизма, не понималъ и не могъ понять ни дальнѣйшаго хода литературы, ни дальнѣйшаго хода жизни, какъ нашей, такъ и европейской.

Но мы должны оговориться. Мы нисколько не умаляемъ литературныхъ заслугъ ни Карамзина, ни Жуковского для своего времени. Карамзинъ, какъ писатель — моралистъ въ 90-хъ годахъ XVIII вѣка и какъ защитникъ просвѣщенія въ то время; какъ писатель, провозгласившій свободу чувства и право на счастье для человѣка всякаго состоянія; какъ критикъ, указавшій недостатки французскихъ ложно-классиковъ, конечно, заслуживалъ сочувствія, когда было пріостановлено указанное выше умственное движеніе Екатерининскаго вѣка. И не смотря на то, что его общественное направленіе тогда еще не высказалось ясно, нѣкоторые изъ патріотовъ считали его даже опаснымъ радикаломъ, и его сочиненія выставались ими, какъ вредныя; на него даже писались доносы. Но доносы были совершенно безосновательны, нелѣпы и объясняются невѣжествомъ доносчиковъ. Карамзинъ и въ молодости, при всѣхъ своихъ знаніяхъ, не былъ прогрессистомъ, и его сентиментальныя теоріи никогда не согласовались съ практикой жизни. Съ „добрыми поселянами“ своихъ повѣстей въ жизни

дѣйствительной онъ не церемонился и поступалъ, какъ заурядный помѣщикъ того времени. Попавъ въ Парижъ, „столицу ума и вкуса, въ 89 году, онъ восхищается Версалемъ, Трианономъ, дворцомъ гр. д'Артуа, въ аристократическомъ салонѣ читаетъ изъ „розовой тетрадки“ аббата разсужденія о любви и скорбитъ о томъ, что „французы нынѣ думаютъ о революціи, а не о памятникахъ любви и нѣжности“. Народъ, доведенный многовѣковымъ феодальнымъ угнетеніемъ до возстанія, съ его точки зрѣнія не что иное, какъ, парижскіе варвары“, которые подняли „сѣкиру на священное древо“. Какъ въ философскихъ и литературныхъ, такъ и въ общественныхъ и политическихъ понятіяхъ Карамзина никогда не было такой ясности, какъ, напр., у Радищева. Онъ всегда очаровывался фальшивымъ блескомъ и сквозь сентиментальный туманъ глядѣлъ на прошлое и настоящее народной жизни. Любовь къ „человѣчеству“, къ „просвѣщенію“, восторгъ передъ „республиканскими добродѣтелями“ — все это было только на словахъ, въ книгѣ. Эте былъ принципиальный либерализмъ, отвлеченное сочувствіе ко всему благу, — сочувствіе, ни къ чему не обязывающее въ дѣйствительной жизни. Эти медовыя рѣчи, образцовая для своего времени стилистика, дѣйствовали исключительно на чувства русскихъ людей, не нарушая ихъ сентиментальнаго квіетизма. Все это привело Карамзина въ дальнѣйшей его дѣятельности къ упорному консерватизму, къ защитѣ старины, опредѣленно выразившейся въ „Запискѣ“. Бѣлинскій былъ правъ, говоря, что Карамзинъ дурно понималъ умственные потребности русскаго общества, когда писалъ свои „письма“. Онъ, какъ видимъ, не понималъ ихъ или не хотѣлъ понять и гораздо

позднѣе. Итакъ, не умаляя литературныхъ заслугъ Карамзина, мы должны отказать ему въ правѣ называться передовымъ человѣкомъ своего времени. Напротивъ, его общественные взгляды служили опорой для мнѣній отсталыхъ и въ свое время, и въ послѣдующія многія десятилѣтія, вплоть до нашихъ дней.

Жуковскій былъ истинный художникъ слова: „плѣнительная сладость его стиха“ была почувствована всѣми: его мечтательный идеализмъ подѣйствовалъ смягчающимъ и возвышающимъ образомъ на нравы нашего малокультурнаго общества. Все это очень цѣнно, но тѣмъ не менѣе и онъ, какъ Карамзинъ, вскорѣ очутился позади новаго умственного движенія. Послѣ 48 года Жуковскій высказывалъ такой взглядъ на настоящее и будущее Россіи: „она, оторвавшись отъ насильственнаго на нее вліянія Европы, вступить въ особенный ея исторію, слѣдственно, самимъ промысломъ ей проложенный путь“. По его мнѣнію, Россія — „самобытный великій міръ, полный силы неисчерпаемой... сплоченный вѣрою и самодержавіемъ въ одну несокрушимую, нынѣ вполне устроенную громаду“. Ему не приходило въ голову усомниться хоть на минуту въ благоустройствѣ и несокрушимости этой громады, а между тѣмъ для нея уже приближалось время роковыхъ тяжелыхъ испытаній, которыя разрушили эту иллюзію и заставили и правительство, и общество сознать необходимость для нея коренныхъ преобразованій. Жуковскій также былъ человѣкъ, давно ушедшій отъ реальной жизни и совершенно чуждый того критическаго къ ней отношенія, которое оживило нашу литературу въ гоголевскій періодъ, и въ которомъ сказался самый искренній патріотизмъ.

Движеніе, начавшееся въ правительственныхъ сферахъ при Александрѣ I, передалось вскорѣ лучшей части образованнаго общества, перешло въ литературные кружки и было сначала въ полномъ согласіи съ правительственными взглядами, стремленіями и начинаніями. Но бурныя военныя событія, какъ извѣстно, отвлекли надолго отъ вопросовъ внутренней жизни и правительство, и общество; а послѣ окончанія военнаго похода взгляды и настроеніе правительственныхъ сферъ измѣнились настолько, что опять, какъ при Екатеринѣ, пошли въ разрѣзъ съ передовою частью общества. Идеалисты, энтузіасты, горячіе поборники общаго блага этой эпохи обнаружили много благородства и великодушія, но они не сообразовались съ дѣйствительнымъ положеніемъ вещей и плохо знали его; ихъ политическія стремленія оказались неосуществимыми или, по крайней мѣрѣ, преждевременными и сдѣлались причиною ихъ гибели. Но съ идейной стороны они, какъ пріемники и продолжатели умственного движенія лучшей поры екатерининской эпохи, сдѣлали не мало для литературнаго и общественнаго развитія.

Возьмемъ, напримѣръ, поэтическую дѣятельность Рылѣева. Его думы отличались глубокимъ патріотизмомъ и искреннимъ одушевленіемъ. Поэтическій матеріалъ ихъ былъ взятъ изъ русской исторіи; но стремленіе воспроизводить историческое прошлое, особенно отдаленное, не могло въ то время увѣнчаться полнымъ успѣхомъ: тогдашнія историческія знанія были такъ скудны, что не подготовляли къ вѣрному пониманію старины. Пушкину нравились нѣкоторыя мѣста въ его „Думахъ“. Это были тоже романтическія произведенія, но иного закала, чѣмъ произведенія Жуковскаго: въ нихъ чувствовалась свѣжая струя,

было общественное содержаніе и гражданское чувство. Въ художественномъ отношеніи онѣ были слабы, но ихъ недостатки были простительны уже потому, что пробиравшійся къ намъ въ то время романтизмъ не успѣлъ еще найти надежной опоры, чтобы утвердиться на русской почвѣ. Настроеніе Рылѣева было типическимъ для тогдашней либеральной молодежи, и потому мы приведемъ для знакомства съ нимъ выдержки изъ переписки Рылѣева съ Пушкинымъ. Рылѣевъ былъ глубоко привязанъ къ Пушкину: онъ называетъ его „чародѣемъ“, „чудотворцемъ“, но не всегда преклоняется передъ нимъ и часто спорить. Пушкинъ, напр., защищалъ Жуковского отъ нападенія рьяныхъ романтиковъ. Но Рылѣевъ, отдавая полную дань литературной заслугѣ Жуковского, дѣлалъ однако слѣдующее замѣчаніе: „Къ несчастью, вліяніе его на духъ нашей словесности было слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній, мечтательность, неопредѣленность и какая то туманность, которыя въ немъ иногда даже прелестны, растлили многихъ и много зла надѣлали. Зачѣмъ не продолжаетъ онъ дарить насъ прекрасными переводами своими изъ Байрона, Шиллера и другихъ великановъ чужеземныхъ? Это болѣе можетъ упрочить славу его“. Въ другомъ письмѣ онъ возстаетъ противъ аристократизма Пушкина: „Ты сдѣлался аристократомъ; это меня разсмѣшило. Тебѣ ли чваниться пятисотлѣтнимъ дворянствомъ? И тутъ вижу маленькое подражаніе Байрону. Будь, ради Бога, Пушкинымъ! Ты самъ по себѣ молодецъ“. Отвѣчая Пушкину на другое письмо, онъ говоритъ: „Ты мастерски оправдываешь свое чванство шестисотлѣтнимъ дворянствомъ, но несправедливо.

Справедливость должна быть основаніемъ и дѣйствій, и самыхъ желаній нашихъ. Преимуществъ гражданскихъ не должно существовать, да они для поэта Пушкина ни къ чему и не служатъ ни въ залѣ невѣжды, ни въ залѣ знатнаго..., не умѣющаго цѣнить твоего таланта... Чванство дворянствомъ непростительно, особенно тебѣ. На тебя устремлены глаза Россіи; тебя любятъ, тебѣ вѣрятъ, тебѣ подражаютъ. Будь поэтъ и гражданинъ“. Но тамъ, гдѣ дѣло касалось поэтическаго выраженія, стиха, Рылѣевъ вполне полагался на вкусъ и художническое пониманіе Пушкина и дѣлалъ поправки по его указаніямъ. скромно признавая себя въ этомъ отношеніи ученикомъ великаго поэта.

Рылѣевъ съ Бестужевымъ задумали въ 23-мъ году изданіе альманаха „Полярной Звѣзды“, гдѣ приняли участіе лучшія литературныя силы того времени. Сборникъ имѣлъ небывалый успѣхъ и второй выпускъ его вышелъ въ слѣдующемъ году. Повѣсти этого сборника были переведены на нѣмецкій языкъ въ журналъ Ольдекопа („St.-Petersburger Zeitung“) и перепечатаны въ разныхъ заграничныхъ журналахъ. а польскій ученый Богумиль-Линде перевелъ на польскій языкъ статьи, „до исторіи русской литературы касающіяся“. Это были статьи Бестужева, представляющія ежегодные обзоры текущей литературы, какъ поэтическихъ произведеній, такъ и научныхъ сочиненій, журналистики, трудовъ ученыхъ и литературныхъ обществъ. Это было ново для того времени. Кромѣ того, въ первомъ выпускѣ помѣщенъ первый опытъ общаго обзора всей русской литературы, старой и новой, и принадлежалъ тому же автору. Статьи вызвали оживленныя обсужденія въ тогдашней журналистикѣ.

Онѣ, дѣйствительно, представляли интересъ по своимъ серьезнымъ и новымъ задачамъ — разобратъ въ явленіяхъ текущей литературы, представлявшихъ смѣсъ стараго съ новымъ, указать неблагопріятныя для литературнаго развитія условія и желательное для него направленіе въ будущемъ. Такъ, говоря о причинахъ бѣдности нашей словесности оригинальными и дѣльными сочиненіями, авторъ указываетъ на охлажденіе общества ко всему отечественному послѣ наполеоновскихъ войнъ и вновь усилившуюся „страсть къ галлицизмамъ“, на нашу пагубную привычку къ подражанію и на плохое воспитаніе, при чемъ даетъ такую характеристику воспитаннаго чловѣка, которая вскорѣ была оправдана въ живомъ поэтическомъ изображеніи Онѣгина. Тѣ же задачи преслѣдуетъ статья Кюхельбекера „О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической“, помѣщенная въ сборникъ „мнемозина“, издававшемся въ Москвѣ кн. В. Одоевскимъ и Кюхельбекеромъ. Авторъ возстаетъ противъ слѣпого подражанія, стремится къ сверженію иноземнаго владычества въ нашей литературѣ. „Будемъ благодарны Жуковскому“, говоритъ онъ, „что онъ освободилъ насъ отъ ига французской словесности и отъ управленія нами по законамъ Лагарпова лица и Баттеева курса; но не позволимъ ни ему, ни кому другому, если бы онъ владѣлъ въ десятеро большимъ передъ нимъ талантомъ, наложить на насъ оковы нѣмецкаго или англійскаго владычества“... „Всего лучше имѣть поэзію народную“. Та же мысль высказывается и Бестужевымъ. „Было время“, говоритъ онъ, „что мы не впадавъ вздыхали по-стерновски, потомъ любезничали по-французски, теперь залетѣли въ тридевятую даль по-нѣмецки. Когда же мы попадемъ

въ свою колею? Когда будемъ писать прямо по-русски"... „Всѣ образцовыя дарованія носятъ отпечатокъ не только народа, но и вѣка и мѣста, гдѣ жили они, слѣдовательно, подражать имъ рабски въ другихъ обстоятельствахъ невозможно и неумѣстно“. И Бестужевъ, и Кюхельбекеръ истые романтики, и на ихъ знамени прежде всего стоитъ слово: народность. Кюхельбекеръ выражаетъ недовольство, что „печатью народности ознаменованы какіе-нибудь 80 стиховъ въ „Свѣтланѣ“ и въ „Посланіи къ Войкову“ Жуковского, мелкія стихотворенія Катенина, два или три мѣста въ „Русланѣ и Людмилѣ“. Современная русская поэзія ему кажется „безцвѣтной, изнѣженной, неопредѣленной“... „У насъ“, говоритъ онъ, „все мечта и призракъ, все мнится и кажется, и чудится, все только будто бы, какъ бы, нѣчто, что-то“... „Картины вездѣ однѣ и тѣ же: луна, которая, разумѣется, уныла и блѣдна, скалы и дубравы, гдѣ ихъ никогда не бывало, лѣсъ, за которымъ сто разъ представляютъ заходящее солнце, вечерняя заря, изрѣдка длинныя тѣни и привидѣнія, что-то невидимое, что-то невѣдомое“... „Изъ слова же русскаго богатаго и мощнаго силятся извлечь небольшой благопріятный, приторный, искусственно тощій, приспособленный для немногихъ языкъ, un petit jargon de coterie“... Очевидно, что взгляды на поэзію здѣсь тѣ же, что и у Рылѣева, и стрѣлы насмѣшки направлены въ сторону Жуковского и его подражателей. Бѣлинскій очень цѣнилъ обзоры Бестужева и находилъ ихъ „крайне интересными, какъ факты интереснѣйшаго времени нашей литературы — времени, въ которое началась война покойника классицизма съ теперѣшнимъ покойникомъ романтизмомъ“; такъ говорилъ онъ въ 1840-мъ

году, при обзорѣ сочиненій Марлинскаго (Бестужева). Третья книжка „Полярной Звѣзды“ уже не вышла въ свѣтъ (1825 г.).

Нельзя не пожалѣть опять, что такая плодотворная литературная дѣятельность была оставлена почти въ самомъ началѣ, — дѣятельность, много обѣщавшая въ дальнѣйшемъ развитіи!

Идеаль Карамзина, выраженный въ „Запискѣ о древней и новой Россіи“, дѣйствительно, вскорѣ началъ осуществляться при усердіи такихъ патріотовъ, какъ Аракчеевъ, кн. Голицынъ, Руничъ, Магницкій, Шишковъ и въ литературѣ С. Глинка. Библейское общество, ставшее просвѣтительнымъ центромъ не только для столицы, но и для отдаленной провинціи (см. „Повѣсть о самомъ себѣ“ Никитенки), ассигновавшее 2 милліона рублей на школьные расходы и проектировавшее открыть 10,000 народныхъ училищъ, вскорѣ было закрыто, какъ закрыты были и ланкастерскія школы. Шишковъ, котораго патріотическая волна вынесла наверхъ, ставши министромъ народнаго просвѣщенія, поднесъ на высочайшее утвержденіе въ 1826-мъ году цензурный уставъ, составленный Магницкимъ и Руничемъ, запрещавшій преподаваніе философіи въ университетахъ. Эти реакціонныя стремленія часто прикрывались уваженіемъ къ русской старинѣ. Аракчеевъ гордился тѣмъ, что „учился грамотѣ по часослову, а не по рисованнымъ картамъ“. Нерѣдко это уваженіе было искреннимъ, какъ у Шишкова и у чудака С. Глинки, редактора „Русскаго Вѣстника“ — журнала съ русскимъ направленіемъ. Такой журналъ былъ тогда новостью и, пожалуй, назрѣвшею потребностью, но его редакторъ перешелъ всякую мѣру и впалъ въ нелѣпыя, смѣшныя крайности, выразившіяся въ чрезмѣрномъ безосновательномъ

восхваленіи всего русскаго. Просвѣщеніе для Глинки заключалось „въ простотѣ нравовъ, въ любви и усердіи къ Богу, вѣрѣ, царю и отечеству“. Онъ находилъ въ наставленіи Симеона Полоцкаго царю, Алексѣю Михайловичу, сходство не только съ мыслями Сократа, Платона и Цицерона, но и Декарта, и Боссюэта, Вольтера, Дидро; у воспитателя Петра I, Зотова, — тѣ же начала, какія выработали Локкъ, Руссо и Кондильякъ; вся премудрость законодателей отъ Солона до Монтескье, заключена, по его словамъ, въ русской Кормчей книгѣ; Костровъ былъ, по его мнѣнію, совмѣстникъ музыки Гомера; „гречанка Сафо пѣла восторги страстной любви, Россіянка Волкова посвятила перо свое „добродѣтели, царю и отечеству“. Стихи съ именами мифологическими не допускались въ журналѣ Глинки изъ патріотизма. Сатира Воейкова „Сумасшедшій домъ“ весьма остроумно изображаетъ этого чудака руссофила:

„Номеръ третій на лежанкѣ
Истый Глинка возсѣдить;
Передъ нимъ духъ русскій въ склянкѣ
Не откупорень стоитъ.

* * *

Книга Кормчая отверзта,
А уста растворены,
Сложены десной два перста,
Очи вверхъ устремлены.

* * *

О Расинъ! Откуда слава?
Я тебя, дружка, поймалъ
Изъ російскаго Стоглава
Ты Гофолію укралъ.

* * *

Чувствъ возвышенныхъ сіянье,
Выраженій красота
Въ Андромахѣ — подражанье
Погребенію кота!“

o *Чай*

Чтобы закончить характеристику этого періода, мы должны сказать, что самые даровитые, крупные представители русской поэзіи 20-хъ годовъ по своимъ близкимъ нравственнымъ связямъ принадлежали къ тому же кругу образованной симпатичной молодежи, о которой только-что говорили. Не трудно догадаться, что рѣчь идетъ здѣсь о Пушкинѣ и Грибоѣдовѣ. Всѣмъ извѣстно, что въ числѣ погибшихъ были близкіе друзья Пушкина и товарищи по лицу. Извѣстны также и дружескія связи Грибоѣдова съ Бестужевымъ, Рылѣевымъ, Кюхельбекеромъ и въ особенности съ юношей поэтомъ, кн. А. И. Одоевскимъ. Ни Пушкинъ, ни Грибоѣдовъ не были участниками ихъ политическаго предпріятія (хотя, можетъ быть, и случайно), но по своему міровоззрѣнію, по своей любви къ просвѣщенію, къ родинѣ, по страстному стремленію къ сознательной общественной дѣятельности, по враждѣ къ застою, всецѣло принадлежали этой группѣ. Объ этомъ свидѣлствуютъ многія несомнѣныя данныя въ біографіяхъ того и другого поэта, а болѣе всего нѣкоторыя молодыя произведенія Пушкина и сильные протестующіе монологи Чацкаго. Мы приведемъ въ заключеніе нѣсколько словъ Гончарова изъ извѣстной статьи: „Милліонъ терзаній“. Гончаровъ прекрасно выяснилъ ту сторону комедіи Грибоѣдова, которая имѣетъ вѣчное значеніе, — борьбу новыхъ понятій со старыми, отживающими, но сильными. „Чацкій“, говоритъ Гончаровъ, „неизбѣженъ при каждой смѣнѣ одного вѣка другимъ. Положеніе

Чацкаго на общественной лѣстницѣ разнообразно, но роль и участь все одна, отъ крупныхъ государственныхъ и политическихъ личностей, управлявшихъ судьбами массъ, до скромней доли въ тѣсномъ кругу“... „Всѣмъ имъ достается въ удѣлъ свой „милліонъ терзаній“, и никакая высота положенія не спасетъ отъ него“.... „Каждое дѣло, требующее обновленія, вызываетъ тѣнь Чацкаго, и кто бы ни были дѣятели, около какого бы человѣческаго дѣла,—будетъ ли то новая идея, шагъ въ наукѣ, въ политикѣ, въ войнѣ — ни группировались люди,—имъ никуда не уйти отъ двухъ главныхъ мотивовъ борьбы: отъ совѣта „учиться, на старшихъ глядя“, съ одной стороны, и отъ жажды стремиться отъ рутины къ „свободной жизни“ впередъ и впередъ — съ другой“.

Итакъ, мы видимъ, что къ концу александровскаго періода на русскомъ общественномъ горизонтѣ, какъ свидѣтельствуется знаменитая комедія, появляется сильная протестующая фигура Чацкаго. Въ Чацкомъ рѣзко обозначается главный результатъ, достигнутый предшествовавшими движеніями — протестъ противъ безправія и всяческой лжи. „Онъ сломленъ, по словамъ Гончарова, количествомъ старой силы, нанеся ей въ свою очередь смертельный ударъ качествомъ силы свѣжей“. И въ самомъ дѣлѣ, онъ только временно побѣжденъ, потому что его идеи, какъ мы увидимъ, одарены необыкновенной живучестью и, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будутъ развиваться въ своемъ содержаніи, очищаться критикой отъ ошибокъ и увлеченій и распространяться въ ширь, т. е. постепенно становиться общимъ достояніемъ.

II.

**Вліяніє правительственной системы въ царствованіе
Николая I на общественную жизнь и литературу.**

Источникомъ общественныхъ движеній при Екатеринѣ II и Александрѣ I были европейская наука и литература, а также и сама европейская жизнь, съ которой знакомились непосредственно образованные русскіе люди, ѣздившіе въ Европу для усовершенствованія себя въ наукахъ, и русскіе гвардейскіе офицеры, наблюдантіе же во время военнаго путешествія, въ эпоху войнъ съ Наполеономъ. Общественное движеніе, какъ мы видѣли, дважды начиналось и дважды приостанавливалось: какъ при Екатеринѣ II, такъ и при Александрѣ I, либеральныя вліянія въ началѣ смѣнялись потомъ реакціей. Слѣдующее же за ними тридцатилѣтнее царствованіе императора Николая I (1825—1855 гг.) отличается отъ предыдущихъ единствомъ направленія и цѣльностью. Реакціонное движеніе, начавшееся еще при Александрѣ I, продолжало усиливаться и слагаться въ цѣлую стройную систему въ теченіе этого тридцатилѣтія. Событіе 1825 г. только увеличило недовѣріе правительства ко всякому проявленію свободной мысли и общественной дѣятельности. Начало же такихъ отношеній между властью и обществомъ было положено еще во времена Священнаго Союза, когда, по низложеніи Наполеона, государи Европы рѣшили соединиться для поддержанія международнаго порядка и дѣйствовали дружными общими усиліями противъ революціонной заразы, разнесенной по Европѣ французами. Такимъ образомъ и наша реакція

шла изъ того же европейскаго источника и была отраженіемъ европейской реакціи.

Въ силу этого союза мы вмѣшивались въ дѣла европейскихъ государствъ для защиты монархическаго принципа, противодѣйствовали политическому развитію европейскаго общества и приобрѣли всеобщую ненависть въ Европѣ. Въ крымской войнѣ противъ насъ оказались не только Англія, относившаяся къ намъ съ политическимъ недовѣріемъ, и Франція, которой мы чуждались изъ опасеній революціоннаго ея духа; не только Сардинія, въ которой наше правительство не пожелало признать конституціонной реформы, — противъ насъ оказались даже такія государства, правительству которыхъ мы оказывали серьезныя услуги. Таковы были результаты нашей внѣшней политики.

Внутри Россіи властно господствовала въ теченіе этихъ 30 лѣтъ система, которая пыталась приостановить умственную жизнь общества, составила опредѣленный кругъ понятій, сдѣлавшихся обязательными для литературы, науки и жизни. Всѣ сферы государственной, народной и общественной дѣятельности находились подъ опекой большого и малаго начальства. Каждое вѣдомство, каждая канцелярія вела свои дѣла втайнѣ, и, кромѣ своего собственнаго начальства, не имѣла надъ собою никакого контроля, не подвергалась ничьей провѣрки и критикѣ. Общество было устранено отъ всякаго участія даже въ такихъ дѣлахъ, гдѣ затрогивались самые насущные его интересы; за нимъ не признавалось никакого значенія.

Мы приведемъ яркую характеристику этого періода русской жизни, сдѣланную московскимъ профессоромъ Н. А. Любимовымъ, единомышленникомъ и другомъ М. Н. Каткова, слѣдовательно,

человѣкомъ, свободнымъ отъ малѣйшаго подозрѣнія въ излишнемъ либерализмѣ. „Начальство сдѣлалось“, говоритъ онъ, „все въ странѣ. Все кесареви, богови оставалось немного. Все сводилось къ простотѣ отношеній начальника и подчиненнаго. Въ начальствѣ совмѣщались законъ, правда, милость и кара. Губернаторъ, при какой-то ссылкѣ на законъ, взявшій со стола томъ свода законовъ и сѣвшій на него съ вопросомъ: гдѣ законъ? былъ лицомъ типическимъ, въ частности добрымъ и справедливымъ человѣкомъ. Купецъ торговалъ потому, что была на то милость начальства; обыватель ходилъ по улицѣ, спать послѣ обѣда въ силу начальническаго позволенія; приказный пилъ водку, женился, плодилъ дѣтей, бралъ взятки, по милости начальническаго снисхожденія. Воздухомъ дышали потому, что начальство, снисходя къ слабости нашей, отпускало въ атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала въ водѣ, птицы лѣли въ лѣсу, потому что такъ разрѣшено начальствомъ“... „Для народа, несчаго тяготы и крѣпостныхъ, и государственныхъ повинностей, со включеніемъ тяжелой рекрутчины, то было время нелегкой службы. Военные люди, какъ представители дисциплины и подчиненія, имѣли первенствующее значеніе, считались годными для всѣхъ родовъ службы, Гусарскій полковникъ засѣдалъ въ синодѣ, въ качествѣ оберъ-прокурора. Зато полковой священникъ, подчиненный оберъ-священнику, былъ служивый въ рясахъ, независимый отъ архіерея. Коллежскій ассессоръ Ковалевъ у Гоголя требовалъ, чтобъ его звали маіоромъ. Коллежскіе совѣтники были довольны, если ихъ звали полковниками; дѣйствительныхъ статскихъ и доселѣ принято звать генералами. Всякая независимая отъ службы

дѣятельность считалась развѣ терпимомъ при незамѣтности и немедленно возбуждала опасеніе, какъ только чѣмъ-либо явно обнаруживалась. На неслужившаго дворянина смотрѣли косо, и славянофилы заботили третье отдѣленіе не менѣе какихъ-либо неблагонадежныхъ людей. Цензура вычеркивала „вольный духъ“ въ поваренныхъ книгахъ. Тѣлесныя наказанія считались главнымъ орудіемъ дисциплины и основой общественнаго воспитанія. Отъ ученія требовали практической пригодности, наука была въ подозрѣніи. Съ 1848 г. преслѣдованіе независимости во всѣхъ ея формахъ приняло мрачный характеръ“ (Мик. Ник. Катковъ и его историческая заслуга. Н. А. Любимова. Стр. 182 и слѣд.).

Что же удивительнаго, что при этихъ условіяхъ въ юная умственная лѣтъ наша усиливалась и нравственный уровень общества, понижался постепенно? При безгласности общества, при безконтрольности чиновниковъ, на полномъ просторѣ, безгранично царилъ личный и семейный эгоизмъ, распространялся грубый произволъ; почти всюду исключительно дѣйствовала корысть. Въ жизни отсутствовало высшее нравственное начало, которое могло бы поддерживать и даже поднять нравственность: въ умахъ общественнаго большинства не было понятія объ обществѣ, объ общественныхъ обязанностяхъ, въ сердцахъ недоставало общественныхъ чувствъ. Всякій заботился только о себѣ и о своей семьѣ, „танцилъ“, по выраженію Островскаго, „въ свою семью“. Живая картина растлѣнія тогдашнихъ нравовъ наглядно представляется по такимъ яркимъ художественнымъ иллюстраціямъ, какъ „Ревизоръ“, „Мертвыя души“ Гоголя, „Свои люди — сочтемся“, „Пучина“, „Доходное мѣсто“, „Вос-

питаиница“ Островскаго, „Записки охотника“ Тургенева... Въ этихъ и многихъ другихъ литературныхъ произведеніяхъ живо изображена вся жизнь дореформенной Россіи, съ ея деревней, уѣзднымъ городомъ, губернскимъ и столицей, и именно въ тѣхъ рамкахъ, въ которыхъ заключила ее „система“, и съ тѣмъ характеромъ, который она придала ей.

Образованіе въ то время доступно было только высшимъ сословіямъ и очень небольшое количество элементарныхъ школъ существовало для низшаго городского населенія. Русскіе университеты въ 40-хъ годахъ, правда, значительно поднялись: въ нихъ появились молодые ученые, завершившіе свое образованіе за границей; нѣкоторые изъ нихъ отличались даровитостью и стояли на уровнѣ европейской науки, и ихъ дѣятельность могла бы поднять умственный уровень общества, но она была окружена недовѣріемъ и стѣснена до послѣдней степени, въ особенности въ концѣ этого періода. При условіяхъ строгой опеки, ни литература русская, ни наука не могли имѣть настоящаго развитія. Умственные интересы образованнаго меньшинства въ глазахъ малообразованнаго большинства общества казались праздною пустою забавою или даже опасными заблужденіями.

Цензура тѣмъ далѣе, тѣмъ становилась суровѣе. „Ревизоръ“ былъ допущенъ къ представленію по настоянію самого императора, о напечатаніи „Мертвыхъ душъ“ также хлопотали высокопоставленные лица, но переизданіе 1-го тома „Мертвыхъ душъ“ въ концѣ періода, при всѣхъ стараніяхъ, оказалось невозможнымъ. Каждое вѣдомство, чуть не каждая канцелярія съ конца 40-хъ годовъ имѣли свою собственную цензуру. Кромѣ общей, существовало еще 17 специальныхъ цензуръ.

Академикъ Кеппенъ напечаталъ статью о почтовыхъ сообщеніяхъ: управлявшій этимъ вѣдомствомъ, кн. Голицынъ, жаловался, куда слѣдуетъ, въ такихъ выраженіяхъ: „это — попытка того либеральнаго духа западной Европы, который стремятся подвергать дѣйствія правительства контролю свободнаго книгопечатанія“... „Кеппенъ и теперь уже возглашаетъ въ той же статьѣ: „наступаетъ и для насъ время развитія силъ народныхъ!“... Въ 1845 г. появилась въ печати статья о строившейся въ то время желѣзной дорогѣ. Статья была признана вполнѣ благонамѣренной, но тѣмъ не менѣе, управляющимъ вѣдомства было испрошено Высочайшее повелѣніе, чтобы впредь ничего о дорогѣ не печаталось безъ его разрѣшенія. Печатаніе разборовъ театральныхъ пьесъ и игры актеровъ допускалось не иначе, какъ съ разрѣшенія начальника 3-го отдѣленія собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи, такъ какъ актеры состоятъ на службѣ въ вѣдомствѣ Императорскаго Двора.

Система, дѣйствовавшая въ теченіе этого періода, имѣла претензію называть себя народною. Въ официальныхъ сферахъ господствовало такое представленіе: Россія — совершенно особое государство, непохожее ни на одно изъ западныхъ, и русскій народъ — тоже особый народъ, поэтому русскій народный и государственный строй жизни долженъ имѣть основныя отличія отъ европейскаго. Россія должна быть совершенно чужда требованій и стремленій европейской жизни. Всѣ тѣ свободныя учрежденія и улучшенія общественной жизни, которыми гордится Европа, — результаты французскаго вольнодумства, революціи и не иное что, какъ опасныя заблужденія. Правда, революціонное движеніе укрощено въ Европѣ, но

оно оставило свои вредные слѣды. Въ Россіи не было подобныхъ заблужденій: она сохранила неизмѣнными свои вѣковыя преданія, сохранила во всей чистотѣ свои религіозныя вѣрованія, заимствованныя изъ Византіи, въ которой вѣрно сбереглись во всей неприкосновенности преданія христіанской церкви. Россія отличается своими патріархальными добродѣтелями, которыхъ не имѣютъ народы Запада. Нашъ бытъ вполне отвѣчаетъ нашимъ нравамъ, патріархальнымъ, но чистымъ, и положеніе нашего крѣпостного крестьянина гораздо лучше западнаго рабочаго: о русскомъ крестьянинѣ заботится помѣщикъ. Высшія учрежденія у насъ пекутся о томъ, чтобы наука, въ которой Европа, конечно, насъ опередила, не приносила вреда, а только пользу. Цензура, слѣдящая за привозимыми къ намъ иностранными сочиненіями и своими русскими, стремится именно къ тому, чтобы не допускать вредныхъ и опасныхъ умствованій, которыя нарушаютъ общественное спокойствіе и грозятъ государственному строю разрушеніемъ. Въ силу всего этого въ Россіи наилучшій порядокъ вещей: она процвѣтаетъ, наслаждаясь внутреннимъ спокойствіемъ; она сильна, никого не боится. Есть, разумѣется, и въ ней злоупотребленія, но они происходятъ не отъ дурныхъ учреждений или законовъ, а отъ людскихъ пороковъ. Въ прошломъ Россіи была крупная ошибка, какъ и Карамзинъ это находилъ, реформа Петра I, которая заставила насъ заимствовать отъ Европы многія ея заблужденія; но настоящая система исправляетъ эту погрѣшность, ставя Россію на путь истинныхъ народныхъ началъ. Россія чужда теперь какихъ-либо заимствованій, какой-либо подражательности: она національна, самобытна. Графъ

Бенкендорфъ въ 30-хъ гг. говорилъ: „прошедшее Россіи прекрасно, настоящее ея болѣе, чѣмъ великолѣпно, что касается будущаго, то оно выше всего, что можетъ себѣ представить самое пылкое воображеніе“.

Эту систему весьма мѣтко и справедливо называлъ историкъ литературы, акад. Пыпинъ, „системой официальной народности“. Главный вредъ системы заключался въ томъ, что она не хотѣла признать законности развитія народной и государственной жизни, законности движенія и, стремясь удерживать въ бездѣйствіи народныя силы, осуждала ихъ на мертвую неподвижность. Конечно, не все европейское хорошо, какъ извѣстно, и не все полезно, но нельзя не признать, что вмѣстѣ съ европейскимъ знаніемъ и цивилизаціей пришло много чуждаго къ намъ изъ Европы, развивающаго, что совершенно измѣнило наши старыя понятія и заставило насъ стремиться къ дальнѣйшему усвоенію науки и къ улучшенію самыхъ формъ жизни. Система ничего этого не хотѣла знать, въ самовосхваленіи она доходила до послѣдней крайности, особенно въ лицѣ своихъ поклонниковъ литераторовъ.

Литераторы — панегиристы системы, прославляя ее, называя ее народною, обнаруживали, повидимому, необыкновенную любовь къ русскому народу, говорили о его высокомъ предназначеніи, находили въ немъ добродѣтели, ему одному свойственныя, но, согласно системѣ, не замѣчали его тяжелаго положенія въ то время. Нѣкоторые изъ нихъ доходили до полной вражды къ европейской цивилизаціи. Европа, по ихъ мнѣнію, находилась въ самомъ печальномъ состояніи, влѣдствіе умственныхъ заблужденій, — въ состояніи разложенія и могла только завидовать намъ. Для

насть, говорили они, наступилъ періодъ полнаго самосознанія и самостоятельности. Мы должны теперь обратиться къ источникамъ своей народной жизни и черпать оттуда элементы собственнаго національнаго развитія.

Если припомнить политическіе взгляды Карамзина въ „Запискѣ о древней и новой Россіи“, то станетъ очевиднымъ, что основанія „системы официальной народности“ были заложены еще въ предшествовавшій александровскій періодъ этимъ писателемъ и его послѣдователями патріотами, какъ Шишковъ, Жуковскій и С. Глинка, но къ двумъ прежнимъ основаніямъ: православію и самодержавію, указаннымъ у Жуковского, прибавилось теперь третье — народность.

Въ тридцатилѣтній періодъ Николаевского царствованія дѣйствовали новые литераторы-патріоты, смѣнившіе Шишкова и С. Глинку, но они проводили уже извѣстные намъ, старые взгляды, употребляя на защиту ихъ иногда новыя только средства, заимствованныя изъ нѣмецкой философіи. Петербургскіе журналы: „Библіотека для чтенія“, „Сѣверная пчела“, „Маякъ“ и московскій журналъ „Москвитянинъ“ были главными проводниками идей „системы официальной народности“. Наиболее типичный изъ нихъ по своимъ взглядамъ и отчасти напоминающій русофильскій органъ С. Глинки — журналъ „Москвитянинъ“, и потому съ нимъ слѣдуетъ познакомиться.

Онъ основанъ Погодинымъ (проф. русской исторіи въ Москов. унив.) въ началѣ 40-хъ годовъ и былъ органомъ такъ называемаго „русскаго направленія“, не отличавшимся ни безпристрастіемъ, ни серьезностью. Все русское восхвалялось въ немъ чрезмѣрно, все европейское унижалось, при чемъ употреблялись дѣтски-наивныя, смѣш-

ные литературные приемы. Основные положенія журнала заключались въ слѣдующемъ: Востокъ противопоставлялся Западу, т.-е. Россія Европѣ. Востокъ держался крѣпко основною добродѣтелью — смиренномудріемъ, которое было совершенно чуждо кичливому Западу; оно приводило къ полному примиренію съ дѣйствительностью. Профессоръ Шевыревъ, другъ Погодина, въ 1841 году объявилъ на страницахъ „Москвитянина“, что Западъ заживо сгнилъ и заражаетъ Россію своимъ тлетворнымъ дыханіемъ. Россія представлялась благоденствующей страной порядка и спокойствія, Европа — бѣдствующей отъ своеволія и буйства. Россіи, говорилось, нечего заимствовать у Запада, потому что мнимая цивилизація его ведетъ только къ безбожію и революціямъ. Русская допетровская старина превозносилась, какъ хранилище высокихъ нравственныхъ идеаловъ, и русскій національный типъ представлялся украшеннымъ высокими, исключительно ему свойственными добродѣтелями. Русская народная жизнь, взятая въ ея цѣломъ, и въ особенности тѣ черты, которыя отличали ее отъ западно-европейской, представлялись въ самомъ выгодномъ свѣтѣ; идеализировалось даже крѣпостное право въ видѣ добродушно-патріархальныхъ отношеній помѣщика къ крестьянамъ. Редакторъ „Москвитянина“ завелъ въ своемъ журналѣ особый отдѣлъ разсказовъ „О великодушіи и безкорыстіи русскаго человѣка“, наивно думая доказать такимъ способомъ несомнѣнность существованія этихъ качествъ. Его противники, западники, полемизировавшіе съ нимъ, говоря о негодности такого приема доказательствъ, справедливо замѣчали, что съ одинаковымъ успѣхомъ можно изъ разсказовъ объ отдѣльныхъ случаяхъ

составить отдѣлъ „О корыстолюбіи русскаго народа“. Народолюбіе Погодина доходило до невѣроятныхъ, смѣшныхъ крайностей: русскій человѣкъ у него всегда и во всемъ былъ выше европейца какой бы то ни было другой націи. Нѣмецкій работникъ, напримѣръ, оказывался никуда негоднымъ въ сравненіи съ русскимъ. „Противно смотрѣть“ — писалъ онъ изъ Эмса — „на здѣшнихъ рабочихъ: гдѣ-то встанутъ, гдѣ-то поднимутъ руки, гдѣ-то опустятъ ихъ. Что за вялость, безучастіе, скука на ихъ лицахъ. Ходятъ разваренные, примѣриваются, пробуютъ. То ли дѣло русскіе каменщики, плотники, печники, штукатуры, въ ихъ бѣлыхъ или синихъ рубашкахъ, подпоясанные, съ пѣснями и веселыми лицами. Работа именно кипитъ у нихъ, и всякое дѣло мастера боится“.

Задача „Москвитянина“ сводилась собственно къ тому, чтобъ убѣдить русское общество въ ненужности какихъ бы то ни было перемѣнъ. Какъ прошлое, такъ и настоящее Россіи прекрасно. Въ прошломъ журналъ также находилъ въ реформѣ Петра крупную ошибку, которую поправляетъ современная ему система. Нѣкоторыя неурядицы русской жизни объяснялись также исключительно людскими пороками, а все остальное въ Россіи было очень хорошо, и ее ожидало славное будущее. Мнѣнія журнала, какъ видно, совершенно совпадали со взглядами официальныхъ сферъ.

Эта патріотическая литература „ложновеличавой“, по выраженію Тургенева, школы была, по истинѣ, литературой неподвижности, застоя. Но огромное общественное большинство того времени вполне удовлетворялось господствовавшими въ ней понятіями, и они прочно держались въ умахъ вплоть до Севастопольскаго погрома, обнаружи-

нипаго ихъ полную несостоятельность. Въ общественной массѣ были, конечно, люди съ умомъ и образованіемъ, которые могли чувствовать фальшь господствовавшего тона, и, дѣйствительно, чувствовали ее, но они представляли собой незначительное меньшинство, и условія тогдашней жизни вовсе не благопріятствовали какому бы то ни было протесту. Большинство же общества, при ограниченности научныхъ знаній, при обычномъ равнодушіи къ общимъ интересамъ и пассивности, которая исторически выренилась въ русскомъ человѣкѣ, привыкшемъ еще со времени Котошикина думать только казенную думу, твердо и съ удовольствіемъ вѣрило въ непреложность указаннаго міровоззрѣнія и не представляло себѣ даже возможности иныхъ взглядовъ, иного строя жизни. Оно вѣрило, что жить въ лучшемъ изъ міровъ, что русскій народъ — народъ избранный, съ высокимъ предназначеніемъ, и что Европа остается только удивляться и завидовать намъ. Этотъ извращенный патриотизмъ, переходившій въ національное самоувѣреніе, былъ губителенъ именно тѣмъ, что не допускалъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ истинности господствовавшихъ понятій, ни малѣйшей критики существующаго строя. Всякая попытка въ этомъ родѣ толковалась, какъ желаніе нарушить общее благоденствіе, внести смуту въ умы, и даже — какъ измѣна отечеству.

Патріоты того времени находились въ полномъ ослѣпленіи. Вѣря въ чудесныя свойства русской души, въ высокое предназначеніе русскаго народа, находя окружающую дѣйствительность великолѣпною, они совсѣмъ не замѣчали своей малокультурности, совсѣмъ забывали о тяжеломъ положеніи закрѣпощеннаго народа; имъ и въ голову не приходило то простое соображеніе, что

никакое національное превосходство не сваливается съ неба, не дается даромъ, а бываетъ всегда и вездѣ результатомъ продолжительной, упорной и притомъ общей культурной работы. Они не знали своего прошлаго и не понимали настоящаго; историческая точка зрѣнія совершенно отсутствовала. И не удивительно: строго научныя изслѣдованія русской старины и изученія современной народной жизни тогда только-что начинались. Понятіе о народности было смутнымъ понятіемъ даже для лучшихъ умовъ того времени.

Самый народъ представлялся чѣмъ-то постояннымъ, неизмѣннымъ и понятія его вѣковѣчными. На самомъ же дѣлѣ національность не есть нѣчто неподвижное — она есть результатъ многовѣковой жизни при извѣстныхъ историческихъ условіяхъ и способна измѣняться, совершенствоваться подъ вліяніемъ вновь приобрѣтенныхъ болѣе высокихъ понятій. Мы прослѣдили въ нашемъ „Введеніи“ въ главныхъ чертахъ цѣлый рядъ чужихъ вліяній, измѣнившихъ кореннымъ образомъ народное міровоззрѣніе. Таково было христіанство, представлявшее собою полную противоположность грубому язычеству, въ которомъ долго коснѣлъ русскій народъ; таковы были вліянія Запада, постепенно подтачивавшія прочно утвердившееся у насъ средневѣковое міросозерцаніе. Патриоты, упрекавшие Петра въ томъ, что онъ поставилъ Россію на путь заимствованій и подражаній, забывали или не знали, что этимъ путемъ шли всѣ историческіе народы и что онъ не ведетъ къ уtratѣ національной самобытности.

Но указанныя ошибки въ пониманіи историческаго хода русской жизни, при неудовлетворительномъ въ то время состояніи историческихъ

знаній, вполнѣ объяснимы. Гораздо менѣе понятнымъ для насъ представляется отношеніе тогдашняго общества къ своей современности: окружавшая его дѣйствительность, кажется, слишкомъ мало давала поводовъ для ликованія и славословія. Общественная жизнь, понимаемая въ разумномъ смыслѣ слова, совершенно отсутствовала. Сила административной опеки надъ обществомъ и цензурный гнетъ, особенно къ концу тридцатилѣтія, давали себя чувствовать настолько, что отнимали возможность даже теоретической, спокойной, ученой дѣятельности, дѣятельности кабинетной, о какой-либо практической общественной дѣятельности нечего было и думать: признавалась опасной и недопустимой даже общественная благотворительность. Мы напомнимъ только нѣсколько всѣмъ извѣстныхъ фактовъ, иллюстрирующихъ положеніе общества въ ту эпоху. Извѣстно, напримѣръ, что проф. Грановскому рекомендовалось говорить о реформациі съ католической точки зрѣнія. Достаточно извѣстна также исторія перевода книги Флетчера о Россіи XVI вѣка, повлекшаго за собой запрещеніе на много лѣтъ изданій почтеннаго ученаго „Общества исторіи и древностей“ и удаленіе изъ Московскаго университета проф. Бодянскаго. Случай съ „Обществомъ посѣщенія бѣдныхъ“, основаннымъ въ Петербургѣ кн. Одоевскимъ, также очень характеренъ. Общество имѣло на своемъ попеченіи 15 тысячъ семей, устроило лѣчебницу, завело школу; оно находилось подъ покровительствомъ наслѣдника цесаревича, членомъ его былъ великій князь Константинъ Николаевичъ. Но въ самую лучшую пору своей дѣятельности оно должно было прекратить свое существованіе, потому что возбудило какія-то опасенія.

Консервативная литература, однако, ликовала и славословила. Этот тонъ чувствовался вездѣ: и въ ученыхъ, историческихъ и филологическихъ сочиненіяхъ, и въ беллетристикѣ.

Представителемъ надутой патріотической драмы былъ знаменитый Кукольникъ. Его ходульные пьесы съ трескучими монологами, съ напыщеннымъ языкомъ, съ кинжаломъ и ядомъ, заслуживали одобренія официальныхъ сферъ и пользовались огромнымъ успѣхомъ у публики въ 30-хъ и 40-хъ гг. Журналъ Полевого („Московский Телеграфъ“), справедливо указавшій неестественность, дѣланность его драмы „Рука Всевышняго отечество спасла“, былъ запрещенъ въ 1834 г. Публика удовлетворялась такими произведеніями, потому что они ей были по плечу. Самъ Кукольникъ думалъ о себѣ, какъ о гениальномъ представителѣ русскаго романтизма. Здѣсь не будетъ лишнимъ вспомнить, что онъ своимъ докладомъ военному министру, гр. Чернышеву, о литературной дѣятельности М. Е. Салтыкова, содѣйствовалъ удаленію послѣдняго на службу въ Вятку въ 1848 году. Торжествующій официальный патріотизмъ проникалъ даже въ русскій водевиль, въ которомъ любили тогда выводить благовоспитанныхъ русскихъ „пейзанъ“, чрезвычайно почтительно относившихся къ высшему сословію. Вотъ, напримѣръ, куплетъ, который поетъ крѣпостной русскій мужичокъ въ водевилѣ „Филатка и Мирошка“, имѣвшемъ въ то время необыкновенный успѣхъ:

Русскихъ знаетъ цѣлый свѣтъ:

Не съ руки намъ чванство, —

Правду молвилъ я иль нѣтъ,

(Обращается къ публикѣ)

Пусть рѣшитъ дворянство.

Входившій въ то время въ моду русскій историческій романъ, во вкусъ Вальтеръ-Скотта, безъ всякаго, впрочемъ, историческаго колорита, съ романтическими эффектами, отличался сентиментальною слащавостью и стремился, какъ можно, больше представить русскихъ доблестей. Наиболѣе популярнымъ и сноснымъ писателемъ въ этомъ родѣ былъ Загоскинъ. Нравоописательные романы, имѣвшіе претензію на изображеніе современной жизни, совершенно не понимали и искажали ее. Романтическая риторика, витѣшная занимательность, отсутствіе жизненной правды и консервативная мораль, указывающая единственную причину зла въ людскихъ порокахъ — вотъ отличительныя черты консервативной беллетристики того времени.

А патриоты смотрѣли на все окружающее, по выраженію Гоголя, „недумающими глазами“ и обнаруживали нѣкоторые признаки духовной жизни только тогда, когда, по словамъ того же Гоголя, „случится что-нибудь, по ихъ мнѣнію, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, въ которой скажется иногда горькая правда, и они выбѣгутъ со всѣхъ угловъ, какъ пауки, увидѣвше, что запуталась въ паутинѣ муха, и подымутъ вдругъ крики: „да хорошо ли это выводить на свѣтъ, провозглашать объ этомъ? Вѣдь это все, что ни описано здѣсь, это все наше, — хорошо ли это? А что скажутъ о насъ иностранцы? Развѣ весело слышать дурное мнѣніе о себѣ? Думаютъ: это не больно? Думаютъ: развѣ мы не патриоты?“...

Теперь легко себѣ представить, каково было положеніе той литературы, которая стояла по другую сторону, противъ консервативно-патріотической прессы и, слѣдовательно, противъ господ-

ствующаго общественнаго мнѣнія. Эта литература продолжала прерванное въ 20-хъ годахъ прогрессивное движеніе, отстаивала истинные общественные интересы и изъ всѣхъ силъ боролась противъ господствовавшихъ взглядовъ. Но здравая общественная мысль рѣдко появлялась въ это время не въ сокращенномъ и не искаженномъ видѣ. Среди всеобщаго ликованія трезвая критическая мысль съ трудомъ находила себѣ мѣсто и нерѣдко подвергалась жестокому преслѣдованію. Знаменитѣйшіе писатели этой группы вышли изъ существовавшихъ въ то время кружковъ, къ исторіи которыхъ мы и перейдемъ теперь.

III.

Образованіе кружковъ въ 20-хъ и 30-хъ годахъ XIX в.

Еще съ екатерининскаго времени, когда у насъ начала развиваться журнальная литература, по особымъ условіямъ нашей жизни, очень большое значеніе для общественнаго развитія приобрѣтають у насъ интеллигентные кружки. Около журнала, его редактора, если онъ только представлялъ собою значительную умственную силу, группировались обыкновенно лица извѣстнаго направленія мысли. Впрочемъ, чаще бывало такъ, что люди одинаковыхъ воззрѣній составляли сначала небольшой интимный кружокъ, а журналъ уже являлся потомъ, какъ средство распространенія въ обществѣ его взглядовъ. Съ конца XVIII вѣка это явленіе имѣетъ тѣсную связь съ Московскимъ университетомъ и другими учебными заведеніями: во главѣ литературныхъ кружковъ являются про-

фессора, и въ составъ ихъ входятъ преимущественно люди съ университетскимъ образованіемъ. Таковъ былъ, напримѣръ, вышеупомянутый кружокъ Новикова съ профессоромъ Шварцемъ во главѣ. Въ первой половинѣ XIX вѣка, именно въ николаевское тридцатилѣтіе, существованіе такихъ кружковъ было особенно цѣнно: въ нихъ сосредоточивалась почти вся умственная дѣятельность того времени. Это были студенческіе кружки дворянской молодежи. Въ этихъ „мальчикахъ, только-что вышедшихъ изъ дѣтства, — Россія будущаго“, говоритъ Герценъ. „Въ нихъ было наслѣдіе общечеловѣческой науки“... „Этими дѣтьми Россія частью начала приходить въ себя Ихъ вниманіе остановило противорѣчіе ученія съ жизнью Учителя, книги, университетъ говорили одно — это было понятно уму и сердцу. Отецъ съ матерью, родные и вся среда — другое, съ чѣмъ согласны власти и денежныя выгоды. Противорѣчіе воспитанія съ нравами доходило до громадныхъ размѣровъ“. „Число воспитывавшихся было мало; но и тѣ получали не то, чтобы объемистое воспитаніе, а довольно общее и гуманное: оно очеловѣчивало учениковъ всякій разъ, когда принималось. А человѣка-то именно было не нужно. Приходилось или снова расчеловѣчиваться — такъ толпа и дѣлала, — или пріостановиться и спросить себя: „Да надобно ли непременно служить?“ Для большинства наставало время празднаго существованія въ отставку, деревенской лѣни, халата, странностей, картъ, вина. Для другихъ время внутренней работы. Жить въ нравственномъ разладѣ съ собой они не могли. Возбужденная мысль требовала выхода. Разрѣшеніе разныхъ вопросовъ мучило молодое поколѣніе и обуславливало распадѣніе его на разные круги“.

Среди царившей въ обществѣ праздности, пошлости и умственной неподвижности существовала дѣйствительно, только небольшая часть образованной молодежи, которая усиленно работала надъ усвоеніемъ европейской науки, продолжая эту работу и за стѣнами университета. Она разбивалась на отдѣльные кружки: философскіе, политическіе, смотря по условіямъ воспитанія и душевному укладу своихъ членовъ.

Увлеченіе нѣмецкою идеалистическою философіею началось у насъ еще съ александровскаго періода. Хотя философія преподавалась въ Россіи и ранѣе, съ конца XVIII вѣка, но серьезная постановка этого предмета во вновь открытыхъ университетахъ при Александрѣ относится къ XIX в. Системы Канта, Фихте, Шлегеля, Гегеля стали изучаться одна за другою, но преподаваніе философій шло съ нѣкоторыми перерывами. Во времена Рунича и Магницкаго она подвергалась гоненію, особенно въ Петербургскомъ и Казанскомъ университетахъ. Петербургскіе профессора Галичъ и Велланскій должны были прекратить свои курсы; первый былъ лишенъ преподаванія, а второй предпочелъ самъ удалиться отъ каѣдры. Это происходило въ 1821 году. Въ Москвѣ философій какъ-то посчастливилось болѣе. Реакція, преслѣдовавшая ее въ другихъ университетахъ, не коснулась Московскаго. Здѣсь дѣйствовали въ 20-хъ годахъ профессора: И. И. Давыдовъ, М. Г. Павловъ и позднѣе Надеждинъ. Павловъ преподавалъ физику и сельское хозяйство. Но „физикъ“, говоритъ Герценъ, „мудрено было научиться изъ его лекцій; сельскому хозяйству невозможно, — вмѣсто физики и сельскаго хозяйства онъ преподавалъ введеніе въ философію: „Ты хочешь знать природу“? спрашивалъ онъ сту-

дента. „Но что такое знать? Что такое природа?“ Отвѣчая на эти вопросы, онъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окена“. Подъ вліяніемъ этихъ профессоровъ въ Москвѣ возникъ кружокъ „любомудровъ“ еще въ 20-хъ годахъ, состоявшій изъ молодыхъ людей, которые занялись изученіемъ системы Шеллинга, а потомъ пропагандой его идей. Рассказываютъ, что каждую недѣлю, по субботамъ пріятели собирались въ Газетномъ переулкѣ, въ небольшой квартиркѣ князя В. Ѳ. Одоевскаго, которой хозяинъ сумѣлъ придать видъ кабинета Фауста. Въ двухъ комнатахъ, заваленныхъ фоліантами и квартантами, ретортами и колбами, съ человѣческимъ скелетомъ въ углу, велись далеко за полночь нескончаемые споры о философіи и религіи. Одоевскій предсѣдательствовалъ; главнымъ ораторомъ кружка былъ восемнадцатилѣтній В. Д. Веневитиновъ (поэтъ), А. И. Кошелевъ, будущій славянофилъ, — оппонентомъ. Этихъ двухъ послѣднихъ сблизило съ Одоевскимъ увлеченіе лекціями Павлова и совмѣстная служба въ Московскомъ архивѣ миинистерства юстиціи, къ которому въ то время пристраивалась родовитая московская молодежь для избѣжанія военной службы и для начала дипломатической карьеры. „Архивные юноши“, какъ ихъ называли, сначала развлекались, даже въ служебные часы, литературой, а потомъ перешли къ занятію философіей. Къ этому же кружку присоединились бр. Кирѣевскіе и другъ Пушкина, Соболевскій, перебравшійся изъ Петербурга на службу въ Московскій архивъ. Онъ пользовался репутаціей большого остряка. Извѣстный лицейскій товарищъ Пушкина, Кюхельбекеръ, также принадлежалъ одно время къ кружку шеллингианцевъ. Одоевскимъ былъ введенъ еще только-что кончившій курсъ на фи-

зико-математическомъ факультетѣ малороссѣ Максимовичъ, также ревностный ученикъ Павлова) Кружокъ „любомудровъ“ состоялъ изъ людей родовитыхъ, обеспеченныхъ, которымъ не приходилось думать о заработкѣ, о карьерѣ: хорошія матеріальныя средства и великосвѣтскія связи открывали имъ всѣ пути жизни и давали полную возможность до поры до времени развлекаться философіей. „Проектовъ много“ говоритъ одинъ изъ нихъ, а лѣни еще больше. Не знаю, отчего мнѣ даже некогда читать то, что хочется; а некогда, вѣроятно, оттого, что я ничего не дѣлаю“. Не удивительно поэтому, что кружокъ сдѣлалъ немного для распространенія своихъ идей. При этомъ нужно еще замѣтить, что они слишкомъ мало знали окружающую ихъ дѣйствительность. „Я и мои товарищи“, говоритъ одинъ изъ героевъ разсказа князя Одоевскаго, „были въ совершенномъ заблужденіи: мы воображали себя на тонкихъ философскихъ диспутахъ портика или академіи, или по крайней мѣрѣ въ гостиной, въ самомъ же дѣлѣ мы были въ райкѣ. Вокругъ пахнетъ саломъ и дегтемъ, говорятъ о цѣнахъ на севрюгу, бранятся, поглаживаютъ нечистую бороду и засучиваютъ рукава, а мы выдумываемъ вѣжливыя насмѣшки, остроумныя намеки, діалектическія тонкости; ищемъ въ Гомерѣ или Виргиліи самую жестокую эпиграмму противъ враговъ, боимся расшевелить ихъ деликатность“. Этотъ отрывокъ изъ повѣсти кн. Одоевскаго вполне характеризуетъ отношеніе юныхъ шеллингианцевъ къ русской жизни, которая была имъ, погруженнымъ въ отвлеченности нѣмецкой философій, совершенно незнакома.

Въ то время, какъ наши философы тщательно обдумывали способы воздѣйствія на общество съ

цѣлью поднятія его нравственнаго и умственнаго уровня, продолжительно и основательно обсуждали вопросъ о журналѣ, который долженъ былъ, по ихъ мнѣнію, взглянуть на всѣ явленія жизни, науки, искусства съ точки зрѣнія единой философской системы, — въ то самое время человѣкъ безъ солиднаго образованія, безъ вліятельныхъ связей, купецъ по происхожденію, но съ энергіей, умомъ и одаренный настоящими способностями къ общественной дѣятельности, смѣло, съ ихъ же одобренія, основалъ знаменитый журналъ „Московский Телеграфъ“ и сразу завоевалъ положеніе. Этотъ талантливый человѣкъ былъ Н. А. Полевой. Ему было съ небольшимъ 20 лѣтъ въ это время. Онъ шелъ наравнѣ со своими читателями, училъ ихъ и самъ учился съ ними, но учился настойчиво и непрерывно, съ неослабѣвающей ревностью, учился по книгѣ, учился въ живой бесѣдѣ въ интеллигентныхъ кружкахъ. Писалъ онъ легко и свободно и писалъ, какъ слѣдуетъ журналисту, рѣшительно обо всемъ: о театрѣ и о промышленности, о литературѣ, объ искусствѣ и о политической экономіи, о Шекспирѣ и о грамматикѣ и проч. Его журналъ имѣлъ блестящій и заслуженный успѣхъ, потому что дѣятельность его была истинно просвѣтительною дѣятельностью для тогдашняго малообразованнаго общества. Въ литературѣ онъ являлся сторонникомъ новаго въ то время направленія — романтизма, а въ исторіи противникомъ Карамзина. „Исторіи Государства Россійскаго“ онъ противопоставилъ свою „Исторію русскаго народа“, — трудъ, при всѣхъ его недостаткахъ, цѣнный въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже съ точки зрѣнія современной намъ исторической критикѣ,

А литературныя предпріятія кружка шеллингянцевъ одно за другимъ терпѣли неудачи“. „Мне-

мозина“, сборникъ, задуманный ими, повидимому, былъ обставленъ самыми благопріятными условіями: онъ, въ самомъ дѣлѣ, предлагалъ обществу новыя, неизвѣстныя ему идеи; кромѣ статей философскихъ въ сборникѣ были и статьи чисто литературныя: Кюхельбекеръ помѣстилъ, напр., интересную статью о романтизмѣ, Одоевскій выступилъ и какъ беллетристъ со своими романтическими разсказами, которыми впоследствии онъ приобрѣлъ вполне заслуженную извѣстность, какъ талантливый подражатель знаменитому нѣмецкому фантасту, Гофману. Но неумѣніе принорочиться къ пониманію публики, неумѣнье взять настоящій тонъ, не выше и не ниже ея пониманія, были причиною равнодушія общества къ „Мнемосинѣ“. Она имѣла всего 157 подписчиковъ, тогда какъ Рылѣевскій сборникъ, Полярная Звѣзда, о которомъ мы говорили выше, разошелся въ 3 недѣли въ 1500 экземплярахъ. Въ 1826 году въ Москву, какъ извѣстно, пріѣхалъ Пушкинъ. Шеллигінцы задумали основать журналъ. Пушкинъ познакомился съ ними, выразилъ сочувствіе ихъ будущему журналу и общалъ свое участіе. Погодинъ, котораго они считали своимъ единомышленникомъ, былъ избранъ, какъ человѣкъ трудолюбивый и практическій, редакторомъ: никто изъ нихъ не пожелалъ взять на себя хлопотливую черную работу веденія журнала. Но и это предпріятіе потерпѣло неудачу.) „Общество русскихъ шеллигінцевъ“ въ это время уже не существовало: оно было закрыто самими участниками въ 25-мъ году. Кружокъ уже распадался; нѣкоторые изъ членовъ переѣхали въ Петербургъ, къ срочной журнальной работѣ они относились вяло, небрежно, а многіе и совсѣмъ не принимали никакого участія въ журналѣ. „Московскій Вѣст-

никъ“ (такъ назывался ихъ журналъ) въ скоромъ времени прекратилъ свое существованіе, потому что Погодинъ, оставшись почти безъ всякой поддержки, не могъ вести журнала: онъ не имѣлъ ни энергіи, ни способностей Полевого. По этимъ причинамъ русское шеллингианство въ 20-хъ годахъ не получило широкаго распространенія. Но интересъ къ нему въ русской образованной молодежи держался еще долгое время.

Популяризировать идеи нѣмецкой философіи было суждено слѣдующему поколѣнію молодежи, учившемуся въ Московскомъ университетѣ въ началѣ 30-хъ годовъ. Оно начало также съ системы Шеллинга, но потомъ его симпатіями завладѣлъ всецѣло Гегель. Это была тоже дворянская молодежь, большею частью родовитая. Появленіе дворянскихъ дѣтей въ университетѣ замѣчается съ половины 20-хъ годовъ. Эти юноши учатся не ради той или другой хлѣбной карьеры, какъ разночинцы, и если въ нихъ обнаруживается желаніе заниматься наукой, то ихъ занятія совершенно безкорыстны. Получивъ дома хорошую, если не научную, то литературную подготовку и обыкновенно основательное знаніе иностранныхъ языковъ, принося изъ семей въ университетъ свое наивное міросозерцаніе, они представляли собой самую благодарную почву для насажденія идеалистическихъ философскихъ воззрѣній. Горячее увлеченіе нѣмецкою философіею вызывало въ нихъ естественную, но весьма нелегкую работу мысли: требовалось подвергнуть тщательному пересмотру и строгой критикѣ всѣ вынесенные изъ родного гнѣзда взгляды на міръ Божій. Общій интересъ къ наукѣ и трудность ея усвоенія вскорѣ объединяли молодыхъ людей для совмѣстной работы, и дѣло кончалось обыкновенно тѣсной дружбой.

Такимъ именно образомъ составилъ знаменитый кружокъ Станкевича. Въ разное время въ него входили Бѣлинскій, поэтъ Красовъ, проф. Петровъ, В. Строевъ, Бодянский, Ефремовъ, Клюшниковъ, К. Аксаковъ, Хомяковъ, В. М. Боткинъ, М. Бакунинъ, Грановскій, Кудрявцевъ, Катковъ, Кавелинъ и др. Станкевичъ и его друзья тоже начали съ изученія системы Шеллинга и увѣровали во всѣ идеи, которыя находились въ обращеніи у ихъ предшественниковъ, членовъ кружка Одоевскаго и Веневитинова. Но они не остановились на этой уже устарѣлой для ихъ времени системѣ, которой все еще держались ихъ университетскіе учителя, Павловъ и Надеждинъ, и обратились къ изученію системы Гегеля, господство которой въ Германіи началось съ 20-хъ г. Здѣсь особенно цѣнно то, что они пошли дальше совершенно самостоятельно. „Станкевичъ былъ первый послѣдователь Гегеля въ кругу московской молодежи“, рассказываетъ Герценъ, „онъ изучилъ нѣмецкую философію глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, онъ увлекъ большой кругъ друзей въ свое любимое занятіе. Кругъ этотъ чрезвычайно замѣчателенъ; изъ него вышла цѣлая фаланга ученыхъ, литераторовъ или профессоровъ, въ числѣ которыхъ были: Бѣлинскій, Бакунинъ, Грановскій“.

Система Гегеля была для своего времени самымъ высшимъ умственнымъ явленіемъ въ Европѣ. Въ Германіи, по словамъ Гервинуса, она сдѣлалась модой для диллетантовъ, обязанностию для вступавшихъ на службу, необходимою для искавшаго занятіе. Она обѣщала дать все: искусство и науку, истинную церковь и истинное государство. Если вѣрили въ эту всеобъемлющую систему нѣмцы, какъ было не вѣрить намъ? Гер-

манія была для насъ тогда главнымъ источникомъ научныхъ заимствованій. Неудивительно, что для молодого кружка Станкевича система Гегеля сдѣлалась предметомъ крайняго увлеченія и горячихъ споровъ.

Интеллигентная жизнь русскаго общества въ 30-хъ гг. преимущественно сосредоточивалась въ Москвѣ, въ кружкахъ университетской молодежи. На ряду съ кружкомъ Станкевича, державшимся философско-эстетическаго направленія, существовали другіе кружки, съ иными интересами и задачами. Наиболѣе замѣчательнымъ изъ нихъ былъ кружокъ Герцена и Огарева, также образовавшійся въ университетѣ. Герценъ и Огаревъ — два друга съ дѣтскихъ лѣтъ — рано предоставленные обстоятельства самимъ себѣ, воспитались въ особой атмосферѣ теоретическихъ мечтаній. Еще въ дѣтской они „были Гракхами и Ріензи“; въ младшемъ возрастѣ, любуясь съ Воробьевыхъ горъ видомъ Москвы, они произнесли клятву отдать всѣ силы души на служеніе общему благу, на борьбу со зломъ, а жизнь, сурово встрѣтившая ихъ при самомъ выходѣ изъ воротъ университета, закалила ихъ характеры и дѣйствительно выработала изъ нихъ сильныхъ борцовъ. Къ молодому ихъ кружку принадлежали Сазоновъ, Сатинъ, В. Пасекъ, Павловъ, Кетчеръ, Сорокинъ, поэтъ Соколовскій и др. Дѣятельность этого кружка, однако, была весьма непродолжительна. Онъ былъ юнъ и состоялъ изъ горячихъ головъ. Идеи ихъ „были смутны“, по выраженію самого Герцена. „Что мы собственно проповѣдовали“, говоритъ онъ, „трудно сказать. Мы проповѣдовали декабристовъ и французскую революцію, потомъ проповѣдовали сенсимонизмъ и ту же революцію, мы проповѣдовали конституцію и республику, чтеніе

политическихъ книгъ и сосредоточеніе силъ въ одномъ обществѣ. Но пуще всего проповѣдовали ненависть ко всякому насилию, ко всякому произволу. Общество въ сущности никогда не составлялось, но пропаганда наша пустила глубокіе корни во всѣ факультеты и далеко перешла университетскія стѣны“. Друзьямъ Станкевича не нравилось направленіе кружка Герцена, который въ свою очередь критически относился къ исключительно умозрительному направленію философовъ-идеалистовъ. Одно у нихъ только могло быть общимъ — чувство недовольства настоящимъ, но это чувство ясно обозначилось у друзей Станкевича гораздо позднѣе, когда они выступили на литературное поприще и лицомъ къ лицу столкнулись съ грубою русскою дѣйствительностью. Теперь же они были далеки отъ выраженія какого-нибудь недовольства дѣйствительностью, потому что были далеки и отъ самой дѣйствительности. Въ сущности и кружокъ Герцена занимался мечтами, которыя не переходили въ дѣйствіе. Кары, которымъ подвергались его члены, были очень тяжелы, но они не соответствовали невиннымъ юношескимъ увлеченіямъ и свидѣтельствовали только о неразборчивой беспощадной суровости господствовавшей официальной системы. Къ тому же кружокъ не былъ прочно объединенъ, не отличался полной солидарностью интересовъ, и судьба вскорѣ разбросала его членовъ въ разныя стороны.

Когда потомъ Герценъ, послѣ невольныхъ странствованій по разнымъ провинціальнымъ городамъ русскимъ, снова (1839 г.) появился въ Москвѣ, онъ нашелъ здѣсь большія перемѣны. Огаревъ то же очутился въ Москвѣ, послѣ смерти отца; но „кругъ молодыхъ людей, составившійся около

Огарева“, говоритъ Герценъ, „не былъ нашъ прежній кругъ. Тонъ, интересы, занятія, — все измѣнилось. Друзья Станкевича были на первомъ планѣ, Бакунинъ и Бѣлинскій стояли въ ихъ главѣ, каждый съ томомъ Гегелевой философіи въ рукахъ и съ юношеской нетерпимостью, безъ которой нѣтъ кровныхъ, страстныхъ убѣжденій, провозглашали: нѣтъ философіи, кромѣ Гегеля, и мы пророки его“. Въ какой степени сильно было увлеченіе этой молодежи системой знаменитаго берлинскаго профессора и какъ эта система дѣйствовала на нее, видно изъ дальнѣйшаго разсказа Герцена. „Нѣтъ параграфа“, разсказываетъ онъ, „во всѣхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей“... „Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ, и въ другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней“... „Молодые философы приняли какой-то условный языкъ; они не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова *in situ*, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей“... „Астрономъ Перевозчиковъ называлъ это „птичьимъ языкомъ“. „Никто въ тѣ времена не отрекся бы отъ подобной фразы: „Конкресцированіе абстрактныхъ идей въ сферѣ пластики представляетъ ту фазу самоищущаго духа, въ которой онъ, опредѣляясь для себя, потенцируется изъ естественной имманентности въ гармоническую сферу образнаго сознанія въ красотѣ“... „Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая

ошибка, болѣе глубокая. Отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности стало школьнымъ, книжнымъ; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ гениально смѣялся Гете въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови блѣдной алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступившая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ „гемюту“ или къ „трагическому въ сердцахъ“... „То же въ искусствѣ. Знаніе Гете, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднѣе ея) было столько же обязательно, какъ имѣть платье. Философія музыки была на первомъ планѣ. Разумѣется, о Россини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дѣтскимъ и бѣднымъ, зато производили философскія слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена и очень уважали Шуберта не столько, думаю, за его напѣвы, сколько за то, что онъ бралъ философскія темы для нихъ, какъ „Всемогущество Божіе“ и „Атласъ“. Наравнѣ съ италіанской музыкой дѣлила опалу французская литература и вообще все французское, а по дорогѣ и все политическое“.

„Отсюда легко понять поле, на которомъ мы должны были непременно встрѣтиться и сразиться. Пока пренія шли о томъ, что Гете объективенъ, но что его объективность субъективна, тогда какъ Шиллеръ поэтъ субъективный, но его субъективность объективна и *vice versa*, все шло мирно. Вопросы, болѣе страстные, не замедлили явиться“)

Но для успѣха въ борьбѣ съ противниками Герцену необходимо было овладѣть ихъ оружіемъ, необходимо было приняться за изученіе системы Гегеля. Отличаясь необыкновенными способностями онъ очень быстро познакомился съ ея основными положеніями, но сдѣлалъ изъ нихъ совсѣмъ иные выводы: вмѣсто полнаго примиренія съ дѣйствительностью, къ которому пришли московскіе философы, онъ пришелъ къ признанію необходимости борьбы съ нею. „Философія Гегеля“, говорить онъ, „составляетъ алгебру революціи, она необыкновенно освобождаетъ человѣка и не оставляетъ камня на камнѣ отъ міра христіанскаго, отъ міра преданій, пережившихъ себя. Но она, можетъ быть, съ намѣреніемъ дурно формулирована“.

Вооружившись философскимъ знаніемъ, Герценъ бросился въ битву со своими противниками, съ Бакунинымъ и Бѣлинскимъ, главными представителями въ это время гегеліанства, дошедшими подъ вліяніемъ его до ультра-консервативныхъ, узко-патріотическихъ воззрѣній. Бакунинъ, за отъѣздомъ за границу и смертю Станкевича, былъ теперь настоящимъ руководителемъ философскаго кружка, а временнымъ центромъ, около котораго онъ сгруппировался, — Огаревъ, съ его благодушнымъ настроеніемъ и проповѣдью резиньяціи. Но предоставимъ дальнѣйшій рассказъ объ этомъ спорѣ самому Герцену. „Философская фраза, на-

дѣлавшая всего больше вреда, и на которой нѣмецкіе консерваторы стремились помирить философію съ политическимъ бытомъ Германіи: „все дѣйствительное разумно,“ была иначе высказанное начало достаточной причины и соотвѣстственности логики и фактовъ“... „Но если существующій общественный порядокъ оправдывается разумомъ, то и борьба противъ него, если только она существуетъ, оправдана“. Такъ Герценъ ранѣе, чѣмъ кто-либо изъ русскихъ гегеліанцевъ вѣрно понималъ эту основную идею всей системы Гегеля. Но Бѣлинскій понималъ ее въ своемъ увлеченіи въ смыслѣ полного оправданія всего существующаго и примиренія съ нимъ. „Бѣлинскій, — рассказываетъ далѣе Герценъ, — самая дѣятельная, порывистая, діалектически страстная натура бойца, проповѣдовалъ тогда индѣйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы. Онъ вѣровалъ въ это воззрѣніе и не блѣднѣлъ ни передъ какимъ послѣдствіемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличіемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытные, въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и искрененъ; его совѣсть была чиста.

— Знаете ли, что съ вашей точки зрѣнія, — сказалъ я ему, думая поразить его моимъ ультиматумомъ, — вы можете доказать, что порядокъ, подѣ которымъ мы живемъ, разуменъ?

— Безъ всякаго сомнѣнія, — отвѣтилъ Бѣлинскій и прочелъ мнѣ „Бородинскую годовщину“ Пушкина.

Этого я не могъ вынести, и отчаянный бой закипѣлъ между нами. Размолвка наша дѣйствовала на другихъ, кругъ распадался на два стана. Бакунинъ хотѣлъ примирить, объяснить, заговорить,

но настоящего мира не было. Бѣлинскій раздраженный и недовольный уѣхалъ въ Петербургъ и оттуда далъ по насъ послѣдній яростный залпъ въ статьѣ, которую назвалъ „Бородинской годовщиной“.

„Я прервалъ съ нимъ тогда всѣ сношенія. Бакунинъ хотя и спорилъ горячо, но сталъ призадумываться“... „Бѣлинскій упрекалъ его въ слабости, уступкахъ и доходилъ до такихъ преувеличенныхъ крайностей, что пугалъ своихъ собственныхъ пріятелей и почитателей. Хоръ былъ за Бѣлинскаго и смотрѣлъ на насъ свысока, гордо пожимая плечами и находя насъ людьми отсталыми“...

Знакомство съ личностью и дѣятельностью Бѣлинскаго, съ исторіей развитія его взглядовъ, у насъ еще впереди, — въ дальнѣйшемъ изложеніи мы увидимъ, какія перемѣны въ настроеніи и взглядахъ переживалъ Бѣлинскій. Съ М. Бакунинымъ намъ придется встрѣтиться только мелькомъ, а потому мы считаемъ нелишнимъ дать о немъ нѣкоторыя свѣдѣнія, сообщаемыя Герценомъ.

„Бакунинъ, кончивъ курсъ въ артиллерійскомъ корпусѣ, былъ выпущенъ въ гвардію офицеромъ. Его отецъ, говорятъ, сердясь на него, самъ просилъ, чтобы его перевели въ армію. Брошенный въ какой-то потерянной бѣлорусской деревнѣ со своимъ паркомъ, Бакунинъ одичалъ, сдѣлался нелюдимымъ, не исполнялъ службы и цѣлые дни лежалъ въ тулупѣ на своей постели. Начальникъ парка жалѣлъ его, но дѣлать было нечего; онъ ему напомнилъ, что надобно или служить, или идти въ отставку. Бакунинъ не подозрѣвалъ, что онъ на это имѣетъ право, и тотчасъ попросилъ уволить его. Получивъ отставку, Бакунинъ пріѣ-

халь въ Москву. Съ этого времени для Бакунина началась серьезная жизнь. Онъ прежде ничѣмъ не занимался, ничего не читалъ и едва зналъ по-нѣмецки. Съ большими діалектическими способностями, съ упорнымъ, настойчивымъ даромъ мышленія, онъ блуждалъ безъ плана и компаса въ фантастическихъ построеніяхъ и научно-дидактическихъ попыткахъ. Станкевичъ понялъ его таланты и засадилъ его за философію. Бакунинъ по Канту и Фихте выучился по-нѣмецки и потомъ принялся за Гегеля, котораго методу и логику онъ усвоилъ въ совершенствѣ. И кому не передавалъ онъ ее потомъ? Намъ и Бѣлинскому, дамамъ и Прудону“.

Герценъ, какъ видимъ, безпристрастно и вѣрно оцѣнивалъ таланты и дѣятельность своихъ противниковъ, положительныя и отрицательныя стороны вліянія на нихъ философскихъ занятій. Онъ и самъ, подобно Бакунину, „безъ плана и компаса“ долго блуждалъ въ фантастическихъ построеніяхъ, послѣдовательно переживая юношески восторженный отвлеченный героизмъ подъ вліяніемъ Шиллера и нѣкоторыхъ условій воспитанія и религіозно-мистическое настроеніе подъ вліяніемъ встрѣчъ съ Nathalie, съ архитекторомъ-мистикомъ, Витбергомъ, и чтенія мистическихъ книгъ въ Вяткѣ. Въ освободительной философіи Гегеля теперь онъ нашелъ „точки опоры“, которыя дали ему возможность построить ясно сознанное, цѣльное, опредѣленное міровоззрѣніе. Это міровоззрѣніе упрочилось въ немъ еще болѣе, когда онъ вскорѣ, закинутый судьбою въ Новгородъ, познакомился съ лѣвыми гегеліанцами и въ особенности съ Фейербахомъ.)

Но здѣсь намъ придется на время прервать нашъ рассказъ о дѣятельности кружковъ для того, чтобы

познакомиться хотя съ основными положеніями философскихъ системъ, которыя составляли предметъ ихъ увлеченія, и другими европейскими вліяніями этого періода, отразившимися на нашемъ общественномъ развитіи. Тогда только намъ будетъ ясно, чѣмъ именно привлекала въ это время нашу молодежь европейская наука и литература, на какихъ основаніяхъ произошло дѣленіе кружка Станкевича на двѣ партіи: славянофильскую и западническую, и какъ велико было значеніе этой умственной работы для выясненія самыхъ необходимыхъ историческихъ, нравственныхъ, эстетическихъ, общественныхъ понятій, которыхъ наше общество не имѣло. Мы увидимъ также, какой громадный шагъ впередъ сдѣлала русская интеллигенція въ усвоеніи европейскаго знанія: это было уже не простое заимствование, не внѣшнее подражаніе, а самостоятельная переработка европейскаго научнаго матеріала, такъ много содѣйствовавшая дальнѣйшему ходу русской жизни и литературы.

IV.

Нѣмецкая идеалистическая философія и ея вліяніе на русское общество 30-хъ и 40-хъ гг.

Классическій періодъ нѣмецкой философіи открывается знаменитой системой Канта, которую самъ авторъ ея, а за нимъ и другіе нѣмецкіе философы называютъ критическою.

Господствующими направленіями въ философіи до Канта были: догматизмъ, раціонализмъ и эмпиризмъ. Догматическою системою Кантъ называлъ

всякую философскую систему, построенную безъ предварительнаго изслѣдованія познавательныхъ способностей человѣка. Философы-догматики не сомнѣвались въ силахъ нашего ума и нашему познанію не полагали границъ. Название раціонализмъ собственно относится къ методу изслѣдованія, которымъ пользовались философы метафизики докантовскаго періода, — къ методу дедуктивному, неправильно называвшемуся въ то время раціональнымъ. Раціонализмъ утверждалъ, что разумъ, врожденная духовная способность, есть источникъ всякаго знанія, и пренебрежительно относился къ опыту и наблюденію, признавая только апріорныя знанія (а priori — полученное путемъ умозрительнымъ, изъ чистаго разума, до опыта; а posteriori — полученное изъ опыта, послѣ опыта). Средневѣковая философія была *догматична, раціоналистична и подчинена авторитету*. Она разсуждала о предметахъ метафизическихъ, то-есть сверхчувственныхъ, какъ, напр., о Богѣ, о душѣ, о свободѣ воли и т. п.; вѣрила въ прирожденные человѣческому уму идеи и во множествѣ ихъ изобрѣтала. Переломъ въ направленіи мысленія, характеризующій наступленіе новой философіи, состоитъ главнымъ образомъ въ опроверженіи раціонализма и стремленіи замѣнить его наблюденіемъ и опытомъ (эмпиризмъ). Это стремленіе обнаружилось у англійскихъ философовъ: Бэкона, Локка, Юма. Но и старое раціоналистическое направленіе продолжается въ системѣ Декарта и его послѣдователей, однако со стремленіемъ освободить философію отъ всякаго авторитета. Англійскіе философы, благодаря прочно утвердившейся политической свободѣ въ ихъ странѣ, могли ранѣе другихъ послужить дѣлу освобожденія философской мысли отъ церковнаго авторитета и

разныхъ предразсудковъ. Они выдвинули на первый планъ психологію изъ ряда другихъ философскихъ наукъ и впервые высказали недовѣріе къ нашимъ мыслительнымъ способностямъ въ изслѣдованіи метафизическихъ предметовъ. Современъ Бэкона распространяется благотворная мысль, что для движенія наукъ впередъ необходимо обратиться къ изученію силъ природы, чтобы господствовать надъ нею. Зарожденіе философскаго критицизма ясно обнаруживается у Локка въ его „Опытъ о человѣкѣ“, гдѣ онъ изслѣдуетъ происхожденіе, достовѣрность и предѣлы человеческого знанія. Англійская опытная психологія отвергла врожденность идей, при помощи которыхъ орудовала догматическая философія и которыя она представляла насажденными въ нашей душѣ сверхъестественною силою. Англійскіе философы-эмпирики просто и научно излагаютъ процессъ образованія понятій: воспринятые нами впечатлѣнія отъ объектовъ, предметовъ внѣшняго міра, оставляя въ насъ слѣды этихъ объектовъ образуютъ представленія о нихъ, — а эти послѣднія по закону ассоціацій соединяются въ группы, дающія матеріалъ для нашихъ понятій. Такимъ образомъ всѣ понятія вырабатываются изъ опыта. Самыя простыя, элементарныя, служатъ для образованія сложныхъ, высшихъ. „Какъ весь Гомеръ написанъ 24 буквами, такъ и эти немногія, простыя идеи образуютъ весь матеріалъ нашего знанія“.

Продолжая дѣло англійскихъ философовъ, Кантъ, нашедшійся подъ ихъ сильнымъ вліяніемъ, также обратился къ изслѣдованію нашей познавательной способности, къ изслѣдованію силъ нашего разума. Но его критицизму предшествовалъ критицизмъ англійскій и притомъ болѣе смѣлый и болѣе полный. Кантъ, слѣдовательно, не былъ основа-

телемъ критическаго направленія, какъ это утверждаютъ нѣкоторые нѣмцы-философы, онъ только далъ ему имя. Если онъ и можетъ быть названъ первымъ критикомъ, то только по отношенію къ континентальнымъ философамъ: Декарту, Лейбницу и др. Занимаясь критикой познанія, Кантъ является до извѣстной степени раціоналистомъ: Юмъ признавалъ, что всѣ общія идеи, какъ, напр., пространства, времени, субстанціальности (субстанція — вещь, сущность), единства, тождества, причинности и т. п., происходятъ изъ опыта, т.-е. изъ чувственныхъ воспріятій, переработанныхъ разумомъ, на основаніи его законовъ (законовъ ассоціаціи); Кантъ, напротивъ, указалъ, что однихъ законовъ ассоціаціи не достаточно, такъ какъ они не могутъ насъ привести къ мысли о всеобщности и необходимости этихъ идей. И эмпирики, и Кантъ одинаково признаютъ, слѣдовательно, что однихъ чувствъ недостаточно для познанія и что должна еще присоединиться дѣятельность ума, чтобы получилось истинное познаніе вещи. Но какая дѣятельность ума? Философы-эмпирики говорятъ, что только обработка данныхъ опыта по законамъ ассоціаціи; въ нашемъ разумѣ, по ихъ мнѣнію, нѣтъ ничего, чего бы не было въ ощущеніяхъ. Кантъ утверждаетъ, что нашъ умъ вноситъ единство въ ощущенія; понятія пространства и времени, по его мнѣнію, не могутъ быть выведены изъ ощущеній; они суть апріорныя формы нашего созерцанія, обуславливающія нашъ опытъ. Категоріи Канта, т.-е. чистыя идеи единства, множества, всеобщности, возможности, дѣйствительности, отрицанія, ограниченія, субстанціальности, причинности и т. д. (числомъ 12), являются также апріорными. Этимъ онъ сближается съ раціоналистами, признавав-

шими, что основные идеи нашего познания прирождены намъ.

Задаваясь вопросами: что мы можемъ познать, и чего не можемъ, Кантъ вмѣстѣ съ англійскими философами находить, что наша познавательная способность дѣйствуетъ только въ предѣлахъ опыта, и что даже и здѣсь мы познаемъ не самые предметы (ноумены), какъ они есть въ дѣйствительности, а только ихъ явленія (феномены), т.-е. знаемъ ихъ такими, какими они являются нашимъ чувствамъ. Вещь сама въ себѣ, сущность вещи, ея абсолютное значеніе намъ недоступно.

Но Кантъ не отрицалъ реальности предметовъ и достовѣрности чувственного опыта. Міръ явлений, по его ~~опыту~~, не индивидуаленъ, но необходимъ для всякаго человѣка, — онъ феноменъ человѣчества.

Такимъ образомъ, внеся извѣстную стройность въ духовную жизнь человѣка и указавъ границы нашего познания, Кантъ отвелъ слишкомъ скромную роль внѣшнему міру въ процессъ нашего мышленія: онъ служитъ у него только побужденіемъ къ работѣ разума, который вноситъ въ ощущенія свои апріорныя идеи. Ощущенія являются только толчкомъ, приводящимъ въ движеніе этотъ сложный механизмъ кантовскихъ категорій и формъ созерцанія. Это дало возможность, какъ увидимъ, послѣдователю Канта, философу Фихте, совершенно обезцѣнить дѣйствительный міръ.

Вопросъ о томъ, въ чемъ заключается работа нашего ума при познаніи предметовъ и явленій внѣшняго міра, и откуда происходитъ его объединяющая сила, прекрасноразъясненъ Спенсеромъ съ помощію эволюціоннаго метода. Разсматривая чрезвычайно богатую и сложную духовную жизнь современнаго человѣка, какъ продуктъ безконечно

долгой эволюціи, онъ справедливо находитъ, что разумъ дѣйствительно вноситъ нѣчто такое въ наши ощущенія, чего въ нихъ нѣтъ; но эти объединяющіе ощущенія элементы въ нашемъ разумѣ только кажутся апіорными для насъ, а въ дѣйствительности произошли изъ опыта: они — результатъ ощущеній безчисленнаго множества предшествовавшихъ намъ поколѣній, трудившихся надъ ихъ обработкою и передавшихъ намъ эту способность разума въ усовершенствованномъ видѣ. Эта сравнительно недавно развившаяся способность разума повела къ огромнымъ завоеваніямъ въ области знанія. Не надо забывать, что мы начали съ небольшого количества простыхъ и смутныхъ понятій дикаря и пришли къ многочисленнымъ, сложнымъ и яснымъ истинамъ, которыми руководимся въ настоящее время.

Отказавшись разсуждать о сверхчувственныхъ предметахъ съ точки „зрѣнія“ чистаго разума, Кантъ, однако, обращается къ этимъ метафизическимъ вопросамъ въ другой части своей системы, въ „Критикѣ практическаго разума“. Мы не только испытываемъ окружающій насъ міръ явленій, разсуждаетъ онъ въ этой второй части, но и дѣйствуемъ въ этомъ мірѣ, и если мы не можемъ познать вещи въ себѣ, нашимъ спекулятивнымъ разумомъ, то для того, чтобы имѣть возможность дѣйствовать нравственно, мы можемъ и должны требовать (постулировать) эти вещи въ себѣ — нашу свободу, Бога, загробную жизнь. Истинно и необходимо не только то, что является условіемъ опыта, но и то, что есть условіе нравственности. Такимъ образомъ, мы видимъ, что „Критика практическаго разума“ построена на другихъ началахъ.

Справедливо говорятъ, что, противодѣйствуя

догматической философіи, онъ самъ отчасти догматикъ и не только въ ученіи о нравственности, гдѣ онъ вынужденъ былъ выйти изъ предѣловъ опытнаго знанія, но и въ теоріи познанія, въ самомъ началѣ которой онъ не задавался вопросомъ, возможно ли самое познаніе, а прямо призналъ его возможнымъ. Сдѣлавъ важный серьезный шагъ къ настоящей строгой наукѣ своимъ изслѣдованіемъ предѣловъ нашего познанія, Кантъ, однако, самъ не могъ удержаться въ этихъ предѣлахъ и далъ возможность своимъ послѣдователямъ отступить отъ нихъ еще дальше. Онъ самъ въ извѣстной степени догматикъ и раціоналистъ.

Но талантъ Канта былъ такъ силенъ, что, несмотря на ложность метода въ его работахъ, далъ много цѣнныхъ опредѣленій, анализовъ. Его ученіе о нравственности всѣми справедливо ставится очень высоко. Его система, взятая въ цѣломъ, поглотила въ себя предшествовавшія направленія: она въ исторіи нѣмецкой философіи играла въ то время первенствующую роль.

Но слѣдующіе за Кантомъ, крупнѣйшіе нѣмецкіе философы, Фихте старшій, Шеллингъ и Гегель, повернули круто отъ критическаго къ существовавшему до Канта метафизическому направленію, чему въ особенности способствовало начавшееся увлеченіе ученіемъ Спинозы. Вышеуказанные философы усиленно изучали Спинозу, и въ ихъ системахъ замѣтна попытка примирить Канта и Спинозу. Мысль Спинозы состоитъ въ слѣдующемъ: существованіе множества разнообразныхъ вещей, матеріальныхъ и сознательныхъ, если проникнуть глубже въ ихъ сущность, оказывается болѣе или менѣе иллюзіей: въ строгомъ смыслѣ существуетъ только одна вещь, одна

Божественная Сущность; конечныя вещи только видоизмѣненія (модификаціи) этой сущности и только кажутся вещами, потому что модификаціи какой-нибудь вещи не могутъ быть названы вещами. Этотъ абсолютный божественный принципъ, развивающійся въ конечныхъ вещахъ, мы встрѣтимъ и въ системахъ Фихте, Шеллинга и Гегеля, только онъ будетъ выраженъ иными словами: у Фихте — абсолютный субъектъ, у Шеллинга — абсолютное тождество, у Гегеля — абсолютная идея. Мы найдемъ у нихъ такой же пантеизмъ, какъ и у Спинозы, т.-е. ученіе, что все — Богъ, и Богъ — все.

Фихте вмѣстѣ съ Кантомъ признавалъ, что наши знанія субъективны, но при этомъ отрицалъ реальность предметовъ, существованіе матеріи и сводилъ весь міръ явленій къ нашимъ ощущеніямъ, а эти послѣднія выводилъ не изъ дѣятельности конечнаго субъекта, а считалъ ихъ результатомъ дѣятельности абсолютнаго „я“. Намъ нѣтъ надобности входить въ подробности трудной и неясной системы Фихте. Самъ Кантъ говоритъ, напр., что его абсолютное „я“ напоминаетъ привидѣніе: кажется, вотъ-вотъ схватилъ его, — и чувствуешь только схватывающую руку. Скажемъ только, что Фихте, признавая внѣшнія явленія созданіемъ человѣческаго духа, совершенно обезцѣниваетъ дѣйствительность и превращаетъ ее въ какой-то призракъ. Его философію называютъ субъективнымъ идеализмомъ.

Система Шеллинга родственна системѣ Фихте. Но Шеллингъ расходится съ нимъ во взглядахъ на природу. „Фихте“, говоритъ онъ, „не призналъ достоинства ея“. Шеллингъ стремится одухотворить ее: она лѣстница, по которой духъ поднимается къ самому себѣ. Она сама въ себѣ имѣетъ

нѣчто духовное; она неразвитой, дремлющій интеллектъ. Основное положеніе системы Шеллинга, носящей названіе системы тождества, заключается въ слѣдующемъ: основа природы и духа, абсолютное есть идентитетъ (тождество, безразличіе) реального и идеального. Иначе сказать, это абсолютное ни духъ, ни тѣло, а третье, являющееся въ связи этихъ двухъ формъ. Если идти отъ субъекта, выводя изъ него бытіе, — объектъ, міръ, получается философія духа, занимающаяся вопросами умственныхъ, нравственныхъ и художественныхъ явленій; но возможенъ и иной путь — отъ природы, объекта, возводя его къ духу, субъекту. Этимъ путемъ создается философія природы (натурфилософія), рассматривающая значеніе каждой ступени природы для идеального смысла цѣлаго, т.-е. она не останавливается на явленіи съ цѣлью объясненія его причинъ, а видитъ въ немъ средство для осуществленія высшей цѣли природы, взятой въ цѣломъ. Она спрашиваетъ, какое значеніе имѣетъ для цѣлаго природы химическій процессъ, электричество, магнетизмъ и т. д.

Но въ современномъ естествознаніи такой вопросъ считается празднымъ вопросомъ. Еще Гёте, этотъ гениальный поэтъ и серьезный натуралистъ, справедливо замѣтилъ, что гордый вопросъ: зачѣмъ, для чего? совершенно ненаученъ, что человѣчество уйдетъ гораздо дальше, спрашивая: какъ? Современная намъ наука о природѣ изучаетъ отношенія вещей, ихъ формы, ихъ развитіе, а безусловное значеніе вещей признаетъ недоступнымъ нашему пониманію и смиренно относитъ къ области непознаваемаго. Мы увидимъ нѣсколько позже, какъ точка зрѣнія цѣлесообразности (телеологическая) примѣнялась русскими шеллингиан-

цами въ наукѣ, напр., въ русской исторіи, и что изъ этого выходило.

Теорія Шеллинга отличается необыкновенной силой фантазіи: она больше поэзія, чѣмъ философія. Но потому-то наши романтики 20-хъ и 30-хъ годовъ такъ сильно и увлекались ею; ни Кантъ, ни Фихте не производили на нихъ такого впечатлѣнія. Та часть системы, которая носитъ названіе натурфилософіи, особенно охотно усвоивалась ими. Что же касается славянофиловъ, то они положили въ основаніе своей теоріи идеи, высказанныя Шеллингомъ въ сочиненіяхъ мистико-теософическаго характера, относящихся къ послѣднему періоду его дѣятельности.

Природа у Шеллинга является тройкою: организованною, неорганическою и всеобщеорганизующею или творящею (какъ у Спинозы). Творческое стремленіе природы неисчерпаемо. Первые двѣ являются природою творимою и происходятъ изъ третьей. Природа въ цѣломъ представляетъ связанное развитіе; органическое первоначальнѣе неорганическаго; на мертвое надо смотрѣть, какъ на продуктъ угасшей жизни. Человѣкъ есть центръ въ царствѣ растительномъ и животномъ; въ немъ, какъ въ наивысшемъ твореніи, творящая природа преобладаетъ, стремится къ сознанію, воспринимаетъ себя. Съ появленіемъ человѣка природа творитъ уже чрезъ посредство человѣческаго духа, но это уже духовные продукты. Надѣливъ его фантазіей, способностями къ поэтическо-художественной дѣятельности, она какъ бы раскрываетъ передъ нимъ всѣ тайны своего безсознательнаго творческаго процесса. Мы не станемъ входить въ подробности его натурфилософіи: она, повторяемъ, преисполнена фантазіи. Но Шеллингъ ставилъ ее выше экспериментальной науки и даже утвер-

ждалъ, что физика была испорчена Бойлемъ (натуралистъ XVII вѣка; нѣкоторые взгляды его подтверждены новѣйшей наукой) и Ньютономъ, такъ какъ они выходятъ въ своихъ изслѣдованіяхъ изъ опыта, а не изъ какого-нибудь единого философскаго принципа. Фридр. Альбертъ Ланге, отмѣчая взгляды философовъ, подобныхъ Шеллингу, говорилъ, что, по ихъ мнѣнію, Фарадей не имѣлъ настоящаго знанія объ электричествѣ, а Гельмгольцъ — въ оптикѣ и акустикѣ... Алоизъ Риль, говоря о нѣмецкихъ философахъ-идеалистахъ, поставившихъ на мѣсто изслѣдованія и критики чистое умозрѣніе, замѣчаетъ, что ихъ системы представляютъ собою съ чисто научной точки зрѣнія не прогрессъ, а скорѣе остановку въ развитіи философіи.

Мы перейдемъ теперь къ взглядамъ Шеллинга на искусство, которые ревностно усвоились нашими шеллингианцами. Въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ человѣкъ, по его мнѣнію, повторяетъ дѣятельность природы: міръ искусства основывается на тѣхъ же единыхъ непремѣнныхъ законахъ, которыми управляется и міръ вещественный. Искусство представлялось совмѣщающимъ въ себѣ все человѣческое знаніе, міровоззрѣніе истиннаго художника — полнымъ и всеобъемлющимъ. Отсюда у шеллингианцевъ поэтъ возвышался настолько надъ обыкновенными людьми, что представлялся жрецомъ, а его творчество — священнодѣйствіемъ. Эти взгляды обосновывали и поддерживали распространенный еще раньше культъ гениальной личности (въ періодъ бурныхъ стремленій въ Германіи въ концѣ XVIII вѣка); необыкновенная высота положенія поэта давала ему основаніе выдѣлять себя изъ сферы человѣческой и съ гордымъ презрѣніемъ

смотрѣть на толпу. Старыя традиціи живучи: поклоненіе артисту до сихъ поръ еще держится въ нашемъ обществѣ. Такимъ образомъ художественная дѣятельность ставилась выше всякой другой. Эстетическая способность казалась нашимъ и нѣмецкимъ романтикамъ какимъ-то особымъ средствомъ познанія, не всѣмъ доступнымъ. Процессомъ художественнымъ, по ихъ мнѣнію, достигается самое совершенное познаніе. „Вникните—говорить шеллингіанецъ, кн. В. Ф. Одоевскій—въ поэзію величайшихъ поэтовъ, какъ Гомеръ, Дантъ, Шекспиръ... не видимъ ли во всякомъ ихъ стихѣ, что они глубоко изучили природу, что они проникли въ міръ дѣйствительный до самой сокровеннѣйшей его глубины, что они въ немъ все замѣтили—отъ Бога до червя“.

Намъ стануть теперь понятны взгляды старой эстетической школы на поэта, какъ на человѣка, одареннаго сверхъестественными способностями, и на поэзію, какъ на божественное откровеніе.

Но читателю можетъ прійти въ голову слѣдующій вопросъ: какимъ образомъ крайнія увлеченія старыхъ эстетиковъ романтической школы и поэтовъ-романтиковъ могли коснуться спокойно мыслящаго философа? На это отвѣтить нетрудно: отъ увлеченій своего времени несвободенъ и философъ. Справедливо говорятъ, что „мыслить весь человѣкъ, а не одинъ разумъ. Общее настроеніе эпохи, народный характеръ, индивидуальныя черты мыслителя, воля, фантазія въ философіи имѣютъ неизмѣримо большее значеніе, чѣмъ въ какой бы то ни было другой наукѣ; и поэтому ни въ какой другой наукѣ нѣтъ такихъ поучительныхъ заблужденій. Философскія міровоззрѣнія, какъ цвѣты, вырастаютъ на почвѣ общаго настроенія человѣчества въ извѣстныя

эпохи“. Не даромъ излагаемыя нами системы называютъ романтическими: даже Кантъ, къ которому совсѣмъ не пристало имя романтика — настолько онъ сухъ, — не избѣжалъ вліянія времени. Руссо, котораго онъ съ увлеченіемъ читалъ въ молодости, замѣтно подѣйствовалъ на него: порывы высоко благороднаго нравственнаго чувства, которые сквозятъ на многихъ страницахъ „Критики практическаго разума“, обнаруживаютъ несомнѣнное вліяніе великаго жевневца.

Если систему Шеллинга, у котораго природа является субъектомъ, искусство конечнымъ пунктомъ развитія, называютъ физическимъ и эстетическимъ идеализмомъ, то система Гегеля представляетъ собою идеализмъ логическій. Его философія — логизированіе міра.

Высшимъ понятіемъ системы Гегеля, понятіемъ, безотносительнымъ, безусловнымъ, независимымъ, обнимающимъ собою всѣ другія, такъ называемымъ въ философіи абсолютомъ, является міровая идея, міровой разумъ. Эта въ сущности та же божественная субстанція Спинозы. Все существующее есть выраженіе идеи. Всѣ вещи — не что иное, какъ модификація одной и той же вещи — міровой идеи. Она существуетъ прежде всего. Она осуществляетъ себя, снисходя до безсознательной природы, подымаясь и оживая въ человѣческомъ самосознаніи. Она развивается и совершенствуется въ жизни человѣческаго общества: въ его учрежденіяхъ, религіи, искусствѣ, наукѣ; сдѣлавшись совершеннѣе, богаче, она достигаетъ большей абсолютности и возвращается въ себя, но не становится вполнѣ абсолютной. Эта эволюція идеи представляется, такимъ образомъ, вѣчной, безконечной.

Высочайшій результатъ развитія идеи — философія. Всѣ отрасли знанія, религія, искусства — только подготовительныя къ ней ступени. Она одна достигаетъ того, къ чему тщетно стремились они. Гервинусъ справедливо говоритъ, что система Гегеля обѣщала людямъ дать все: истинное искусство, науку, истинную церковь, истинное государство. Слепые поклонники Гегеля, энтузіасты его системы, серьезно тревожились за абсолютную идею, которая, достигнувъ наивысочайшей вершины въ философіи Гегеля, находится въ тяжеломъ недоумѣніи: выше идти уже нельзя. Развитіе философской мысли имъ представлялось вполне законченнымъ, оставалось только показать его историческій ходъ.

Такъ какъ всякая вещь, по Гегелю, есть выраженіе идеи, то дѣло философіи опредѣлить ее, показать цѣль и мѣсто въ мірѣ и системѣ науки, ея цѣнность. Опять мы встрѣчаемся съ вопросами: зачѣмъ, для чего, съ телеологическимъ пріемомъ. Опять вмѣсто причиннаго пониманія получается идеальное объясненіе явленія. Такъ какъ міръ — развитіе мышленія, то философія должна раскрыть этотъ процессъ, она является, такимъ образомъ, ученіемъ о развитіи. Бытіе и мышленіе, реальное и идеальное въ системѣ Гегеля является тождественными, и потому она также называется системою идентитета. Въ этомъ заключается сходство ея съ системою Шеллинга, но у послѣдняго реальное и идеальное являются равноправными, объединяясь въ высшемъ понятіи безразличія. Гегель возобновляетъ фихтевское подчиненіе реальнаго идеальному, но не раздѣляетъ съ Фихте его презрѣнія къ природѣ: она у него та же идея, только ея бытіе иное. Гегелевская природа только ступень къ абсолютной идеѣ. Эта

идея, какъ мы уже сказали, существуетъ сначала, какъ доміровой разумъ, потомъ — какъ природа, и, наконецъ, — какъ живой духъ. Слѣдовательно, гегелевская система тождества отличается отъ шеллинговой тѣмъ, что подчиняетъ природу духу, и абсолютомъ ставитъ не безразличіе реальнаго и идеальнаго, а само идеальное: его абсолютъ — царство идеи. Его система представляетъ синтезъ системъ Фихте и Шеллинга: она соединяетъ въ себѣ фихтевское предпочтеніе философіи духа передъ философіей природы, его логическую строгость съ тѣмъ широкимъ интересомъ къ индивидуальности, къ природѣ, который замѣтенъ у Шеллинга. Идея развитія проведена у Гегеля строже, послѣдовательнѣе, чѣмъ у Фихте и Шеллинга. Старая идея Гераклита (за V слишкомъ вѣковъ до Р. Х.) о измѣнчивости жизни и о живой постоянно разрушающей и созидающей природѣ нашла въ Гегелѣ талантливаго поклонника и распространителя. Вся окружающая дѣйствительность представлялась ему не иначе, какъ въ процессѣ развитія; побудительную силу къ развитію онъ видѣлъ въ противорѣчій. Противорѣчіе, по его мнѣнію, не безусловно алогично, но является побужденіемъ къ дальнѣйшему мышленію. Его надо не уничтожать, а „снимать“, какъ онъ выражался. Это должно происходить такимъ образомъ: противорѣчащія другъ другу понятія мыслятся въ третьемъ высшемъ и болѣе широкомъ и такимъ образомъ уже представляются моментами этого послѣдняго, переставая противорѣчить другъ другу. Но является другая противоположность, которую тоже надо преодолѣть и т. д. Только благодаря такой діалектикѣ понятій, по мнѣнію Гегеля, философія совершенно соотвѣтствуетъ живой дѣйствительности. Міръ и его основа — развитіе, поэтому его

можно познать черезъ развитіе понятій, Діалек-
тический методъ Гегеля состоитъ въ слѣдующемъ:
отъ положенія нужно перейти къ противополо-
женію и отъ послѣдняго къ соединенію (теза, анти-
теза и синтезъ). Напр. теза — идея, антитеза — при-
рода и синтезъ — духъ; субъективный духъ, или
индивидуумъ, объективный духъ, или общество, и
абсолютный духъ, или геній человѣчества. Гегель
сдѣлалъ попытку начертить весь циклъ чистыхъ
понятій, расположивъ ихъ ступенями по своему
методу. И это былъ громадный трудъ, хотя и
неудачный. Отношенія между понятіями одинокимъ
разнообразны и сложны, чтобы ихъ можно было
удачно уложить въ рамки его діалектическаго
метода. Гегель въ эту лѣстницу идей думалъ
помѣстить все существующее, такъ какъ дѣйстви-
тельный міръ, по его мнѣнію, совпадаетъ съ мі-
ромъ мыслимыхъ идей. Признавая, что законы
развитія того и другого одни и тѣ же, онъ вы-
велъ знаменитое положеніе: „что разумно, то
дѣйствительно; что дѣйствительно, то разумно“.
Здѣсь выражается мысль о тождествѣ духа и міра,
идеальнаго и реальнаго, и вторая половина этой
формулы вовсе не утверждаетъ, что всякій фактъ
есть созданіе разумной идеи. Дѣйствительное и
существующее у него не одно и то же: „дѣйстви-
тельность“, говоритъ онъ, „выше существующаго“.
Значить, не все существующее онъ считалъ дѣй-
ствительнымъ. Но эта неясность выраженія или
дурная формулировка и, можетъ-быть, какъ допус-
каетъ Герценъ, намѣренная, повела къ двоякому
толкованію: одни видѣли въ ней оправданіе вся-
каго существующаго зла, всякой несправедливо-
сти, — оправданіе неподвижности, умственного зас-
тоя; другіе же понимали иначе: они подъ разумную
дѣйствительность подводили только такіе факты,

которые созданы разумной идеей. Такимъ образомъ для однихъ философія Гегеля въ практическомъ примѣненіи стала реакціонной; для другихъ — дала основаніе дѣятельности прогрессивной. Впрочемъ, сначала въ Германіи ученики Гегеля раздѣлились на правую и лѣвую партіи, главнымъ образомъ, по разногласію въ вопросахъ религіозныхъ, и только послѣ 1848 года на первый планъ выступили вопросы социально-политическіе.

Но при всѣхъ заблужденіяхъ, при всей своей фантастичности и отвлеченности имѣвшія у насъ огромное вліяніе системы Шеллинга и Гегеля были и полезны во многихъ отношеніяхъ: онѣ давали цѣльное монистическое воззрѣніе на міръ и идею законмѣрнаго развитія, оправдываемая современною наукою; съ помощью ихъ вырабатывались необходимыя для нашего молодого общества нравственныя, художественныя и общественно-политическія понятія.

Система Шеллинга, возбуждая вниманіе къ природѣ, неизбѣжно каталкивала на занятія естественными науками. Тотъ же князь В. Ф. Одоевскій рассказываетъ, что сначала они, т.-е. русскіе шеллингианцы, смотрѣли свысока на физиковъ и химиковъ, которые имѣли дѣло съ грубой матеріей, а потомъ занятія анатоміей, считавшіяся необходимыми для натурфилософа, привели къ физиологій, изученіе которой оказалось невозможнымъ безъ физики и химіи. Такимъ образомъ гордые метафизики принуждены были обзавестись колбами и ретортами и погрузиться въ изученіе грубой матеріи. Мысль Шеллинга о единствѣ природы, всѣ ступени которой, по его теоріи, суть пункты остановокъ одной и той же развивающейся въ нихъ основной силы, имѣетъ родство

съ дарвинизмомъ и произвела свое благотворное дѣйствіе на нашу образованную молодежь: въ сочиненіяхъ князя Одоевскаго задолго до появленія теоріи Дарвина мелькаетъ эволюціонная идея. Весьма вѣроятно, что мысль о развитіи природы по ступенямъ отразилась и во взглядахъ нашихъ идеалистовъ на моральный прогрессъ человѣчества, въ который они твердо вѣрили. Эта вѣра спасала отъ крайняго пессимизма, хотя въ ихъ тяжелое время возможно было прійти къ самымъ безотраднымъ выводамъ. Они говорили обществу, погруженному въ мелкіе эгоистическіе расчеты, низменные интересы и пошлость, что существуютъ для человѣка вопросы высшаго порядка.

Гегель привлекалъ молодежь къ изученію исторіи. Всемирная исторія теперь перестаетъ казаться безсмысленнымъ смѣшеніемъ случайныхъ фактовъ. По Гегелю, она представляется законосообразнымъ процессомъ развитія человѣчества, совершающимся безъ остановокъ и безъ конца. Заканчивая свои чтенія по исторіи философіи, онъ говоритъ: „много времени должно было пройти прежде, чѣмъ могла возникнуть современная философія.. То, что мы быстро обозрѣваемъ въ воспоминаніи, медленно совершалось въ дѣйствительности. Тѣмъ не менѣе всемірный духъ никогда не стоитъ на одномъ мѣстѣ. Онъ постоянно идетъ впередъ, потому что въ этомъ движеніи впередъ и состоитъ его природа. Иногда кажется, что онъ останавливается, что онъ утрачиваетъ свое вѣчное стремленіе къ самопознанію. Но это только такъ кажется. На самомъ дѣлѣ въ немъ совершается тогда глубокая внутренняя работа, незамѣтная до тѣхъ поръ, пока не обнаружатся достигнутые ею результаты, пока не разлетится въ прахъ кора устарѣлыхъ взглядовъ, и самъ онъ

вновь помолодѣвшій, не движется впередъ семи-миллионными шагами. Гамлетъ восклицаетъ, обращаясь къ духу своего отца: „кротъ, ты хорошо роешь!“ То же можно сказать и о всемірномъ духѣ: онъ хорошо роетъ“. Въ университетскихъ лекціяхъ своихъ Гегель выражается еще оильтѣе въ томъ же прогрессивномъ духѣ. „Герои“, говоритъ онъ, „создавая свою дѣятельностью новый міръ, приходятъ въ противорѣчіе со старымъ порядкомъ и разрушаютъ его: они являются разрушителями существующихъ законовъ. Поэтому, они гибнутъ, но гибнутъ, какъ отдѣльные лица; ихъ наказаніе не уничтожаетъ представляемого ими принципа... принципъ торжествуетъ въ послѣдствіи; хотя бы и въ другой формѣ“. Герценъ былъ правъ, когда, познакомившись со взглядами Пепеля, сказалъ, что его система—„алгебра революціи“. Послѣ 48-го года вліяніе его системы сказывается въ области вопросовъ социально-политическихъ. К. Марксъ и Ф. Лассаль были проникнуты гегеліанскими идеями. Гегеліанское понятіе о міровомъ процессѣ и развитіи также, подготовляло успѣхъ дарвинизма.

Важное значеніе эволюціонной идеи, усвоенной нами изъ нѣмецкой философіи, заключается, наконецъ, и въ томъ, что она представляла полную противоположность тому состоянію неподвижности, застоя, къ которому приводила официальная система нашу общественную жизнь и мысль. Философскія занятія заставляли неизбежно задумываться надъ своимъ положеніемъ, будили сознаніе, заставляли каждаго мыслящаго человека отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что происходитъ вокругъ, и въ своихъ собственныхъ дѣйствіяхъ. „Диалектика Гегеля“, по словамъ Герцена, „страшный таранъ; она, несмотря на свое двуличіе, на

прускопротестантскую докарду, улетучивала все существующее и распускала все, мѣшающее разуму". Она, дѣйствительно, окрыляла мысль и укрѣпляла вѣру въ силу человѣческаго разума, который у поклонниковъ официальной системы назывался „лежеименнымъ“ да и у славянофиловъ, какъ увидимъ, цѣнился мало. Она уничтожала всякую мистику и вела тѣхъ гегеліанцевъ, которые не останавливались въ своемъ развитіи, къ лѣвому гегеліанству.

Благотворные результаты философской работы тѣснаго кружка, освободительное вліяніе философскихъ идей, черезъ Бакунина, Бѣлинскаго, Герцена, Грановскаго, Тургенева и др. гегеліанцевъ, передавались въ болѣе широкіе круги общества. Тургеневъ превосходно изобразилъ ихъ дѣйствіе на молодежь въ своихъ романахъ: въ Рудинѣ — гегеліанство правовѣрное, въ Базаровѣ — лѣвое, хотя послѣднее, по извѣстнымъ причинамъ, изображено у него и неполно. Лѣвое гегеліанство, правда, слабо, но все-таки отразилось и въ нашей журналистикѣ. Время Фейербаха, по словамъ Герцена, — время „der kritischen Kritik“. Все это съ 30-хъ годовъ незамѣтно, постепенно подготовляло эпоху великихъ реформъ и служить неопровержимымъ доказательствомъ, что слѣпыя реакціонныя силы, дѣйствовавшія въ этотъ періодъ на полномъ просторѣ, все-таки не смогли задуть общественную мысль и остановить общественное развитіе.

V.

Вліяніє западно-європейской поэзіи и утопическаго соціалізма.

Говоря о своей родной, датской литературѣ по отношенію къ большимъ литературамъ Запада, Георгъ Брандесъ уподобляетъ ее небольшой часовнѣ въ большой церкви: „въ ней есть свой алтарь, но главный алтарь находится въ большой церкви, а не у нея“. „Нашему маленькому и отдаленно лежащему отечеству“, говоритъ онъ, „предназначено было судьбою не брать на себя инициативы ни въ одномъ изъ великихъ европейскихъ событій. Не мы дали толчокъ великимъ перемѣнамъ, мы только претерпѣли, если мы вообще поддались ихъ вліянію. Напр., идеи реформации мы почерпнули изъ Германіи, идеи революціи — изъ Франціи. Такимъ образомъ случается иногда, что одно изъ большихъ европейскихъ движеній затрогиваетъ насъ, другое — нѣтъ. Одна изъ поставленныхъ задачъ глубоко интересуєтъ насъ, другая — нѣтъ. А иногда случается, что мы, не принимая участія въ дѣйствіи, широкія волны котораго достигаютъ нашихъ песчаныхъ береговъ только послѣ того, какъ онѣ становятся плоскими и слабыми, впадаемъ въ реакцію“... Нашему, хотя и не маленькому, но еще болѣе отдаленному отъ Запада отечеству, скажемъ мы, судьбою предназначена почти та же роль по отношенію къ общественнымъ движеніямъ Европы. Нечего и говорить, конечно, о какой бы то не было съ нашей стороны инициативѣ въ великихъ событіяхъ Запада въ XVIII и XIX вѣкахъ, мы не принимали въ нихъ даже никакого участія, наша роль въ этихъ случаяхъ ограничивалась исключительно тѣмъ, что мы до нѣкоторой степени поддавались

ихъ вліянію, и въ нашей литературѣ ихъ отраженія чаще были едва замѣтны (Здѣсь мы, конечно, исключаемъ событія военныя.). Но, и не принимая въ нихъ участія, мы претерпѣвали реакцію противъ нихъ. Европейская реакція всегда отражалась у насъ съ большою силою. Такъ было въ вѣкъ Екатерины II, Александра I и въ царствованіе Николая I. Но умственные явленія Европы съ конца XVIII вѣка имѣли всегда болѣе или менѣе сильное вліяніе на образованныхъ русскихъ людей, хотя и нельзя сказать, чтобы крупныя умственныя движенія Запада цѣликомъ усвоивались ими. Достоевскій говорить объ этомъ справедливо, но въ преувеличенныхъ выраженіяхъ: „у насъ еще съ прошлаго (т.-е. съ XVIII) столѣтія всегда тотчасъ же становилось извѣстнымъ о всякомъ интеллектуальномъ явленіи въ Европѣ, и тотчасъ же изъ высшихъ слоевъ нашей интеллигенціи передавалось всей массѣ хоть чуть-чуть интересующихся и мыслящихъ людей“... „У насъ, русскихъ, двѣ родины: наша Русь и Европа... Многое, очень многое изъ того, что мы взяли изъ Европы и пересадили къ себѣ, мы не скопировали только... а привили нашему организму въ плоть и кровь; иное же пережили и даже выстрадали самостоятельно“... „Я утверждаю и повторяю“, прибавляетъ онъ, „что всякій европейскій поэтъ, мыслитель, филантропъ, кромѣ земли своей, изъ всего міра наиболѣе и природнѣе бываетъ понять и принять всегда въ Россіи“... Если нѣкоторый пафосъ, неизбѣжно входящій почти во всѣ разсужденія Достоевскаго, заставляеть его впадать въ преувеличенія, при изображеніи нашей восприимчивости, то все-таки за кое-какими вычетами въ приведенныхъ сейчасъ словахъ останется много и правды.

Дѣйствительно, не было окомко-нибудѣ замѣтнаго писателя въ Европѣ, поэта, философа, котораго бы не пользовался въ нашемъ образованномъ обществѣ большимъ или меньшимъ фаворомъ и не имѣлъ вліянія. Указать и прослѣдить все эти вліянія мы не имѣемъ возможности. Мы беремъ здѣсь только то, что оставило въ умахъ и нравахъ русскаго передового общества глубокіе слѣды.

Въ 30-хъ годахъ прошлаго вѣка нашу образованную молодежь сильно увлекали нѣмецкіе поэты: въ особенности Шиллеръ и Гофманъ. Вліяніе перваго имѣло большое воспитательное значеніе. Часть молодежи съ Огаревымъ и Герценомъ во главѣ, мечтавшая о борьбѣ за общее благо, олицетворяли свои мечты въ поэтическихъ образахъ Шиллера. „Лица его драмъ“, говоритъ Герценъ, „были для насъ существующія личности, мы ихъ разбирали, любили и ненавидѣли, не какъ поэтическія произведенія, а какъ живыхъ людей. Сверхъ того, мы въ нихъ видѣли самихъ себя. Я писалъ къ Нику (Н. Огареву), нѣсколько озабоченный тѣмъ, что онъ слишкомъ любитъ Фіеско, что за всякимъ Фіеско стоитъ свой Верина. Мой идеалъ былъ Карлъ Моръ, но я вскорѣ измѣнилъ ему и перешелъ въ маркиза Позу“. Воображеніе рисовало Герцену картину его свиданія и разговоровъ въ духъ Позы съ императоромъ Николаемъ I. Станкевичъ, находившій въ Шиллерѣ нравственную опору и утѣшеніе, переполнялъ свои письма цитатами изъ него. Бѣлинскій въ разные періоды своей жизни относился различно къ Шиллеру, но всегда горячо. Юношеское увлеченіе поэтомъ доходило у него до обожанія. Въ періодъ увлеченія Гегелемъ, его взглядомъ на „разумную дѣйствительность“ и преклоненія передъ нею, обожаніе

Шиллера перешло въ ненависть къ нему за его „субъективно-нравственную точку зрѣнія, за абстрактный героизмъ, за прекраснодушную войну съ дѣйствительностью, за страшную идею долга“. Его „Разбойники“ и „Коварство и любовь“ вкупе съ „Фиско“ — этимъ произведеніемъ нѣмецкаго Гюго“, говоритъ Бѣлинскій, „наложили на меня дикую вражду съ общественнымъ порядкомъ во имя абстрактнаго идеала общества, оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій развитія, построеннаго на воздухѣ. Его „Донъ-Кихотъ“ — эта блѣдная фантазмагорія образовъ безъ лицъ и риторическихъ олицетвореній, эта апотеоза абстрактной любви къ человѣчеству безъ всякаго содержанія — бросилъ меня въ абстрактный героизмъ, въ котораго я все презиралъ, все ненавидѣлъ и въ которомъ я очень хорошо, несмотря на свой неестественный, напряженный восторгъ, сознавалъ себя нулемъ. Его „Орлеанская дѣвственница“ ринула меня въ тотъ же абстрактный героизмъ, въ то же пустое, безличное, субстанціальное безъ всякаго индивидуальнаго опредѣленія — общее. Его „Текла“, это улучшенное исправленное изданіе шиллеровской женщины, дало мнѣ идеаль женщины, въ котораго для меня не было женщины...“ Но отношеніе Бѣлинскаго къ Шиллеру еще разъ измѣнилось. Когда онъ, вырвавшись изъ тѣсной сферы московскаго кружка, переѣхалъ въ Петербургъ, и жизнь поставила его лицомъ къ лицу съ той дѣйствительностью, передъ которой онъ преклонялся, онъ скоро созналъ свое заблужденіе и пошелъ въ сторону дѣваго гегеліанства, требовавшаго борьбы съ темными сторонами жизни. Къ этому времени онъ окончательно пережилъ отвлеченный идеализмъ и далъ справедливую

опѣнку Шиллеру. Шиллеръ является для него снова: поэтотъ гуманисти, ненавидящимъ религіозный и національный фанатизмъ, предрасудки, бичи, костры и все, что заставляетъ людей забывать о братской любви другъ къ другу. Но теперь Бѣлинскій ясно видитъ въ немъ и романтика, и этотъ романтическій элементъ вызываетъ въ немъ критическое отношеніе. Высокую любовь его онъ находитъ фантастичною, мечтательною: „она боится земли, чтобы не замараться въ ея грязи, и держится подъ небомъ...“ „Женщина Шиллера — это не живое существо съ горячею кровью и прекраснымъ тѣломъ, а блѣдный призракъ; это не страсть, а аффектація.“

Такимъ образомъ Шиллеръ болѣе, чѣмъ кто-либо изъ нѣмецкихъ поэтовъ-романтиковъ, былъ вождемъ лучшихъ передовыхъ людей нашихъ, истинныхъ воспитателей общества въ 40-хъ годахъ, и значеніе его въ исторіи русскаго общественнаго развитія не подлежитъ сомнѣнію.

Но едва ли не самымъ вліятельнымъ представителемъ истаго нѣмецкаго романтизма былъ у насъ, въ Россіи, въ эту эпоху Гофманъ. Живописецъ, музыкантъ, поэтъ, онъ выросъ въ эпоху „бурныхъ геніевъ“, культа геніальной личности, возвышающейся надъ толпой и рвущейся изъ сферы будничной прозы, которая заслуживаетъ или ироніи, или полного презрѣнія. Его пламенная фантазія, часто совсѣмъ забывавшая міръ дѣйствительный для воображаемаго, сильно увлекала нашу лучшую молодежь, подавленную окружающей пошлостью. „Обыкновенный скучный рядокъ вещей, — говоритъ Герценъ, — слишкомъ тѣснилъ Гофмана; онъ пренебрегъ жалкимъ (!) пластическимъ правдоподобіемъ. Его фантазія предѣловъ не знаетъ; онъ пишетъ въ горячкѣ, блѣд-

ный отъ страха, трепещущій предъ своими вымыслами, съ всклокоченными волосами; онъ самъ отъ чистаго сердца вѣрить во все: и въ песочнаго человѣка, и въ колдовство, и въ привидѣнія, и этой-то вѣрой подчиняетъ читателя своему авторитету, поражаетъ его воображеніе и надолго оставляетъ слѣды. Три элемента жизни человѣческой служатъ основой большей части сочиненій Гофмана, и эти же элементы составляютъ душу самого автора: внутренняя жизнь артиста, дивныя психическія явленія и дѣйствія сверхъестественныя. Все это, съ одной стороны, погружено въ черныя волны мистицизма, съ другой — растворено юморомъ, живымъ, острымъ, жгучимъ... „У него юморъ артиста, падающаго вдругъ изъ своего эльдорадо на землю, — артиста, который среди мечтаній замѣчаетъ, что его Галатея кусокъ камня, — артиста, у котораго, въ минуту восторга, жена проситъ денегъ дѣтямъ на башмаки...“

Гофманъ спускался безъ страха въ самыя темныя области человѣческой психики, его интересовали не дюжинныя натуры, не обыкновенные люди — великіе злодѣи, сумасшедшіе, заставляющіе трепетать передъ собою. Гофманъ изображалъ какую-то особую жизнь, идущую по особымъ законамъ. Какъ истый романтикъ, онъ отрывалъ читателей отъ окружающей дѣйствительности, заставлялъ презирать здоровую нормальную жизнь. Даже такого сильнаго ума люди, какъ Герценъ, поддаваясь его вліянію, начинали пронизировать надъ „людьми, которые во время ѣдятъ, во время спятъ, во время умираютъ, проводя жизнь въ добромъ здоровьѣ, которые, по донесенію Парижской академіи, имѣютъ столь счастливую комплексію, что не могутъ быть магнетизированы“, и называли такую жизнь „обычнымъ прозябаніемъ людей“.

Бѣлинскій называетъ Гофмана „однимъ изъ величайшихъ нѣмецкихъ поэтовъ, живописцемъ невидимаго внутренняго міра, ясновидцемъ таинственныхъ силъ природы и духа...“

Къ чести Гофмана надо сказать, что, кромѣ странностей и разныхъ другихъ недостатковъ романтизма, въ его сочиненіяхъ нашли мѣсто и лучшія стремленія романтиковъ. Онъ былъ мастеромъ въ изображеніи италіанскихъ нравовъ эпохи реформаци и XVII вѣка. Своей оригинальной злой ироніей онъ особенно преслѣдуетъ тщеславіе, пошлость, педантизмъ, умственную ограниченность, эгоизмъ — все, что выражается словомъ филистерство. Дѣтски наивное, чистое, поэтически настроенное сердце цѣнилъ онъ больше всего. На поэзію онъ смотрѣлъ съ шеллингіанской точки зрѣнія, какъ на высшее знаніе, которымъ достигается все: истина, добро, красота, высшая степень человѣческаго счастья. Мечты и грезы съ открытыми глазами — существенная черта нѣмецкаго романтизма — составляли преобладающій элементъ поэзіи Гофмана, но его фантазія спускалась иногда и на землю, въ живую настоящую дѣйствительность, и здѣсь онъ являлся истиннымъ проповѣдникомъ гуманныхъ началъ.

Вліяніе Гофмана было сильно во Франціи, Италіи и Сѣверной Америкѣ. Въ нашей литературѣ оно отразилось замѣтно на повѣстяхъ А. Погорѣльскаго (А. Л. Перовскаго), писателя пушкинскаго періода, на повѣстяхъ кн. В. Ө. Одоевскаго, на нѣкоторыхъ произведеніяхъ Гоголя. Біографъ Достоевскаго, А. Кирпичниковъ, отмѣчаетъ сильное вліяніе Гофмана какъ на раннія, такъ и на позднѣйшія произведенія Достоевскаго. Онъ указываетъ на поразительное сходство во взглядѣ и литературныхъ приемахъ обоихъ писателей. „Оба

они одинаково любят дѣтей и нудниковъ и не любятъ холодныхъ сдержанныхъ жрецовъ „приличія“, поклонниковъ успѣха и дѣловыхъ людей, всецѣло отдавшихся полезному; оба превозносятъ неподкрашенную природу на счетъ культуры; оба принижаютъ разумъ передъ сердцемъ; оба въ повѣствованіи любятъ неожиданности; у обоихъ проткая идиллія внезапно смѣняется порывомъ воевничьей бури и наоборотъ; знаменитое „тутъ произошло нѣчто совсѣмъ неожиданное“ Достоевскаго часто дословно встрѣчается у Гофмана; оба любятъ сопоставлять трагическое и страшное съ мелочнымъ и обыденнымъ; оба любятъ сны, предчувствія, галлюцинаціи; сфера психологическихъ наблюденій Достоевскаго есть не что иное, какъ расширеніе и углубленіе сферы наблюденій Гофмана, реализованныхъ на данной почвѣ и въ данную эпоху. Все, что говоритъ Вѣлинскій о странности и причудливости тенія Гофмана, всецѣло относится и къ Достоевскому — но далеко не всѣ свойства великаго русскаго романиста можно указать у нѣмецкаго романтика“.

Вліяніе западной литературы на наше общество не ограничивалось кругомъ идей нѣмецкой метафизики и поэтовъ-романтиковъ; о которыхъ мы только что говорили. Новое европейское движеніе 30-хъ и 40-хъ годовъ захватило у насъ очень широкій кругъ людей, принадлежавшихъ къ различнымъ общественнымъ слоямъ. Среди нихъ были многіе русскіе писатели, и имъ дѣйствительно, какъ говоритъ Достоевскій, многое пришлось пережить и выстрадать. Эти вліянія были очень сильны и плодотворны. Намъ необходимо познакомиться съ ними. Они шли изъ Франціи и частію изъ той же Германіи, которая

давала намъ въ этотъ періодъ своеобразное философское воспитаніе.

Во Франціи въ годы, предшествовавшіе іюльской революціи легитимное правительство Карла X возбуждало недовольство всѣхъ партій, всѣхъ классовъ народа. Карлъ X, абсолютистъ по своимъ воззрѣніямъ, ненавидѣвшій революціонеровъ, не имѣлъ никакого политическаго такта. Считая себя первымъ дворяниномъ Франціи, онъ пренебрежительно относился къ самому сильному въ то время классу — буржуазіи. Французскій либерализмъ, начавшій усиливаться къ концу 20-хъ гг., объединилъ всѣ партіи, заключивъ союзъ даже съ радикалами, и началъ борьбу съ ненавистнымъ правительствомъ, кончившуюся переворотомъ въ 1830 году. Въ три дня бурнаго народнаго возстанія правительство Карла X было низвергнуто. Буржуазія стала у власти и возвела на престолъ своего короля, Луи Филиппа. Но, занявъ выгодное положеніе въ государствѣ, она исключительно заботилась о себѣ, забывъ объ интересахъ неимущей массы рабочихъ и крестьянъ. На защиту послѣднихъ выступаетъ новая оппозиціонная партія, являются теоретики новаго ученія, которые ставятъ своей главной задачей интересы большинства.

Переворотъ во Франціи въ концѣ XVIII вѣка освободилъ буржуазію, но вопросъ о матеріальномъ благосостояніи большинства не получилъ разрѣшенія: борьба велась тогда противъ аристократіи, противъ старинныхъ формъ жизни, противъ опутавшихъ ее предразсудковъ, завѣщанныхъ отдаленнымъ прошлымъ. Вопросъ о новой организаціи общества быть только поставленъ дѣятелями великаго переворота, а разрѣшать его суждено было слѣдующимъ поколѣніямъ. Общія

понятія, завѣщанныя этимъ временемъ, требовали разъясненія, разработки, практическаго примѣненія къ жизни. Такія высокія понятія, какъ свобода, равенство, братство, оказались только красивыми словами. Ихъ легко было написать на городскихъ общественныхъ зданіяхъ, а проведенію въ жизнь встрѣчало неодолимые затрудненія. Массы были порабощены тѣми, кто давалъ имъ трудъ и малую плату за него. Противорѣчіе между либеральными идеями и велиберальной дѣйствительностью было слишкомъ очевидно; а между тѣмъ въ народной массѣ были уже возбуждены новыя желанія и надежды на лучшее будущее. Такимъ образомъ явился вопросъ объ улучшеніи экономическаго благосостоянія массъ, — вопросъ, надъ которымъ работало цѣлое XIX столѣтіе и при всѣхъ своихъ усиліяхъ до сихъ поръ не пришло къ вполне удовлетворительному его рѣшенію.

Посмотримъ теперь, какъ подходили къ этому вопросу французскіе дѣятели 30-хъ и 40-хъ годовъ. Зная, какъ трудно его рѣшеніе, мы не удивимся, что въ первыхъ попыткахъ французскихъ теоретиковъ было немало наивнаго и даже мистическаго; но въ нихъ были и серьезныя мысли. Особенною популярностью пользовались двѣ теоріи: сенъ-симонистовъ и фурьеристовъ, получившихъ названія по именамъ ихъ создателей: С.-Симона и Фурье. Эти партіи имѣли многихъ послѣдователей среди молодежи, женщинъ и рабочихъ. Мы познакоимся только съ основными положеніями ихъ ученій. Имѣя въ виду дать всякому возможность пользоваться земными благами и достигать возможнаго счастья, теоріи эти прежде всего стремились къ равномѣрному распредѣленію труда и собственности. Основнымъ

положеніемъ С. Симонистовъ было слѣдующее: „каждому по его способности, каждой способности по ея дѣламъ“. Чтобы уничтожить классъ правдныхъ, не трудящихся людей, они требовали отмены всѣхъ правъ и привилегій по рожденію и въ особенности права наслѣдованія. Они признавали только ту собственность, которая приобрѣтена трудомъ. „Отвращеніе жъ труду“, говорили они, „происходитъ оттого, что до сихъ поръ не умѣли его сдѣлать привлекательнымъ. Для достиженія этой цѣли его надо сдѣлать разнообразнымъ и непродолжительнымъ“. Фурье, считая современный трудъ рабствомъ, учить, что только свободный трудъ, воодушевленный страстью, можетъ быть вполне плодотворенъ. Распределеніе имущества по способности и дѣламъ у С. Симона принадлежитъ власти, а у Фурье оно является свободнымъ, есообразно или, точнѣе сказать, пропорціонально капиталу, труду, таланту. Всѣ, по мнѣнію С. Симона, должны трудиться на пользу общую. Бѣдные будутъ питать богатыхъ, которые должны работать головой, а неспособные къ умственному труду должны заняться физическимъ трудомъ. Трудъ — категорическій императивъ новаго общества; воинственный типъ человѣчества исчезнетъ и замѣнится типомъ мирнаго научно-образованнаго человѣка. „Прочь, Александры, уступите мѣсто ученикамъ Архимеда!“ восклицалъ С. Симонъ. Въ основу своей теоріи онъ положилъ науку, знаніе, которыя могутъ сдѣлать человѣка болѣе совершеннымъ и дать ему возможность побѣдить природу. Онъ предлагаетъ объединить всѣ частныя науки, какъ элементы одной общей науки, и создать положительную философію. За исполненіе этой трудной задачи вскорѣ принялся одинъ изъ бывшихъ учениковъ Сенъ Симона, О. Контъ.

Къ тому же типу благородныхъ мечтателей объ общемъ человѣческомъ счастьи, легко достижимомъ, по ихъ мнѣнію, при единственномъ только условіи пониманія преимуществъ и выгодъ справедливаго порядка вещей, принадлежалъ въ Англіи Робертъ Оуэнъ. Онъ училъ, что въ основу труда должно быть положено товарищество работниковъ, и мечталъ о болѣе совершенной организаціи промышленности на кооперативныхъ началахъ. Дальнѣйшее социальное развитіе, думалъ онъ, должно привести къ высшему типу промышленности, къ переходу фабрикъ въ руки рабочихъ и справедливому распредѣленію продуктовъ труда. Онъ проповѣдывалъ „стройную жизнь общаго труда“, „жизнь сытаго, одѣтаго общества, безъ палача“.

Фурье создалъ болѣе грандіозный планъ организаціи товарищеской общины, „фаланги“, гдѣ каждый отдаетъ свою собственность общинѣ для совмѣстнаго пользованія, каждый работаетъ вмѣстѣ съ другими и получаетъ часть, соотвѣтствующую степени его участія въ общемъ трудѣ, или размѣрамъ капитала, или степени его таланта, такъ какъ, по ученію Фурье, трудъ, талантъ, капиталъ считались во всякомъ производствѣ главными производительными силами. Всѣ обходятся безъ наемныхъ рабочихъ. Община сооружаетъ грандіозный дворецъ (фаланстеръ), въ которомъ находится общій храмъ и театръ. Красота, удобства, просторъ, обиліе свѣта и воздуха дѣлаютъ жизнь семей, обитающихъ въ немъ, настоящимъ раемъ. Въ подражаніе первой фалангѣ будутъ устроены другія, и въ скоромъ времени весь міръ покроется ими. Зло и горе исчезнутъ, и царство Божіе осуществится на землѣ.

Сень-симонистами былъ поднятъ и женскій вопросъ. Они поставили своей задачей освобожденіе

женщины отъ подчиненія мужчинъ и уравниенія ея правъ съ его правами.

Эти идеи въ теченіе цѣлаго столѣтія продолжали развиваться, перерабатываться, распространяться. Онѣ привлекли общее вниманіе, заставили задуматься надъ несовершенствомъ современнаго общественнаго строя, вызвали работу общественной мысли, которая продолжается и до настоящаго времени.

Какъ самая жизнь буржуазнаго общества времени Луи Филиппа съ его преобладающимъ стремленіемъ къ наживѣ, такъ и новыя соціальныя теоріи не замедлили отразиться во французской литературѣ. Въ началѣ 30-хъ годовъ является знаменитый романистъ Бальзакъ. Предметъ его изображенія — современное общество со всѣми своими историческими недостатками, уродливостями. Онъ пишетъ фізіологію общества. Въ его романахъ обращено вниманіе на среду и обстановку, окружающую лицо, и разнообразныя данныя его натуры. Его мастерство сказывается въ особенности въ изображеніи будничныхъ интересовъ, мелкихъ пороковъ. „Самая привольная среда для творчества Бальзака“, говоритъ Пелисье, — „это міръ интригъ, подкоповъ, дѣловыхъ махинацій, ловкихъ мошенничествъ“... „Въ изображеніи людей, одержимыхъ честолюбіемъ и любостыжаніемъ, пробуждающими въ нихъ самыя низкіе инстинкты, но вмѣстѣ съ тѣмъ и всю энергію страсти, Бальзакъ неподражаемъ“...

Въ то же время является Жоржъ-Зандъ, писательница, которая не довольствуется отрицательными изображеніями жизни и создаетъ положительные характеры, руководствуясь своими идеалами... Ея герои и героини производили сильное впечатлѣніе: они представлялись образ-

цами, имъ старались подражать. Ея произведенія представляютъ полную противоположность романамъ Бальзака: они ясно, отчетливо отражаютъ идеалы лучшей передовой части французскаго общества. „Искусство“, говоритъ она, „не есть изслѣдованіе дѣйствительности, это — исканіе идеальной правды“. Въ концѣ 30-хъ годовъ она все сильнѣе проникается указанными выше общественными теоріями. Вопросы женскій и социальный занимаютъ ее главнымъ образомъ. Она изображаетъ бѣдственное положеніе женщины, ея борьбу съ общественными взглядами, ея стремленіе освободиться изъ-подъ семейнаго гнета, изъ-подъ установленныхъ вѣками, устарѣлыхъ, отжившихъ правилъ. Но она была права, когда утверждала, что никогда не выходитъ изъ области фантазіи. По словамъ того же Пелисье, она — „поэтъ до мозга костей, гораздо болѣе склонный къ созерцанію, чѣмъ къ наблюденію; она не воспроизводитъ реальной жизни, а создаетъ въ своихъ мечтахъ ея идеаль“. Ея произведенія проникнуты горячимъ чувствомъ и очаровательны по стилю. Въ этотъ романтическій періодъ они имѣли огромный успѣхъ повсюду. И едва ли не самое сильное впечатлѣніе производили романы первой поры ея дѣятельности, полные экзальтированной страсти, — романы, въ которыхъ она отстаиваетъ права женщины, свободу чувства.

Съ современной намъ точки зрѣнія на женскій вопросъ постановка его въ романахъ Ж.-Зандъ является уже устарѣлою. Въ наше время женщина стремится къ освобожденію изъ-подъ власти любовныхъ аффектовъ, имѣвшихъ когда-то первенствующее и чаще всего исключительное значеніе въ ея жизни. Она, чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе заявляетъ о своихъ правахъ и способностяхъ къ

той степени умственного развитія, которой достигаетъ мужчина. Русская, образованной среды, женщина уже съ 60-хъ годовъ вышла изъ старой душной атмосферы домостроевскаго семейнаго уклада — она получаетъ общественное воспитаніе въ гимназіи, она стремится къ высшему образованію, на курсы, въ университетъ, куда и правительство, наконецъ, открываетъ ей свободный доступъ. Роль старыхъ закрытыхъ женскихъ заведеній, какъ и роль домашняго воспитанія въ четырехъ стѣнахъ, гдѣ выращивали слабыхъ, неразвитыхъ, несамостоятельныхъ, часто гибнувшихъ при первомъ столкновеніи съ суровой дѣятельностью дѣвушекъ, теперь уже кончена. Мысль о необходимости восполненія первоначальнаго семейнаго воспитанія общественнымъ, о необходимости повышенія уровня умственнаго развитія для женщины и свободного доступа къ общественной дѣятельности стала у насъ почти общепризнанною. Мы видимъ, что область примѣненія женскихъ способностей и силъ на нашихъ глазахъ расширяется все болѣе и болѣе, и умственный уровень, благодаря распространенію высшаго образованія среди женщинъ, замѣтно повышается. То требованіе свободы въ области чувства, которое заявлено въ романахъ Ж.-Зандъ, имѣетъ для современной образованной женщины интересъ исключительно историческій, и ни героини Ж.-Зандъ, ни ихъ копіи въ русской литературѣ служить образцами для нея не могутъ.

Къ концу 30-хъ годовъ Ж.-Зандъ, подь влияніемъ своихъ друзей, Ламенне, Леру и др., начинаетъ интересоваться вопросами социальными и политическими. „Любовь — страсть эгоистическая“, говоритъ ей одинъ изъ друзей и совѣтуетъ это пламенное чувство распространить на все

человѣчество. Этотъ второй періодъ ея дѣятельности отличается тѣмъ, что въ ея романахъ этой поры проводятся идеи альтруистическія, выступаетъ проповѣдь социализма въ духѣ послѣдователей С. Симона и Фурье. Но, какъ замѣчено выше, въ ученіе послѣднихъ былъ внесенъ элементъ религіозно-мистическій, обращавшій его въ новую вѣру, новую религію. Фанатическіе послѣдователи его сочиняли „Новое христіанство“, „Новое Евангеліе“, ожидали чудеснаго обновленія жизни человѣка и природы и предсказывали скорое осуществленіе своей мечты. На себя они смотрѣли, какъ на жрецовъ: въ устроенномъ ими общежитіи члены его назывались братьями, сестрами и дочерьми о С. Симонѣ. Проповѣди на ихъ собраніяхъ перемежались гимнами и молитвами. Одинъ изъ друзей Ж.-Зандѣ, упомянутый выше П. Леру, вѣрилъ въ переселеніе душъ, и отсюда дѣлалъ выводъ о необходимости заботиться объ успѣхахъ человѣчества, такъ какъ забота о другихъ людяхъ есть забота о нашемъ будущемъ существованіи. Подъ вліяніемъ друзей у Ж.-Зандѣ будущее человечества рисуется въ самыхъ радужныхъ краскахъ. Новое ученіе, по ея мнѣнію, создастъ для людей царство всеобщей солидарности и всеобщаго равенства. Какъ, какими средствами, люди достигнуть этого состоянія, она не знаетъ. Она слѣпо вѣрила въ силу мистическаго ученія, которое проповѣдовали ея друзья.

+ Незадолго до 1848 года начинается третій періодъ ея литературной дѣятельности: появляется цѣлая серія рассказовъ и романовъ изъ сельской жизни. Здѣсь она выводитъ крестьянъ, деревенскихъ кулаковъ, эксплуататоровъ простого люда. Правда, ея крестьяне нѣсколько прикрашены, идеализированы, въ чемъ она и сама признается,

но уже важно то, что люди деревни начали появляться въ поэзіи и обратили на себя общественное вниманіе.

Произведенія Ж.-Зандъ имѣли огромное значеніе для общественнаго развитія: въ нихъ ярко отразилось умственное движеніе эпохи; новыя идеи были выражены въ поэтической, конкретной, слѣдовательно, популярной формѣ. Трактаты теоретиковъ не могли имѣть такого распространенія, какъ повѣсти и романы. Они имѣли вліяніе не только у себя дома, но и за предѣлами Франціи.

Какъ велико значеніе ихъ для русской литературы и общества 40-хъ годовъ, мы можемъ убѣдиться изъ многихъ замѣтокъ, отзыовъ, статей нашихъ писателей, какъ о самыхъ романахъ, такъ и объ интересной личности самой писательницы, которая внушала однимъ глубокое сочувствіе, другимъ — непримиримую ненависть и отвращеніе. Консервативно-патріотическая русская печать всѣхъ оттѣнковъ относилась враждебно какъ къ нѣмецкимъ либераламъ, такъ и къ французскимъ новымъ теоріямъ и къ Ж.-Зандъ, проповѣдницѣ этихъ послѣднихъ. Извѣстный плодовитый журналистъ того времени Сенковскій (его псевдонимъ — баронъ Брамбеусъ), писатель съ талантомъ и большими знаніями, но человѣкъ безпринципный, занимавшійся всю жизнь безцѣльнымъ гаерствомъ, иначе не называлъ знаменитую писательницу, какъ г-жа Егоръ Зандъ, находя это очень остроумнымъ. Зато Бѣлинскій даетъ о ней восторженный отзывъ въ 40-хъ годахъ, когда онъ уже отдѣлался отъ системы Гегеля, пошелъ по пути лѣвыхъ гегеліанцевъ и исполнѣ примирился съ французами, которые, по его словамъ, „безъ нѣмецкой философіи поняли

то, чего нѣмецкая философія и теперь не понимаетъ“. Онъ находитъ нужнымъ теперь познаться съ с.-симонистами... „Я на женщину смотрю ихъ глазами“, говоритъ онъ: „она есть жертва, раба новѣйшаго общества“. Говоря въ письмѣ къ другу о стѣснительныхъ, неравныхъ для женщины брачныхъ отношеніяхъ, онъ спрашиваетъ: „Почему это? Превосходство мужчины? Но оно тогда законное право, когда признается сознаніемъ и любовью жены, выходитъ изъ ея свободной довѣренности... иначе его право надъ нею — кулачное право. Нѣтъ, братъ, женщина въ Европѣ столько же раба, сколько въ Турціи и въ Персіи... И мы еще можемъ фантазировать, что человѣчество стоитъ на высокой степени совершенства“. „Всѣхъ дальше ушли въ этомъ отношеніи французы: у нихъ нравы уже предоставляютъ женщинѣ больше свободы, и у нихъ явилась „вдохновенная пророчица, энергическій адвокатъ правъ женщины“ — Ж.-Зандъ. Великій народъ!“

Романы Ж.-Зандъ, въ которыхъ былъ поставленъ вопросъ о свободѣ чувства, вызвали у насъ цѣлый рядъ произведеній на ту же тему: романъ: „Кто виноватъ“ Герцена и его же замѣчательная статья: „По поводу одной драмы“, „Полинька Саксъ“ Дружинина, „Подводный камень“ Авдѣева, „Что дѣлать“ Чернышевскаго и др. Тургеневъ, какъ поэтъ любви, въ своемъ пристрастіи къ изображенію этой стороны жизни, по всей вѣроятности, шелъ по слѣдамъ знаменитой романистки, которая сыграла значительную роль въ его духовномъ развитіи, о чемъ онъ самъ говоритъ не разъ въ своихъ письмахъ къ разнымъ лицамъ. Справедливо указываютъ на нѣкоторыя черты сходства между характерами

ж.-зандовскаго Ораса и тургеневскаго Рудина, относя ихъ къ одному и тому же психологическому типу; проф. Сумцовъ видитъ отраженіе образа крестьянина „Пасіанса“ въ ж.-зандовскомъ романѣ „Мопра“ на тургеневскомъ „Касьянѣ съ Красивой Мечи“. Нѣтъ сомнѣнія, что „Записки охотника“ и нѣкоторыя произведенія Григоровича, рисующія дореформенный деревенскій бытъ и имѣвшія значеніе въ исторіи освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, написаны подъ вліяніемъ Ж.-Зандъ.

Русскій біографъ Ж.-Зандъ, В. Каренинъ, даетъ очень вѣрныя и цѣнныя фактическія доказательства вліянія знаменитой романистки на все русское общество и на многихъ писателей: на Бѣлинскаго, Салтыкова, Достоевскаго и др. „Заговорите о Ж.-Зандъ съ нашими отцами и дядями, съ нашими матерями, бабушками и тетусками, со всѣми тѣми, кто былъ молодъ въ 40-хъ годахъ, кто тогда, окончивъ или кончая воспитаніе, выходилъ въ самостоятельную жизнь, ото всѣхъ вы услышите одинъ и тотъ же отвѣтъ“, говоритъ біографъ. „Всѣ“, по его словамъ, „зачитывались Ж.-Зандъ“. „Интеллигенція, въ самомъ высшемъ смыслѣ этого слова, и во главѣ ея вся плеяда нашихъ великихъ писателей 40-хъ годовъ“, продолжаетъ онъ, „дѣйствительно, воспитывалась на произведеніяхъ Ж.-Зандъ, жила ими. Ж.-Зандъ помогала имъ уяснить себѣ самые важные вопросы нашего вѣка, она указала многимъ новые пути, другихъ укрѣпляла уже на избранномъ, еще другимъ помогала понять свое истинное призваніе, — почти для всѣхъ была тою предразсвѣтною звѣздою, которая среди мрака тяжелыхъ годовъ указывала путь къ свѣту и солнцу, отъ неволи на волю, отъ мелкихъ личныхъ интере-

совѣ къ гуманнымъ и широкимъ интересамъ общественнымъ"... Говоря объ умственномъ движеніи 40-хъ годовъ и вліяніи Ж.-Зандъ на русское общество, Достоевскій въ слѣдующихъ словахъ изображаетъ свои личныя впечатлѣнія: „Я думаю, такъ же, какъ и меня, еще юношу, воѣхъ поразила тогда эта цѣломудренная высочайшая чистота типовъ и идеаловъ и скромная прелесть строгаго сдержаннаго тона разсказа... Мнѣ было, я думаю, лѣтъ шестнадцать, когда я прочелъ въ первый разъ ея повѣсть „Ускокъ“ — одно изъ прелестнѣйшихъ первоначальныхъ ея произведеній. Я помню, я былъ потомъ въ лихорадкѣ всю ночь“... „Тогда говорили, что она проповѣдуетъ новое положеніе женщины и пророчествуетъ о „правахъ свободной жены“ (выраженіе про нее Сенковского), но это не совсѣмъ было вѣрно, ибо она проповѣдывала вовсе не объ одной только женщинѣ и не изобрѣтала никакой „свободной жены“. Ж.-Зандъ принадлежала всему движенію, а не одной лишь проповѣди о правахъ женщины“... Подъ впечатлѣніемъ извѣстія о кончинѣ Ж.-Зандъ, Достоевскій восклицаетъ: „Лишь прочтя о ней (т.-е. о смерти), я понялъ, что знало въ моей жизни это имя, сколько взялъ этотъ поэтъ въ свое время моихъ восторговъ, поклоненій, и сколько далъ мнѣ когда-то радостей, счастья. Я смѣло ставлю каждое изъ этихъ словъ, потому что все это было буквально“. „Это“, говоритъ онъ далѣе, „одно изъ тѣхъ именъ нашего могучаго самонадѣяннаго и въ то же время больного столѣтія, полнаго самыхъ не выясненныхъ идеаловъ и самыхъ не разрѣшимыхъ желаній, — именъ, которыя, возникнувъ тамъ, у себя „въ странѣ святыхъ чудесъ“, переманили отъ насъ, изъ нашей вѣчно созидающейся Россіи

слишкомъ много думъ, любви, святой и благородной силы порыва, живой жизни и дорогихъ убѣжденій. Но не жаловаться намъ надо на это: вознося такія имена и преклоняясь предъ ними, русскіе служили и служатъ прямому своему назначенію“. Изъ сказаннаго можно видѣть, какъ велико значеніе французской романистики въ исторіи нашей литературы и нашего общественнаго развитія. По признанію Достоевскаго, она стала „почти русскою силою“.

И социальныя теоріи С. Симона и Фурье, увлекавшія еще въ 30-хъ годахъ юный кружокъ Герцена и Огарева, значительно распространились въ русскомъ обществѣ въ 40-хъ гг., благодаря романамъ Ж.-Зандъ. Въ образовавшихся у насъ вновь къ половинѣ этого десятилѣтія кружкахъ отъ романовъ Ж.-Зандъ переходили къ чтенію сочиненій Кабе, Фурье, Оуэна, Прудона, и читали съ увлеченіемъ. Бѣлинскій искренно выражалъ сожалѣніе о недостаткѣ денегъ для производства социальныхъ опытовъ Кабе или Оуэна, конечно, не въ Россіи. Юные еще въ то время наши писатели: Щедринъ, В. Майковъ, А. Плещеевъ, Пальмъ и др., раздѣляли эти увлеченія. Самымъ популярнымъ ученіемъ было въ это время ученіе Фурье. Этотъ утопическій, какъ мы видѣли, социализмъ французскихъ мечтателей сильно дѣйствовалъ на нашу тогдашнюю молодежь, и многимъ пришлось пострадать за свои благородныя мечты о царствѣ божіемъ на землѣ.

Отзывы русскихъ писателей о Ж.-Зандъ можно найти въ слѣдующихъ сочиненіяхъ: у Щедрина „За рубежомъ“, глава IV; у Достоевскаго въ „Дневникѣ писателя“ за 1876 годъ; въ разныхъ письмахъ Тургенева, Анненкова, Боткина, Гер-

цена; въ разныхъ статьяхъ славянофиловъ, которые находили у нея подтвержденіе своихъ теорій о высокой міровой роли и великомъ назначеніи русскаго народа, и потому цитировали ее; у Бѣлинскаго: „Рѣчь о критикѣ г. Никитенко“ 1842 г. и въ нѣкоторыхъ письмахъ.

Въ то время, какъ во Франціи разрабатывались вопросы новаго общественнаго строя и дѣлались попытки ихъ практическаго примѣненія къ жизни, въ Германіи лучшіе умы, какъ мы уже знаемъ, были далеки отъ живой дѣйствительности и работали въ области отвлеченныхъ теоретическихъ началъ. Со временъ священнаго союза подъ руководствомъ Меттерниха, стремившагося распространить реакцію на всю Европу, въ Германіи велась война противъ всего того, что считалось тогда либерализмомъ, съ цѣлью истребить обширную революціонную партію, которой не существовало. Романтизмъ былъ широко распространенъ по всей Европѣ, но нѣмецкіе романтики не походили на французскихъ: они были далеки отъ живыхъ вопросовъ текущей жизни. Гегель, приглашенный на берлинскую кафедру, придавалъ своему ученію консервативный оттѣнокъ. Гёте былъ въ это время восьмидесятилѣтнимъ старикомъ и индифферентно относился къ политикѣ. Второстепенные писатели были всецѣло погружены въ область мистической фантастики. Только въ нѣкоторыхъ лучшихъ произведеніяхъ писателей младшаго поколѣнія выражалась скорбь, при видѣ усилій возстановить въ странѣ старый отжившій порядокъ вещей. Однако, при всемъ равнодушіи нѣмецкихъ романтиковъ къ политикѣ, составляющемъ ихъ отличительную черту, просвѣтительныя идеи XVIII вѣка и идеи Байрона, защитника угнетенныхъ народовъ, мало-

по-малу пробираются въ Германію и пускаютъ корни въ нѣмецкую почву. Въ 20-хъ годахъ уже обозначаются проявленія либерализма, который къ 30-мъ годамъ принимаетъ значительные размѣры. Съ этимъ временемъ связаны два крупныя литературныя имени: Бёрне и Гейне. Еврейское происхожденіе обоихъ и въ связи съ этимъ неудобство общественнаго положенія развиваетъ въ нихъ съ дѣтства особенную чуткость къ общественной несправедливости. Оба проводятъ юность, странствуя по разнымъ нѣмецкимъ университетамъ, мѣняя одну спеціальность на другую, пока, наконецъ, не останавливаются окончательно на литературѣ.

Въ 1830 году неожиданный переворотъ во Франціи совершенно измѣнилъ общественное строеніе въ Германіи: онъ показалъ силу либеральныхъ идей и полную несостоятельность принциповъ Священнаго Союза; онъ показалъ, что созидавшіяся реакціонными усиліями стѣсненія общественной свободы могутъ быть уничтожены въ три дня. Талантливая нѣмецкая молодежь спѣшитъ собраться подъ одно знамя. Образуется союзъ писателей подъ именемъ „Молодой Германіи“ для пропаганды идей либерализма и объединенія Германіи. Во главѣ ихъ становятся молодые писатели: Л. Бёрне и Г. Гейне. Название „Молодой Германіи“ было дано этой группѣ литераторовъ въ книгѣ одного изъ ея членовъ, Винберга. 10 декабря 1835 года вышелъ указъ правительства Германскаго Союза, запрещающій издавать и распространять произведенія писателей, извѣстныхъ подъ именемъ „Молодой Германіи“. Здѣсь перечислялись имена: Гейне, Гущкова, Лаубе, Винберга и др. „Означенные писатели“, говорилось въ указѣ, „нападаютъ на

религію, общественное устройство и нравственность“. На самомъ же дѣлѣ, они преслѣдовали злой ироніей политику правителей, угнетавшихъ націю; не пропускали безъ замѣчанія и обсужденія съ своей точки зрѣнія ни одного крупнаго явленія въ жизни страны. Они проповѣдовали идею прогресса, вѣруя, что она непременно восторжествуетъ надъ всеобщей реакціей. Первымъ піонеромъ этого направленія былъ Л. Бёрне. Онъ выступилъ какъ театральныи критикъ, и дѣйствовалъ подъ этимъ прикрытіемъ какъ публицистъ. Говоря о нѣмецкой драмѣ, онъ разсматривалъ явленія общественной жизни Германіи и постоянно твердилъ о главномъ недостаткѣ, о коренномъ злѣ нѣмецкаго быта — объ отсутствіи политической жизни и господствѣ полнѣйшаго правительственнаго произвола.

При подобныхъ же цензурныхъ условіяхъ и нашъ Бѣлинскій, какъ эстетическій критикъ, касался всевозможныхъ вопросовъ общественной жизни и часто, произнося судъ надъ литературнымъ произведеніемъ, осуждалъ самую дѣйствительность.

Но политическія статьи, которыя Бёрне сталъ писать въ своей газетѣ, вызвали преслѣдованіе, и ему пришлось удалиться во Францію. Здѣсь имъ написаны знаменитыя „Парижскія письма“, которыя сдѣлали его имя популярнымъ во всей Германіи. Рассказывая въ нихъ о томъ, что дѣлается въ Парижѣ, онъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, вспоминаетъ о своемъ отечествѣ. Онъ скорбитъ за него душою. Порядокъ вещей въ Германіи кажется ему настолько устарѣлымъ, что можетъ, по его мнѣнію, привлечь вниманіе любителей политическихъ древностей изъ всѣхъ странъ свѣта.

„Я уже теперь вижу“, говоритъ онъ, „какъ, они съ своими германскими древностями въ рукахъ, съ очками на носу и записной книжкой въ карманѣ странствуютъ по нашей землѣ изъ города въ городъ, съ любопытствомъ останавливаются надъ нашимъ судопроизводствомъ, нашими палочными ударами, нашею цензурою, нашими податями и налогами, нашей дворянской гордостью, нашимъ бюргерскимъ смиреніемъ, нашими цехами, нашимъ притѣсненіемъ евреевъ, бѣдственнымъ положеніемъ нашего крестьянскаго сословія, — оглядываютъ всѣ эти диковинки, ощупываютъ ихъ, обсуждаютъ, даютъ намъ, бѣднякамъ, на водку и затѣмъ отправляются домой, гдѣ издають въ свѣтъ описанія нашихъ бѣдствій, украшенное гравюрами“... Стыдъ — главное чувство, которое испытываетъ Бёрне при мысли объ отечествѣ. Книга Бёрне имѣла очень сильное вліяніе: запрещеніе, которое было наложено на нее нѣмецкимъ правительствомъ тотчасъ, по выходѣ ея въ свѣтъ, еще больше содѣйствовало ея распространенію. О силѣ этого вліянія даютъ возможность судить тѣ оваціи, тотъ почетъ, съ какими встрѣтили появленіе Бёрне на Гамбахскомъ національномъ торжествѣ въ 1832 году огромныя массы народа.

Какъ сильно было вліяніе іюльскаго переворота на другого главара „Молодой Германіи“, Г. Гейне, можно судить по слѣдующимъ его словамъ: „Я читалъ исторію лонгобардовъ П. Варнефрида, когда съ материка пришелъ толстый пакетъ съ газетами (онъ находился въ это время на островѣ Гельголандѣ), полными горячихъ, пылающихъ новостей. Это были солнечные лучи, завернутые въ печатную бумагу, и они зажгли въ душѣ моей самый бурный пожаръ“...

Ученикъ Гегеля, ученіе котораго дѣйствовало какъ духовно-освободительная сила; поклонникъ Наполеона, который въ покоряемыхъ областяхъ вводилъ французскій образъ управленія, отмѣняя крѣпостное право, преобразуя судопроизводство, вводя свободу вѣроисповѣданія и уничтожая всѣ стѣснительныя для евреевъ постановленія, Гейне, весьма естественно, относился съ благоговѣйнымъ чувствомъ къ этимъ двумъ великимъ личностямъ его времени и ставилъ въ культурномъ отношеніи Францію выше своего отечества. Брандесъ справедливо замѣчаетъ, что въ самой формѣ остроумія Гейне сказалось вліяніе Гелевской діалектики, переводящей всякое понятіе въ контрастъ. Всѣ люди, по своему міросозерцанію, „дѣлятся у Гейне на „назарянъ“ и „эллиновъ“, т.-е. на людей аскетическаго воззрѣнія, враждебныхъ искусству и расположенныхъ къ духовному созерцанію, и людей жизнерадостныхъ, придающихъ высокую цѣну своему развитію и реальному существованію. Эгого любезный Гейне эллинизмъ также происходилъ отъ Гегеля, который былъ поклонникомъ античнаго искусства. Съ конца XVIII вѣка стремленіе къ античному было общимъ и у многихъ нѣмецкихъ поэтовъ, какъ, напр., у Шиллера и Гёте. Изученіе классической древности Гегель называлъ истиннымъ введеніемъ въ философію. Гегель въ молодости съ негодованіемъ относился къ политическому тупоумію своихъ соотечественниковъ и съ восторжественнымъ удивленіемъ къ Наполеону.

Какъ поэтъ политическій, Гейне ратовалъ, главнымъ образомъ, противъ средневѣковаго міровоззрѣнія, тяготѣвшаго еще въ его время надъ Германіей. Въ будущемъ отечество рисуется ему страной свободы. „Солнце свободы“, говоритъ

онъ, „теплѣе согрѣетъ землю, чѣмъ аристократія всѣхъ звѣздъ; расцвѣтетъ новое поколѣніе, порожденное въ свободныхъ объятіяхъ!...“ „Свободно рожденные люди принесутъ въ міръ и свободныя мысли, и чувства, о которыхъ мы, рожденные въ рабствѣ, не имѣемъ и понятія“.

Критика справедливо признаетъ, что Гейне былъ честнымъ и сильнымъ бойцомъ за свободу, но не былъ истиннымъ демократомъ. Брандесъ говоритъ, что Гейне былъ одновременно и великимъ чителемъ свободы и рѣшительнымъ аристократомъ. Въ немъ жило стремленіе свободолюбивой натуры къ свободѣ; онъ томился по ней и всею душою любилъ ее, но въ то же время въ немъ жила также и любовь великаго человѣка къ человѣческому величію и чисто нервное отвращеніе тонко-чувствительной натуры ко всякой посредственности. Другими словами: въ душѣ Генриха Гейне не было ни капли консерватизма: онъ былъ свободолюбивъ по натурѣ, но въ то же время въ его душѣ не было ни капли демократизма; онъ былъ аристократъ (въ смыслѣ умственного превосходства) и хотѣлъ, чтобы геній признавался вождемъ и властителемъ. „Гейне, можетъ быть, больше всего боялся жизни безъ красоты“, говоритъ тотъ же Брандесъ: „фаланстеръ — этотъ огромный рабочій домъ безъ всякихъ излишествъ, въ которомъ нѣтъ мѣста и для искусства, какъ для излишества, — вовсе не удовлетворялъ его. Въ его поэзіи соединяются два элемента: въ качествѣ шутки или насмѣшки онъ часто вводитъ прозу въ поэзію, соединяя чисто нѣмецкую романтическую мечтательность съ французскимъ остроуміемъ и еврейскою задушевностью“.

Гейне стоитъ на переходѣ отъ романтизма къ реализму. Обаяніе его поэзіи такъ сильно, что

она до сихъ поръ читается и поется во всемъ мірѣ. Сочиненія его переведены на всѣ языки. На его слова написано, большею частью, лучшими композиторами болѣе 3000 музыкальных произведеній. Отличительною чертою его выраженія служить лаконизмъ и сила. „Его стихотворенія“, по словамъ Брандеса, „можно назвать поэтическими резюме: они даютъ пряную, ароматную эссенцію страсти, жизненнаго опыта, горечи, остроумія, насмѣшки, настроенія и фантазіи, — даютъ въ одно и то же время сущность и поэзіи, и прозы“.

Гейне провелъ долгіе годы въ изгнаніи и цѣлыхъ восемь лѣтъ, сраженный тяжкою болѣзнью, прожилъ въ постели, оттого не мало горечи, негодованія и даже цинизма въ его стихахъ...

Самъ Гейне смотрѣлъ на свою литературную дѣятельность, какъ на войну за благо человечества, и выразилъ желаніе, чтобы на гробъ его положили мечъ. „Я никогда не придавалъ“, говоритъ онъ, „большой цѣны славѣ поэта, и хвалить ли или бранить будутъ мои пѣсни, меня мало беспокоить“.

Вліяніе писателей „Молодой Германіи“ на русскую литературу и общество не подлежитъ сомнѣнію. Если оно не было такъ сильно и широко въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, какъ указанное вліяніе французскихъ соціалистовъ и Ж.-Зандъ, то въ слѣдующія десятилѣтія оно замѣтно усиливается: уже въ 60-хъ годахъ мы видимъ болѣе или менѣе полныя собранія ихъ сочиненій, и они распространяются въ широкихъ кругахъ общества. Отдѣльныя стихотворенія Гейне появляются въ переводахъ русскихъ поэтовъ еще въ 40-хъ годахъ. Почти нѣтъ такого русскаго поэта-лирика, который бы не перевелъ нѣсколькихъ его произ-

веденій. Послѣднее изданіе сочиненій Бёрне въ русскомъ переводѣ вышло всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Но несомнѣнно также и болѣе раннее вліяніе этихъ писателей, если не на цѣлое общество, то на передовую образованную молодежь, знакомившуюся съ иностранными сочиненіями въ подлинникахъ. И. Кирѣевскій упоминаетъ о Гейне и Бёрне еще въ 30-хъ годахъ.

VI.

П. Я. Чаадаевъ.

Сдѣлавъ бѣглый обзоръ главныхъ теченій европейской мысли въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, мы возвращаемся къ исторіи московскихъ кружковъ. Но прежде продолженія нашего разсказа о кружкахъ мы считаемъ необходимымъ познакомить читателя съ крупнымъ общественнымъ дѣятелемъ, другомъ Пушкина, П. Я. Чаадаевымъ, Онъ служить, по словамъ А. Н. Пыпина, однимъ изъ тѣхъ звеньевъ, которыя связали двѣ стадіи нашего общественнаго развитія: эпоху 20-хъ съ эпохою 40-хъ годовъ.

Имя это всеѣмъ извѣстно: оно увѣковѣчено въ нашей литературѣ чудными стихотворными посланіями великаго поэта, въ которыхъ онъ съ „вольнoлюбивыми мечтами“ и страстнымъ желаніемъ „посвятить отчизнѣ высокіе порывы души“ соединяетъ искреннее, глубокое чувство къ вдохновлявшему его въ то время другу. То „мечтатель“, то „мудрецъ“, по выраженію Пушкина, Чаадаевъ сыгралъ очень видную роль въ исторіи нашего общественнаго развитія. Съ его именемъ связано много серьезныхъ вопросовъ,

разработкою которыхъ занималась тогдашняя образованная часть русскаго общества и ученые спеціалисты. Изъ его сочиненій было напечатано только одно „Философическое письмо“. Смѣлые взгляды, развитые въ немъ, такъ сильно всколыхнули сонное теченіе русской жизни, дали такой толчокъ общественной мысли, что и эта небольшая статья является значительною въ исторіи нашей общественной жизни. Но главное значеніе его дѣятельности заключается въ его личномъ вліяніи на современниковъ: оно началось съ конца второго десятилѣтія и продолжалось въ 20-хъ, 30-хъ и 40-хъ годахъ; Чаадаевъ принималъ почти все время дѣятельное участіе въ живыхъ бесѣдахъ и горячихъ кружковыхъ спорахъ, которые, при отсутствіи въ то время свободной печати, имѣли огромное общественное значеніе. „Тридцать лѣтъ сряду“, говоритъ одинъ изъ современниковъ, „въ обветшалой своей квартирѣ изъ трехъ небольшихъ комнатъ принималъ Чаадаевъ у себя еженедѣльно своихъ многочисленныхъ знакомыхъ. Вся Москва, какъ говорится фигурально, знала, любила и уважала его“. Всѣ пріѣзжіе знаменитости перебывали у него. Его образованный умъ, смѣлый, независимый образъ мыслей и благородное отзывчивое сердце внушали всѣмъ невольное чувство любви и уваженія къ его личности.

Чаадаевъ развивался во второе и третье десятилѣтіе XIX вѣка. Юношей вступаетъ онъ въ военную службу: войны и походы знакомятъ его непосредственно съ умственною и политическою жизнью Европы. Принадлежа къ той части гвардейскихъ офицеровъ, которая вернулась въ 1816 г. изъ-за границы совершенно неузнаваемою, Чаадаевъ всецѣло раздѣлялъ ея взгляды и убѣжде-

нія. Извѣстно, что это была лучшая передовая часть русскаго общества. Нравственная высота и стойкія гражданскія убѣжденія служили отличительными чертами людей этого круга. Среди разныхъ политическихъ и общественныхъ вопросовъ, занимавшихъ умы ихъ, однимъ изъ самыхъ главныхъ былъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ. Порабощеніе народа, невѣжество, грубость нравовъ глубоко возмущали ихъ. Эта молодежь давала тонъ въ столичномъ и провинціальномъ обществѣ въ 20-хъ годахъ. Ей подражали заурядные люди. Извѣстно, какъ въ 26-мъ году, послѣ катастрофы, вдругъ опустѣла общественная жизнь въ Россіи, какъ замерли живыя начала ея.

Чаадаевъ, одинъ изъ случайно уцѣлѣвшихъ типичныхъ представителей этой молодежи, былъ образованнѣйшимъ человѣкомъ своего времени. Аристократическое происхожденіе, красивая наружность, безукоризненная утонченность манеръ, гордый независимый умъ, блестящее остроуміе дѣлали его привлекательнымъ въ обществѣ. Ему предстояла блестящая служебная карьера уже по одному тому, что онъ имѣлъ большія связи въ высшихъ сферахъ. Но — „чинъ слѣдовалъ ему, онъ службу вдругъ оставилъ“. 2 января 1821 г. Чаадаевъ писалъ своей теткѣ, которая воспитала его, что онъ подалъ просьбу объ увольненіи отъ службы, и это случилось въ тотъ самый моментъ, когда его хотѣли назначить флигель-адъютантомъ къ государю, послѣ извѣстной поѣздки его въ Троппау. Это назначеніе должно было состояться по ходатайству кн. Васильчикова. Чаадаевъ говоритъ въ своемъ письмѣ: „я счелъ болѣе забавнымъ пренебречь этою милостью, нежели добиваться ея. Мнѣ было пріятно выказать пренебреженіе людямъ, пренебрегающимъ всѣми...“

„Въ сущности, надо сознаться, я очень доволенъ, что мнѣ удалось отдѣлаться отъ благодѣяній, такъ какъ — скажу откровенно — нѣтъ на свѣтѣ человѣка столь высокомернаго, какъ Васильчиковъ, и моя отставка будетъ настоящимъ сюрпризомъ для него. Вы знаете, что я слишкомъ честолюбивъ, чтобъ гоняться за чьей-нибудь милостью и за пустымъ почетомъ, связаннымъ съ нею...“ „Мнѣ еще пріятнѣе въ этомъ случаѣ видѣть злобу высокомернаго глупца“. Въ концѣ письма Чаадаевъ сообщалъ теткѣ о своемъ намѣреніи навсегда уѣхать въ Швейцарію. По разнымъ причинамъ оставаться въ Россіи онъ находилъ для себя неудобнымъ. Въ Чаадаевѣ мы встрѣчаемся съ тѣмъ строемъ мысли, съ тѣмъ характеромъ убѣжденій, съ тѣмъ настроеніемъ, которые отличали лучшихъ людей александровскаго времени. Не даромъ онъ былъ „цѣлителемъ душевныхъ силъ“ молодого Пушкина. Къ нему обращаясь, Пушкинъ говорилъ:

Но въ насъ кипятъ еще желанья,
Подъ гнетомъ власти роковой
Нетерпѣливою душой
Отчизны внемлемъ призыванья,
Мы ждемъ, съ томленьемъ упованья,
Минуты вольности святой,
Какъ ждетъ любовникъ молодой
Минуты сладкаго свиданья.
Пока свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
Души прекрасные порывы.
Товарищъ, вѣрь: взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья,
Россія вспрянетъ ото сна...

Но съ начала 20-хъ гг. Чаадаевъ переживаетъ мучительный періодъ душевной раздвоенности, подпавъ подъ вліяніе религіозно-мистическаго дви-

1 / жения, въ особенности сочиненій мистика Юнга-Штиллинга. Извѣстно, что послѣ наполеоновскихъ войнъ это движеніе, поддерживаемое правительствами, какъ противовѣсъ революціоннымъ идеямъ, охватило значительную часть европейскаго и русскаго общества. Самъ Александръ I, за нимъ его дворъ, многіе изъ сановниковъ и духовенства были увлечены имъ. Это былъ періодъ „Библейскаго общества“, журнала „Сіонскій Вѣстникъ“, посвященнаго І. Христу, распространенія народныхъ мистическихъ книгъ, — періодъ возрожденія масонства, сильнаго интереса къ сочиненіямъ Штиллинга, Экарстгаузена, г-жи Гюйонъ, Таулера, Дю-туа и др. мистиковъ. Ученіе ихъ, близкое къ духовному христіанству, сводившее все христіанство къ этикѣ, преисполнено, однако, мистическимъ элементомъ, вѣрою въ возможность раскрытія міровыхъ тайнъ, невѣдомыхъ разуму, съ помощію одного религіознаго чувства, — вѣрою въ возможность непосредственнаго общенія съ божествомъ. Метафизика этого ученія соединяетъ чистый спиритуализмъ христіанства съ грубо-чувственными представленіями о загробной жизни и другими нелѣпыми суевѣріями. Юнгъ-Штиллингъ яркой картиной загробныхъ мукъ въ духѣ средневѣковой мистики угрожаетъ людямъ, стараясь понудить ихъ къ очищенію отъ грѣха, къ подавленію всѣхъ чувственныхъ побужденій.

Когда это движеніе въ Россіи перешло въ руки передовой молодежи и начало пріобрѣтать преимущественно характеръ просвѣтительный, оно, какъ извѣстно, внушило правительству опасенія, тотчасъ принятыми репрессивными мѣрами было подавлено и пошло на убыль (см. живой рассказъ въ „Повѣсти о самомъ себѣ“ Никитенка).

Мистицизмъ, овладѣвшій Чаадаевымъ особенно въ періодъ его пребыванія за-границей, исходилъ изъ этого источника. Продолжительная болѣзнь, сопровождаемая сильнымъ нервнымъ разстройствомъ, мучительное состояніе духа мѣшали ясности мысли и, разумѣется, не мало способствовали успѣшному дѣйствію мистическихъ сочиненій. Юнгъ-Штиллингъ, терроризировавшій своихъ читателей страхомъ смерти, запугалъ и Чаадаева. По разсказу г. Гершензона, онъ былъ всецѣло охваченъ этой тревогой *). Онъ увлекается мистическимъ идеаломъ сліянія челоуѣка съ богомъ, ждетъ своего перерожденія, то ликуетъ, предчувствуя его близость, то впадаетъ въ отчаяніе, теряя на него надежду. Но мистицизмъ, однако, не вытравилъ изъ души его общественные интересы, хотя и отодвинулъ ихъ временно на второй планъ. Г-нъ Гершензонъ говоритъ, что переломъ въ міровоззрѣніи Чаадаева направилъ его общественный интересъ по другому руслу, и приводитъ далѣе рекомендательное письмо, данное Чаадаеву англійскимъ миссіонеромъ, Ч. Кукомъ, къ нѣкому Марріоту въ Лондонѣ, такъ какъ Чаадаевъ ѣхалъ въ Англію съ цѣлію изученія причинъ нравственнаго благосостоянія Англіи и съ мыслью привить ихъ къ Россіи. Письмо это было найдено у него въ 26-мъ году, при арестѣ его во время возвращенія въ отечество. На допросѣ Чаадаевъ показалъ, что познакомился съ Кукомъ во Флоренціи, при его проѣздѣ изъ Іерусалима во Францію. „Такъ какъ всѣ его мысли и весь кругъ дѣйствій обращены были къ религіи, то

*) Желающимъ познакомиться съ этимъ періодомъ жизни Ч. мы рекомендуемъ прекрасную статью М. О. Гершензона: „Молодость Чаадаева“ („Научное Слово“, кн. VI 1905 г.). Статья написана по новымъ біографическимъ даннымъ, полна и новизны, и глубокаго интереса.

всѣ разговоры мои съ нимъ, — говорилъ Чаадаевъ, — относились до сего предмета. Благоустройство Англіи приписывалъ онъ всеобщему распространению тамъ духу вѣры. Я же съ своей стороны говорилъ ему съ горестью о недостаткѣ вѣры въ народѣ русскомъ, особенно въ высшихъ классахъ. По самому случаю далъ онъ мнѣ письмо къ пріятелю своему въ Лондонъ, чтобъ онъ могъ познакомить меня болѣе съ нравственнымъ расположеніемъ народа въ Англіи“. Г-нъ Гершензонъ весьма основательно указываетъ на эти факты, какъ на свидѣтельство пережитого Чаадаевымъ душевнаго переворота, который отразился и въ его сочиненіяхъ: мысль о томъ, что высокое культурное развитіе западныхъ народовъ объясняется исключительно будто бы ихъ сильною вѣрою и есть результатъ одного христіанства, дѣйствительно является основною мыслью „Философическихъ писемъ“ Чаадаева. Весьма возможно, что Юнгъ-Штиллингъ былъ главнымъ виновникомъ переворота, происшедшаго въ душѣ Чаадаева, и окончательнымъ насадителемъ религіозной идеи. Но указанія другихъ изслѣдователей на вліянія французскихъ писателей: Де-Местра и Бональда, на вліянія іезуитовъ, дѣйствовавшихъ съ большимъ успѣхомъ среди аристократическаго общества въ Россіи, — вліянія, которыя объясняютъ наклонность Чаадаева именно къ католицизму, ярко обнаружившуюся въ его „Философическихъ письмахъ“, врядъ ли могутъ быть устранены. Чаадаевъ еще въ ранней юности собралъ значительное количество книгъ религіознаго содержанія. Этотъ особенный интересъ къ религіознымъ вопросамъ объясняется общимъ характеромъ времени и средою. Чаадаевъ получилъ типичное воспитаніе того общественнаго круга, въ кото-

ромъ шла тогда сильная пропаганда католическихъ идей и притомъ исключительно французская. Французскій языкъ и французская литература, пользовавшіеся у насъ съ половины XVIII вѣка особымъ предпочтеніемъ и утратившіе нѣсколько силу своего обаянія въ годы борьбы съ Наполеономъ, снова пріобрѣли власть надъ нашимъ обществомъ по окончаніи ея. Чаадаевъ и въ своихъ сочиненіяхъ, и въ замѣткахъ своего дневника преимущественно употреблялъ французскій языкъ. Видно, что онъ былъ для него наиболѣе привычнымъ и удобнымъ средствомъ выраженія мысли, какъ и для Пушкина, и для многихъ другихъ русскихъ людей этого круга *). Трудно себѣ представить, чтобы Чаадаевъ могъ избѣжать вліянія указанныхъ выше знаменитыхъ французскихъ писателей, проводившихъ въ своихъ сочиненіяхъ католическія идеи. Какъ образованнѣйшій человѣкъ своего времени, онъ смотрѣлъ на католицизмъ, конечно, не съ вѣроисповѣдной точки зрѣнія, его интересъ къ нему былъ гораздо шире. На него, какъ видно изъ „Философическихъ писемъ“, дѣйствовала историческая сторона католицизма — его цивилизующая сила въ прошломъ Европы, о чемъ свидѣлствуетъ исторія, его могущественная церковная организація, его талантливые представители, однимъ словомъ, все то, что такъ обаятельно дѣйствовало въ то время на наиболѣе развитыхъ и одаренныхъ людей и въ Европѣ, и у насъ на многихъ, такъ или иначе соприкасавшихся съ умственными интересами образованныхъ странъ. „Возстановленіе религіи послѣ

*) Въ 1830 году Пушкинъ въ письмѣ къ Чаадаеву пишетъ: „Je vous parlerai la langue de l'Europe; elle m'est plus familière que la nôtre...“

революціоннаго погрома и потомъ реставрація“, говоритъ Пыпинъ, „повели къ замѣчательному распространенію католическихъ идей, которыя снова получили роль въ политикѣ и въ общественной жизни, въ литературѣ и въ наукѣ. Литература временъ реставраціи въ особенности окрашена была этимъ католическимъ колоритомъ: Де-Местръ, Бональдъ, Ламеннѣ, Шатобріанъ, Мишѣ, писатели европейской славы, возвеличивали католическіе принципы въ общественной философіи, въ исторіи, съ оттѣнками, которые могли удовлетворять различнымъ вкусамъ и требованіямъ. Поэтизированіе среднихъ вѣковъ, составлявшее одну изъ главныхъ особенностей романтизма, и нѣмецкаго, и французскаго, было особенно на руку католицизму, и извѣстно, что это направленіе производило множество обращеній въ католицизмъ даже въ протестантской Германіи, и именно въ томъ образованномъ кругу, гдѣ могли сильнѣе дѣйствовать теоретическія соображенія“. У насъ въ то время въ высшемъ обществѣ католицизмъ нашелъ многихъ явныхъ и тайныхъ послѣдователей. И хотя въ этомъ религіозномъ движеніи, достаточно пестромъ, католическія идеи встрѣчались съ протестантскими, съ методизмомъ и съ различной мистикой, но онѣ едва ли не были господствующими, вслѣдствіе господства у насъ французскаго языка и литературы. По всѣмъ этимъ соображеніямъ „удивительно начитанный“ Чаадаевъ не могъ избѣжать французскихъ вліяній, и, по всей вѣроятности, ими-то и была подготовлена нервная воспріимчивая натура его для воздѣйствія на нее религіозно-мистическихъ сочиненій Юнга-Штиллинга.

Возвратившись въ Россію, Чаадаевъ не нашелъ ни прежнихъ друзей своихъ, ни того обществен-

наго оживленія, которымъ отличались предшествующіе годы. Тяжелая атмосфера охватила его, и онъ повелъ жизнь затворника, продолжавшуюся до 30-го года. Около этого времени и написаны его „письма“, изъ которыхъ одно было напечатано въ 36-мъ году. Оно затрогивало важные историческіе вопросы, рѣшеніе которыхъ какъ разъ стояло на очереди у тогдашнихъ русскихъ историковъ-шеллингянцевъ.

Самъ Шеллингъ немного говоритъ объ исторіи человѣчества. Но его философія тождества природы и духа допускаетъ свободное перенесеніе законовъ развитія міра въ исторію человѣчества. Поэтому нѣсколько мыслей, попутно брошенныхъ Шеллингомъ, объ историческомъ процессѣ дали возможность его нѣмецкимъ и русскимъ послѣдователямъ развить ихъ, сдѣлать на основаніи ихъ новыя историческія построенія и поставить важные историческіе вопросы. Подъ вліяніемъ идей Шеллинга у насъ впервые были поставлены на разсмотрѣніе слѣдующіе вопросы: можно ли признать историческій процессъ закономѣрнымъ и цѣльнымъ подобно міровому процессу? заслуживаетъ ли исторія названія науки? какъ построить ея важнѣйшіе моменты? какъ примирить съ закономѣрностью историческаго процесса идею личной свободы и нравственнаго достоинства? Постановка этихъ вопросовъ повела къ философской разработкѣ русской исторіи и положила начало новому періоду нашей исторіографіи, отличающемуся болѣе научнымъ пониманіемъ задачъ исторіи. Здѣсь кончился карамзинскій періодъ сентиментально-художественнаго назидательнаго изображенія событій.

Но самое начало новаго направленія нашей исторической науки не отличалось научною стро-

гостью, и у нѣкоторыхъ историковъ-шеллингянцевъ страдало большими недостатками, особенно у историковъ-панегиристовъ господствовавшей „системы“. Указанная шеллингянская аналогія между міровымъ процессомъ и процессомъ развитія человѣчества давала возможность злоупотреблять сопоставленіями частныхъ чертъ изъ міра явленій физическихъ, біологическихъ, антропологическихъ, съ отдѣльными фактами исторіи. Извѣстный уже намъ профессоръ исторіи и журналистъ, М. Погодинъ, дѣлитъ, напр., историческія происшествія, какъ растенія или минералы, на роды, виды, разности; народы у него, подобно лицамъ, вступаютъ между собою въ бракъ или являются вдовыми, безбрачными; государства иногда спятъ, чтобы возстановить свои силы; популярность шеллинговыхъ силъ природы: центробѣжной и центростремительной, отражается у него на исторіи Европы. Исторія всякаго государства есть не что иное, какъ развитіе его начала, по мнѣнію Погодина. Настоящая и будущая его исторія происходитъ изъ начала такъ, какъ изъ сѣмени вырастаетъ дерево. Для Погодина, впрочемъ, не существовала и идея законмѣрности историческаго развитія, и онъ сильно грѣшилъ противъ науки, прилагая повсюду къ историческимъ событіямъ телеологическій принципъ. Патриотическое чувство, вполне согласное съ духомъ времени, побуждало его видѣть въ русскомъ народѣ народъ избранный, съ высокимъ предназначеніемъ къ всемірно-исторической роли въ будущемъ, а въ его исторіи — средство къ осуществленію той великой цѣли, къ которой ведетъ его само Провидѣніе. „Исторіей всякаго народа“, по его мнѣнію, „руководитъ Провидѣніе, но русской въ особенности“... „Ни одна исторія не за-

ключаетъ въ себѣ столько чудеснаго. Сколько событій долженствовало въ ней быть непременно, чтобъ она получила тотъ видъ и характеръ какой имѣеть!...“ „Такой великій и сильный народъ неизбѣжно долженъ совершить что-нибудь на пользу общую, потому что Провидѣніе никогда не обманывается“. Изъ слѣдующихъ примѣровъ, мы увидимъ, какъ смотритъ на событія и разсуждаетъ о нихъ Погодинъ. Олегъ бросилъ Новгородъ. Этотъ фактъ приводитъ историка въ трепетъ. „Минута неизвѣстности!“ восклицаетъ онъ: „сѣмя предано произволу вѣтровъ!“ Но само Провидѣніе несетъ его въ Кіевъ, потому что тамъ должна начаться русская исторія, чтобы не зависть отъ исторіи Запада, какъ это непременно случилось бы въ Новгородѣ. Или другой примѣръ: вотъ пресѣлся родъ московскихъ великихъ князей. По мнѣнію Погодина, онъ пресѣлся очень плѣсообразно: не случись этого, не было бы дома Романовыхъ, не было бы Петра. „Какова связь между смертью въ Угличѣ семилѣтняго царевича Дмитрія“, восклицаетъ онъ, „и реформаціей Петра!“ Патріотизмъ Погодина часто переходитъ въ національное самомнѣніе. „Что есть невозможнаго для русскаго государства?“ спрашиваетъ онъ, „Одно слово — и цѣлая имперія не существуетъ, одно слово — стерта съ лица земли другая, слово — и вмѣсто нихъ возникаетъ третья отъ Восточнаго океана до Адриатическаго моря!...“ „Будущая судьба міра зависитъ отъ Россіи“...

Историкъ Кавелинъ справедливо замѣчаетъ по поводу точки зрѣнія Погодина на событія, что, къ сожалѣнію, ему „ни одного раза не пришло на мысль взглянуть на всѣ эти факты съ другой стороны, наоборотъ“... т.-е. обратить средство въ причину, а цѣль — въ слѣдствіе. Вѣрное объяс-

неніе погодинской філософіи історіи даєть другой историкъ, П. Н. Милюковъ, говоря, что „она вытекала не изъ историческаго изученія, а, съ одной стороны, изъ філософскихъ мечтаній юности, съ другой — изъ сознательнаго желанія сдѣлать російскую исторію охранительницею и блюстительницею общественнаго спокойствія“. Историческіе взгляды Погодина, очевидно, были въ полномъ согласіи съ господствовавшей „системой официальной народности“, построенной на знакомыхъ намъ началахъ, заложенныхъ еще Карамзинымъ. Такимъ образомъ ученые патріоты николаевского періода, въ родѣ Погодина, не отличались научностью приемовъ и съ помощью новыхъ философскихъ построеній защищали старыя, обветшалыя идеи.

Система взглядовъ, съ которою выступилъ Чаадаевъ въ 1836 г. въ печати, была совершенно противоположна консервативно-патріотическому направленію, принятому тогда въ русской исторической наукѣ и литературѣ. Главное содержаніе его „Философическаго письма“ заключается въ желаніи показать, какъ низокъ нашъ умственный уровень вслѣдствіе тяготѣющаго надъ нами рабства и вѣковаго отчужденія отъ западной цивилизаціи. У насъ, по его мнѣнію, отсутствуютъ руководящія идеи, нѣтъ хорошаго распредѣленія жизни, порядка, хорошихъ навыковъ, которые даютъ уму приволье, душѣ правильное движеніе. У насъ даже нѣтъ начальныхъ общественныхъ идей: долга, закона, правды. Мы какія-то потерявшіяся существа. Находясь между Востокомъ и Западомъ, мы должны бы соединять два начала разумнія: воображеніе и рассудокъ. Но мы отшельники въ мірѣ: ничего не взяли и ничего ему не дали. Связь съ „растлѣнной Византіей“

и татарское иго, по мнѣнію Чаадаева, были причинами, поставившими насъ внѣ историческихъ идей, развивавшихся на Западѣ. На Западѣ христіанство имѣло громадное вліяніе на ходъ европейской жизни. Современная европейская цивилизація, говоритъ онъ, есть продуктъ исключительно христіанства: оно создало особый кругъ идей, извѣстную нравственную атмосферу, которая связала всѣ народы. Они пятнадцать вѣковъ молились на одномъ языкѣ, покорялись одной нравственной власти, имѣли одно убѣжденіе. Средніе вѣка у Чаадаева представляютъ чуть не полное осуществленіе христіанскаго идеала. Эпоха возрожденія дала только, какъ онъ думаетъ, формы прекраснаго, которыхъ искало христіанство. „Философическое“ и литературное развитіе ума и образованіе нравовъ подъ вліяніемъ религіи заканчиваютъ исторію Европы, которая, говоритъ онъ, имѣетъ такое же право на названіе священной, какъ и исторія древняго избраннаго народа. Чаадаевъ не допускаетъ мысли, чтобы мы могли болѣе или менѣе скоро усвоить себѣ европейскій прогрессъ, совершавшійся медленно и подъ вліяніемъ католичества. Въ окончательномъ выводѣ онъ предлагаетъ намъ, русскимъ, устраненнымъ отъ этого общаго европейскаго движенія, оживить въ насъ вѣру всѣми возможными способами.

Мы, конечно, не удивимся, что эта статья вызвала негодованіе общества и жестокія кары правительства: мы уже знакомы съ настроеніемъ широкихъ общественныхъ круговъ въ 30-хъ годахъ. Чаадаевъ позволилъ себѣ взглянуть на прошлое, настоящее и будущее Россіи съ своей точки зрѣнія, противоположной той, которой держались официальные сферы и общественное большинство. Онъ, находясь подъ вліяніемъ указанныхъ ми-

стиковъ и французскихъ писателей, обнаружилъ явную склонность къ католицизму, преувеличивъ его роль въ развитіи европейскаго ума и его благотворное вліяніе на нравы. Онъ „прислонился къ католицизму“, по выраженію Герцена. Этого было достаточно, чтобы вызвать общественную бурю.

По доносу русскаго патріота нѣмецкаго происхожденія, Ф. Вигеля, журналъ „Телескопъ“, въ которомъ напечатана статья, былъ запрещенъ, редакторъ, Н. И. Надеждинъ, сосланъ на жительство въ Усть-Сысольскъ, цензоръ Болдыревъ, ректоръ Московскаго университета, отставленъ за нерадѣніе отъ службы, а Чаадаевъ подвергнутъ домашнему аресту и ежедневному медицинскому посѣщенію, какъ душевно больной. Біографъ Чаадаева рассказываетъ, какъ люди всѣхъ слоевъ общества соединились въ одномъ общемъ воплѣ проклятій автору, который осмѣлился оскорбить Россію; только незначительное меньшинство находило статью замѣчательною и собиралось возражать на нее. Пушкинъ, которому Чаадаевъ послалъ отдѣльный оттискъ статьи, отвѣчалъ ему письмомъ, возражая въ немъ противъ рѣзкостей и преувеличеній, невѣрнаго пониманія историческихъ фактовъ, хотя и самъ въ своихъ возраженіяхъ дѣлалъ ошибки, теперь очевидныя для всякаго образованнаго человѣка, но вполнѣ извинительныя при тогдашней скудости историческихъ знаній. Но по отношенію къ настоящему, къ текущей жизни Пушкинъ во многомъ соглашался съ авторомъ. „Нужно признаться“, писалъ онъ, „что наша общественная жизнь весьма печальна, что это отсутствіе общественнаго мнѣнія, это равнодушіе ко всему, что составляетъ долгъ, справедливость и правду, это циническое презрѣ-

ніе къ мысли и къ человѣческому достоинству, въ самомъ дѣлѣ, приводятъ въ отчаяніе. Вы хорошо сдѣлали, что громко это высказали. Но я боюсь, что мнѣнія ваши объ исторіи вамъ повредятъ. Наконецъ, я сожалею, что не былъ при васъ, когда вы отдавали вашу рукопись журналистамъ "... Нельзя и намъ не пожалѣть о томъ, что общество не допустило свободнаго обсужденія статьи. Оно, по своей малой образованности, конечно, не понимало, что этими мѣрами тормозитъ дальнѣйшее движеніе общественной мысли.

Чаадаевъ совершенно справедливо замѣчаетъ въ написанной черезъ шесть лѣтъ „Апологіи сумасшедшаго“, что правительство, наложивъ на него кару, сдѣлало это подъ давленіемъ общественнаго мнѣнія. Общество, въ своей умственной слѣпотѣ, не понимало того, что скептицизмъ Чаадаева стоитъ въ тѣсной связи со многими явленіями русской жизни и литературы, которыя предшествовали появленію его „Письма“, что недовольство русскою дѣйствительностью уже имѣетъ свою длинную исторію. Либералы Александровскаго времени возмущались многими сторонами русской жизни, и само правительство имъ сочувствовало сначала; Пушкинъ былъ выразителемъ ихъ взглядовъ и ярко изображалъ пустоту жизни, тоску и растерянность русскаго образованнаго человѣка въ „Онѣгинъ“; Грибодовъ въ лицѣ Чацкаго протестовалъ противъ тѣхъ же неприглядныхъ сторонъ русской дѣйствительности; наконецъ, вскорѣ послѣ статьи Чаадаева появился на сценѣ „Ревизоръ“, — комедія, въ которой русская жизнь представлена въ яркихъ, бьющихъ въ глаза образахъ, и исключительно съ отрицательныхъ сторонъ. Правда, Чаадаевъ отнесся сурово къ русскому прошлому,

и въ этой части статьи были преувеличенія, но вѣдь еще гораздо ранѣе его образованнѣйшая часть русскаго общества отнеслась критически и недовѣрчиво къ сентиментально-художественнымъ и тенденціознымъ изображеніямъ русской жизни въ исторіи Карамзина.

На прочихъ письмахъ Чаадаева, не попавшихъ тогда въ печать, также видно вліяніе вышеуказанныхъ нѣмецкихъ и французскихъ писателей; изъ послѣднихъ, конечно, усвоена имъ католическая тенденція; что же касается „Апологіи“, — она носитъ на себѣ явные слѣды вліянія шеллингiana и гегеліанства московскихъ кружковъ.

По воззрѣніямъ гегеліанцевъ, развитіе каждаго народа представляетъ собой органическое цѣлое и резюмируется извѣстною идеею. Роль отдѣльнаго народа въ развитіи цѣлаго человечества, заключается въ томъ, что онъ вноситъ въ общее развитіе свою новую идею. Такимъ образомъ, развитіе человечества идетъ ступенями: на одной ступени возвышается одинъ народъ, на слѣдующей — другой и т. д. Одни изъ гегеліанцевъ допускали участіе всѣхъ народовъ, не исключая и самыхъ ничтожныхъ, во всемірно-историческомъ развитіи, другіе — участіе только народовъ избранныхъ.

Здѣсь, между прочимъ, кстати замѣтить, что у каждаго изъ народовъ, игравшихъ болѣе или менѣе важную роль въ исторіи, въ связи съ религіозными представленіями, въ разное время возникало убѣжденіе въ особыхъ преимуществахъ своего народа, дававшихъ ему первенство передъ другими народами. Эта вѣра въ особое высшее призваніе народа называется *мессіаниззмомъ*. Такъ, въ XIX вѣкѣ въ знаменитыхъ „Рѣчахъ къ нѣмецкому народу“ Фихте излагается ученіе о выс-

шемъ призваніи нѣмцевъ; Де-Местръ и Бональдъ, какъ поборники католической реакціи, считали призваннымъ къ всемірно-исторической роли французскій народъ, который, по ихъ мнѣнію, долженъ былъ оживить въ человѣчествѣ уснувшую вѣру. Русскій мессіаниззмъ мы уже отчасти видѣли у защитниковъ „системы официальной народности“, какъ, напр., въ историческихъ взглядахъ Погодина, но онъ выразился еще полнѣе, систематичнѣе и искреннѣе, какъ увидимъ, въ ученіи славянофиловъ, съ которымъ вскорѣ познако-мимся.

Итакъ, шеллингѣанцевъ и гегелѣанцевъ, какъ мы сказали, занимали два главные вопроса: вопросъ о самобытномъ національномъ развитіи и о всемірно-исторической роли народа. Изъ дальнѣйшаго изложенія мы увидимъ, что эти самые вопросы будутъ положены въ основаніе славянофильской системы.

Свои письма Чаадаевъ писалъ въ тяжеломъ душевномъ состояніи, подъ вліяніемъ болѣзни и внутренняго душевнаго кризиса, и потому выраженные въ нихъ мысли были слишкомъ абсолютны, мнѣнія слишкомъ рѣзки. Черезъ шесть лѣтъ послѣ напечатанія перваго „письма“, душевно успокоившись, онъ пишетъ свою „Апологию“. Въ это время онъ близко сошелся съ московскими кружками, вліяніе которыхъ замѣтно отражается на его взглядахъ. Чаадаевъ дѣлаетъ уже значительныя уступки въ пользу русскаго прошлаго. „Было преувеличеніемъ“, говоритъ онъ, „не признать, что судьба забросила насъ далеко отъ всѣхъ цивилизацій, — не признать, что мы произошли на свѣтъ на почвѣ, не вспаханной, не засѣянной трудами предыдущихъ поколѣній, — не отдать справедливости этой смиренной, а иногда

и героической церкви, которая одна утѣшаетъ насъ въ пустынь нашихъ лѣтописей“. Самое значеніе католицизма въ „Апологии“ нѣсколько ослаблено тѣмъ, что авторъ признаетъ теперь большую роль за античнымъ искусствомъ и наукой, которую они играли въ европейской культурѣ и которой, по взглядамъ И. Кирѣвскаго, развитымъ въ статьѣ, напечатанной въ журналѣ „Европеецъ“, недоставало культурѣ русской. (Для характеристики времени здѣсь нелишнимъ будетъ сказать, что статья И. Кирѣвскаго, развивающая мысль о необходимости для Россіи усвоить западное просвѣщеніе, признана была революціонною, и журналъ „Европеецъ“ былъ запрещенъ, а самъ авторъ отданъ подъ надзоръ полиціи.) Чаадаевъ соглашается теперь съ Кирѣвскимъ, что русская отсталость объясняется недостаткомъ культуры, а не вѣры. Мнѣнія о пустотѣ русской исторіи, о неопредѣленности русской фizioноміи, хотя и сохранились въ „Апологи“, но Чаадаевъ видитъ уже въ этихъ свойствахъ націи и ея исторіи лучший залогъ будущаго развитія. Отсутствие содержанія въ прошломъ даетъ, по его мнѣнію, намъ, большую свободу „измѣрять каждый шагъ, обдумывать каждую идею, входящую въ сознаніе, не стѣсняясь историческою необходимостью, которой для насъ не существуетъ“. Онъ признаетъ теперь, что „было преувеличеніемъ печалиться за судьбу націи, создавшей могучую натуру Петра, универсальный умъ Ломоносова, граціозный гений Пушкина“, и предрекаетъ ей великую будущность. Она разрѣшитъ многіе вопросы, занимающіе чело-вѣческій умъ.

Чаадаевъ сходится съ славянофильскою партіей въ томъ, что предвидитъ великое будущее для

русскаго народа, но отличается от нея тѣмъ, что выводитъ это будущее изъ ничтожнаго прошлаго, которое славянофилы идеализируютъ. Высоко цѣня вліяніе Европы, онъ примыкаетъ этою стороною своихъ взглядовъ къ другой противоположной партіи, западнической, которая, такъ же какъ и онъ, находила для насъ единственнымъ тотъ путь развитія, который указанъ Петромъ. Такимъ образомъ Чаадаевъ представляетъ собою связующее звено не только между 20-ми и 40-ми годами, но и между двумя партіями московскихъ кружковъ, славянофилами и западниками, которые то сходились, то расходились на его глазахъ. Вліяніе на него современныхъ ему философскихъ системъ не подлежитъ сомнѣнію. „Исторія народа“, говоритъ онъ, „не есть простой рядъ фактовъ, смѣняющихъ другъ друга, а цѣпь идей, находящихся во взаимной связи. Фактъ долженъ объясняться идеей; въ событіяхъ должна проявляться и стремиться къ осуществленію какая-нибудь мысль, какое-нибудь начало“. Это тотъ самый взглядъ на исторію народа, котораго держались въ московскихъ кружкахъ. Но Чаадаевъ всегда былъ противникомъ московскихъ націоналистовъ, защитниковъ „официальной народности“, которые отрекались отъ западной мудрости, исключительно тяготѣя къ Востоку, но и съ славянофилами не сходились по нѣкоторымъ взглядамъ, щедшимъ въ разрѣзъ съ официальной „системой“. Въ націоналистахъ Чаадаевъ видѣлъ тѣхъ своихъ враговъ, которые возстали на него за напечатанное въ „Телескопѣ“ „Письмо“ и вызвали тяжелую правительственную кару. „Вы понимаете теперь, — говоритъ онъ, — откуда возникла разразившаяся надо мной буря; вы видите, что въ нашемъ національномъ мышленіи совершается

м. р. ф. и.

настоящій переворотъ, состоящій въ странной реакціи противъ просвѣщенія, противъ западныхъ идей, — того просвѣщенія и идей, которыя сдѣлали насъ тѣмъ, что мы есть, и плодомъ которыхъ явилась даже самая эта возстающая противъ нихъ реакція“.

Сказаннаго о Чаадаевѣ вполне достаточно, чтобы видѣть важное историческое значеніе его сочиненій и личности, имѣвшихъ вліяніе на всѣ тогдашнія развѣтвленія русской общественной мысли. „Его имя, — говорятъ его современники, — было извѣстно и въ Петербургѣ, и въ большей части губерній русскихъ, почти всѣмъ образованнымъ русскимъ людямъ, не имѣвшимъ даже съ нимъ никакого прямого столкновенія“; а между тѣмъ, онъ не былъ ни литераторомъ, ни политическимъ дѣятелемъ съ широкими полномочіями, ни финансовою крупною силою. А. Н. Пыпинъ говоритъ, что историческая роль Чаадаева заключается не въ одномъ „письмѣ“, погибшемъ, едва увидѣвши печать, но также въ личномъ вліяніи, которое могло проявляться помимо литературы, въ живой бесѣдѣ съ людьми различныхъ круговъ, и въ этомъ смыслѣ онъ сравниваетъ его съ главою кружка 30-хъ годовъ. Станкевичемъ, который также не былъ литераторомъ, но сыгралъ видную роль въ исторіи нашего общественнаго развитія. „Въ такое время, — говоритъ Хомяковъ, — когда, повидимому, мысль погружалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ (т.-е. Чаадаевъ) особенно былъ дорогъ тѣмъ, что и самъ бодрствовалъ и другихъ пробуждалъ“. Его глубокій искренній патріотизмъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію: его ошибки и увлеченія исходили изъ чистаго источника. „Я не умѣю любить свое отечество съ закрытыми глазами,

съ преклоненной головой, съ запертыми устами“ — говорить онъ. „Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видѣть; я думаю, что прошло время слѣпыхъ амуровъ, что теперь мы, прежде всего, обязаны своему отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его“.

VII.

Жизнь русской интеллигенціи въ эпоху германопоклоненія.

Въ концѣ 30-хъ годовъ многіе изъ членовъ кружка Станкевича отправились за границу, одни раньше, другіе позже. Большинство стремилось въ Берлинъ — этотъ „губернскій городъ нѣмецкой философіи“, по выраженію Герцена. Жизнь русской молодежи въ столицѣ Пруссіи мало чѣмъ отличалась отъ московской. „Берлинъ городокъ — Москвы уголокъ“, писалъ иронизируя М. Н. Катковъ, уѣхавшій туда вслѣдъ за Бакунинымъ въ 1840 году. Въ самомъ дѣлѣ, москвичъ-философъ, отдавшій себя всецѣло кружку и нѣмецкой книжкѣ до забвенія окружающей дѣйствительности, и въ Берлинѣ дышалъ тою же атмосферою, что и въ Москвѣ. Здѣсь онъ встрѣчался съ такимъ же страстнымъ отношеніемъ къ философіи, находилъ горячихъ приверженцевъ той или другой системы, поклонниковъ того или другого философа. Подобно московскимъ салонамъ, въ которыхъ происходили философскіе азартные споры, въ Берлинѣ также существовалъ русскій салонъ образованной русской дамы, Е. П. Фроловой. Здѣсь часто далеко за полночь велись обычные москов-

скіе разговоры; господствовало то же идеалистическое настроеніе; послѣ горячихъ споровъ о будущемъ Россіи, давались такія же торжественныя обѣщанія посвятить всѣ силы свои на служеніе общему благу.

Но жизнь здѣсь, конечно, шла бойчѣе, и впечатлѣнія отъ нея были сильнѣе и разнообразнѣе. Молодые русскіе философы слушали чтимыхъ ими, знаменитыхъ въ ихъ глазахъ нѣмецкихъ профессоровъ философіи, всѣхъ этихъ „заживо забытыхъ Вердеровъ, Маргейнеке, Михелетовъ, Вадке и пр.“, надъ которыми такъ весело и устроумно смѣялся Герценъ, говоря, что они заплакали бы отъ умиленія, если бы узнали, какія побоища и ратованія возбудили они въ Москвѣ между Моросейкой и Моховой, какъ ихъ читали и какъ ихъ покупали. Особеннымъ уваженіемъ русскихъ слушателей пользовался другъ Станкевича и учитель Грановскаго, профессоръ Вердеръ, выпренный и туманный идеализмъ котораго вполне удовлетворялъ русскую восторженную молодежь. Станкевичъ, Тургеневъ, Грановскій, Невѣровъ, Ефремовъ и др., находившіеся въ Берлинѣ, посѣщали университетъ, вечера Е. П. Фроловой и славившуюся въ то время учено-литературную пивную Стеели, гдѣ собирались актеры, веселые рассказчики, писатели, профессора. Философскіе споры, декламація вольнодумныхъ стихотвореній, смѣшные анекдоты — все это обаятельно дѣйствовало на молодежь. „Мы думали“, говоритъ Герценъ, пріѣхавшій въ Берлинъ въ 47-мъ году, „вотъ она, свободная Европа... вотъ онѣ, Аѳины на Шпре! И мнѣ становилось жаль друзей, оставшихся на Тверскомъ бульварѣ и на Невскомъ проспектѣ“. Это было время, когда все нѣмецкое имѣло въ глазахъ русскихъ особую

цѣну. И не одна только молодежь удивлялась нѣмецкой учености и высоко оцѣнивала нѣмецкую жизнь, каждая образованная русская семья, попадавшая въ Берлинъ, хотя бы ненадолго, мимоходомъ, останавливаясь здѣсь, спѣшила воспользоваться короткимъ пребываніемъ въ столицѣ нѣмецкой философіи и, запасшись рекомендованнымъ соотечественниками ученымъ нѣмцемъ, съ чувствомъ особаго уваженія старалась осмотрѣть все, достойное вниманія просвѣщеннаго туриста. Съ своей стороны, и ученые нѣмцы не безъ уваженія и сочувствія относились къ русскому богатому дворянству и не безъ удовольствія просвѣщали его, охотно предлагая свои услуги. Рассказывая объ одномъ нѣмецкомъ журналистѣ, подружившемся съ Бакунинымъ и Тургеневымъ, Герценъ даетъ вмѣстѣ съ тѣмъ живую картину жизни русскаго образованнаго дворянства въ Берлинѣ. „Судьба, рѣдко балующая нѣмцевъ, особенно идущихъ по филологической части“, говоритъ онъ, „сильно баловала Мюллера-Стрюбинга. Онъ случайно попалъ въ пассантное русское общество, и притомъ молодыхъ и образованныхъ русскихъ. Оно завертѣло его, закармило, запоило. Это было лучшее, поэтическое время его жизни, Genussjahre. Лица мѣнялись, пиръ продолжался, безсмѣннымъ былъ одинъ Мюллеръ-Стрюбингъ. Кого и кого не водилъ онъ по музеямъ, кому не объяснялъ Каульбаха, кого не водилъ въ университетъ? Тогда была эпоха германопоклоненія въ полномъ разгарѣ; русскій останавливался съ почтеніемъ въ Берлинѣ, тронутый тѣмъ, что попираетъ философскую землю, которую Гегель попиралъ, поминалъ его и учениковъ его съ Мюллеромъ-Стрюбингомъ языческими возліянiями и страсбургскими пирогами. Эти событія могли разстроить

міросозерцаніе какого угодно нѣмца. Нѣмецъ не можетъ однимъ синтезомъ обнять страсбургскіе пироги и шампанское съ изученіемъ Гегеля, идущимъ даже до брошюръ Маргейнеке, Бадера, Вердера, Шиллера, Розенкранца и всѣхъ въ жизни усопшихъ знаменитостей сороковыхъ годовъ. У нѣмцевъ все еще, если страсбургскій пирогъ, — то банкиръ, если champagne, — то юнкеръ. Мюллеръ-Стрюбингъ, довольный, что нашелъ такое вкусное сочетаніе науки съ жизнью, сбился съ ногъ; покоя ему не было ни одного дня. Русская семья, усаживаясь въ почтовую карету, чтобы ѣхать въ Парижъ, перебрасывала его, какъ ракету или воланъ, къ русской семьѣ, подѣзжавшей изъ Кёнигсберга или Штеттина. Съ проводовъ онъ торопился на встрѣчу... онъ вводилъ сѣверныхъ неофитовъ въ берлинскую жизнь и разомъ открывалъ имъ двери въ святилище des reinen Denkens und des deutschen Kneipens. Чистые душой соотечественники наши оставляли съ увлеченіемъ и порядочное вино, и прибранные комнаты отелей, чтобы бѣжать съ Мюллеромъ-Стрюбингомъ въ душную полпивную. Они были внѣ себя отъ буршикозной жизни, а скверный табачный дымъ Германіи имъ сладокъ и приятенъ былъ“.

Въ этой талантливо нарисованной картинкѣ рѣзко выдѣляются черты нашего барства, съ его привычками, вкусами, порожденными и воспитанными крѣпостнымъ правомъ, съ его наивною и малокультурною, но и съ тою спасительною духовною жаждою, — жаждою высшихъ интересовъ, которую издавна утоляла западная Европа и которая у лучшихъ, передовыхъ русскихъ людей была вполнѣ сознательною и вела не къ одному пассивному сочувствію европейскимъ идеа-

ламъ. Сороковые годы, какъ и двадцатые, обнаруживаютъ передъ нами не одни безцѣльные исканія идеала или смутное томленіе по немъ; мы встрѣчаемся здѣсь и съ попытками выработки согласно съ нимъ опредѣленныхъ воззрѣній и средствъ къ проведенію ихъ въ русскую общественную жизнь. Правда, эти попытки часто терпѣли неудачу; но неудача и неуспѣхъ ихъ объясняются не столько недостаткомъ воли, какъ обыкновенно говорятъ у насъ, считая всѣхъ людей 40-хъ годовъ Рудиными, лишними людьми, и не столько неподготовленностью почвы, сколько суровостью русскаго климата, при которой такое нѣжное растеніе, какъ свобода слова, не могло произрастать успѣшно и приносить зрѣлые плоды. Но тѣмъ не менѣе ни эпоха „германопоклоненія“, ни смѣнившая ее въ половинѣ 40-хъ годовъ эпоха увлеченія французскими социальными теоріями не прошли для насъ безслѣдно. Онѣ подготавливали и, можно сказать, успѣшно подготовили слѣдующую за ними эпоху великихъ реформъ, такъ называемые 60-е годы. „Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ“, говоритъ Салтыковъ (IV гл. „За рубежомъ“), „для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моей юности, т.-е. о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, въ этихъ двухъ словахъ заключалось нѣчто лучезарное, свѣтоносное, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ *даже опредѣляло ея содержаніе*“. Эти подчеркнутыя нами слова Салтыковъ разъясняетъ далѣе такъ: „въ Петербургѣ мы существовали лишь фактически или, какъ въ то время говорилось, имѣли „образъ жизни“. Ходили на службу въ соответствующія канцеляріи, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ,

а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. *Но духовно мы жили во Франціи*“... Здѣсь идетъ рѣчь о самомъ концѣ 40-хъ годовъ. Люди 30-хъ годовъ и начала 40-хъ, имѣвшіе „образъ жизни“ на Тверскомъ бульварѣ или Невскомъ проспектѣ, могли также сказать о себѣ, что они духовно жили въ Берлинѣ. И эта духовная жизнь не у себя, не дома, вполне понятна при тогдашнихъ, уже извѣстныхъ намъ условіяхъ жизни въ Россіи. Томямая духовною жаждою, русская интеллигенція въ истинномъ значеніи этого слова, т.-е. мыслящіе русскіе люди, умъ которыхъ не спалъ, не находя удовлетворенія дома, обращались къ тѣмъ западнымъ источникамъ, которые утоляли эту жажду и въ минувшіе вѣка, еще въ допетровское время на Руси. Это было все то же исканіе свѣта знаній, свободнаго убѣжденія,—исканіе справедливости, „Божьей правды“, которой безсознательно искалъ тургеневскій мужичокъ Касьянъ, которой горячо и сознательно добивался и въ концѣ концовъ добился Бѣлинскій,—исканіе тѣхъ истинъ, которыя съ официальной точки зрѣнія издавна объявлялись ересями, заблужденіями, вредными мечтаніями. И эта духовная жизнь „тамъ“ вовсе не означала, что здѣсь, у себя, они на все махнули рукой, хотя въ извѣстныя минуты и могли доходить до отчаянія, выразившагося и у Салтыкова въ цитируемомъ нами сочиненіи. Подраставшее молодое поколѣніе, сверстники Салтыкова, какъ и старшіе его современники, среди которыхъ были и Бѣлинскій, и Герценъ, и Тургеневъ и др., не сидѣли сложа руки. У насъ до сихъ поръ еще слышатся обвиненія людей 40-хъ годовъ въ бездѣйствіи, въ красивыхъ позахъ и словахъ, въ увлеченіи эстетикой и идеалистической филосо-

фией, какъ будто всѣ они только и дѣлали, что созерцали красоту и спокойно витали въ высотахъ философскихъ отвлеченностей. Обвинители забываютъ, что въ 40-е годы родилось сочувствіе къ униженнымъ и оскорбленнымъ, демократизировался литературный герой, началась музическая беллетристика, была найдена красота и въ жизни деревни, и въ первыхъ произведеніяхъ этой беллетристики серьезно былъ поставленъ вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Забываютъ о томъ, что главными дѣятелями, помощниками правительства, въ эпоху реформъ были люди 40-хъ годовъ. Идея личности, человѣческаго достоинства, пробужденіе общественныхъ интересовъ — все это досталось не безъ труда, куплено дорогою цѣной, и все это надо поставить въ заслугу со роковымъ годамъ.

Но возвратимся къ нашему разсказу. Тургеневъ, огромное художественное дарованіе и серьезное общественное значеніе произведеній котораго раскрылись вполнѣ только въ 60-е годы, жилъ въ началѣ 40-хъ въ Берлинѣ, на одной квартирѣ съ Бакунинымъ, и пристально всматривался въ характеръ этого замѣчательнаго русскаго, а впоследствии и европейскаго дѣятеля. Нѣкоторыя черты характера Бакунина, какъ извѣстно, вошли потомъ въ типъ Рудина, да и вообще этотъ берлинскій періодъ жизни Тургенева отразился какъ въ романѣ „Рудинъ“, такъ и въ повѣсти „Фаустъ“. Оба произведенія обвѣяны духомъ эпохи германопоклоненія. Нѣмецкая философія и нѣмецкая поэзія — вотъ боги, которымъ поклонялись тогда. Но восторженное отношеніе къ нѣмецкому идеализму, вначалѣ объединявшее всѣхъ русскихъ, пошло вскорѣ у многихъ на убыль. Тутъ сказалось различіе натуръ, характеровъ, умовъ и усло-

вій воспитанія. Какъ увидимъ далѣе, такъ и должно было случиться.

Положеніе русскаго образованнаго дворянина, прїѣхавшаго въ Европу для серьезныхъ научныхъ занятій, въ то время было не изъ легкихъ. Онъ издавна пріобрѣлъ прочную привычку получать отъ западныхъ сосѣдей готовое цѣльное міровоззрѣніе, господствующее въ данный моментъ. Только что перешедши у себя дома отъ системы Шеллинга къ системѣ Гегеля, онъ прїѣзжалъ въ Берлинъ молодымъ восторженнымъ гегеліанцемъ. Каково же было его удивленіе, когда онъ видѣлъ здѣсь, что Гегель уже не властвуетъ всецѣло надъ умами, какъ прежде? Гегель умеръ въ 31-мъ году, и среди его послѣдователей произошелъ расколъ; они раздѣлились на двѣ партіи — правую и лѣвую. Послѣдняя пошла въ направленіи, противоположномъ тому, котораго держался ея учитель, отъ идеализма къ крайнему реализму. Старый Шеллингъ, приглашенный на берлинскую кафедру, снова началъ играть роль, но въ послѣднихъ своихъ сочиненіяхъ и лекціяхъ вдавался въ мистицизмъ и схоластику. Однимъ это пришлось по душѣ, другихъ оттолкнуло сильнѣе въ лѣвую сторону. Въ настроеніи нѣмецкаго общества происходила рѣзкая перемѣна: вліянія, шедшія изъ Франціи, гдѣ, какъ мы видѣли, создавались новыя общественно-политическія теоріи и ставился вопросъ объ освобожденіи женщины, проникали въ общественное сознаніе, особенно путемъ романовъ на эти темы; стремленія писателей „Молодой Германіи“ получили политическую окраску, и въ литературѣ нѣмецкой совершался переходъ отъ романтизма къ реализму. Естественно, что русскіе образованные люди должны были растеряться среди разнообразія

идей и направлений. Еще въ началѣ 30-хъ годовъ попавшій за границу И. Кирѣевскій, бывшій ранѣе сторонникомъ европейской науки, а потомъ перешедшій къ славянофильскимъ взглядамъ и впаавшій въ религіозный мистицизмъ, жаловался на трудность такого положенія. „Было время“, говорилъ онъ, „и не очень давно, когда для мыслящаго человѣка возможно было составить себѣ твердое и опредѣленное мнѣніе единственно изъ сочувствія къ явленіямъ иностранныхъ словесностей. Были полныя, цѣлыя, законченныя системы. Теперь ихъ нѣтъ, по крайней мѣрѣ, нѣтъ общепринятыхъ, безусловно господствующихъ. Чтобы построить изъ противорѣчивыхъ мыслей свое полное воззрѣніе, надобно выбирать, составлять самому, искать, сомнѣваться, восходить до самага источника, изъ котораго истекаетъ убѣжденіе, т.-е. или навсегда остаться съ колеблющимися мыслями, или напередъ принести съ собою уже готовое, не изъ литературы почерпнутое убѣжденіе. Составить убѣжденіе изъ различныхъ системъ нельзя, какъ вообще нельзя составить ничего живого. Живое рождается только изъ жизни“. Въ этихъ словахъ много правды: нѣкоторые изъ русскихъ гегеліанцевъ, растерявшись, дѣйствительно, остались навсегда „съ колеблющимися мыслями“ и, когда пришло время дѣйствовать на родинѣ, съ легкимъ сердцемъ переходили изъ одного лагеря въ другой; другіе же, какъ самъ И. Кирѣевскій, положили въ основу своего міровоззрѣнія „не изъ литературы почерпнутое убѣжденіе“, а изъ жизни своего родного дворянскаго гнѣзда. Но и эти послѣдніе, составившіе потомъ славянофильскую партію, не освободились окончательно изъ-подъ вліянія нѣмецкой философіи, въ особенности изъ-подъ вліянія Шел-

лингa. Были, однако, и третьи, развитіе которыхъ не остановилось на системѣ Гегеля и совершалось подѣ влияніемъ французскихъ теорій и лѣвыхъ гегеліанцевъ, и, наконецъ, четвертые — ультра-гегеліанцы, которые, какъ В. П. Боткинъ, по словамъ Герцена, „всю жизнь носились въ эстетическомъ небѣ, въ философскихъ и критическихъ подробностяхъ“.

Въ ноябрѣ 1841 г. Шеллингъ, долго молчавшій, открылъ свой курсъ. Отъ него ожидали чего-то новаго, сильнаго, увлекательнаго. Ожиданія эти, конечно, были наивны, безосновательны: Шеллингъ былъ уже старъ, онъ переживалъ послѣдній періодъ своей дѣятельности, — періодъ ослабленія философской мысли. Онъ отрицательно отнесся къ системѣ Гегеля, находя, что Гегель облекъ только въ абстрактную форму его собственную систему и, заключивъ философію въ голыя логическія формулы, изгналъ изъ нея все живое и конкретное. Но предложенная имъ взамѣнъ гегелевой системы философія миеологии и откровенія, преисполненная мистицизма, оттолкнула почти всѣхъ русскихъ слушателей и много содѣйствовала переходу ихъ къ лѣвымъ гегеліанцамъ. Едва ли не одинъ только М. Н. Катковъ съ сочувствіемъ отзывался о лекціяхъ Шеллинга. Сочиненія Штрауса, Фейербаха и Бруно Бауера привлекли теперь вниманіе нашей молодежи. Бакунинъ, этотъ прежде правовѣрный гегеліанецъ, котораго сомнѣнія въ правильности пониманія системы учителя начали мучить еще въ Москвѣ, легко перешелъ теперь къ лѣвымъ гегеліанцамъ и со всею страстью молодости отдался новому направленію философской мысли. Вскорѣ онъ выступилъ противъ Шеллинга съ печатной статьей, въ которой выразилъ горячій протестъ противъ

реакціонныхъ стремленій Шеллинга, а потомъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ въ журналѣ лѣвыхъ гегеліанцевъ („Deutsche Jahrbücher“). Серьезная философская подготовка, искусная діалектика, большой умъ и литературный талантъ Бакунина произвели сильное впечатлѣніе и въ нѣмецкихъ, и въ русскихъ литературныхъ сферахъ. По отзыву Герцена, находившагося еще въ Россіи, Бакунинъ этой статьей „вышелъ изъ паутины, въ которой сидѣлъ“. „Мы“, говоритъ Бѣлинскій въ одномъ письмѣ, „я и М. (т.-е. Мих., Бакунинъ), искали Бога по разнымъ путямъ — и сошлись въ одномъ храмѣ. Я знаю, что онъ разошелся съ Вердеромъ, знаю, что онъ принадлежитъ къ лѣвой сторонѣ гегеліанства, знакомъ съ R. (съ Арнольдомъ Руге, лѣвымъ гегеліанцемъ) и понимаетъ жалкаго, заживо умершаго романтика Шеллинга. М. (Бакунинъ) во многомъ виноватъ и грѣшенъ, но въ немъ есть нѣчто, что перевѣшиваетъ всѣ его недостатки, — это вѣчно движущее начало, лежащее въ глубинѣ его духа“.

Эти сочувственныя строки Бѣлинскаго свидѣтельствуютъ, что и среди гегеліанцевъ, находившихся въ Россіи, совершался тотъ же переходъ въ лѣвую сторону. Мы вскорѣ узнаемъ, какъ произошелъ переломъ во взглядахъ Бѣлинскаго подъ вліяніемъ обстоятельствъ его личной жизни и подвернувшейся формулы Гегеля о разумной дѣйствительности. „Отечественныя Записки“, органъ прогрессивный, въ которомъ въ то время работалъ Бѣлинскій и лучшіе изъ западниковъ, вмѣсто статьи Каткова о философіи Шеллинга, по совѣту Грановскаго, помѣстилъ статью В.П. Боткина. Боткинъ писалъ, что Шеллингъ, торжественно приглашенный на берлинскую кафедру, не оправдалъ всеобщихъ ожиданій и собственныхъ

объщаній „побѣдить противниковъ“; „вмѣсто новой философіи, онъ, оставивъ путь чистой мысли, погрузился въ миеологическія и гностическія фантазіи; давно уже извѣстныя по его прежнимъ чтеніямъ“. Такая точка зрѣнія на шеллингову „философію откровенія“ была вполне противоположна взглядамъ М. Каткова, утверждавшаго въ письмѣ къ Бѣлинскому, что эта философія глубже всего, что только есть на свѣтѣ“. Естественно, что Боткинъ и Бѣлинскій, который и прежде не съ полнымъ довѣріемъ относился къ Каткову, вскорѣ порвали съ нимъ отношенія. „Знатный субъектъ для психологическихъ наблюденій“, писалъ о немъ Бѣлинскій Боткину: „это Хлестаковъ въ нѣмецкомъ вкусѣ. Я теперь понялъ, отчего во время самаго разгара моей мнимой къ нему дружбы меня дико поражали его зеленые, стеклянные глаза. Ты нѣкогда недостойнымъ участіемъ къ нему жестоко погрѣшилъ противъ истины; но честь и слава тебѣ, ты же хорошо и поправился, ты постигъ его натуру, попалъ ему въ самое сердце. Этотъ человѣкъ не измѣнился, а только сталъ самимъ собой... Мы все славно повели себя съ нимъ — онъ, было, вышелъ на ходуляхъ, но наша полная презрѣнія холодность заставила его сойти съ нихъ“.

Бѣлинскій не сдѣлалъ крупной ошибки въ опредѣленіи характера Каткова. Его біографъ и другъ, Н. А. Любимовъ, видящій въ его дѣятельности великую историческую заслугу, называющій его великимъ государственнымъ дѣятелемъ и публицистомъ, раскрывая его духовную личность, указываетъ въ ней удивительнѣйшую смѣсь противоположныхъ свойствъ: „последователь философіи божественнаго откровенія“ и „практическій политикъ“, онъ „былъ полонъ“, по словамъ Лю-

бимова, „идеаломъ свѣрхчувственнаго міра, не оставлявшимъ его во всю жизнь“... „Мистика была всегда существеннымъ качествомъ натуры Каткова. Но мистика эта не была туманною и гадательною, создающею свои вѣрованія, свою личную религію. Это была мистика замѣчательно трезвая“ („М. Н. Катковъ и его заслуга“ Н. А. Любимова, стран. 34). За этими словами ясно виденъ умный и практичный редакторъ „Московскихъ Вѣдомостей“ и „Русскаго Вѣстника“, съ его официально одобренной мистикой. Странно было бы, конечно, владѣльцу казенной газеты создавать свою собственную религію! Публицистическая дѣятельность Каткова, особенно послѣдняго періода его жизни, съ его государственной теоріей, основанной на „сильной власти“, на подавленіи общественной свободы, съ его враждой къ русскому либерализму всѣхъ оттѣнковъ, возраставшей по мѣрѣ того, какъ росла реакція противъ эпохи великихъ реформъ, была въ духѣ николаевской, старой „теоріи официальной народности“, съ нѣкоторыми дополненіями и исправленіями, какъ бы вторымъ ея изданіемъ. Разрывъ съ лѣвыми гегеліанцами, прежними друзьями, былъ началомъ того пути, по которому пошелъ такъ успѣшно Катковъ. Будучи профессоромъ (Катковъ занималъ кафедру философіи въ Московскомъ университетѣ съ 1845 по 1850 г., когда преподаваніе философіи было, по распоряженію правительства, передано духовнымъ лицамъ, профессорамъ богословія), Катковъ, по словамъ того же біографа, не увлекалъ, какъ Грановскій, Кудрявцевъ, Рулье, своихъ слушателей. И это понятно: чтобы увлекать молодежь, надо быть вполне искреннимъ и убѣжденнымъ, надо имѣть твердое, опредѣленное, свободное отъ противо-

рѣчій, вполнѣ ясное міровоззрѣніе. Катковъ въ то время (45—50-е гг.) еще не опредѣлился окончательно и, какъ показываетъ его дальнѣйшая дѣятельность, долгое время оставался съ „колеблющимися“ мыслями въ головѣ. Путь, пройденный Катковымъ, не изображаетъ прямой линіи: его взгляды значительно измѣнялись, и не одинъ разъ. И его развитіе не представляетъ послѣдовательнаго движенія впередъ, какъ, напр., у Бѣлинскаго. Это рядъ уклоненій въ сторону и поворотовъ назадъ, случайныхъ, неожиданныхъ, иногда удивлявшихъ его сотрудниковъ и заставлявшихъ устраниваться отъ участія въ его журналѣ лучшихъ изъ нихъ.

Намъ кажется не лишнимъ здѣсь отмѣтить, что и консервативное направленіе русской мысли, вліятельнымъ представителемъ котораго былъ М. Катковъ, имѣло западные источники. Въ этомъ мы убѣждаемся изъ его автобіографической записки, гдѣ онъ говоритъ, что „своимъ развитіемъ преимущественно обязанъ знаменитому Шеллингу“.

VIII.

Славянофильство и Западничество.

Въ то время, какъ русская колонія въ Берлинѣ слушала лекціи Шеллинга и читала съ увлеченіемъ лѣвыхъ гегеліанцевъ, въ Москвѣ и Петербургѣ шла горячая полемика между двумя партіями: славянофильскою и западническою. Сѣмена философскихъ идей, брошенные на свѣжую, дѣвственную русскую почву, давали сильные молодые всходы. Теоріи Шеллинга, Гегеля, новое движеніе

философской мысли у лѣвыхъ гегеліанцевъ и французскія соціальныя теоріи волновали русскую образованную молодежь, вызывали напряженную работу ея мысли, дѣлили на партіи и порождали горячіе споры. Намъ предстоитъ теперь разсказать интересную и поучительную исторію раздѣленія знаменитаго московскаго кружка Станкевича на двѣ главныя партіи.

Въ началѣ 40-хъ годовъ порѣдѣвшій передъ тѣмъ кружокъ вновь собрался въ Москвѣ. Въ составъ его вошли новые члены, молодые ученые, только-что вернувшіеся изъ за границы и оживившіе университетское преподаваніе. Они пріѣхали съ богатымъ запасомъ научнаго знанія.

Первое мѣсто среди нихъ принадлежитъ профессору исторіи, Грановскому, который съ самаго начала своихъ чтеній возбудилъ въ слушателяхъ живой интересъ къ предмету и всеобщія симпатіи къ своей личности. Вскорѣ открытый имъ курсъ публичныхъ лекцій по средневѣковой исторіи Европы былъ въ Москвѣ настоящимъ событіемъ. Герценъ справедливо придавалъ большое значеніе этому курсу въ особенности потому, что Грановскій проявилъ „благородную симпатію къ своему предмету“. „Эта симпатія“, говоритъ онъ, „великое дѣло: въ наше время глубокое уваженіе къ народности не изъято характера реакціи противъ иноземнаго; многіе смотрятъ на европейское, какъ на чужое, почти какъ на враждебное, многіе боятся въ общечеловѣческомъ утратить русское. Генезисъ такого возрѣнія понятенъ, — но и неправда его очевидна. Человѣкъ любящій другого, не перестаетъ быть самимъ собой, а расширяется всѣмъ бытіемъ другого; человѣкъ, уважающій и признающій права ближняго, не лишается своихъ правъ, а неизбежно укрѣпляетъ ихъ. Мы должны уважать

и оцѣнить скорбное и трудное развитіе Европы, которая такъ много даетъ намъ теперь; мы должны постигнуть то великое единство развитія рода человѣческаго, которое раскрываетъ въ мнимомъ врагѣ — брата, въ расторгеніи — миръ: одно сознаніе этого единства уже даетъ намъ святое право на плодъ, выработанный потѣмъ и кровью Западомъ; это сознаніе съ нашей стороны, есть вмѣстѣ мысль и любовь, — оттого оно такъ легко; логика и симпатія всего менѣе тѣснятъ человѣка: человѣкъ созданъ, чтобъ думать и любить“. Герценъ былъ правъ, защищая любовное отношеніе Грановскаго къ своему предмету. Грановскаго упрекали за такое отношеніе и видѣли въ немъ измѣну своему отечеству. Поэтъ Языковъ называлъ его „сладкорѣчивымъ книжникомъ“, „оракуломъ юношей — невѣждъ“ и „легкомысленнымъ подвижникомъ безпутныхъ мыслей и надеждъ“. Но, надо сказать правду, и въ средѣ противниковъ западныхъ взглядовъ Грановскаго раздавались безпристрастные голоса. По поводу публичныхъ лекцій его Хомяковъ писалъ: „Лучшимъ проявленіемъ жизни московской были лекціи Грановскаго. Такихъ лекцій, конечно, у насъ не было со временъ самого Калиты, основателя первопрестольнаго града, и безспорно мало во всей Европѣ. Впрочемъ, я его хвалю съ тѣмъ большимъ безпристрастіемъ, что онъ принадлежитъ къ мнѣнію, которое во многомъ, если не во всемъ, противоположно моему“. Чтенія Грановскаго имѣли огромный успѣхъ. Это общественное сочувствіе объясняется тѣмъ, что Грановскій былъ не только ученый, но и проповѣдникъ взглядовъ и чувствъ, отличавшихся широкою гуманностью. Грановскій познакомился со Станкевичемъ еще до отъѣзда за границу. Во время пребыванія въ Европѣ,

онъ, по его собственнымъ словамъ, находился подъ вліяніемъ Станкевича и много обязанъ ему своимъ развитіемъ. Теперь онъ оплакивалъ вмѣстѣ съ другими преждевременную кончину этого замѣчательнаго человѣка. Своимъ мягкимъ человѣчнымъ отношеніемъ къ людямъ Грановскій во многомъ напоминалъ умершаго юношу.

Въ 1842 году вновь появился въ Москвѣ А. И. Герценъ и тотчасъ вошелъ въ Московскій кружокъ. Живость ума, солидная образованность, полнота и разнообразіе интересовъ научныхъ и общественныхъ дѣлали бесѣду Герцена привлекательной и живительной. Онъ явился теперь еще болѣе вооруженнымъ и окрѣпшимъ, съ окончательно сложившимся міровоззрѣніемъ. Въ теченіе 7 лѣтъ, съ 1835 по 1842 г., судьба бросала его по разнымъ провинціальнымъ захолустьямъ и заставляла пережить очень много. Онъ побывалъ въ Перми, Вяткѣ, Владимірѣ, Новгородѣ. Дѣятельность его въ поименованныхъ городахъ была не добровольною, но чрезвычайно разнообразною. Онъ состоялъ и на гражданской службѣ, начавъ ее простымъ канцеляристомъ и кончивъ совѣтникомъ губернскаго правленія, при чемъ исполнялъ самыя разнообразныя порученія: устраивалъ выставки, былъ статистикомъ, редактировалъ официальные изданія, завѣдовалъ откупными дѣлами, дѣлами о раскольникахъ, о злоупотребленіяхъ помѣщичьей властью и пр... Неудивительно, что онъ основательнѣе, чѣмъ кто-либо изъ московскихъ философовъ, зналъ русскую дѣйствительность. Кромѣ обширныхъ научныхъ познаній, у него былъ теперь богатый запасъ яркихъ живыхъ впечатлѣній вмѣстѣ съ твердымъ убѣжденіемъ въ полной негодности бюрократическаго механизма и яснымъ сознаніемъ необходимости коренныхъ реформъ

нашего государственнаго строя, которыя дали бы просторъ дѣйствию живыхъ общественныхъ силъ подъ контролемъ свободной печати. Постоянно пополняя запасъ теоретическихъ знаній изученіемъ лѣвыхъ гегеліанцевъ, ознакомленіемъ съ вопросами экономическими, онъ становился болѣе сильнымъ и болѣе опаснымъ соперникомъ на московскихъ словесныхъ турнирахъ. Но теперь ему пришлось сражаться не съ Бѣлинскимъ, который жилъ въ Петербургѣ и былъ уже его единомышленникомъ, а съ цѣлымъ кругомъ лицъ, отдавшихъ особому направленію мысли.

Кружокъ Станкевича раскололся къ этому времени на двѣ партіи. Многіе члены его пошли своимъ особымъ путемъ, далекимъ отъ западнаго направленія Грановскаго и Герцена, и создали особую теорію, которая потребовала отъ нихъ большого самостоятельнаго труда. Ихъ не удовлетворяла ни система Шеллинга въ томъ первоначальномъ видѣ, въ которомъ она усвоена была русскими шеллингіанцами, съ преобладаніемъ интересовъ эстетическихъ, ни система Гегеля съ ея сухимъ логизированіемъ жизни и міра; ихъ взглядамъ и привычкамъ, вынесеннымъ изъ домашняго воспитанія, болѣе соотвѣтствовала Шеллингова философія послѣдняго періода, когда Шеллингъ ставилъ выше искусства нравственность и религію. Его прежняя система, какъ мы уже знаемъ, давала абсолютъ безсодержательный, отрицательнаго характера: не природа, не духъ, а безразличіе той и другого — понятіе, дѣйствительно, не имѣющее содержанія. Въ послѣднемъ періодѣ Шеллингъ пытался создать нѣчто положительное и поставилъ выше всего свободную волю, сближаясь съ Кантомъ и Фихте. Отвергнувъ формальную, по его взгляду, систему Гегеля, онъ

сталъ искать содержанія для своей новой философіи въ чувствующей душѣ человѣка и въ ея общеніи съ міромъ безконечнаго. Такимъ образомъ гегелева философія логики замѣнилась шеллинговой философіей чувства. Это было именно то, чего жаждала душа нашихъ истыхъ романтиковъ, славянофиловъ. Но они не совсѣмъ отказались и отъ Гегеля: его авторитетъ, его діалектическіе приемы сохранили надъ ними нѣкоторую долю власти. Взглядъ Гегеля на исторію чело-вѣчества, по которому она представляетъ постепенное развитіе и обнаруженіе мірового разума, составлялъ, какъ увидимъ, одно изъ основныхъ положеній ихъ ученія. У нихъ началась самостоятельная работа мысли, и въ результатъ получилась своеобразная теорія. Къ познанію истины, разсуждали они, ведутъ два пути: путь чувства и путь логики; чувство оправдываетъ все инстинктивное, безсознательное, традиціонное въ чело-вѣкѣ (этотъ элементъ, конечно, былъ для нихъ самымъ важнымъ), дѣйствіе ума, мысли разрушаетъ инстинктивныя стремленія; чувство даетъ конкретный матеріаль, содержаніе чело-вѣческой душѣ, логика облекаетъ это содержаніе въ форму. Гдѣ же искать настоящей жизни, въ содержаніи или въ формѣ, въ жизни чувства или въ движеніи мысли? И они предпочли жизнь чувства, потому что чувство даетъ намъ живые звуки и краски, даетъ возможность всецѣло охватить явленіе; посредствомъ чувства, по ихъ мнѣнію, мы можемъ сообщаться даже съ невидимымъ міромъ, тогда какъ разумъ безсиленъ обнять предметъ во всей его цѣлостности и жизненности. Отсюда становится яснымъ, что подъ путемъ чувства они разумѣли путь религіознаго познанія, а подъ путемъ логики — познанія научнаго. Другими сло-

вами, они предпочли религію наукъ, и послѣднюю признали безсильною. Примѣняя эту теорію къ историческому процессу, они рассуждали такимъ образомъ: есть два міра — міръ западный и міръ восточный. Западъ идетъ путемъ мысли (науки), логики, восточный — путемъ чувства (вѣры); этотъ послѣдній путь и представлялся имъ самымъ вѣрнымъ, жизненнымъ, цѣлостнымъ. Западный путь, говорили они, пройденъ до конца: система Гегеля, по ихъ мнѣнію, исчерпала все содержаніе европейской мысли и привела къ разочарованію. Напротивъ, Востокъ только что начинаетъ жить; его жизнь приведетъ къ примиренію всѣхъ противорѣчій, къ высшему человѣческому развитію. При полномъ равнодушіи къ внѣшнимъ общественнымъ формамъ, Востокъ сохраняетъ духъ общественности въ формѣ христіанской любви. Осуждая Западъ и путь его развитія, они, конечно, должны были осуждать и реформу Петра и весь „петербургскій періодъ“. Русская жизнь, по ихъ мнѣнію, находится въ ложномъ положеніи: реформа прервала естественный ходъ народнаго развитія и отдалила образованные классы отъ народа, потому что они воспитались по образцу, совершенно чуждому народному духу. Чтобы спасти русское развитіе, уничтожить разладъ, внесенный заимствованіями изъ чужой цивилизації, нужно возвратиться къ старому единству, къ тѣмъ началамъ, въ которыхъ развивалась русская жизнь до Петра. Только этимъ особымъ путемъ самобытнаго національнаго развитія Россія достигнетъ высшей ступени, на которой исполнитъ свое всемірно-историческое назначеніе, скажетъ міру свое новое слово. Для этого мы должны обратиться къ преданіямъ, вѣрованіямъ и общественнымъ инстинктамъ, которые вѣрно сохра-

нилъ нашъ народъ. Воплощеніе восточнаго общественнаго духа славянофилы усмотрѣли въ нашей деревенской общинѣ, благодаря открытію ея, сдѣланному въ это время нѣмецкимъ путешественникомъ по Россіи, Гакстгаузеномъ, какъ говорятъ нѣкоторые изслѣдователи. Думать о томъ, чтобы поднять народъ до нашего образованія, по ихъ мнѣнію, странно и даже смѣшно, потому что его внутреннее содержаніе гораздо выше нашей прививной и внѣшней образованности. Русскій народъ и славянство въ ряду другихъ народовъ, призванныхъ быть выразителями мірового духа, предназначень для наиболѣе полного и совершеннаго выраженія всемірной идеи. Намъ, представителямъ стараго Востока, суждено сказать послѣднее слово въ духѣ христіанской любви и общины. По мнѣнію славянофиловъ, истинное христіанство сохранилось только у насъ, въ грекославянскомъ мірѣ. Христіанство въ западномъ и восточномъ мірѣ получило различный характеръ. Въ римской церкви, когда она отдѣлилась отъ восточной, христіанство извратилось вслѣдствіе того, что въ ея ученіе и устройство было внесено начало разсудочности. Протестанство явилось неизбѣжнымъ результатомъ, логическимъ послѣдствіемъ этого начала, которое было поставлено выше вселенской церкви. На сухой разсудочности выросла и вся образованность, и литература Запада. Его философія слѣпа къ живымъ убѣжденіямъ, которыя лежатъ выше сферы разсудка и логики. Мы же приняли христіанское ученіе отъ грековъ, которые хранили вселенское преданіе во всей чистотѣ. Отцы восточной церкви, особенно писавшіе послѣ раздѣленія церквей, — истинные христіанскіе философы. Ихъ писанія стали основаніемъ древнеруской образованности, которая хотя

и уступала во внѣшнемъ развитіи разума западной, но превышала ее глубокимъ чувствомъ живой христіанской истины. Государственная жизнь Европы основана завоеваніемъ, насиліемъ — отсюда и въ дальнѣйшей ея исторіи рядъ насилій, борьба партій, перевороты. Въ нашей государственной жизни, основанной на добровольномъ призваніи власти, не было насилія, соединеннаго съ завоеваніемъ, не было феодализма, не было внутренней борьбы, борьбы партій, не было сословій; земля принадлежала общинѣ. Развѣтіе шло естественно: религіозное сознаніе было главною нравственною силою и руководствомъ въ жизни, отличавшейся единствомъ понятій и нравовъ. Государство было обширною общиною; власть принадлежала царю, который представлялъ общую волю; связь выражалась соборами, всенароднымъ представительствомъ, замѣнявшимъ древнія вѣча. Чтобы исправить зло, нанесенное реформой Петра I, славянофилы предлагали, не отказываясь отъ всего, что приобрѣтено нами у Запада, потому что здѣсь есть и полезное, отвергнуть самый принципъ западной образованности — рассудочность.

Въ своихъ нападкахъ на петровскую реформу они вполне сходятся съ Карамзинымъ, который также приписываетъ ей разладъ въ русской жизни, разьединеніе сословій — „высшія степени отдѣлились отъ низшихъ“, говоритъ онъ въ своей „Запискѣ о древней и новой Россіи“, „и русскій земледѣлецъ, мѣщанинъ, купецъ увидѣлъ нѣмцевъ въ русскихъ дворянахъ, ко вреду братскаго народнаго единодущія государственныхъ состояній“. Но политическій идеалъ славянофиловъ былъ иной. Они высоко цѣнили формы народнаго самоуправленія: вѣча, соборы; народное предста-

вительство вообще; цѣнили судъ и голосъ народный. Для Карамзина же „нѣтъ порядка безъ власти самодержавной“.

Вотъ въ главныхъ чертахъ теорія славянофильскаго ученія. Въ основу ея легли, дѣйствительно, „не изъ литературы почерпнутыя убѣжденія“, какъ говорилъ И. Кирѣевскій, а тѣ понятія и чувства, которые вынесены изъ домашняго воспитанія, но съ значительною примѣсью мистическихъ и философскихъ теорій того времени.

Въ славянофильство, впрочемъ, входитъ еще третій элементъ — симпатіи къ возрождавшемуся въ то время и боровшемуся за свою независимость славянству и мечты о православно-славянскомъ союзѣ въ будущемъ, но этотъ элементъ не игралъ главной роли въ ученіи славянофиловъ. Справедливо нѣкоторые находятъ, что самое названіе этой системы славянофильскою не точно, такъ-какъ не оправдывается сущностью ея содержанія, которая заключается, какъ мы видѣли, въ ученіи о національной самобытности Россіи и ея будущей высокой роли въ міровомъ развитіи.

Что касается дальнѣйшей исторіи славянофильства, она можетъ быть изложена въ общихъ чертахъ довольно кратко. Доктрина славянофиловъ не имѣла силъ къ развитію — въ ней не было того живого начала, въ которомъ заключается главное условіе существованія, укорененія, роста и распространенія идеи. Продержавшись съ трудомъ въ двухъ близкихъ другъ къ другу поколѣніяхъ, старшихъ и младшихъ славянофиловъ, она отразилась потомъ только частію у такихъ западниковъ, какъ Герценъ и Чернышевскій, частію у такъ называемыхъ „почвенниковъ“, какъ А. Григорьевъ, Н. Страховъ и Достоевскій, частію

у народниковъ семидесятниковъ, и была вскорѣ смыта болѣе жизненными и болѣе сильными теченіями. Ея дальнѣйшее существованіе до нѣкоторой степени поддерживала все болѣе и болѣе усиливавшаяся съ половины 60-хъ гг. реакція противъ освободительныхъ началъ эпохи великихъ реформъ. Да и въ дореформенный періодъ общественное вниманіе къ ней было не велико: оно временно возрастало только въ моменты административныхъ преслѣдованій, когда она заявляла о себѣ въ печати журнальными статьями или цѣлыми сборниками, а въ практической жизни — ношеніемъ бородъ, странныхъ кафтановъ и мурмулокъ.

Пропаганда славянофильскихъ идей, при всѣхъ усиліяхъ какъ старшаго, такъ и младшаго поколѣній славянофиловъ, никогда не имѣла замѣтнаго успѣха. Дальнѣйшей ходъ русской жизни ставилъ послѣднихъ въ очень трудное положеніе. Старшіе мало знали жизнь, мало испытывали трудности житейской борьбы, младшимъ пришлось познакомиться съ русскою дѣйствительностью гораздо ближе. Младшій изъ семьи Аксаковыхъ, И. Аксаковъ, прямо почти со школьной скамьи поступилъ на службу въ Московскій Сенатъ, потомъ перешелъ въ Калужскую Уголовную Палату, гдѣ лицомъ къ лицу столкнулся съ „черной неправдой“ дореформеннаго суда. Служба его при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, въ качествѣ чиновника особыхъ порученій, не обошлась также безъ непріятностей. Здѣсь помѣшала ему его страсть къ стихотворству: это послѣднее занятіе было найдено неприличнымъ для чиновника. Онъ выходитъ въ 1852 году въ отставку и начинаетъ заниматься литературой, но и на этомъ поприщѣ терпитъ невольныя неудачи. Въ 1855 году онъ

поступаетъ въ ополченіе, гдѣ его необыкновенная для того времени честность приносить ему новыя непріятности. Только съ 1856 года, при наступленіи болѣе благопріятныхъ условій для русской литературы и жизни, И. Аксаковъ находитъ возможнымъ всецѣло отдаться публицистической дѣятельности и создаетъ себѣ крупное имя, хотя также не безъ препятствій и огорченій. Ю. Самарину, почти ровеснику И. Аксакова, пришлось вынести на служебномъ и литературномъ поприщѣ такую же трудную борьбу съ противными теченіями. Эта близость къ жизни, это живое дѣятельное участіе въ ней, которое вызывало на борьбу съ „твердынею сплошного зла“, по выраженію Аксакова, ставило ихъ очень часто въ противорѣчіе съ искусственно созданною теоріею.

Доктрина старшихъ славянофиловъ основывалась главнымъ образомъ на иллюзіи, построенной изъ воспоминаній собственнаго привольнаго дѣтства въ благоустроенномъ помѣстьѣ и изъ семейныхъ преданій предшествовавшихъ поколѣній родовитаго русскаго дворянства. Мы знаемъ эти преданія, эту жизнь, покойную, патріархальную. Знаемъ наивное міросозерцаніе, которое складывалось въ головахъ птенцовъ, выращенныхъ въ теплѣ и холѣ и сдѣлавшихся потомъ основателями славянофильскаго ученія. Біографіи Кирѣевскихъ, Аксаковыхъ, Хомякова даютъ намъ яркія картины барской безмятежной жизни, обставленной всѣми удобствами, и свидѣлствуютъ о направленіи ихъ домашняго воспитанія въ духѣ строгаго православія и русскихъ національных началъ. Отсутствіе широкаго царившаго въ помѣщичьемъ кругу разгула страстей дѣлало жизнь въ этихъ семьяхъ ровною, невозмутимою, благообразною. Здѣсь не было грубаго произвола, не

было и развращающей, обезчеловѣчивающей чело-
вѣка утонченной свѣтскости. Все это способ-
ствовало развитію въ дѣтяхъ высокихъ душев-
ныхъ качествъ. Обширныя библіотеки, наполнен-
ныя умными книгами на иностранныхъ языкахъ,
серьезныя заботы о возможно широкомъ для того
времени образованіи служили дѣйствительными
средствами къ раннему пробужденію духовныхъ
интересовъ. Жизнь текла правильно въ этихъ
рѣдкихъ тогда „культурныхъ уголкахъ“. Книж-
ныхъ теоретическихъ знаній получалось много,
а знакомства съ дѣйствительностью, окружавшею
благоустроенную усадьбу, не было. Неудивительно,
что въ юныхъ головахъ будущихъ славянофиловъ
создавалась иллюзія спокойной и даже „величаво
текущей жизни“ народа. Семейныя преданія еще
сильнѣе укрѣпляли ее. Припомнимъ, какъ мягко,
увлекательно изображена деревенская жизнь и
отеческія отношенія помѣщика къ крестьянамъ
въ талантливо написанныхъ мемуарахъ Сергѣя
Тимофеевича Аксакова. Читая „Семейную хро-
нику“, или „Дѣтскіе годы Багрова внука“, мы
никакъ себѣ не представимъ помѣщичью власть
въ видѣ тяжелаго гнета надъ крестьянами. Даже
фигура дѣдушки Степана Михайловича, этого въ
сущности грубаго самодура, семейнаго деспота,
въ изображеніи Аксакова не возмущаетъ сильно
нашу душу, потому что моменты изъ его жизни
взяты такіе, въ которые слегка и не вполнѣ рас-
крываются существенные недостатки его нрава,
и мы только по нѣкоторымъ деталямъ, съ трудомъ
представляемъ себѣ этотъ характеръ въ настоя-
щемъ свѣтѣ. Читателю кажется, или, по крайней
мѣрѣ, можетъ казаться, что и крестьянамъ подъ
властью такого энергичнаго, заботливаго, спра-
ведливаго хозяина жилось недурно. Это отрѣшен-

ное отъ дѣйствительности, украшенное вымысломъ старыхъ преданій представлѣніе легло въ основу идеала патріархальнаго строя жизни, который славянофилы находили практически осуществимымъ. Они отыскиали его въ самомъ чистомъ, по ихъ мнѣнію, видѣ въ до петровской Руси и именно въ Московскомъ ея періодѣ; а такъ какъ знанія русской старины были въ то время невелики и неточны, то для ихъ фантазіи открывался широкій просторъ. Этотъ искусственно созданный идеалъ былъ настолько утопиченъ, настолько противорѣчилъ окружавшей ихъ жизни и истинному пониманію ея историческаго хода, что осуществленіе его было совершенно невозможно. Мыслимо ли было возстановленіе патріархальныхъ отношеній древней Руси въ XIX вѣкѣ? Создатели этой доктрины, старшіе славянофилы, витали больше въ отвлеченныхъ сферахъ, грубая дѣйствительность, повторяемъ, мало давала имъ себя чувствовать. Ихъ обезпеченность и унаслѣдованныя черты классовой психологіи не располагали къ энергической борьбѣ. Пошлость и пустота окружающаго общества загоняли ихъ въ кругъ идейныхъ, отвлеченныхъ интересовъ, а неудачи въ жизни—или за границу, или въ собственную деревню на тоскливую, праздную жизнь.

Въ иномъ положеніи, какъ мы видѣли, находились младшіе славянофилы. Чуть не прямо со школьной скамьи они бросились въ жизненный водоворотъ и коротко познакомились съ царившимъ вокругъ зломъ. Несмотря на воспринятую теорію самобытнаго развитія на народныхъ началахъ, жизнь заставила ихъ дѣйствовать въ прямо противоположномъ этой теоріи направленіи—быть помощниками правительства въ дѣлѣ проведенія реформъ въ западномъ духѣ и рабо-

татъ на ряду съ западниками. Они должны были бы понять, что зло, съ которымъ они боролись, наслѣдственное. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ до-петровскіе суды и приказы были лучше, чѣмъ чиновничество николаевскимъ временъ, развѣ судебная „волокига“ и взяточничество не наслѣдіе до-петровской Руси? Имъ долженъ бы былъ бросаться въ глаза и тотъ фактъ, что крѣпостники-помѣщики того времени, съ которыми мы знакомимся, напримѣръ, по разсказамъ Тургенева и которыхъ славянофилы встрѣчали въ самой жизни, дѣйствовали совсѣмъ не въ духѣ новаго европейскаго образованія, а на основаніи старыхъ преданій. Они были или людьми вовсе необразованными, или людьми только съ внѣшнимъ европейскимъ лоскомъ и усердно охраняли русскую самобытность отъ вторженія въ нее европейскихъ общественныхъ началъ. Герценъ, разсказывая о Москвѣ того времени, говоритъ, что онъ зналъ два только круга, два полюса ея общественной жизни — доживавшихъ свой вѣкъ стариковъ екатерининскаго времени и молодую Москву литературно-свѣтскую. „Что прозябало и жило между старцами пера и меча, ожидавшими своихъ похоронъ по рангу, и ихъ сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися „книжками и мыслями“, онъ не зналъ и не хотѣлъ знать. „Промежуточная среда эта была безцвѣтна и пошла“... Честнаго образованнаго человѣка въ то время надо было искать или среди славянофиловъ, или среди людей западначескаго направленія, подъ знаменемъ Бѣлинскаго. Но славянофиловъ можно было пересчитать по пальцамъ или всѣхъ усадить на одинъ диванъ, какъ выразилось одно высокопоставленное лицо при дворѣ, когда тамъ обезпокоились слухами

о ихъ вредномъ направленіи; а представители западничества были уже очень многочисленны. „Имя Бѣлинскаго“ писалъ изъ провинціи самъ И. Аксаковъ, „извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому жаждающему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Если вамъ нужно честнаго доктора, честнаго слѣдователя, ищите таковыхъ въ провинціи среди послѣдователей Бѣлинскаго. О славянофильствѣ здѣсь, въ провинціи, и слыхомъ не слыхать, — а если и слыхать, такъ отъ людей враждебныхъ направленію. Требованія эмансипаціи, желѣзныхъ путей и пр. и пр., сливающіяся теперь въ одинъ общій гулъ по всей Россіи, первоначально возникли не отъ насъ, а отъ западниковъ, и я помню время, когда, къ сожалѣнію, славянофилы, хотя и не всѣ, противились желѣзнымъ дорогамъ и эмансипаціи: послѣдней — потому только, что она формулирована была подъ вліяніемъ западныхъ идей. Вотъ въ Екатеринославской губерніи во всей нѣтъ ни одного экземпляра „Русской бесѣды“ (журналъ славянофиловъ), а получается „Русскій Вѣстникъ“ (тогда это былъ журналъ западниковъ) и другіе журналы. Въ нихъ слышится направленіе новое, требованіе просвѣщенія, жизни, простора; ему сочувствуютъ съ жаромъ“. Все, какъ видимъ, было противъ теоріи, созданной старшимъ поколѣніемъ славянофиловъ, и все, кажется, должно было бы младшихъ убѣждать въ ея полной несостоятельности; но плѣнительныя воспоминанія дѣтства, условія воспитанія и извѣстный душевный укладъ представляли неопределимую силу. Отказаться отъ идей, съ дѣтства вошедшихъ въ плоть и кровь, они не могли. Однако существованіе теоріи, рѣзко противорѣчившей требованіямъ жизни, было также

не мыслимо. Въ вышеприведенныхъ горькихъ словахъ И. Аксакова ясно читается смертный приговоръ направленію.

Славянофильство, дѣйствительно, начало умирать чуть не съ самой минуты рожденія, и къ 60-мъ годамъ, когда началось освободительное движеніе со вступленіемъ на престолъ Императора Александра II, оно оказалось безжизненнымъ трупомъ. Причина этого явленія заключается главнымъ образомъ въ томъ, что славянофильское ученіе, признавъ правовѣрное гегеліанство завершеніемъ западной мысли и связавъ себя съ положительнымъ началомъ позднѣйшей теоріи Шеллинга, не хотѣло признавать ничего того, что слѣдовало за системой Гегеля: ни лѣваго гегеліанства, ни позитивизма, ни увлеченія естественными науками, которое было также пережито русскимъ обществомъ въ 60-хъ годахъ вслѣдъ за Европой.

Младшіе славянофилы очень усердно старались пропагандировать свою доктрину, особенно къ концу своей дѣятельности, когда въ русской жизни стало замѣтно усиливаться реакціонное направленіе, но ихъ старанія все-таки не увѣнчались успѣхомъ.

Справедливость, однако, требуетъ отдать должную дань уваженія полной искренности ихъ увлеченій и непритворному народолюбію. Какъ старшіе, такъ и младшіе славянофилы за рѣдкими исключениями давно и горячо желали освобожденія народа. Вопросъ этотъ постоянно обсуждался въ ихъ средѣ. Знаменитый дѣятель крестьянскаго освобожденія кн. Черкасскій, не раздѣлявшій многихъ взглядовъ славянофиловъ, охотно принялъ участіе въ ихъ „Московскомъ Сборникѣ“, который они задумали издавать въ 1851 году съ

цѣлью распространѣнія здравыхъ понятій о крѣпостномъ правѣ, какъ тяжелою гнетѣ и тормазѣ народнаго развитія. Но второй томъ этого сборника, какъ извѣстно, не увидѣлъ свѣта, и участники его подверглись нѣкоторымъ административнымъ стѣсненіямъ. Позднѣе кн. Черкасскій сотрудничалъ въ другомъ славянофильскомъ журналѣ „Русская Бесѣда“. Мы увидимъ далѣе, что и другіе западники иногда симпатизировали ихъ искреннимъ стремленіямъ къ народному благу и увлекались проповѣдуемымъ ими общиннымъ началомъ.

Но главныя основы ихъ ученія были ошибочны до очевидности, и нѣкоторымъ наиболѣе развитымъ и сильнымъ умамъ того времени славянофильство или „славянизмъ“, какъ тогда говорили, представлялся чѣмъ-то эфемернымъ, скоропреходящимъ. Герценъ еще въ 44 г. предсказалъ скорое паденіе славянофильства. „Славянизмъ — мода, которая скоро надоѣстъ“, говоритъ онъ, „перенесенный изъ Европы и переложенный на наши нравы, онъ не имѣетъ въ себѣ ничего національнаго; это явленіе отвлеченное, книжное, литературное, — оно такъ же изсякнетъ, какъ отвлеченныя школы націоналистовъ въ Германіи, разбудившія славянизмъ“. Герценъ правъ: наше славянофильство очень сродни тевтономаніи и нѣмецкому мессіанизму; и его пророчество вскорѣ сбылось: настоящее славянофильство быстро „изсякло“, выродившись въ уродливый *націонализмъ*.

Старшіе и младшіе славянофилы думали о культурномъ развитіи родины, представляли Русь носителемъ важнаго всемірно-историческаго начала и пророчили ей славное будущее съ первенствующею ролью среди другихъ народовъ. Ихъ преемники, націоналисты, перестали заботиться

объ общечеловѣческой сторонѣ русской культуры, но не перестали возвеличивать ее надъ другими. Одинъ изъ націоналистовъ, Н. Я. Данилевскій, авторъ соч. „Россія и Европа“, смотритъ на Россію и Европу, какъ на два различные зоологическіе типа, не имѣющіе ничего общаго между собою, и находитъ, что въ Россіи все строго національно, что въ ней нѣтъ ничего всемірно-историческаго, другими словами, — общечеловѣческаго. Будучи натуралистомъ, но противникомъ эволюціонной теоріи Дарвина, онъ, строя свою философію исторіи, изобрѣтаетъ новую идею — неизмѣнныхъ, неподвижныхъ культурно-историческихъ типовъ. Эта идея даетъ ему возможность дѣлать широкія произвольныя обобщенія: въ одну группу онъ связываетъ все славянство и Россію, въ другую — всѣ остальные народы Европы, ставя ихъ въ непримиримо враждебныя отношенія. Отсюда выводится невозможность передачи европейской культуры славянамъ, а, слѣдовательно, и Россіи. Для насъ, по его мнѣнію, необходима самобытная, своя собственная, общеславянская цивилизація. Въ прекрасной своей статьѣ „Разложеніе славянофильства“ („Изъ исторіи русской интеллигенціи“. Сборникъ статей и этюдовъ) П. Н. Милуковъ, довольно подробно излагая содержаніе удивительной теоріи Данилевскаго, справедливо замѣчаетъ, что послѣднимъ практическимъ выводомъ изъ такой философіи исторіи неизбѣжно являются національный эгоизмъ и исключительность. Данилевскій находилъ ученіе славянофиловъ слишкомъ гуманитарнымъ. Для осуществленія своего идеала, для достиженія возможно полнаго развитія славянскаго культурнаго типа, онъ предлагаетъ такую практическую программу внѣшней политики: надо разрѣшить

восточный вопросъ, освободить славянъ, завоевать Константинополь, образовать славянскую федерацію. „Тамъ, гдѣ Данилевскій принимается характеризовать грядущую славянскую культуру“, говоритъ П. Н. Милюковъ, „она представляется ему или какъ сохраненіе стараго, или же въ совершенно неопредѣленныхъ очертаніяхъ. Религіозная жизнь славянства будетъ отличаться строго-охранительнымъ характеромъ, какъ и подобаетъ народамъ, которымъ ввѣрено охраненіе чистоты откровенной истины. Въ государственной жизни русскій народъ одинаково способенъ и жертвовать государству личными благами, и пользоваться политической и гражданской свободой: онъ можетъ „принять и выдержать всякую дозу свободы“; другими словами, вопросъ о формѣ государственности остается нерѣшеннымъ. Въ экономической жизни русская община представляетъ залогъ „общественно-экономическаго переустройства, справедливо обезпечивающаго народныя массы“: это, кажется, единственный пунктъ, на которомъ авторъ горячо настаиваетъ, какъ на общащемъ свѣтломъ будущемъ. Наконецъ, въ собственно культурной жизни (наука, искусство, техника) русскій народъ „обнаружилъ достаточно задатковъ художественнаго, а въ меньшей степени и научнаго развитія“; если эти задатки такъ и останутся пока одними задатками, то надо принять въ расчетъ молодость русскаго народа. Изъ настоящаго, стало быть, немногое оказалось возможнымъ вывести относительно будущаго (Данилевскій считалъ окончательное рѣшеніе вопроса о будущемъ славянской культуры преждевременнымъ). Естественно, что такой вѣрный послѣдователь Данилевскаго, какъ Н. Н. Страховъ, нашелъ послѣ этого возможнымъ всю программу,

вытекающую изъ теоріи учителя, резюмировать въ одномъ совѣтѣ: „быть самими собою“. Этотъ совѣтъ имѣетъ то большое достоинство, что не исполнять его мы не можемъ. Мы не можемъ быть не самими собою — и всегда оставались самими собою даже во всѣхъ крайностяхъ подражанія. Къ сожалѣнію, по той же причинѣ трудно найти въ совѣтѣ Н. Н. Страхова какое-нибудь опредѣленное содержаніе“.

Старшіе славянофилы, какъ мы видѣли, были на добрую половину консерваторами, тяготѣя къ допетровской старинѣ, но лучшіе изъ нихъ, никогда не были реакціонерами. Ихъ преемники, націоналисты, всегда являлись болѣе или менѣе рѣшительными противниками прогрессивнаго движенія. Если Н. Я. Данилевскій не рѣшается выступить съ опредѣленной реакціонной программой внутренней политики, которая логически выводится изъ самаго существа его теоріи, то ученикъ его, слѣдующій за нимъ націоналистъ, К. Леонтьевъ, романтикъ и мистикъ, не задумываясь, бросается въ самый отчаянный обскурантизмъ и крайности реакціи. Культурно-историческій процессъ въ его глазахъ имѣетъ смыслъ только потому, что результатомъ его является высокое развитіе нѣсколькихъ избранниковъ. Съ своей аристократической точки зрѣнія онъ ненавидитъ демократію, стремленіе къ общему благу, къ царству мѣщанства, къ которому онъ относится съ отвращеніемъ. Надо остановить, по его мнѣнію, этотъ „либерально-эгалитарный прогрессъ“, ведущій Россію по европейскому пути прямо въ бездну. Здѣсь онъ соприкасается съ славянофильской теоріей, которая также съ недо-вѣріемъ относилась къ западному развитію и указывала намъ иной путь. Но славянофилы надѣя-

лись на прочность и силу національных основъ, заложенныхъ въ глубинахъ народнаго духа, и твердо вѣрили въ славное будущее. К. Леонтьевъ не раздѣляетъ этой вѣры и трепещетъ отъ страха передъ бездной, въ которую по наклонной плоскости стремительно летитъ Россія. Чтобы спасти ее, онъ строитъ довольно оригинальную теорію органическаго развитія. У своего учителя, Данилевскаго, онъ беретъ не теорію культурноисторическихъ типовъ, а развиваетъ главнымъ образомъ его ученіе о возрастахъ въ жизни отдѣльной національности. Три періода развитія, по мнѣнію К. Леонтьева, проходитъ каждая національность: 1) періодъ первоначальной простоты, неразвитости, 2) періодъ перехода отъ простѣйшаго къ сложнѣйшему — періодъ цвѣтенія, и, наконецъ, 3) періодъ разрушенія, упадка, возвращенія къ простотѣ, „періодъ смѣсительнаго упрощенія“, какъ онъ выражается. Для насъ уже не новостъ такая игра сравненіями, метафорами. Припомнимъ взгляды нашихъ шеллингянцевъ на историческій процессъ — и тамъ также историческое развитіе націи уподобляется развитію растенія изъ сѣмени, слѣдовательно, и тамъ можно найти всѣ указанные періоды. Всякія органическія теоріи общественнаго развитія всегда, какъ извѣстно, склонны злоупотреблять подобными приѣмами для своихъ цѣлей. И К. Леонтьевъ очень ловко пользуется указанной теоріей, чтобы провести свою тенденцію. Второй періодъ въ исторіи Европы — „періодъ цвѣтущей сложности“, онъ видитъ въ среднихъ вѣкахъ, какъ времени величайшаго неравенства положеній, разнообразія частей государственныхъ организмовъ; а новое время въ исторіи, время развитія идей свободы и равенства, представляется ему періодомъ упадка, „пе-

ріодомъ смѣсительнаго упрощенія“, разрушенія всего сложнаго, національнаго, самобытнаго. „Либерально-эгалитарный прогрессъ“, уравнивающий и дезорганизирующій прогрессъ демократіи все губить. Всѣ европейскія націи подошли къ страшной безднѣ. Спасеніе возможно для Россіи, для славянства (на послѣднее, впрочемъ, онъ мало надѣется); но оно должно совершиться не при помощи принциповъ либерально-демократическихъ, ведущихъ Европу по пути разложенія, смерти, а съ помощію принциповъ византійскихъ. „Византизмъ далъ намъ всю силу нашу въ борьбѣ съ Польшей, со шведами, съ Франціей и съ Турціей“, говоритъ К. Леонтьевъ, „подъ его знаменемъ, если мы будемъ вѣрны, мы, конечно, будемъ въ силахъ выдержать натискъ и цѣлой интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все благородное, осмѣлилась когда-нибудь и намъ предписать гниль и смрадъ своихъ новыхъ законовъ о мелкомъ земномъ всеблаженствѣ, о земной радикальной всепошлости“. Россія должна, по его мнѣнію, жить старыми культурными началами, заимствованными изъ Византіи: самодержавіемъ, православіемъ и аскетическимъ взглядомъ на все земное. Спасти Россію можно только, подморозивъ ее, чтобы она не жила, чтобы остановить уже начавшійся въ ней „либерально-эгалитарный прогрессъ“. Для этой цѣли всѣ средства хороши. И онъ возлагаетъ надежду на хорошо организованную полицію. „Какое дѣло честной, исторической, реальной наукѣ до неудобствъ, до потребностей, до деспотизма, до страданій?“ — спрашиваетъ К. Леонтьевъ: „Къ чему эти не научныя сентиментальности, столь выдохшіяся въ наше время, столь прозаическія вдобавокъ, столь бездарныя? Что мнѣ за дѣло въ подобномъ вопросѣ

до самыхъ стонѣвъ человѣчества?“... „Страданія сопровождаютъ одинаково и процессъ роста, и развитія, и процессъ разложенія... Все болитъ у древа жизни людской“... Но гдѣ же, подумаетъ читатель, вторая византийская основа, религиозная, гдѣ же религія евангельской любви и правды? К. Леонтьевъ очень опредѣленно отвѣчаетъ на это: „Божественная истина Евангелія земной правды не общала, свободы юридической не проповѣдовала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и въ цѣпяхъ. Мученики за вѣру были при туркахъ; при бельгійской конституціи едва ли будутъ и преподобные“... „Смѣсь страха и любви — вотъ чѣмъ должны жить человѣческія общества, если они жить хотятъ... Смѣсь любви и страха въ сердцахъ... Священный ужасъ передъ извѣстными идеальными предѣлами; любящій страхъ (?) передъ нѣкоторыми лицами; чувство искреннее, а не притворное, только для политики; благоговѣніе, при видѣ даже одномъ, иныхъ вещественныхъ предметовъ“... Самое „исканіе всечеловѣческой равноправности, всечеловѣческой правды“ онъ называетъ „могучимъ ядомъ, разлагающимъ постепеннымъ дѣйствіемъ своимъ всѣ европейскія общества“. Религія у него является практическимъ и вѣрнымъ средствомъ „для сдерживанія людскихъ массъ желѣзной рукавицей“. Христіанство, какъ религія любви къ ближнему, называется у него „христіанствомъ на розовой водицѣ“. Онъ осыпалъ упреками за „розовое“ христіанство двухъ нашихъ великихъ писателей: Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевскаго. Даже послѣдній, при всей его болѣзненной любви къ мучительству, К. Леонтьеву казался „розовымъ“.

Мы остановились нѣсколько дольше на практической политикѣ этого націоналиста, чтобы

яснѣе показать, къ чему приводитъ идея національной самобытности людей, у которыхъ отсутствуетъ настоящее научное понятіе о національности, какъ измѣнчивомъ результатѣ прошлой жизни народа, прожитой при извѣстной исторической обстановкѣ и условіяхъ, которыя въ свою очередь измѣняются такъ же, какъ и все существующее. Суровый консерваторъ и крайній реакціонеръ, отрицающій космополитическій, общечеловѣческій элементъ, безъ котораго невозможно никакое національное развитіе, онъ рекомендуетъ „бичи, темницы, топоры“, какъ лучшія средства спасенія дорогой родины отъ губительной европейской заразы. „Пора учиться дѣлать реакцію!“ восклицаетъ онъ. Одобривъ реформы 60-хъ годовъ только потому, что ихъ угодно было произвести самому государю, онъ находитъ, что мы должны просить преемника царя-освободителя, Александра III-го, „править нами грознѣе“. Возлагая надежду на византизмъ, который, по его мнѣнію, проникаетъ всѣ сферы нашей великорусской жизни, онъ какъ бы забываетъ, что и византизмъ — чужое, заимствованное добро, и Россію представляетъ бѣлымъ листомъ, на которомъ можно писать, что угодно. Сходясь съ славянофилами во взглядѣ на разложеніе Европы, онъ расходится съ ними въ томъ, что это разложеніе считаетъ не результатомъ того невѣрнаго и гибельнаго принципа разсудочности, на которомъ, по мнѣнію славянофиловъ, построена вся европейская цивилизація, а естественнымъ смертнымъ концомъ націй, доживающихъ свой послѣдній, старческій періодъ. Вотъ почему онъ желаетъ вытравить изъ насъ все европейское, какъ вредное нашему организму, тогда какъ славянофилы желали сохранить многое изъ того, что пріобрѣтено нами отъ Европы,

и отказывались главнымъ образомъ отъ принципа разсудочности. Младшій изъ славянофиловъ, И. С. Аксаковъ, не признавалъ политическихъ и религіозныхъ воззрѣній Леонтьева, находя въ нихъ справедливо „сластолюбивый культъ палки“. Будучи медикомъ по образованію, Леонтьевъ держится, какъ мы видѣли, натуралистической, органической теоріи развитія національностей, но примѣшиваетъ къ ней весьма значительную долю мистицизма. Его аристократическая точка зрѣнія на историческій процессъ заставляетъ его быть безпощаднымъ къ людямъ; милліоны ихъ пусть живутъ „цѣлые вѣка подъ давленіемъ трехъ атмосферъ — чиновничьей, помѣщичьей и церковной“, лишь бы въ результатъ появился Пушкинъ съ „Евгеніемъ Онегинымъ“ и „Борисомъ Годуновымъ“ (какъ будто Пушкинъ — результатъ этого давленія!). Этотъ аристократизмъ, вмѣстѣ съ имморализмомъ и культомъ силы и красоты роднитъ его съ Ничше, но въ то же время отъ настоящаго ничшеанства онъ спасается въ монашеской кельѣ. Извѣстно, что онъ въ концѣ-концовъ свою блестящую дипломатическую карьеру бросилъ ради послушничества на „Авонтъ“ и клобука въ „Оптиной Пустынѣ“. Его можно скорѣе признать сумасшедшимъ, чѣмъ заподозрить въ искренности. Но мы не беремся здѣсь рѣшать этотъ психологическій вопросъ, хотя не отрицаемъ его важности. Психологія мистицизма — вопросъ мудреный, трудный, открытый: онъ ждетъ своего изслѣдователя, и, думаемъ, очень долго будетъ находиться въ такомъ положеніи. Мы считаемъ своею обязанностью обратить вниманіе на другую сторону мистицизма К. Леонтьева, на его вредное, крайне реакціонное направленіе. Его публицистическія, историческія, критическія сочиненія

распространялись въ тяжелую пору 80-хъ годовъ и были на руку всѣмъ искреннимъ и неискреннимъ реакціонерамъ. Политическіе взгляды Леонтьева и рекомендуемые имъ практическіе приемы внутренней политики были одобряемы въ то время, хотя и не сполна, нашей администраціей. Для насъ они особенно интересны своими самобытными основаніями и вожделѣніями, своими стремленіями вырвать съ корнемъ все космополитическое, другими словами опустошить нашу душу. Какъ все это напоминаетъ давнишнюю, старую борьбу, уходящую въ глубь вѣковъ русской исторіи! Весь византизмъ Леонтьева пропитанъ духомъ русской старины, отрицавшей универсальный характеръ христіанства, считавшей всѣ другіе даже христіанскіе народы погаными. Всѣ стремленія его темной души, проникнутой старымъ изувѣрствомъ, находились въ полномъ противорѣчій съ истинными началами религіи мира и любви. Онъ представляется намъ вовсе не исключительнымъ явленіемъ, какъ нѣкоторымъ изслѣдователямъ. Мы видимъ въ немъ типичнаго *русскаго консерватора*. Какъ романтикъ реакціи, въ которомъ съ вулканическою силою клокотало постоянно чувство, подавляя разумъ, онъ, съ изумительною, ничѣмъ не сдерживаемою откровенностью, до дна обнаружилъ передъ нами свою душу. Никто изъ консерваторовъ самыхъ крайнихъ, самыхъ свирѣпыхъ никогда не исповѣдовался такъ чистосердечно, такъ всенародно, — никто изъ нихъ не говорилъ съ такимъ паѳосомъ. И мы благодарны ему за это: онъ раскрылъ передъ нами душу русскаго консерватизма. Въ самомъ дѣлѣ, въ Россіи никогда не было настоящаго консерватизма и не было настоящей, правильной реакціи. Послѣдняя обыкновенно свирѣпствовала

у насъ. Она всегда оказывалась продолжительною, затяжною и старалась не исправлять ошибки, увлеченія, крайности предшествовавшаго направленія, а сама впадала въ крайности и стремилась вырвать съ корнемъ вонъ, стереть съ лица земли все достигнутое, приобрѣтенное раньше. Это стремленіе къ застою, къ полной неподвижности, это „замораживаніе дорогой родины“ совершалось каждый разъ, точно по предписанію К. Леонтьева. Такого полного, до цинизма откровеннаго и искренняго выраженія русской реакціи, какъ у К. Леонтьева, мы не встрѣчали ни у кого. Итакъ, вотъ во что выродилось славянофильское ученіе. Есть еще, правда, лѣвая сторона славянофильства, какъ удачно называетъ ученіе В. С. Соловьева П. Н. Милюковъ. Но о Соловьевѣ у насъ рѣчь впереди.

/ Мы переходимъ теперь къ характеристикѣ западническаго направленія, но не будемъ особенно вдаваться въ подробности, потому что дальнѣйшій рассказъ нашъ и въ особенности знакомство съ жизнью и дѣятельностью Бѣлинскаго и Тургенева дадутъ намъ послѣдовательный рядъ фактовъ, на которыхъ мы всего яснѣе прослѣдимъ, какъ самый процессъ развитія западническихъ взглядовъ, такъ и борьбу между двумя главными теченіями общественной мысли: западническимъ и славянофильскимъ. Здѣсь мы только укажемъ основныя положенія западниковъ. Западники признавали духовную солидарность Россіи и Европы. Они выдвигали впередъ идею личности, ея духовнаго развитія и ея общественныхъ правъ. Противъ славянофильства они стояли дружно и въ этихъ основныхъ пунктахъ не расходились между собою. Но въ нѣкоторыхъ другихъ вопросахъ и у нихъ, какъ мы увидимъ, не было со-

гласія, возникали споры, происходили разрывы... Общечеловѣческіе принципы горячо отстаивались западниками, хотя они нисколько не отрицали, что въ примѣненіи этихъ общихъ принциповъ къ условіямъ мѣста и національной среды должны проявиться особенности племенныхъ и національных характеровъ. Они защищали отъ славянофильскихъ нападеній реформаторскую дѣятельность Петра. Съ ихъ точки зрѣнія онъ явился выразителемъ давнихъ стремленій русскаго ума къ европейскому, т.-е. общечеловѣческому знанію. Европейскія формы жизни и европейская цивилизація представлялись имъ высшимъ благомъ, къ достиженію котораго мы должны стремиться.

- Западники, конечно, были правы, настаивая на общечеловѣческихъ началахъ, которые не только не исключаютъ національную самобытность, но даже вызываютъ ее къ жизни, даютъ ей возможность проявиться полнѣе. Но то, что представляется намъ теперь аксіомой, полстолѣтія и болѣе назадъ было неяснымъ, спорнымъ вопросомъ, и многіе лучшіе умы того времени не могли разобратся въ немъ, какъ слѣдуетъ.

Въ настоящее время болѣе, чѣмъ когда-нибудь, стало ясно, что Россія въ своемъ развитіи идетъ по европейскому пути. Главныя положенія славянофильскаго ученія такъ же, какъ и основы нашего „народничества“ 70-хъ гг. и узкаго націонализма, сходныя съ славянофильствомъ въ нѣкоторыхъ чертахъ, давно опровергнуты самымъ ходомъ нашей жизни. Слово „западникъ“ у насъ не въ употребленіи, но взгляды западниковъ сдѣлались общепринятыми взглядами: они оправданы строго научными изслѣдованіями и всей исторіей нашей жизни. Теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь, прогрессивное направленіе мысли у насъ можетъ

быть названо западническимъ, а реакціонныя стремленія — славянофильскими или націоналистическими. Современные намъ, очень рѣдкіе послѣдователи славянофильства, хотя и не вполне принимающіе это ученіе, но все же близкіе къ нему во многомъ, оказались скорѣе на сторонѣ регресса, чѣмъ прогресса. Односторонніе защитники русской самобытности не понимали и не понимаютъ до сихъ поръ, что живыя творческія силы всякаго историческаго народа одинаково стремятся къ свѣту науки, свободѣ, къ доступному всѣмъ пользованію благами цивилизаціи, т.-е. къ болѣе справедливому порядку вещей, и эти стремленія, общія всѣмъ цивилизованнымъ народамъ, повторяемъ, нисколько не уничтожаютъ національной самобытности, напротивъ, даютъ ей большій просторъ.

IX.

Разногласія, споры и разрывы въ московскихъ кружкахъ 40-хъ годовъ.

Познакомившись съ основными взглядами славянофиловъ и западниковъ, мы переходимъ къ разсказу о происходившихъ между ними спорахъ. Въ началѣ 40-хъ годовъ, какъ уже сказано, члены кружка Станкевича, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, находившихся за границей, и Бѣлинскаго, перебравшагося въ Петербургъ, вновь собрались въ Москву. Сюда же возвратился изъ Новгорода и Герценъ. „Я засталъ“, говоритъ онъ, „оба стана на барьерѣ. Славяне (т.-е. славянофилы) были въ полномъ боевомъ порядкѣ со своей легкой кавалеріей подъ начальствомъ Хомякова и чрезвычайно

тяжелой пѣхотой Шевырева и Погодина, со своими застрѣльщиками, охотниками, ультра-якобинцами, отвергавшими все, бывшее послѣ кievскаго періода, и умѣренными жирондистами, отвергавшими только петербургскій періодъ; у нихъ были свои кафедры (Шевыревъ и Погодинъ) въ университетѣ, свое ежемѣсячное обозрѣніе „(Москвитянинъ“, перешедшій въ это время въ руки славянофиловъ), выходившее всегда два мѣсяца позже, но все же выходившее. При главномъ корпусѣ состояли православные гегеліанцы, византійскіе богословы, мистическіе поэты, множество женщинъ и пр. и пр.“

„Война наша сильно занимала литературные салоны въ Москвѣ. Вообще Москва входила тогда въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становятся вопросами жизни. Появленіе замѣчательной книги, напр., „Мертвыхъ душъ“, составляло событіе, критики и антикритики читались и комментировались съ тѣмъ вниманіемъ, съ которымъ, бывало, въ Англіи или во Франціи слѣдили за парламентскими преніями. Подавленность всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности бросала образованную часть общества въ книжный міръ, и въ немъ одномъ дѣйствительно совершался глухо и полусловами протестъ противъ гнета“.

При этомъ московскія дворянскія гостинныя играли роль французскихъ салоновъ. Воскресенья у А. П. Елагиной (матери братьевъ П. В. и И. В. Кирѣевскихъ), понедѣльники у Чаадаева, четверги у Кошелевыхъ, пятницы у Свербеевыхъ собирали еженедѣльно все, что было даровитаго, выдающагося въ русской литературѣ и наукѣ. Здѣсь ранѣ бывали Пушкинъ, Жуковскій и Мицкевичъ,

„давали тонъ декабристы“, „смѣялся Грибоѣдовъ“, потомъ Гоголь читалъ свои комедіи и первыя главы „Мертвыхъ душъ“ до ихъ появленія въ печати. „Здѣсь въ 40-хъ гг., говоритъ Герценъ“, „А. С. Хомяковъ спорилъ до четырехъ часовъ утра, начавши въ девять; К. Аксаковъ съ мурмолкой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ“... „Р. (проф. Рѣдкинъ) выводилъ логически личнаго бога *ad majorem gloriam Hegelyj*, Грановскій являлся со своей тихой, но твердой рѣчью, все помнили Бакунина и Станкевича, Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску, лицомъ, сердилъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными“... „Боткинъ и Крюковъ (профессоръ Моск. ун.) пантеистически наслаждались рассказами М. С. Щепкина, наконецъ, иногда падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало“. Москва 40-хъ годовъ, принимала живѣйшее участіе въ спорахъ западниковъ съ славянофилами. „Барыни и барышни“, по словамъ Герцена, „читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за К. Аксакова или Грановскаго, жалѣя только, что Аксаковъ слишкомъ славянинъ, а Грановскій недостаточно патріотъ“.

А. С. Хомяковъ, одинъ изъ основателей славянофильства, былъ самымъ опаснымъ противникомъ. При необыкновенной даровитости и большой начитанности, онъ обладалъ искусствомъ спорить и чаще другихъ разбивалъ наголову своихъ противниковъ. Но когда въ споръ вступалъ Герценъ, роли мѣнялись.

„Философскіе споры Хомякова“, рассказываетъ

Герценъ, „состояли въ томъ, что онъ отвергалъ возможность разумомъ дойти до истины; онъ разуму давалъ одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, иначе получаемыя, относительно готовыя (т.-е. даваемыя откровеніемъ, получаемыя вѣрой). Если же разумъ оставить на самого себя, то бродя въ пустотѣ и строя категорію за категоріей, онъ можетъ обличить свои законы, но никогда не дойдетъ ни до понятія о духѣ, ни до понятія о безсмертіи и пр. На этомъ Хомяковъ билъ на голову людей, остановившихся между религіей и наукой. Какъ они ни бились въ формахъ гегелевской методы, какія ни дѣлали построенія, Хомяковъ шелъ съ ними шагъ въ шагъ и подъ конецъ дулъ на карточный домикъ логическихъ формулъ или подставлялъ ногу и заставлялъ ихъ падать въ матеріализмъ, отъ котораго они отрекались стыдливо, или въ атеизмъ, котораго они просто боялись“.

„Присутствуя нѣсколько разъ при его спорахъ я замѣтилъ эту уловку, и въ первый разъ, когда мнѣ самому пришлось помѣриться съ нимъ, я его самъ завлекъ къ этимъ выводамъ. Хомяковъ шурилъ свой косою глазь, потряхивалъ черными, какъ смоль, кудрями и впередъ улыбался.

— Знаете ли что,— сказалъ онъ вдругъ, какъ бы удивляясь самъ новой мысли,— не только однимъ разумомъ нельзя дойти до разумнаго духа, развивающагося въ природѣ, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, какъ простое, безпрерывное броженіе, не имѣющее цѣли, и которое можетъ и продолжаться, и остановиться. А если это такъ, то вы не докажете и того, что исторія не оборвется завтра, не погибнетъ съ родомъ человѣческимъ, съ планетой?

— Я вамъ и не говорилъ,— отвѣтилъ я ему,—

что я берусь это доказывать, я очень хорошо зналъ, что это невозможно.

— Какъ? — сказалъ Хомяковъ, нѣсколько удивленный, — вы можете принимать эти страшные результаты свирѣпѣйшей имманенціи и въ вашей душѣ ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы отъ того, хочу я ихъ или нѣтъ.

— Ну вы, по крайней мѣрѣ, послѣдовательны; однако какъ человѣку надо свихнуть себѣ душу, чтобы примириться съ этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть къ нимъ.

— Докажите мнѣ, что не наука ваша истиннѣе, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, къ чему бы она меня ни привела.

— Для этого надобно вѣру.

— Но, Алексѣй Степановичъ, вы знаете: „на нѣтъ, и суда нѣтъ“.

Споръ этимъ и закончился, и разговоръ перешелъ на другіе предметы. „Хомяковъ“, прибавляетъ Герценъ, „можетъ быть, непрерывной суетой споровъ и хлопотливой праздною полемикой заглушалъ то же чувство пустоты, которое, съ своей стороны, заглушало все свѣтлое въ его товарищахъ и ближайшихъ друзьяхъ, въ Кирѣевскихъ“.

Жизнь старшаго И. В. Кирѣевского не удалась. Его, по словамъ Герцена, „заѣла ржа страшнаго времени“. Въ 1833 г. онъ если и не принадлежалъ всецѣло къ западническому строю мыслей, то по крайней мѣрѣ цѣнилъ и уважалъ западную науку, и принялся за изданіе журнала „Европеецъ“; двѣ вышедшія книжки были превосходны, но на второй, какъ мы уже говорили, журналъ былъ запрещенъ. Кирѣевскій помѣстилъ, потомъ, статью о Новиковѣ въ „Денницѣ“, и это изданіе было

задержано, цензоръ Глинка, пропустившій статью, посаженъ подъ арестъ. Съ глубокой скорбью въ душѣ И. Кирѣевскій уѣхалъ въ деревню и черезъ десять лѣтъ вернулся въ Москву мистикомъ. Братъ его, П. В. Кирѣевскій, впалъ въ еще большія крайности. Въ „его угрюмомъ націонализмѣ“, говоритъ Герценъ, „было полное, оконченное отчужденіе всего западнаго“. Герценъ, самъ пережившій періодъ религіознаго мистицизма, щадилъ Кирѣевскихъ и глубоко скорбѣлъ за нихъ душой. На старшаго онъ смотрѣлъ, „какъ на вдову или мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утѣшеніе:

Погоди немного,
Отдохнешь и ты.

„Жаль было“, говоритъ онъ, „разрушать его мистицизмъ“.

Характеризуя старшее поколѣніе славянофиловъ, Герценъ совершенно вѣрно замѣчаетъ: „ихъ общее несчастье состояло въ томъ, что они родились или слишкомъ рано, или слишкомъ поздно; 14-е декабря застало ихъ юношами“... „Ихъ встрѣтили тѣ десять лѣтъ, которыя оканчиваются мрачнымъ письмомъ Чаадаева. Разумѣется, въ десять лѣтъ они не могли состарѣться, но они сломились, затаились, окруженные обществомъ безъ живыхъ интересовъ, жалкимъ, струсившимъ, подобоострастнымъ. И это были десять первыхъ лѣтъ юности! По неволѣ приходилось, какъ Онѣгину, завидовать параличу тульского засѣдателя, уѣхать въ Персію, какъ Печоринъ Лермонтова, идти въ католики, какъ настоящій Печоринъ (талантливый проф. Московск. универс.) или: броситься... въ неистовый славянизмъ, если нѣтъ желанія пить

запоемъ, съѣчь мужиковъ или играть въ карты. И они бросились въ славянизмъ“.

Болѣе молодые откликнулись на ихъ призывъ. Это были члены кружка Станкевича, среди которыхъ находились выдающіеся по уму люди, какъ К. Аксаковъ и Ю. Самаринъ. К. Аксаковъ съ фанатической вѣрой отдался славянофильскому ученію. Вся жизнь его прошла въ горячей проповѣди общины, артели и страстномъ протестѣ противъ петровской реформы и петербургскаго періода нашей исторіи во имя подавленной ими жизни народа и его самобытнаго развитія. „Москва — столица русскаго народа“, говорилъ онъ, „а Петербургъ — только резиденція императора“. — „И замѣьте“, отвѣчалъ ему на это Герценъ, „какъ далеко идетъ это различіе: въ Москвѣ васъ непременно посадятъ на „сѣзжу“, а въ Петербургѣ сведутъ на гауптвахту“. „Аксаковъ“, говоритъ Герценъ, „остался до конца жизни вѣчнымъ восторженнымъ и безпредѣльно благороднымъ юношей; онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда былъ чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотѣли больше встрѣчаться, я какъ-то шелъ по улицѣ. К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. „Мнѣ слишкомъ больно“, сказалъ онъ, „проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего! Я хотѣлъ пожать вамъ руку и проститься“. Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился; я стоялъ на томъ же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко по-

цѣловаль. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту!“

Ссора, о которой здѣсь разсказывается, являлась результатомъ горячей полемики. Какъ ни сильны были уваженіе и дружба между противниками, но разница во взглядахъ тѣхъ и другихъ становилась такъ велика, что разрывъ былъ неизбеженъ. Герценъ и Грановскій усиленно старались о томъ, чтобы изъ этого разномыслія не дѣлать личнаго вопроса, но Бѣлинскій горячился и осыпалъ ихъ упреками въ письмахъ изъ Петербурга. Онъ не щадилъ литературныхъ враговъ въ своихъ журнальныхъ статьяхъ. „Москвитинъ“, раздраженный и Бѣлинскимъ, и успѣхомъ западначескаго журнала „Отечественныя Записки“, въ которыхъ работалъ послѣдній; и успѣхомъ публичныхъ чтеній Грановскаго, отвѣчалъ въ своихъ статьяхъ прямо доносомъ, говоря о Бѣлинскомъ, какъ о человѣкѣ опасномъ, жаждущемъ разрушенія. Послѣдней каплей, переполнившей чашу терпѣнія западниковъ, было стихотвореніе поэта Языкова, единомышленника славянофиловъ; въ этомъ произведеніи Чаадаевъ представлялся отступникомъ отъ православія, Грановскій назывался лжеучителемъ, растлѣвающимъ юношей, Герценъ — лакеемъ западной науки, и всѣ трое — измѣнниками отечеству. Этотъ печатный пасквиль или, вѣрнѣе, плохо замаскированный доносъ (хотя вышеназванные лица въ стихотвореніи не назывались по именамъ, но читатели легко узнавали ихъ) повелъ къ окончательному разрыву между друзьями. Возбужденіе между обѣими сторонами было такъ сильно, что дѣло едва не кончилось дуэлью между И. Кирѣевскимъ и Грановскимъ. Друзьямъ пришлось употребить большія усилія, чтобы устранить кровавую развязку ссоры.

Такъ совершилось окончательное распаденіе знаменитаго философскаго кружка на два враждебные лагеря, борьба между которыми продолжалась уже исключительно на страницахъ журналовъ.

Но и среди тѣсной московской кучки тогдашнихъ западниковъ дѣло не обошлось безъ разногласій по нѣкоторымъ вопросамъ и разрывовъ, также сопровождавшихся грустными, трогательными сценами. Всеобъемлющая система Гегеля, вслѣдствіе своей полной отрѣшенности отъ живого, конкретного содержанія, смогла только на нѣкоторое время объединить людей различныхъ направленій и оттѣнковъ мысли, но была не въ силахъ спаять ихъ настолько крѣпко, чтобы этотъ союзъ не разорвался. „Злые споры“ среди западниковъ не замедлили начаться въ 1845 г. „Вопросы, до которыхъ мы коснулись“, говоритъ Герценъ, „не были случайны, ихъ, какъ суженаго, нельзя было на конѣ объѣхать. Это тѣ гранитные камни преткновенія на дорогѣ знанія, которые во всѣ времена были одни и тѣ же, пугали людей и манили къ себѣ. И такъ какъ либерализмъ, послѣдовательно проведенный, непременно поставитъ человѣка лицомъ къ лицу съ социальнымъ вопросомъ, такъ наука, — если только человѣкъ ввѣрится ей безъ якоря, — непременно прибьетъ его своими волнами къ сѣдымъ утесамъ, о которые бились отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта и Гегеля всѣ, дерзавшіе думать. Въмѣсто простыхъ объясненій почти всѣ пытались ихъ обогнуть и только покрывали ихъ новыми слоями символовъ и аллегорій, а пловцы боятся ѣхать прямо и убѣдиться, что это вовсе не скалы, а одинъ туманъ, фантастически освѣщенный. Люди боятся страшнаго суда разума“... „Казнить

вѣрованія не такъ легко, какъ кажется; трудно разставаться съ мыслями, съ которыми мы выросли, сжились, которыя насъ лелѣяли, утѣшали — пожертвовать ими кажется неблагодарностью“... „Люди боятся своей логики и, опротивительно вызвавъ передъ ея судъ церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло, стремятся спасти клочки, отрывки стараго. Отказываясь отъ христіанства, берегутъ безсмертіе души, идеализмъ, Провидѣніе. Люди, шедшіе вмѣстѣ, тутъ расходятся: одни идутъ направо, другіе — налево; одни замираютъ на полдорогѣ, какъ верстовые столбы, показывая, сколько пройдено; другіе бросаютъ послѣднюю ношу прошедшаго и идутъ бодро впередъ. Переходя изъ стараго міра въ новый, ничего нельзя взять съ собою“.

Бѣлинскій, Огаревъ и Герценъ шли дружно; въ рѣшеніи этихъ вопросовъ у нихъ не было разномыслія. Лицейская и университетская молодежь была подъ ихъ вліяніемъ. Даже въ духовныхъ училищахъ было замѣчено вѣяніе новаго духа, и митрополитъ московскій Филаретъ грозилъ „принять душеоборонительныя мѣры“ противъ вредной заразы. Но со многими другими друзьями, не исключая и нѣкоторыхъ очень близкихъ, имъ пришлось разойтись. „Я вѣрилъ“, говоритъ Герценъ, „въ силу и волю друзей, имъ же не вновь приходилось искать фарватера, какъ Бѣлинскому и мнѣ. Долго бились мы съ нимъ въ бѣличьемъ колесѣ діалектическихъ построеній, и выпрыгнули, наконецъ, изъ него на свой страхъ. У нихъ былъ нашъ примѣръ передъ глазами и Фейербахъ въ рукахъ“. Но ни Фейербахъ, ни живые примѣры не дѣйствовали. Исходя изъ однихъ и тѣхъ же общихъ философскихъ положеній, друзья приходили къ разнымъ выводамъ

по частнымъ вопросамъ и не столько вслѣдствіе различія въ степени пониманія, сколько вслѣдствіе разности душевнаго уклада, домашняго воспитанія и условій жизни. Одному требовалось непремѣнно вывести логическое построеніе личнаго духа, другому — личное безсмертіе и т. п. „Кромѣ Бѣлинскаго, я расходился со всѣми, съ Грановскимъ и Е. К. (Евг. Коршемъ)“, говоритъ Герценъ. Рассказывая о сценѣ въ одной изъ московскихъ дачныхъ мѣстностей, въ Соколовѣ, гдѣ произошелъ разрывъ у него и Огарева съ Грановскимъ, онъ прибавляетъ: „точно кто-нибудь близкій умеръ, такъ было тяжело“...

Вскорѣ Герценъ уѣхалъ за границу, и обстоятельства сложились такъ, что онъ остался тамъ до конца жизни. Лучшимъ періодомъ его литературной дѣятельности въ Россіи считаются послѣдніе годы, проведенные въ Москвѣ. Въ это время написаны повѣсти: „Соровка-воровка“, „Докторъ Круповъ“, романъ „Кто виноватъ“, статьи: „По поводу одной драмы, „Диллетантизмъ въ наукѣ“, „Дилетанты-романтики“, „Цехъ ученыхъ и буддизмъ въ наукѣ“ и др. Произведенія эти полны глубокихъ идей, не потерявшихъ всей своей силы до нашего времени. Вопросы семейной жизни и крѣпостнаго состоянія, тѣсно связанные съ вопросомъ о положеніи забитаго, угнетеннаго человѣка, вопросъ объ отношеніи науки къ жизни, требованіе отъ первой безбоязненныхъ, вѣрныхъ выводовъ и служенія второй, требованіе отъ человѣка науки быть защитникомъ истины и борцомъ за правду — составляютъ содержаніе ихъ. Герценъ быстро развивался въ это время и шелъ впередъ, но чѣмъ далѣе онъ шелъ, тѣмъ болѣе становился одинокимъ въ московскомъ кружкѣ. Дружескій кружокъ вокругъ него рѣдѣлъ все болѣе

и болѣе, и, наконецъ, они остались вдвоемъ съ Огаревымъ. Бѣлинскій былъ далеко, — въ Петербургѣ. Грустныя думы и чувства все сильнѣе одолѣвали обоихъ друзей къ концу этого періода. Послѣ разрыва съ Грановскимъ Огаревъ сочинилъ небольшое стихотвореніе, изъ котораго Герценъ взялъ эпиграфъ къ своему „Былому и думамъ“.

Таковъ остался нашъ союзъ....

Опять одни мы въ грустный путь пойдемъ,

Объ истинѣ глася неутимомо—

И пусть мечты и люди идутъ мимо.

И они, дѣйствительно, пошли одни, — пошли безстрашно „въ грустный путь“, не уставая „гласить объ истинѣ“, и очутились въ Англіи, въ Примрозъ-Гилѣ, за первымъ вольнымъ русскимъ станкомъ.

Съ ихъ заграничною дѣятельностью мы встретимся въ одномъ изъ слѣдующихъ очерковъ.

Х.

Общественное движеніе 40-хъ годовъ.

Съ того момента, какъ замолкли голоса радикаловъ-идеалистовъ александровскаго періода, настало полное затишье въ русской общественной жизни. Новое поколѣніе дворянской молодежи николаевскаго времени, только-что вступавшее въ жизнь, отличалось инымъ настроеніемъ, иными интересами. Ни политика, ни общественные вопросы не занимали его. Гражданскія чувства не волновали въ такой степени, чтобы нарушить мирное, спокойное теченіе жизни. Оно ревностно занималось наукой, литературой, отдавалось ре-

лигіозному чувству, чувству дружбы. Нѣмецкіе романтики, философы и поэты, были его руководителями. Въ жизни его „встрѣтили тѣ десять лѣтъ, которыя оканчиваются мрачнымъ письмомъ Чаадаева“, свидѣтельствующимъ „о долгихъ страданіяхъ“. Изъ этого поколѣнія вышли старшіе славянофилы, основатели мертворожденной доктрины. Но слѣдующее за ними поколѣніе было счастливѣе: пройдя дружной семьей академическіе годы, оно познакомилось еще въ стѣнахъ университета съ новыми общественно-политическими теоріями, пришедшими съ Запада. Подъ ихъ вліяніемъ суровая русская дѣйствительность, грубо встрѣтившая юношей, при самомъ вступленіи въ жизнь, подѣйствовала благотворно, дала имъ прочный душевный закалъ. Къ этому времени „уже другая дѣятельность закипала въ литературѣ, въ университетѣ, въ самомъ обществѣ. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Бѣлинскаго, чтеній Грановскаго и молодыхъ профессоровъ“... Послѣ глухой, темной ночи начинался разсвѣтъ, слышались человѣческіе голоса... И горячіе философскіе споры, и возникавшіе политическіе интересы, и публичныя лекціи Грановскаго, и взрывы гоголевскаго смѣха, то молодого, веселаго, то смѣха сквозь слезы — все это несомнѣнные признаки пробужденія. Вспоминая время своей молодости, Герценъ говоритъ: „Проповѣдь шла все сильнѣе, все одна проповѣдь. И смѣхъ, и плачь, и книга, и Гоголь, и исторія — все звало людей къ сознанію своего положенія, къ ужасу передъ крѣпостнымъ правомъ, все указывало на науку и образованіе, на движеніе мысли отъ всего традиціоннаго хлама, на свободу совѣсти и разума, и источникомъ всего этого было проснувшееся сердце“.

Дѣйствіе этихъ пробудившихся силъ, еще яснѣе сказалось въ дальнѣйшемъ ходѣ умственного движенія, у младшихъ современниковъ Герцена, Бѣлинскаго, Грановскаго. Въ 40-хъ годахъ, особенно во второй ихъ половинѣ, рѣзко измѣнилось настроеніе русской интеллигенціи. Въ это время возникаетъ интересъ къ естествознанію, къ политической экономіи; особенно сильное сочувствіе молодого поколѣнія возбуждаетъ французская литература и французская общественно-политическая жизнь. „Я въ то время только что оставилъ школьную скамью“, говоритъ Салтыковъ, „и, воспитанный на статьяxъ Бѣлинскаго, естественно, примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ — единственно авторитетному тогда въ литературѣ, которое занималось популяризироваіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сень-Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и, въ особенности, Жоржъ-Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе, все желанное, все любвеобильное шло оттуда“... „Всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрагивалъ насъ за живое, заставлялъ и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью печатами сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранѣе предположено не разыскивать; во Франціи — все какъ будто только-что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустолѣтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малѣйшаго желанія кончиться“....

Россія, дѣйствительно, переживала самый трудный, самый тяжелый періодъ въ послѣднія семь лѣтъ николаевского тридцатилѣтія, и современнику съ „проснувшимся сердцемъ“, одержимому горячей любовью къ родинѣ, могло казаться, что въ ней все „покончено“, все „запаковано“; но это именно только „казалось“. Умственное движеніе, начавшееся съ 30-хъ годовъ, шло непрерывно, постепенно расширяясь. Въ русской жизни, какъ разъ къ этому времени, о которомъ говоритъ Салтыковъ, на смѣну старшему поколѣнію и подъ вліяніемъ его выступало новое, младшее. Статьи Герцена и Бѣлинскаго производили сильное впечатлѣніе на молодежь, которая отъ чтенія русскихъ журналовъ послѣдовательно переходила къ изученію французскихъ социальныхъ теорій. Образовались сначала „безвѣстные“ кружки въ Петербургѣ и нѣкоторыхъ провинціальныхъ городахъ (Ревелѣ, Тамбовѣ, Ростовѣ, Казани и др.). Салтыковъ именно и говоритъ объ одномъ изъ такихъ кружковъ. Но вскорѣ нѣкоторые изъ нихъ получили широкую извѣстность. Петербургскіе кружки Петрашевскаго и Дурова собирали почти открыто образованную радикальную молодежь, изливавшую негодованіе на „всякую несправедливость, злоупотребленія, стѣсненія и самоуправство“, читавшую сочиненія сенъ-симонистовъ и фурьеристовъ. На ихъ собраніяхъ обсуждались вопросы, которые не находили мѣста въ печати.

Въ связи съ поименованными кружками образовались и другіе болѣе тѣсные кружки въ Петербургѣ и Москвѣ. Собирались у молодого, только что выступившаго тогда въ литературѣ поэта, А. Н. Плещеева, уже написавшаго свое знаменитое, не потерявшее до нашихъ дней силы стихотвореніе: „Впередъ безъ страха и сомнѣнья!“

Происходили вечернія собранія у писателя А. И. Пальма*). Существовалъ также фурьеристскій кружокъ Кашкина, однимъ изъ членовъ котораго былъ выдающійся по уму и характеру петрашевецъ Н. А. Спѣшневъ, отличавшійся среди другихъ наибольшимъ радикализмомъ и глубокою преданностью дѣлу освобожденія крестьянъ. Существовали и многіе другіе кружки, болѣе или менѣе постоянные, и временныя, случайныя собранія. Но особенно широко извѣстностью пользовались въ Петербургѣ постоянныя собранія по пятницамъ у М. В. Бутаевича-Петрашевскаго. Такъ нѣкто Петровъ въ письмѣ къ знакомому отъ 1 декабря 1848 г., въ числѣ удовольствій петербургской жизни называетъ: проповѣди Нильсена, пропаганду Петрашевскаго, публичныя лекціи и фельетоны Плещеева. На одинъ изъ вечеровъ Петрашевскаго попалъ А. Г. Рубинштейнъ, только-что пріѣхавшій изъ-за границы въ 1849 г. Онъ рассказываетъ, что напелъ „большое собраніе мужчинъ, молодыхъ и пожилыхъ, статскихъ и военныхъ; изъ военныхъ“, говоритъ онъ, „помню одного,—то былъ Пальмъ (указанный выше писатель), но хозяинъ все не появлялся. Спрашиваю о немъ; мнѣ отвѣчаютъ: „подождите — увидите, насъ всѣхъ позовутъ“. Наконецъ, раздается звонокъ, распахиваются двери, и мы входимъ въ большую комнату, гдѣ передъ эстрадою стоитъ рядъ стульевъ, какъ въ концертѣ. На эстраду входитъ мужчина съ бородою и начинаетъ читать что-то въ родѣ социалистическаго и коммунистическаго трактата... все это меня чрезвычайно

*) См. его прекрасный романъ изъ этой эпохи: „Алексѣй Слободинъ“, напечатанный въ „Вѣстникѣ Европы“ въ 1872—1873 г. подъ псевдонимомъ П. Альминскаго. Есть отдѣльное изданіе. С.-Петербургъ 1873 г.

удивило, и я не скрылъ своего удивленія отъ сосѣдей "... Рубинштейнъ описываетъ эти собранія съ чисто внѣшней стороны. А вотъ и внутренняя ихъ сторона: „Я посѣщалъ эти вечера“, рассказываетъ генераль-лейтенантъ Кузьминъ, „съ весны 1848 г., и по совѣсти можно было сказать, что бесѣды на этихъ вечерахъ были небезынтересны для каждаго изъ присутствующихъ. Да и могло ли быть иначе, когда тутъ собирався народъ молодой, образованный, читающій, мыслящій; впечатлѣнія принимались живо; всякая несправедливость, злоупотребленія, стѣсненія, самоуправство глубоко возмущали душу каждаго; напротивъ, всякое стремленіе къ благу общественному или частному вызывало сочувствіе, въ какой бы формѣ стремленіе это ни высказывалось. Цензура, убивавшая въ то время всякую здравую мысль, не только не допускала гласнаго обсужденія печатно предметовъ общаго интереса, но воспрещала даже малѣйшій намекъ на то, что могло бы быть лучше, если бы было иначе. Поэтому весьма естественно, что вездѣ, гдѣ собирались люди выше средняго уровня, они прямо высказывали свои убѣжденія, совершенно противоположныя грустному положенію дѣлъ... Съ общаго согласія было положено раздѣлить наши вечера такимъ образомъ, что до ужина одинъ изъ присутствующихъ будетъ излагать какой-либо общественный вопросъ, въ какомъ видѣ онъ осуществляется нынѣ въ Россіи, удобства или неудобства, осязаемые отъ такого, а не иного положенія дѣла, и, наконецъ, изысканіе и если возможно, то указаніе средствъ къ замѣненію неудобныхъ порядковъ удобнѣйшими, а послѣ ужина Н. Я. Данилевскій (знакомый уже намъ, тогда еще молодой, впоследствии авторъ сочиненія „Россія

и Европа“, націоналисть) продолжалъ изложене соціальныхъ теорій. Въ концѣ каждого вечера объявлялось, о какомъ предметѣ, касающемся Россіи, будетъ говорено въ слѣдующую пятницу и кѣмъ именно; кромѣ того, всегда находилось время побесѣдовать о текущихъ событіяхъ, какъ въ Россіи, такъ и за границей“. Еще болѣе интереса представляетъ разсказъ о тѣхъ же собраніяхъ Д. Д. Ахшарумова, познакомившагося съ Петрашевскимъ весною 1848 года. „Нашъ маленькій кружокъ“, говоритъ онъ, „носилъ въ себѣ зерно всѣхъ реформъ 60-хъ годовъ“. И въ самомъ дѣлѣ, многія темы ихъ бесѣдъ: объ уничтоженіи крѣпостного права, о свободѣ книгопечатанія, о децентрализаціи управленія, о „мирныхъ“ (т.-е. мировыхъ) судьяхъ, объ улучшеніи судопроизводства и судоустройства вообще и т. п. совершенно совпадаютъ съ тѣми реформами, которыя были приняты и произведены по высочайшей волѣ по прошествіи десяти съ небольшимъ лѣтъ. Извѣстный дѣятель по крестьянской реформѣ, А. Унковскій, представившій въ 1859 г. въ своей запискѣ объ упраздненіи крѣпостного права цѣлый планъ разныхъ преобразованій: введенія суда присяжныхъ, мѣстнаго самоуправленія и проч., въ ранней юности посѣщалъ Петрашевскаго, находился подъ сильнымъ его вліяніемъ, за что и былъ исключенъ изъ Царскосельскаго лицея строгимъ и предусмотрительнымъ начальствомъ. В. И. Семевскій справедливо замѣчаетъ, что вліяніе и примѣръ Петрашевскаго могли дать Унковскому тотъ нравственный закалъ, который онъ проявилъ въ защитѣ дорогихъ ему взглядовъ. Ахшарумовъ, говоря о личности Петрашевскаго, характеризуетъ ее слѣдующими словами: „Это былъ человѣкъ сильной души, крѣпкой воли,

много трудившійся надъ своимъ самообразованіемъ (Петрашевскій кончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ по юридическому факультету), всегда углубленный въ чтеніе новыхъ сочиненій и неустанно дѣятельный, онъ состоялъ на службѣ при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Онъ имѣлъ большую бібліотеку новѣйшихъ сочиненій, преимущественно по части исторіи, политической экономіи и социальныхъ наукъ и охотно дѣлился ею не только со всѣми старыми своими пріятелями, но и съ людьми ему мало знакомыми, но которые казались ему порядочными, и дѣлалъ это по убѣжденію для общественной пользы. Онъ говорилъ мнѣ, что въ теченіе около 8 лѣтъ много людей перебивало у него и разѣхались въ разные города Россіи, и преимущественно въ университетскіе. Онъ давалъ читать всѣмъ просившимъ его и снабжалъ уѣзжающихъ книгами, которыя, по его усмотрѣнію, были полезны для умственного развитія общества. Вовсе не интересуясь общественными увеселеніями, онъ бывалъ повсюду: въ клубахъ, дворянскихъ собраніяхъ, маскарадахъ, съ единственною цѣлью заводить знакомства для узнанія и выбора людей“.

Петрашевскій, дѣйствительно, представлялъ собою огромную умственную и нравственную силу. Образованный человѣкъ своего времени, убѣжденный фурьеристъ, глубоко вѣрившій въ возможность близкаго и легкаго осуществленія утопіи Фурье, онъ обнаружилъ во время грубо-пристрастнаго слѣдствія и несправедливо жестокаго суда надъ нимъ и его товарищами удивительное мужество и силу воли. Въ 1856 г. онъ не хотѣлъ воспользоваться амністіей и, находясь въ ссылкѣ, требовалъ пересмотра всего дѣла. Онъ примирился съ дѣйствіями правительства только тогда,

когда увидѣлъ, что оно искренно пошло по пути необходимыхъ для блага народа реформъ. Какъ пламенный фурьеристъ, онъ думалъ, что человечество тогда только достигнетъ нормальнаго развитія, когда духъ единства проникнетъ всѣхъ людей, когда трудъ тяжелый, отвратительный превратится въ источникъ непосредственнаго наслажденія жизнью. Общество будетъ доставлять каждому своему члену всѣ средства для удовлетворенія всѣхъ нуждъ. Человѣкъ будетъ поставленъ въ такое отношеніе къ обществу, что, предаваясь вполнѣ влеченію естественныхъ побужденій, не въ состояніи будетъ нарушать гармонію общественныхъ отношеній. Государство въ томъ видѣ, какъ существуетъ теперь, съ его городами, храмами, исчезнетъ съ лица земли. Вся земля покроется небольшими общинами по проекту Фурье, и люди будутъ счастливы. Д. Д. Ахшарумовъ, увлеченный фурьеризмомъ написалъ стихотвореніе, рисующее „Будущее земли и ея обитателей“: (по Фурье).

Земля, несчастная земля,
 Міръ стоновъ, жалобъ и мученья!
 На ней вся жизнь подъ гнетомъ зла
 И всюду плачь—со дня рожденья!
 Въ дѣлахъ людскихъ раздоръ и крикъ,
 И трубный звукъ, и гулъ орудій,
 И вопль, и дикой славы кликъ:
 Другъ друга бьютъ и рѣжутъ люди!
 Но время лучшее придетъ:
 Война кровавая пройдетъ,
 Земля произрастетъ плодами,
 И бѣдный мученикъ-народъ
 Свободу жизни обрѣтетъ
 Съ ея высокими страстями:
 Обильный хлѣбъ возрастетъ надъ взрытыми полями,
 И нищая земля покроется дворцами.
 Тогда и для земной планеты

Настанетъ періодъ иной...

Тогда измѣнятся и люди, и природа,
И будутъ на землѣ миръ, счастье и свобода.

Увлеченіе фурьеризмомъ въ то время было, можно сказать, общимъ въ передовыхъ кругахъ русской интеллигенціи. Когда собранія эти вызвали подозрѣнія администраціи, участники ихъ, при помощи шпіоновъ, были выслѣжены, переписаны и началось громкое дѣло о петрашевцахъ, то болѣе или менѣе причастными къ нему оказались многіе наши писатели: М. В. Петрашевскій, составившій замѣчательный „Словарь иностранныхъ словъ“ (подъ псевдон. Кириллова), Ѳ. М. Достоевскій, братъ его М. М. Достоевскій, поэтъ А. Н. Плещеевъ, романистъ А. И. Пальмъ; С. Ѳ. Дуровъ, поэтъ, переводчикъ и писатель повѣстей въ прозѣ; Толь, писатель-педагогъ; химикъ Ѳ. Львовъ; гигиенистъ Д. Д. Ахшарумовъ; А. Н. Майковъ, извѣстный поэтъ; В. Р. Зотовъ, плодовитый писатель и журналистъ; Н. Д. Ахшарумовъ, романистъ. Знаменитый нашъ сатирикъ М. Е. Салтыковъ долгое время посѣщалъ собранія Петрашевскаго и не былъ привлеченъ къ дѣлу только потому, что сосланъ былъ уже въ это время въ Вятку за свою повѣсть „Запутанное дѣло“. По всей вѣроятности, и первоклассные русскіе критики — В. Г. Бѣлинскій и В. Н. Майковъ не избѣжали бы строгаго суда и безпощадно суроваго приговора по этому дѣлу, если бы смерть заранѣе не освободила ихъ отъ всякой отвѣтственности. В. Майковъ былъ въ очень близкихъ отношеніяхъ съ Петрашевскимъ и сотрудничалъ въ „Словарѣ иностранныхъ словъ“, второй выпускъ котораго былъ изъятъ изъ обращенія. Бѣлинскій, конечно, пострадалъ бы за свое знаменитое письмо къ

Гоголю, распространіе котораго ставилось нѣ-
которымъ петрашевцамъ въ большое преступленіе:
Плещеевъ былъ приговоренъ за это къ лишенію
всѣхъ правъ и къ ссылкѣ въ каторжныя работы
на четыре года. Начальникъ корпуса жандармовъ,
генер.-лейт. Дубельтъ, „яростно“ сожалѣлъ о смер-
ти Бѣлинскаго: „Мы бы сгноили его въ крѣпости“,
говорилъ онъ. С. А. Венгеровъ рассказываетъ еще
объ одномъ кружкѣ, собиравшемся у извѣстнаго
въ то время переводчика и педагога военно-учеб-
ныхъ заведеній, Иринарха Введенскаго. Постоян-
ными участниками здѣсь были молодые писатели
и студенты, Г. Е. Благосвѣтловъ, впослѣдствіи из-
вѣстный журналистъ, А. П. Милуковъ, педагогъ
и писатель, и Н. Г. Чернышевскій, знаменитый
потомъ русскій писатель. Извѣстный уже намъ
Ф. Вигель, знавшій о собраніяхъ у Введенскаго,
сдѣлалъ доносъ, куда слѣдуетъ. Но недостатокъ
точныхъ свѣдѣній у слѣдственной комиссіи и за-
ступничество Я. И. Ростовцева, главнаго началь-
ника воен. учебн. заведеній, очень цѣнившаго
Введенскаго, спасли ихъ всѣхъ.

Въ настоящее время какъ-то трудно себѣ пред-
ставить, чтобы люди, мечтавшіе о всечеловѣче-
скомъ счастьѣ и занимавшіеся обсужденіемъ и
разработкой тѣхъ самыхъ вопросовъ русской
жизни, которые черезъ какія-нибудь десять лѣтъ
почти всѣ были открыто поставлены и болѣе или
менѣе удовлетворительно рѣшены,— чтобы эти
люди за свои благородныя мечты и полезную
работу были приговорены къ смертной казни.
Производившій слѣдствіе чиновникъ Липранди
употребилъ со своей стороны всѣ усилія, чтобы
раздуть это дѣло и представить въ глазахъ
начальства, какъ „всеобъемлющій планъ общаго
движенія, переворота и разрушенія“. И судъ вы-

несъ смертный приговоръ 23 человѣкамъ. Приговоръ, какъ извѣстно, былъ смягченъ государемъ. Но ихъ всѣхъ въ легкихъ костюмахъ въ декабрѣ мѣсяцѣ вывели изъ крѣпости на Семеновскій плацъ и взвели на эшафотъ, гдѣ и было объявлено, что они должны быть разстрѣляны. Трое изъ нихъ были уже привязаны къ столбамъ, уже раздалась команда, солдаты прицѣлились, и только послѣ всего этого барабаны забили отбой, и прискакавшій офицеръ подалъ бумагу, въ которой возвѣщалось, что казнѣ замѣнена ссылкой. По разсказу Ѳ. М. Достоевскаго, почти всѣ приговоренные были увѣрены, что „приговоръ, будетъ исполненъ, и вынесли, по крайней мѣрѣ, десять ужасныхъ, безмѣрно страшныхъ минутъ ожиданія смерти“.

Дѣло Петрашевскаго долгое время находилось подъ спудомъ, и мало образованное русское общество, до котораго доходили о немъ смутные, разнорѣчивые слухи, составило себѣ мнѣніе о петрашевцахъ, какъ о настоящихъ бунтовщикахъ, потрясателяхъ основъ, и все движеніе представляло себѣ крайне опаснымъ для общественнаго спокойствія и вреднымъ для благоденствія Россіи. Идейная сторона движенія не могла получить настоящей общественной оцѣнки. Мечты о „Нью-Ланаркѣ“ Оуэна (фабрика Оуэна на новыхъ началахъ), объ „Икаріи“ (утопическая община по ученію Кабѣ), чтеніе сочиненій С. Симона, Фурье и ихъ горячихъ послѣдователей, чтенія сочиненій Прудона, Луи Блана — все это дѣйствовало, какъ образовательная сила, закладывая прочный фундаментъ общественныхъ идей и чувствъ, которыхъ намъ именно тогда не доставало. Загнанные суровыми репрессивными мѣрами въ глубь сознанія лучшихъ передовыхъ людей, онѣ лишь

временно притаились и съ неудержимою силою вырвались наружу, какъ только настали благоприятныя условія для плодотворной общественной работы во второй половинѣ 50-хъ годовъ. Общественное большинство не замѣчало, что движеніе растеть и расширяется, не предвидѣло его благихъ послѣдствій и, находясь наканунѣ важныхъ событій и коренныхъ перемѣнъ въ русской жизни, попрежнему спало непробуднымъ сномъ вплоть до севастопольскаго разгрома. А между тѣмъ, пользуясь сравненіемъ Гегеля, можно сказать, „кротъ“ не дремалъ — онъ продолжалъ свою подземную работу, „хорошо рылъ“. Чиновникъ Липранди, производившій слѣдствіе, сравнивая петрашевцевъ съ декабристами, писалъ: „Въ заговорѣ 1825 года участвовали исключительно дворяне и притомъ исключительно военные. Тутъ же, напротивъ, рядомъ съ гвардейскими офицерами и чиновниками министерства иностранныхъ дѣлъ находятся не кончившіе курсъ студенты, учителя, мелкіе художники, купцы, мѣщане, даже лавочники, торгующіе табакомъ“. „За двадцать или десять лѣтъ (назадъ) можно было бы удовольствоваться тѣмъ, чтобы, напавши на корень зла, подрѣзать его, — и тѣмъ все бы задушилось, уничтожилось. Теперь, какъ видно, корень этотъ разросся крѣпко, ядъ, можно сказать, разлился всюду и напиталъ собою воздухъ общественной жизни или, вѣрнѣе сказать, то, что составляетъ наше общественное образованіе“. Въ словахъ чиновника министерства внутреннихъ дѣлъ „окружляющаго“ интересное находящееся въ его рукахъ „дѣльце“, конечно, есть нѣкоторыя преувеличенія, сдѣланныя въ своихъ видахъ. Но Липранди былъ человекъ умный и съ образованіемъ, специалистъ по политическимъ дѣламъ, былъ искуснымъ и

опытнымъ „ловцомъ“ по этой части; онъ перечиталъ всѣ рукописныя замѣтки арестованныхъ, пересмотрѣлъ забранные у молодежи литографированные курсы, и съ нѣкоторыми изъ его выводовъ нельзя не согласиться. Такъ несомнѣнно, „воздухъ общественной жизни“ сравнительно былъ не тотъ въ концѣ 40-хъ годовъ, что десять или двадцать лѣтъ назадъ: новое освободительное движеніе въ значительной степени утратило свой прежній сословный характеръ, и его расширеніе и демократизація стали очевиднымъ фактомъ.

На той же почвѣ, подъ тѣми же западными вліяніями выросло въ то время немало прекрасныхъ литературныхъ произведеній. Крѣпостное право — краеугольный камень дореформеннаго строя — терпитъ чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе смѣлыя нападенія. Въ повѣстяхъ Герцена: „Сорока воровка“, „Кто виноватъ“; въ повѣстяхъ Григоровича: „Деревня“ и „Антонъ-горемыка“ ярко изображаются страданія закрѣпощеннаго крестьянина; вниманіе и симпатіи къ низшимъ классамъ вообще высказываются все сильнѣе и сильнѣе. Юный Салтыковъ пишетъ повѣсть „Запутанное дѣло“, изъ которой видно, что его мысли носились въ области того далекаго соціального идеала, который рисовался въ произведеніяхъ французскихъ писателей. Его большой и здравый умъ критически относился къ крайностямъ ихъ ученій, но несомнѣнно, что въ нихъ онъ нашелъ основу своихъ общественныхъ взглядовъ. Силы „натуральной школы“ писателей и ихъ вліяніе растутъ къ концу 40-хъ годовъ. Появляются произведенія Достоевскаго, Гончарова, Островскаго, Писемскаго, первые рассказы изъ „Записокъ Охотника“ Тургенева, замѣчательныя статьи Бѣлинскаго о „натуральной школѣ“ и первыя гражданскія сти-

хотворенія Некрасова. Идея личности и ея правъ сквозить почти въ каждомъ изъ новыхъ произведеній этой школы. Наконецъ, въ области критики происходятъ коренныя измѣненія во взглядахъ на искусство: его крѣпко притягиваютъ къ дѣйствительности, къ землѣ, къ борьбѣ съ существующимъ зломъ.

40-е годы — замѣчательное время въ нашей литературной исторіи. Это — блестящій результатъ той настойчивой проповѣди, которая началась въ 30-ые годы, въ самую глухую пору нашей жизни. Это — время, повторяемъ, подготовившее эпоху нашего возрожденія — 60-е годы. Крупнѣйшіе изъ указанныхъ молодыхъ талантовъ, появившихся въ 40-е годы, черезъ пятнадцать или двадцать лѣтъ проложили русской литературѣ путь въ Европу, заставили европейское общество интересоваться ею, признать ея самостоятельность и справедливо удивляться ея быстрымъ и огромнымъ успѣхамъ.

Бѣлинскій является центральной личностью этой эпохи: онъ былъ средоточіемъ ея идей. Знакомство съ его жизнью и дѣятельностью, къ разсказу о которыхъ мы теперь переходимъ, дастъ намъ возможность еще глубже вникнуть въ интересы и задачи этого замѣчательнаго періода нашей общественной жизни, точно изъ пепла, незамѣтно возродившейся на рубежѣ 20-хъ и 30-хъ годовъ.

XI.

В. І. Бѣлинскій (1810—1848 гг.).

Въ русской литературѣ, намъ думается, нѣтъ биографіи, въ такой мѣрѣ интересной и поучительной съ историко-литературной точки зрѣнія,

какъ біографія Бѣлинскаго. Въ исторіи его умственнаго развитія заключается цѣлый періодъ нашего общественнаго развитія, періодъ, въ которомъ ясно различаются отдѣльныя стадіи. Являясь въ юности увлекающимся, горячимъ романтикомъ въ духѣ Шиллера, какъ почти всѣ его сверстники, онъ во второй половинѣ 30-хъ годовъ, подъ вліяніемъ нѣмецкой идеалистической философіи, превращается въ мыслителя, спокойнаго созерцателя дѣйствительности, хотя и не надолго. Большинство образованной молодежи его поколѣнія, какъ мы уже знаемъ, восторженно отдавалось изученію германской философіи. Системы Шеллинга, Фихте, Гегеля, открывая широкіе умственные горизонты въ извѣстной мѣрѣ успокаивали душу, уносили мысль въ отвлеченныя сферы, заставляли забывать неприглядную дѣйствительность. Увлекаясь ими по очереди, Бѣлинскій сначала отдается эстетическому міросозерцанію подъ вліяніемъ ученія Шеллинга, потомъ теорія Фихте совершенно обезцѣниваетъ въ его глазахъ дѣйствительность, и онъ признаетъ только высшую жизнь духа, пренебрегая, или, вѣрнѣе сказать, подавляя въ себѣ другія стороны душевной жизни. Но это состояніе духа вызываетъ сильную реакцію его живой страстной натуры, и онъ, ухватившись за гегелевскую формулу „разумной дѣйствительности“, ранѣе другихъ съ честью выходитъ изъ „пустоты“ фихтеанской отвлеченности. Правда, онъ при этомъ нѣкоторое время увлекается фаталистическимъ воззрѣніемъ на необходимость всего существующаго, но и эта невѣрная точка зрѣнія, усвоенная изъ сочиненій Гегеля послѣдняго періода, скоро была имъ оставлена. Подъ конецъ Бѣлинскій, какъ и многіе русскіе гегеліанцы, переходитъ отъ праваго ла-

геря гегеліанства къ лѣвому, изъ идеалиста-романтика превращается въ реалиста, изъ поклонника чистаго искусства становится горячимъ защитникомъ и проповѣдникомъ искусства общественнаго, искусства для жизни. Пройденный имъ путь развитія былъ приблизительно тотъ самый, которымъ шло все наше образованное общество. Вліяніе его на читателей возрастало съ каждой статьей, а къ началу 40-хъ годовъ, когда его взгляды окончательно сложились, оно достигло огромныхъ размѣровъ. Ему сочувствовали, ему поклонялись, за нимъ шла вся молодая мыслящая Россія, „жаждавшая свѣжаго воздуха“. Горячая любовь къ людямъ, искренность убѣжденій и талантъ поставили его во главѣ умственнаго движенія того времени, сдѣлали учителемъ, руководителемъ, настоящимъ „властителемъ думъ“ не одного, а многихъ поколѣній. Въ 40-хъ годахъ лучшіе изъ современниковъ Бѣлинскаго говорили, что ему они обязаны своимъ спасеніемъ, а знаменитый критикъ 60-хъ годовъ, Добролюбовъ, справедливо указывалъ, что въ Бѣлинскомъ наши лучшіе идеалы и исторія нашего общественнаго развитія. „Что бы ни случилось съ русской литературой, по его словамъ, какъ бы пышно ни развилась она, Бѣлинскій всегда будетъ ея гордостью, ея славой, ея украшеніемъ. До сихъ поръ его вліяніе ясно чувствуется на всемъ, что только появляется у насъ прекраснаго и благороднаго; до сихъ поръ каждый изъ лучшихъ нашихъ литературныхъ дѣятелей сознается, что значительною частью своего развитія обязанъ непосредственно или посредственно Бѣлинскому... Во всѣхъ концахъ Россіи есть люди, исполненные энтузіазма къ этому гениальному челювѣку, и, конечно — это лучшіе люди Россіи!“ Такъ говорилъ Добролю-

бовъ почти 50 лѣтъ назадъ. Но и въ наши дни можно сказать, что многія истины, которыя служатъ основаніемъ нашихъ разсужденій и руководятъ нашимъ поведеніемъ, утверждены Бѣлинскимъ, и о насъ можно сказать то, что сказано Некрасовымъ въ 50-хъ годахъ: „И съ дерева невѣдомаго плодъ, безпечные, безпечно мы вкушаемъ“.

Мы не считаемъ нужнымъ разсказывать подробно о внѣшнихъ событіяхъ жизни Бѣлинскаго: съ его біографіей можно познакомиться по разнымъ болѣе или менѣе обстоятельно написаннымъ очеркамъ и по солидному, хотя и давно вышедшему труду А. Н. Пыпина: „Бѣлинскій, его жизнь и переписка“. Для тѣхъ читателей, которымъ попадетъ въ руки біографическій очеркъ г. Протопопова (очеркъ изъ серіи біографій замѣчательныхъ людей, изданія Павленкова) мы сдѣлаемъ нѣсколько необходимыхъ указаній. Всѣ біографы Бѣлинскаго согласно говорятъ о неблагопріятныхъ условіяхъ его воспитанія съ самаго ранняго дѣтства; авторъ же указаннаго очерка безъ достаточныхъ основаній называетъ ихъ, напротивъ, благопріятными даже вопреки свидѣтельству самого Бѣлинскаго. Представимъ себѣ жизнь въ глухой русской провинціи во второмъ и третьемъ десятилѣтіи XIX вѣка (уѣздный городъ Чембаръ, Пензенской губерніи) среди Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Бобчинскихъ, Добчинскихъ и др., и при слѣдующихъ семейныхъ условіяхъ: мать изъ бѣдныхъ дворянокъ — необразованная, раздражительная женщина, подъ стать окружающему обществу; отецъ — умственно развитой, свободный отъ многихъ предрассудковъ чело­вѣкъ, но безхарактерный, преданный несчастной страсти къ вину; въ обществѣ онъ пріобрѣлъ репутацію вольнодумца, безбожника, и лишился, какъ врачъ, практики и, слѣдо-

вательно, дохода. Сколько въ этихъ условіяхъ дано уже готовыхъ поводовъ для постоянного разлада, непріятныхъ столкновеній, бурныхъ сценъ и въ семьѣ, и въ обществѣ! Очевидецъ семейнаго быта Бѣлинскихъ разказываетъ о тяжелыхъ сценахъ, которыя заставляли членовъ семьи разбѣгаться изъ дому. „У жизни“, говоритъ онъ, „есть свои сынки и пасынки, и Виссаріонъ Григорьевичъ (т.-е. Бѣлинскій сынъ) принадлежалъ къ числу самыхъ нелюбимыхъ своею лихою мачихою. Не радостно она встрѣтила его въ родной семьѣ, и дѣтство его, эта веселая и беззаботная пора, было полно тревогъ и огорченій столько же, сколько позднѣйшіе возрасты, и надобно было ему имѣть много воли, много любви, чтобы выйти побѣдителемъ изъ этой страшной борьбѣ съ роковыми случайностями“. Самъ Бѣлинскій разказываетъ, объясняя свою робость и застѣнчивость, которыя остались у него до конца жизни, что мать его любила часто бѣгать по кумушкамъ. „Я, грудной ребенокъ“, говоритъ онъ, „оставался съ нянькой, нанятой дѣвкой; чтобъ я ее не покоилъ своимъ крикомъ она меня душила и била. Можетъ быть — вотъ причина. Впрочемъ, я не былъ груднымъ: родился я больнымъ при смерти, груди не бралъ и не зналъ ея... сосалъ я рожокъ, и то если молоко было прокислое и гнилое — свѣжаго не могъ брать... Отецъ меня билъ нещадно... Я въ семействѣ былъ чужой. Можетъ быть — въ этомъ разгадка дикаго явленія... Я просто боюсь людей“... Въ другомъ мѣстѣ Бѣлинскій говоритъ о томъ, какъ „тяжело имѣть отца и мать для того, чтобы смерть ихъ считать своимъ освобожденіемъ, слѣдовательно, не утратою, а скорѣе приобрѣтеніемъ, хотя и горестнымъ“... Можно ли послѣ такихъ неопровержимыхъ свидѣ-

тельствъ считать нравственную атмосферу семьи Бѣлинскихъ хорошою, благопріятствовавшею развитію, какъ это дѣлаетъ авторъ очерка? Онъ весьма преувеличиваетъ значеніе той симпатіи, которая все-таки, по рассказамъ, существовала между отцомъ и сыномъ. Отецъ, кажется, рано замѣтилъ способности своего даровитаго ребенка; говорятъ, что онъ даже допускалъ вмѣшательство сына въ семейные раздоры, когда тотъ уже былъ юношей, и выслушивалъ его укоры. Это, конечно, говорить о взаимномъ пониманіи и даже уваженіи другъ къ другу, но нисколько не служить ручательствомъ за постоянство такихъ отношеній и не исключаетъ возможности, при указанныхъ выше условіяхъ, частыхъ грубыхъ сценъ между отцомъ и сыномъ. Авторъ очерка какъ будто совершенно забываетъ о безхарактерности отца и его несчастной слабости. Говоря объ отношеніи матери Бѣлинскаго къ дѣтямъ, авторъ не видитъ ничего дурного или ненормальнаго въ томъ, что эти отношенія ограничивались исключительно заботами, чтобы дѣти были прилично одѣты и сытно накормлены. Въ отсутствіи съ ея стороны умственного и нравственного вліянія онъ усматриваетъ даже хорошую сторону: „она“, говоритъ онъ, „не залѣзала въ душу и не насилывала совѣсти своего сына, и темные предразсудки ея не передавались ему. Конечно, хорошо, что насиліе надъ душой ребенка не было, но разумное руководство ребенкомъ и насиліе надъ нимъ не одно и то же, и отсутствіе добраго нравственнаго вліянія со стороны матери есть все-таки замѣтный минусъ въ воспитаніи Бѣлинскаго.

Счастіе, по мнѣнію автора очерка, продолжало благопріятствовать Бѣлинскому и въ первоначальномъ обученіи. Это также не совѣмъ вѣрно.

Какъ программы, такъ и педагоги, за весьма рѣдкими исключеніями, были въ то время несостоятельны. Не слѣдуетъ забывать, что 20-е годы время реакціи, отразившейся весьма сильно на русской школѣ всѣхъ типовъ, начиная съ низшей и кончая университетомъ. Да и рассказы Иванова о Чембарскомъ уѣздномъ училищѣ, въ которомъ онъ учился вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, не даютъ возможности сдѣлать такого заключенія объ этомъ учебномъ заведеніи, какое дѣлаетъ г. Протопоповъ. Вообще мы должны сказать, что этотъ біографическій очеркъ, въ цѣломъ очень хорошій, мѣстами испорченъ напрасной полемикой. Такъ, напр., въ заключительной своей главѣ авторъ цитируетъ нѣсколько строкъ изъ труда Пыпина и даетъ имъ невѣрное толкованіе. Пыпинъ, разумѣя средняго читателя, незнакомаго обстоятельно съ исторіей времени Бѣлинскаго, справедливо замѣчаетъ, что нынѣшнему читателю „тягостная внутренняя борьба, цѣною которой Бѣлинскій приходилъ къ своимъ послѣднимъ выводамъ“, можетъ показаться странною и самъ Бѣлинскій наивнымъ, когда дѣло такъ просто. Въ самомъ дѣлѣ, эти долгія блужданія въ отвлеченностяхъ нѣмецкой философіи, эти нравственныя мученія, которыя испытывалъ Бѣлинскій, сдерживая свои естественныя чувства въ угоду той или другой теоріи, намъ могутъ казаться непонятными: вѣдь мы въ настоящее время на школьной скамѣ овладѣваемъ тѣми идеями, къ которымъ въ самомъ концѣ пришелъ знаменитый критикъ и за которыя онъ горячо ратовалъ въ послѣдніе годы своей жизни. Идея личности и ея правъ, идея борьбы съ недостатками существующаго строя жизни, идея обязательнаго служенія обществу сдѣлались теперь уже общимъ

достояніемъ образованныхъ людей. Чтобы понять и вѣрно оцѣнить эту страшную внутреннюю ломку, эту тяжелую душевную борьбу, съ помощію которой было достигнуто признаніе такихъ простыхъ съ теперешней точки зрѣнія идей, словомъ — все то, что пережилъ и выстрадалъ Бѣлинскій и лучшіе люди 40-хъ годовъ, читатель долженъ хорошо знать исторію этого времени. Онъ долженъ знать, что въ періодъ дѣятельности Бѣлинскаго эти, дѣйствительно, элементарныя идеи не только не пользовались популярностью, но со-всѣмъ не были извѣстны нашему малообразованному, чуждому общественныхъ интересовъ обществу, спавшему непробуднымъ сномъ. Только при условіи такого знанія фигура Бѣлинскаго выступаетъ передъ читателемъ въ исполина — глашатая новыхъ высокихъ истинъ и мужественнаго борца за нихъ. Вотъ какой смыслъ, по нашему мнѣнію, имѣютъ слова г. Пыпина; авторъ очерка усмотрѣлъ въ нихъ, и совершенно произвольно, обиду, нанесенную Бѣлинскому. Ему показалось, что Бѣлинскій трактуется здѣсь дѣятелемъ наивнымъ, отсталымъ, устарѣлымъ, и онъ совершенно напрасно прибавилъ въ своей статьѣ цѣлую безсодержательную страницу, съ вопросительными и восклицательными знаками.

Сдѣлавъ эти необходимыя поправки, мы рекомендуемъ познакомиться читателямъ съ прекраснымъ во многихъ отношеніяхъ очеркомъ г. Протопопова.

Тотъ литературный періодъ, въ который началъ свою дѣятельность Бѣлинскій, характеризуется Некрасовымъ слѣдующими словами:

Въ то время пусто и мертво
Въ литературѣ нашей было.
Скончался Пушкинъ — безъ него

Любовь къ ней публики остыла,
Ничья могучая рука
Ея не направляла къ цѣли,
Лишь два задорныхъ поляка
На первомъ планѣ въ ней шумѣли.

Такъ, дѣйствительно, безотрадно было состояніе нашей литературы не только послѣ смерти Пушкина, но и за всѣ 30-е годы и въ самомъ началѣ 40-хъ. Пушкинъ умеръ въ 37-мъ году, и только что основанный имъ „Современникъ“ совершенно обезцвѣтился въ рукахъ Плетнева и до 47-го года, когда перешелъ къ Некрасову, влачилъ самое жалкое существованіе. „Отечественныя Записки“ только съ 39-го года начали собирать вокругъ себя лучшихъ передовыхъ дѣятелей литературы. Бѣлинскій началъ свою дѣятельность всего за три года до смерти Пушкина, въ 34-мъ году, въ журналѣ Надеждина, который былъ, какъ мы знаемъ, прекращенъ въ 36-мъ году за статью Чаадаева. Журналъ „Московскій Наблюдатель“ оживился и расцвѣлъ было съ 38-го года, когда Бѣлинскій началъ редактировать его, но дѣла журнала вскорѣ разстроились, Бѣлинскій перебрался въ 39-мъ году въ Петербургъ, и „Московскій Наблюдатель“ въ 40-мъ году покончилъ свое существованіе. „Московскій Телеграфъ“ Полевого былъ запрещенъ въ 34-мъ году. Славянофильскіе журналы и сборники также запрещались при самомъ появленіи въ свѣтъ. „Два задорныхъ поляка“, Сенковскій и Булгаринъ („Библіотека для чтенія“ и „Сѣверная Пчела“), люди безъ всякихъ убѣжденій, главенствовали въ литературѣ, ловко угождая взглядамъ и вкусамъ мало образованнаго общественнаго большинства и тѣхъ сферъ, отъ которыхъ зависѣли. „Литературы“, говоритъ Тургеневъ, „въ смыслѣ живого проявленія одной изъ обществен-

ныхъ силъ, находящагося въ связи съ другими, столь же и болѣе важными проявленіями ихъ — не было, какъ не было прессы, какъ не было гласности, какъ не было личной свободы; а была словесность — и были такіе словесныхъ дѣлъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали“... Дѣйствительно, если исключить Пушкина, Гоголя и Лермонтова, которые дали такъ много цѣннаго въ это время, то передъ нами — пустота, останутся лишь второстепенные писатели, теперь совершенно забытые, какъ Марлинскій, Вельтманъ, Сенковскій, Гречъ, Булгаринъ, Кукольникъ, Загошкинъ и т. п. Это литература, которая или осторожно обходила современную русскую дѣйствительность, обращаясь къ историческому прошлому, или славословила ее, или пускалась въ область фантастическаго нелѣпаго вымысла. Мы уже выше говорили, каковы были романы историческіе и нравоописательные, что такое представляла собой патріотическая драма и вообще беллетристика этого періода. Посмотримъ теперь, какова была критика предшествовавшая появленію Бѣлинскаго.

Если вести начало нашей критики отъ возникновенія свѣтской литературы, т.-е. отъ начала XVIII вѣка, то прежде всего мы должны указать на трудное положеніе того русскаго языка, которымъ пришлось выражать свои мысли нашимъ первымъ свѣтскимъ писателямъ. Онъ былъ переполненъ славянизмами, съ одной стороны, иностранными словами и оборотами — съ другой. Вопросъ о языкѣ былъ первымъ важнымъ вопросомъ. Борьба русскаго языка съ чуждыми ему стихіями наполняетъ все столѣтіе и продолжается въ слѣдующемъ. Отсюда весьма понятно, что первоначальная критика у насъ была преимущественно стилистической. Вмѣстѣ съ

нашими заимствованиями западныхъ литературныхъ формъ пришли къ намъ, естественно, и господствовавшія на Западѣ правила ложноклассической теоріи о раздѣленіи поэзіи на роды и виды съ подробными формальными указаніями для каждаго изъ нихъ. Они долго служили основаніемъ для нашей критики и тормозили сближеніе нашей литературы съ жизнью. Эта теорія держалась довольно еще прочно и въ первые годы XIX вѣка. Но по мѣрѣ того, какъ наша художественная литература освобождалась отъ ложноклассическихъ традицій и произведенія нашихъ крупныхъ поэтовъ, все болѣе приобретаая самостоятельность, отходили отъ образцовъ этого направленія, и критика становилась болѣе основательною и серьезною. Уже Мерзлякову, занимавшему катедру російскаго краснорѣчія и поэзіи въ Московскомъ университетѣ въ самомъ началѣ XIX вѣка, приходилось отступать отъ старыхъ правилъ, утвердившихся „на русско-французскомъ парнасѣ“. Это было еще въ ту пору, когда поэтическіе авторитеты Ломоносова и Сумарокова стояли твердо. Но почтенному профессору, обладавшему поэтическимъ чутьемъ, недоставало научныхъ знаній и смѣлости. Онъ не слѣдилъ за научнымъ движеніемъ въ своей области и совершенно терялся при разборѣ новыхъ произведеній русской поэзіи, хотя и чувствовалъ ихъ силу и красоту.

Развитіе эстетическаго вкуса совершалось у насъ медленно; опредѣленной эстетической теоріи не было, и только здравый смыслъ и чувство патриотизма руководили иногда не безъ успѣха нашими критиками конца XVIII и начала XIX вѣка. Такъ крыловскій журналъ „Зритель“, вооружив-

шійся противъ фальшивыхъ направленій литературы, осмѣялъ оду и идиллію и сдѣлалъ нѣсколько вѣрныхъ замѣчаній о сухости ложноклассической трагедіи. Въ томъ же родѣ была и критика Карамзина. Литературная школа, которую онъ проходилъ въ „Дружескомъ обществѣ“, лишена была твердыхъ эстетическихъ основаній. Правда, онъ былъ поклонникомъ Шекспира, перевелъ „Юлія Цезаря“ и драму Лессинга „Эмилию Галотти“, но склонность къ чрезмѣрной чувствительности и пристрастіе къ формѣ, излишнее попеченіе о цвѣтистомъ стилѣ убивали въ немъ истинное пониманіе „натуры“. Образцовый для своего времени беллетристъ-стилистъ, онъ оказался безсильнымъ въ критикѣ. Руководимый чувствомъ патріотизма, онъ недоволенъ нашей подражательностью иноземному, осуждаетъ пренебрежительное отношеніе къ родному языку и литературѣ, но проложить или даже хотъ указать литературѣ самостоятельные пути развитія онъ былъ не въ силахъ. Нельзя не прибавить здѣсь, что и литературные нравы тогда не допускали еще критики: въ ней видѣли оскорбленіе авторскаго самолюбія. Бывали случаи, когда на критику отвѣчали пасквилемъ. Все еще господствовало установившійся во времена Ломоносова взглядъ, въ силу котораго частныя лица, хотя бы и издатели журналовъ, не имѣли права на критику, — оно принадлежало лицамъ официальнымъ, ученымъ академикамъ. Изъ второго своего журнала, „Вѣстника Европы“, Карамзинъ почти совсѣмъ изгоняетъ критику. „Что принадлежитъ до критики новыхъ русскихъ книгъ“, говоритъ онъ „то мы не считаемъ ее истинною потребностью нашей литературы (не говоря уже о неприятности имѣть дѣло съ беспокойнымъ само-

любіємъ людей). Въ авторствѣ полезнѣе быть судимымъ, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы: она рождается отъ великаго богатства, а мы еще не Крезы"... Критическіе опыты Бестужева и Кюхельбекера, какъ мы видѣли, уже возбудили интересъ въ обществѣ. Въ статьяхъ Кюхельбекера раскрываются недостатки современной поэзіи, основательно указывается на отсутствіе народности въ произведеніяхъ Жуковскаго и возлагаются надежды на Пушкина, какъ на поэта истинно-національнаго. Бестужевъ (Марлинскій), установившій обычай годовыхъ литературныхъ обзоровъ, безпощадно напалъ на „мраморную челядь Олимпа“, на все французское вліяніе какъ въ жизни, такъ и въ литературѣ. Это, можно сказать, была первая публицистическая критика въ русской литературѣ. Сантиментальная школа подверглась такой же суровой критикѣ. Увлеченіе „Бѣдной Лизой“ вызываетъ у критика злыя насмѣшки: „всѣ завздыхали“, говоритъ онъ, „всѣ кинулись ронять алмазные слезы на ландыши, надъ горшкомъ палеваго молока, топиться въ лужѣ. Всѣ заговорили о матери-природѣ — они, которые видѣли природу только съ просонка изъ окна кареты“... Увлекаемый чувствомъ патріотизма, Бестужевъ находитъ русскихъ людей не менѣе интересными и даже не менѣе культурными, чѣмъ европейцевъ. Въ русской исторіи онъ видитъ обильный благодарный матеріалъ для поэта. Въ отсутствіи у насъ національной поэзіи онъ обвиняетъ наше воспитаніе: „мы всосали съ молокомъ матери безнародность и удивленіе только къ чужому“. Русский юноша на всю жизнь остается недоучкой, неспособнымъ къ серьезной умственной дѣятельности. „Наша жизнь — безтѣнная китайская живо-

пись, нашъ свѣтъ — гробъ повапленный“. Поэту рекомендуетъ критикъ удаленіе отъ свѣтской среды и жизни и общеніе съ народомъ. Романтизмъ не иное что, по его мнѣнію, какъ „жажда ума народнаго, зовъ души человѣческой“. Онъ указываетъ на культурное значеніе средняго сословія: „оно дало купцовъ, ремесленниковъ, художниковъ, ученыхъ“... „оно дало жизнь писателямъ всѣхъ родовъ, поэтамъ всѣхъ величинъ, авторамъ по нуждѣ и по наряду, по ошибкѣ и по вдохновенію... Первый печатный листъ былъ уже прокламація побѣды просвѣщенныхъ разночинцевъ надъ невѣждами дворянчиками“. Много вѣрныхъ взглядовъ на поэзію, на отношеніе поэта къ дѣйствительности, къ народу, къ свѣтскому обществу, къ меценатамъ, находимъ мы у Бестужева, но отсутствіе вполнѣ опредѣленной системы критическихъ воззрѣній чувствуется и у него, и это заставляетъ его впадать иногда въ грубые ошибки, при рѣшеніи чисто литературныхъ вопросовъ.

Знакомый намъ поэтъ, шеллингіанецъ, Д. В. Веневитиновъ, въ своей статьѣ: „Нѣсколько мыслей въ планъ журнала“ (здѣсь идетъ рѣчь о журналѣ шеллингіанцевъ, „Московскомъ Вѣстникѣ“) заявляетъ уже о новыхъ требованіяхъ „научной эстетической критики на началахъ нѣмецкой умозрительной философіи“. Веневитиновъ — настоящій поэтъ-философъ. „Многочисленность стихотворцевъ“, по его мнѣнію, „во всякомъ народѣ есть вѣрнѣйшій признакъ его легкомыслія“. Какъ для истаго шеллингіанца, для него поэтъ — „внѣцъ просвѣщенія“. Поэтическое произведеніе не есть результатъ „перваго чувства“: оно (т.-е. чувство) „лишь порождаетъ мысль, которая развивается въ борьбѣ“. Такимъ образомъ поэты,

устраняющіе работу мысли, всякій умственный трудъ въ процессъ поэтическаго творчества, говорящіе: „не знаю, что я буду пѣть, но пѣсня зрѣетъ“, являются, съ его точки зрѣнія, не истинными поэтами, а искусными стилистами и версификаторами. „Поэту необходимы знанія, поэту необходимы убѣжденія“, заявлялъ другой шеллингянецъ, кн. Одоевскій, „потому что для читателей вовсе не безразлично, какъ поэтъ относится къ тѣмъ или другимъ явленіямъ міра физическаго и нравственнаго“.

Въ высшей степени интересно, что въ это еще сравнительно раннее время нашей общественности и нашей поэзіи мы уже встрѣчаемся съ здоровымъ взглядомъ на творческій процессъ, — взглядомъ, осуждающимъ мимолетныя настроенія и безотчетныя душевныя состоянія, непродуманныя, наскоро положенныя на бумагу, какъ недостойныя истинной поэзіи. Обыкновенно такое отношеніе къ „искусству для искусства“, къ поэзіи звучныхъ рیمъ и сладкихъ звуковъ считалось и считается благонамѣренными поклонниками чистой поэзіи у насъ зародившимся лишь въ 60-е годы — время нашего нигилизма, гражданской скорби, возмутительнаго неуваженія къ старшему поколѣнію и пр. и пр. Такія ошибки, краснорѣчиво свидѣтельствующія о незнаніи нами своего литературнаго прошлаго, весьма поучительны.

Въ своемъ „Планѣ“ Веневитиновъ совершенно поканчивалъ съ классицизмомъ, но и строго осуждалъ разившееся пренебреженіе къ умственной работѣ у романтиковъ и всеобщую страсть къ стихотворству. Знакомство съ философіей, по его мнѣнію, дастъ русскому писателю основательную подготовку для плодотворной литературной дѣятельности, кото-

рая должна поднять умственный уровень общества. Но, къ сожалѣнію, этотъ даровитый поэтъ и критикъ, быстро развивавшійся и достигшій вскорѣ замѣчательной зрѣлости мысли и силы поэтическаго выраженія, умеръ почти юношей, не успѣвши осуществить многихъ своихъ замысловъ.

Дальнѣйшее развитіе русской критики шло параллельно съ развитіемъ русской поэзіи. Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ, настолько обогатили ея содержаніе, такъ много внесли національнаго, такъ тѣсно сблизили ее съ жизнью, что заставили забыть не только о старыхъ ложно-классическихъ образцахъ, но и быстро покончили съ романтическими увлеченіями. Врядъ ли въ какой другой литературѣ съ такой быстротой совершались смѣны направлений, какъ у насъ въ первой половинѣ XIX вѣка.

Съ другой стороны, развитію русской критической мысли помогали какъ изученія идеалистическихъ философскихъ системъ, такъ и другія указанныя нами выше европейскія вліянія. Все это постепенно приводило къ здоровому взгляду на литературу и къ вѣрному пониманію ея общественно-воспитательнаго значенія. Наконецъ, въ рукахъ Бѣлинскаго критика достигла наибольшаго вліянія на литературу и общество и преслѣдовала, какъ увидимъ, широкія общественныя задачи.

Опуская второстепенныхъ критиковъ его времени, впадавшихъ въ грубыя ошибки, которыя ему приходилось исправлять, укажемъ только на двухъ болѣе значительныхъ его ближайшихъ предшественниковъ, Н. А. Полевого и Н. И. Надеждина.

Мы уже говорили о Полевомъ, какъ журналистѣ, имѣвшемъ огромный и заслуженный успѣхъ. Въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ является сторонникомъ романтической теоріи и выступаетъ, подобно Рылѣеву и Кюхельбекеру, защитникомъ самобытности въ литературѣ, осуждая подражательность какъ у классиковъ, такъ и у романтиковъ. „Образованіе наше“, говоритъ онъ, „не вышло еще изъ пеленокъ и едва, едва ходитъ на помочахъ нѣмецкихъ, французскихъ, англійскихъ, схоластическихъ, всякихъ — только не самобытныхъ русскихъ“. Разбирая литературное произведеніе, онъ рѣшалъ вопросы о его народности, искренности, о цѣльности вдохновенія. Державинъ и Пушкинъ удовлетворяли всѣмъ требованіямъ его теоріи: высказывались въ своихъ произведеніяхъ не односторонне, а всѣмъ существомъ своимъ. Полевой указываетъ также на необходимость связи между литературой и „общественнымъ бытомъ“. Но будучи поклонникомъ В. Гюго и эклектической философіи Викт. Кузена, проникнутой духомъ нѣмецкой метафизики, онъ увлекся возвышенными идеалами французскихъ романтиковъ и усвоилъ невѣрный взглядъ на поэзію, которая будто бы должна изображать только высокія, благороднѣйшія стороны человѣческой души. Руководясь этимъ взглядомъ, онъ въ своихъ многочисленныхъ повѣстяхъ и драмахъ создавалъ положительные, героическіе типы, далекіе отъ живой дѣйствительности. Понятно, что съ такой точки зрѣнія въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ не могъ сдѣлать вѣрной оцѣнки лучшимъ произведеніямъ Гоголя и несправедливо отнесся къ роману: „Герой нашего времени“. Но многія произведенія Пушкина были оцѣнены имъ по достоинству. Критика Полевого отличалась смѣлостью

и искренностью. Онъ не лишенъ былъ остроумія, и многія фальшивыя, дутыя литературныя репутаціи того времени были имъ весьма ядовито осмѣяны. Естественнo, что у него вслѣдствіе этого появилось немало враговъ. Особенно повредило ему критическое отношеніе къ Карамзину. На него посыпались пасквили и доносы. За нимъ вскорѣ установилась репутація опаснаго либерала, революціонера, врага отечества. Въ статьяхъ его всюду начали усматривать вредный смыслъ. Гр. Уваровъ, министръ народнаго просвѣщенія, говорилъ, что „если Полевой напишетъ Отче нашъ, то и это будетъ возмутительно“. Ждали только удобнаго случая, чтобы покончить съ знаменитымъ его журналомъ: „Московскій Телеграфъ“. Смѣлая критическая статья Полевого на нелѣпую патріотическую драму Кукольника („Рука всевышняго отечество спасла“), одобренную свыше, какъ мы уже говорили, дала администраціи поводъ запретить давно заподозренный въ неблагонамѣренности журналъ. Блестящій періодъ дѣятельности Полевого кончился, и онъ, разоренный, въ непосильныхъ трудахъ и нищетѣ провелъ остальную часть жизни. Мы рекомендуемъ читателю прочесть замѣчательную статью о Полевомъ, написанную послѣ его смерти Бѣлинскимъ. Знаменитый критикъ безпощадно осуждалъ Полевого за нѣкоторыя его патріотическія произведенія послѣдняго періода, періода упадка и нужды, но въ указанной статьѣ, подводящей итоги его дѣятельности, онъ возстановляетъ репутацію Полевого и справедливо называетъ его „однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей русской литературы“.

Н. И. Надеждинъ считается вліятельнымъ предшественникомъ Бѣлинскаго. Исключенный изъ

университета, Бѣлинскій вскорѣ сдѣлался со-трудникомъ журналовъ: „Телескопъ“ и „Молва“, которые редактировалъ Н. И. Надеждинъ. Сбли-зившись со своимъ редакторомъ, человѣкомъ выдающагося ума, Бѣлинскій, какъ молодой, на-чинающій литераторъ, естественно, находился нѣкоторое время подъ его влїяніемъ. Надеждинъ былъ талантливымъ, солидно образованнымъ про-фессоромъ философіи. Его чтенія были сухи, но содержательны. Заинтересованные слушатели не тяготились даже двухчасовыми его лекціями. Какъ журналистъ онъ имѣлъ меньше успѣха. Его критическія статьи были слишкомъ тяжело-вѣсны. По языку, обилующему философскими терминами, греческими, латинскими, нѣмецкими, англійскими фразами, онъ были не доступны широкому кругу мало образованныхъ читателей, а тономъ своимъ, не отличавшимся искренностью, не удовлетворяли расположенную къ его журна-ламъ образованную молодежь. Особенно непріятно дѣйствовала на послѣднюю его уклончивость отъ прямыхъ отвѣтовъ и практицизмъ, заставлявшій его часто скрывать свои настоящія убѣжденія. Такъ всѣ изслѣдователи этого литературнаго пе-ріода согласно утверждаютъ, что Надеждинъ былъ неискреннимъ сторонникомъ классицизма и не-искреннимъ врагомъ романтизма. Такой образъ дѣйствій требовался различными практическими соображеніями и, кажется, главнымъ образомъ для успѣха его ученой карьеры, зависѣвшей отъ влїятельныхъ въ университетѣ лицъ, отношенія съ которыми могли бы быть испорчены незави-симымъ образомъ мыслей молодого, только-что начинавшаго свою дѣятельность ученаго. Вообще нравственный обликъ Надеждина представляется намъ въ непривлекательномъ свѣтѣ. Но съ этой

стороны онъ не могъ имѣть никакого вліянія на Бѣлинскаго, какъ члена кружка Станкевича, въ которомъ съ особенною чуткостью и строгостью относились къ вопросамъ нравственного порядка. Умственное же вліяніе Надеждина было очень замѣтно на первыхъ статьяхъ Бѣлинскаго. Но и здѣсь Бѣлинскій обнаружилъ значительную долю самостоятельности. Взятые у Надеждина тезисы онъ разрабатывалъ по-своему и часто приходилъ къ инымъ, противоположнымъ выводамъ, polemизируя съ редакторомъ „Телескопа“. Въ своей статьѣ „литературныя опасенія за будущій годъ“, помѣщенной въ „Вѣстникъ Европы“ въ 1828 году подъ псевдонимомъ Никодима Надумко, Надеждинъ утверждалъ, что творчество современныхъ ему поэтовъ безосновательно, что они не развиты образованіемъ и не понимаютъ жизни, что содержаніе ихъ поэмъ не прочувствовано, и поэтому пусто и фальшиво, что они не понимаютъ Байрона, которому подражаютъ. „О, бѣдная, бѣдная, наша поэзія!“ восклицалъ онъ, „долго ли будетъ ей скитаться по Нерчинскимъ острогамъ, цыганскимъ шатрамъ и разбойническимъ вертепамъ?... Неужели къ области ея исключительно принадлежать однѣ мрачныя сцены распутства, ожесточенія и злодѣйства?... Что за рѣшительная антипатія ко всему доброму, свѣтлому, мелодическому — радующему и возвышающему душу?...“ „Вотъ предметы поэзіи: великіе подвиги и невинныя наслажденія человѣчества!...“ „А нынѣ?... Нынѣ поэзія съ какимъ-то неизъяснимымъ удовольствіемъ бродитъ по вертепамъ злодѣяній, омрачающихъ природу человѣческую; съ какою-то безстыдною наглостію срываетъ покровъ съ ея слабостей и заблужденій; и любитъ изведенною на позоръ срамотою наилучшаго созда-

нія Божія! Нѣтъ! не таково было первоначальное назначеніе поэзіи! Говорятъ, что въ старину свирѣпыя тигры укрощались пѣніемъ Орфеевымъ...“ „Нынѣ — совсѣмъ не то!... Наши пѣвцы воздыхаютъ тоскливо о блаженномъ состояніи первобытной дикости и услаждаются живописаніемъ бурныхъ порывовъ неистовства...“ Это были очень прозрачныя намеки на первыя поэмы Пушкина, дѣйствительно, еще слабыя, надъ которыми самъ поэтъ, развивавшійся непомѣрно быстро, вскорѣ потомъ смѣялся. Но онѣ во всякомъ случаѣ не заслуживали такого строгаго осужденія. Такая, по словамъ П. Н. Милюкова, „литературно-полицейская“ точка зрѣнія Надеждина объясняется слѣдующимъ основнымъ положеніемъ его критики: эстетическія требованія, по его мнѣнію, должны подчиняться нравственнымъ. „Что значитъ самый эстетическій интересъ“, разсуждаетъ онъ, „какъ не гармоническое сліяніе нравственнаго и умственнаго интереса?... Что значитъ красота, какъ не истина, растворенная добротою?...“ „Изящное неудобомыслимо безъ отношенія къ потребностямъ духа нашего: истинному и доброму...“ Бѣлинскій, какъ увидимъ, соглашался съ мыслью Надеждина о гармоніи красоты съ добромъ и истиной, но признавалъ первенство за эстетическимъ началомъ. Но „Бориса Годунова“ Надеждинъ привѣтствовалъ въ то время, когда къ этой драмѣ относились еще съ сомнѣніемъ. Обязанный нѣмецкой философіи серьезной подготовкой къ художественной критикѣ, онъ впервые, по словамъ Чернышевскаго („Очерки гоголевскаго періода русской литературы“), „заговорилъ о такихъ вещахъ, о которыхъ до него и не слыхивали: объ идеѣ, какъ душѣ художественнаго созданія, о художествен-

ности, какъ сообразности формы съ идеею и т. д. Мудрость неслыханная тогдашними нашими писателями и непостижимая для нихъ“. Какъ послѣдователь Шеллинга, онъ настаивалъ на мысли, что творческая сила есть жизнь, воспроизводящая сама себя, что назначеніе поэзіи — быть не праздною игрою личной фантазіи, а однимъ изъ частныхъ проявленій общенародной жизни, выразительницей народнаго самосознанія. Бѣдность нашей поэзіи онъ справедливо объяснялъ недостаткомъ серьезной общественной жизни. Бѣлинскій, какъ извѣстно, началъ съ того же самаго: началъ съ отрицательнаго отношенія къ нашей литературѣ и общественной жизни. Но уже въ первой статьѣ Бѣлинскій, какъ увидимъ, высоко оцѣнилъ Пушкина и вообще пошелъ гораздо дальше Надеждина въ своихъ критическихъ взглядахъ.

Мы видѣли, что развитіе нашей литературы и критики встрѣчало на пути своемъ много препятствій. Отсутствіе серьезнаго образованія, антинаціональный характеръ нашего воспитанія, пустота и пошлость свѣтской жизни, полное отсутствіе истинной общественности, прочность старыхъ традицій во взглядахъ на поэзію, какъ на „ума забаву — калифовъ добрыхъ честь и славу“, низменность общественныхъ понятій и вкусовъ, дававшихъ силу „словесныхъ дѣлъ мастерамъ“, официально одобряемымъ, отрѣшенность нашего сантиментализма и романтизма отъ окружающей дѣйствительности — все это тормозило общественное и литературное развитіе и вѣрно указывалось нашею критикою еще до Бѣлинскаго. Но нуженъ былъ огромный критическій и публицистическій талантъ, чтобы провести въ общество массу новыхъ научныхъ понятій, заразить его гуманными

стремленіями, дать истинное понятіе о поэзіи, о литературѣ и возбудить къ нимъ уваженіе и любовь — словомъ, воспитать общество умственно, нравственно и эстетически. Нужно было много душевныхъ силъ, чтобы исполнить эту грандіозную задачу. И Бѣлинскій исполнилъ ее.

Теперь мы должны прослѣдить, какъ росла эта духовная сила въ самую тяжелую пору, „въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси, дремля и работѣя позорно“... Съ нашей историко-литературной точки зрѣнія мы обязаны показать путь, которымъ шло развитіе этого замѣчательнаго ума, — показать, какъ этотъ умъ „кипѣлъ — и новыя стези прокладывалъ упорно“... Для этой цѣли, не входя въ мелкія подробности внѣшнихъ событій жизни Бѣлинскаго, намъ придется коснуться все-таки важнѣйшихъ изъ нихъ, имѣвшихъ болѣе или менѣе значительное вліяніе на развитіе и направленіе его душевныхъ силъ.

Воспитаніе Бѣлинскаго, какъ мы уже знаемъ, совсѣмъ не было похоже на воспитаніе его друзей, членовъ кружка Станкевича, выросшихъ въ дворянскихъ богатыхъ помѣстьяхъ. Вполнѣ обеспеченные и окруженные съизлишествомъ всякими удобствами съ дѣтскихъ лѣтъ, они не терпѣли никакихъ лишений, не знали, что такое нужда. Бѣлинскаго съ самаго ранняго дѣтства встрѣтили житейскія невзгоды. Онъ выросалъ, какъ мы уже говорили, въ семейной обстановкѣ, крайне неблагоприятной для его физическаго и нравственнаго развитія. Трудно сказать, много ли приобрѣлъ Бѣлинскій въ только-что открывшемся Чембарскомъ уѣздномъ училищѣ, куда онъ поступилъ лѣтъ одиннадцати и гдѣ его замѣтилъ и отличилъ отъ другихъ на экзаменѣ директоръ училищъ Пензенской губерніи, извѣстный писатель Лажечниковъ. Судя по

тому, что мы знаемъ объ этомъ училищѣ изъ разсказовъ Иванова, нельзя думать, чтобы своимъ развитіемъ, которое Бѣлинскій обнаружилъ передъ директоромъ, онъ былъ обязанъ Чембарскимъ педагогамъ. Вѣрнѣе всего, что бесѣдами съ образованнымъ отцомъ и собственнымъ чтеніемъ онъ приобрѣлъ гораздо больше, чѣмъ могло дать ему училище. „Еще будучи мальчикомъ“, говоритъ онъ самъ, „будучи ученикомъ уѣзднаго училища, я въ огромныя кипы тетрадей неумоимо, денно и нощно, и безъ всякаго разбору списывалъ стихотворенія Карамзина, Дмитріева, Державина, Хераскова, Петрова, Станкевича, Сумарокова, Богдановича, Макс. Невзорова, Крылова и др.; я плакалъ, читая „Бѣдную Лизу“ и „Марьину Рошу“; я писалъ баллады и думалъ, что онъ не хуже балладъ Жуковского, не хуже „Райсы“ Карамзина, отъ которой я тогда сходилъ съ ума“... Разсказывая о своихъ собственныхъ стихотворныхъ опытахъ, Бѣлинскій признается, что писалъ и въ классическомъ, и въ чувствительномъ родѣ, а съ романтическимъ познакомился уже тогда, когда у него „совсѣмъ прошло стихотворное неистовство“. Отсюда ясно видна любовь къ литературнымъ занятіямъ, необыкновенная и очень рано пробудившаяся страсть къ поэзіи и большая начитанность. Конечно, все это приобретено внѣ стѣнъ училища. И „пытливая любознательность“, и „остроуміе рѣчей“, и „страсть къ чтенію“ отличали Бѣлинскаго-мальчика еще до поступленія въ школу, по разсказамъ близкихъ людей. Самъ Лажечниковъ, говоря о быстрыхъ и увѣренныхъ отвѣтахъ Бѣлинскаго на экзаменѣ, замѣчаетъ, что онъ, какъ видно, читалъ „книги, не положенныя въ классахъ“. Лажечникова при этомъ удивили независимость и чувство собственного достоин-

ства, которыя обнаружались въ Бѣлинскомъ и которыя такъ рѣдки въ дѣтяхъ бѣдняковъ. Какъ писатель романистъ и, слѣдовательно, человѣкъ наблюдательный, Лажечниковъ подмѣтилъ и еще одну черту, съ малыхъ лѣтъ и до конца жизни отличавшую Бѣлинскаго, — страстность, съ которой онъ относился ко всякому интересовавшему его вопросу.

Далѣе, въ Пензенской гимназіи, гдѣ Бѣлинскій пробылъ всего три съ половиною года, онъ встрѣтилъ учителя М. М. Попова, который сумѣлъ его заинтересовать и привлечь къ работѣ. Важно, что въ немъ нашелъ онъ подобнаго себѣ страстнаго любителя литературы и знатока, который бесѣдуетъ уже съ нимъ не только о Жуковскомъ и Пушкинѣ, но и о Тацитѣ, Шекспирѣ, Шиллерѣ, Гётѣ, Вальтерѣ-Скоттѣ, Байронѣ, о романтизмѣ и прочихъ литературныхъ вопросахъ. Литературные интересы Бѣлинскаго, очевидно, растутъ и углубляются. И здѣсь, какъ въ Чембарскомъ училищѣ, по рассказамъ Попова „больше въ немъ набиралось свѣдѣній изъ книгъ, которыя онъ читалъ внѣ гимназіи“... „Онъ бралъ у меня книги и журналы“, говоритъ Поповъ, „пересказывалъ мнѣ прочитанное; судилъ и рядилъ обо всемъ, задавалъ мнѣ вопросъ за вопросомъ“... „По лѣтамъ и тогдашнимъ отношеніямъ нашимъ, онъ былъ неровный мнѣ; но не помню, чтобы въ Пензѣ съ кѣмъ-нибудь другимъ я такъ душевно разговаривалъ, какъ съ нимъ, о наукѣ и литературѣ“. Жизнь Бѣлинскаго въ Пензѣ не похожа на Чембарскую. Онъ уже внѣ своей семьи. Онъ устраивается въ обществѣ семинаристовъ, такихъ же бѣдняковъ и тружениковъ, какъ самъ. Они ведутъ оживленные бесѣды и споры по разнымъ вопросамъ науки, литературы и жизни. Діалек-

тическія способности Бѣлинскаго развиваются, и онъ обнаруживаетъ передъ товарищами уже довольно обширныя литературныя свѣдѣнія и вкусъ. Они добываютъ журналы, читаютъ вмѣстѣ и обмѣниваются мнѣніями о прочитанномъ. Театръ доставляетъ имъ самое большое удовольствіе. Бѣлинскій относился къ нему со всей своей страстностью, которая сохранилась у него до самаго конца жизни. Страсть къ театру высказывается уже въ его первой критической статьѣ „Литературныя мечтанія“.

Въ борьбѣ съ лишеніями и нуждой, которую терпятъ эти бѣдняки, крѣпнеть, закаляется характеръ Бѣлинскаго, возрастаетъ его самостоятельность. Онъ смѣло бросаетъ не удовлетворяющую его гимназію ранѣе окончанія въ ней курса, чтобы поступить прямо въ университетъ.

„На вакаціи Бѣлинскій ѣздилъ въ Чембаръ, говоритъ Поповъ, „но не помню, чтобы отецъ пріѣзжалъ къ нему въ Пензу; не помню, чтобы кто-нибудь принималъ въ немъ участіе. Онъ видимо былъ безъ женскаго призора, носилъ платье кое-какое, иногда съ непочиненными прорѣхами. Другой на его мѣстѣ смотрѣлъ бы жалкимъ, заброшеннымъ мальчикомъ, а у него взглядъ и поступки были смѣлые, какъ бы говорившіе, что онъ не нуждается ни въ чьей помощи, ни въ чьемъ покровительствѣ. Таковъ онъ былъ и послѣ, такимъ пошелъ и въ могилу“. „Въ домѣ Ивановыхъ (Иванова — родная племянница отца Бѣлинскаго), пріѣзжая изъ гимназіи, Бѣлинскій отдыхалъ душой, повѣрялъ свои думы и впечатлѣнія молоденькой, симпатичной и нѣжно кроткой Катенькѣ Ивановой, получившей достаточное образованіе въ домѣ уѣзднаго аристократа-помѣщика. Въ домѣ Ивановыхъ разыгрывались, по предло-

женію Бѣлинскаго, комедіи и даже трагедіи на домашнихъ спектакляхъ "... „Чуждавшійся своей кровной семьи, онъ питалъ почти сыновнее чувство къ старикамъ Ивановымъ“ ...

Какъ въ Чембарскомъ училищѣ, такъ и въ гимназіи, рассказываютъ, его очень привлекало стихотворство. Стихи въ то время особенно обаятельно дѣйствовали на всѣхъ и высоко цѣнились. Кто только не пробовалъ тогда своихъ силъ въ стихотворствѣ? Но Бѣлинскому вскорѣ пришлось убѣдиться въ своей неспособности къ этому искусству: „Въ сердцѣ моемъ“, пишетъ онъ М. М. Попову, „часто происходятъ движенія необыкновенныя, душа часто бываетъ полна чувствами и впечатлѣніями сильными, въ умѣ рождаются мысли высокія, благородныя — хочу ихъ выразить стихами — и не могу!... Рима мнѣ не дается и, не покоряясь, смѣется надъ моими усиліями; выраженія не улаживаются въ стопы, и я нашелся принужденнымъ приняться за смиренную прозу“.

Поступая въ университетъ, онъ не рассчитывалъ на помощь родныхъ — ея быть не могло. Онъ обрекалъ себя на всякія лишенія, на всякія бѣдствія, лишь бы стать студентомъ, и добился своей цѣли. Къ концу перваго года онъ попалъ даже въ казеннокоштные, но очутился въ невыносимо тяжелыхъ условіяхъ, отъ которыхъ, во что бы то ни стало, надо было освободиться. Онъ торопится окончить задуманное имъ драматическое произведеніе. „Маленькое литературное общество“, образовавшееся между студентами, способствуетъ скорому осуществленію этого замысла. „Еженедѣльно было у насъ собраніе“, говоритъ Бѣлинскій, „въ которомъ каждый изъ членовъ читалъ свое сочиненіе. Это общество, кончившееся седь-

мымъ засѣданіемъ, принесло мнѣ ту пользу, что заставило меня окончить мою трагедію“. Его трагедія „Дмитрій Калининъ“, написанная въ духѣ шиллеровскихъ „разбойниковъ“, — произведение незрѣлое и не имѣетъ художественныхъ достоинствъ, но она все же проникнута горячимъ чувствомъ: въ ней выраженъ сильный протестъ противъ крѣпостного права. При всѣхъ ея недостаткахъ, она можетъ стать въ ряду тѣхъ произведеній нашей освободительной литературы, которыя ведутъ начало съ послѣднихъ десятилѣтій XVIII вѣка. Герой драмы — крѣпостной человѣкъ, но онъ получилъ образованіе и не въ состояніи примириться съ положеніемъ раба. „Кто позволилъ имъ (т.-е. помѣщикамъ) ругаться правами природы и человѣчества?“ спрашиваетъ онъ въ негодованіи. „Господинъ можетъ для потѣхи или для разсѣянія содрать шкуру съ своего раба; можетъ продать его, какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него, мило и драгоцѣнно!... Милосердный Боже, Отецъ человѣковъ! отвѣтствуй мнѣ: твоя ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ змѣевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?“ Приведенный монологъ даетъ понятіе, въ какомъ приподнятомъ тонѣ написано это юное произведение и ярко характеризуетъ настроеніе его автора. Драма обилуетъ романтическими ужасами, въ монологахъ не мало риторики, но искреннее горячее чувство негодованія на возмутительный произволъ помѣщиковъ и крѣпостное право вообще, пламенная защита правъ человѣческаго разума и чувства

отъ всякаго посягательства на нихъ заставляють насъ цѣнить это произведеніе съ идейной стороны. „Когда законы противны правамъ природы и человѣчества, правамъ самого разсудка, то человѣкъ можетъ и долженъ нарушать ихъ“... говоритъ тотъ же герой драмы.

Бѣлинскій возлагалъ большія надежды на свою пьесу: она, по его расчетамъ, должна была обезпечить его существованіе на нѣкоторое время и, главное, избавить его отъ казеннаго кошта. Но профессора университета, исполнявшіе тогда обязанности цензоровъ, нашли ее „безнравственной, безчестящей университетъ“, и Бѣлинскій былъ, какъ извѣстно, исключенъ изъ числа студентовъ будто бы „по неспособности“. Выкинутый на улицу безъ всякихъ средствъ, онъ кое-какъ существуетъ уроками и переводами. Но, оставивъ недобровольно университетъ, Бѣлинскій не оставилъ университетской науки, онъ нашелъ ее въ тѣхъ кружкахъ молодежи, которые, какъ мы видѣли, работали самостоятельно и ушли дальше своихъ преподавателей.

Съ половины 1833 года, Бѣлинскій знакомится ближе съ кружкомъ Станкевича, личность котораго представляется удивительною по своей нравственной чистотѣ и возвышенности мысли. „Жизнь въ кружкѣ“, рассказываетъ Анненковъ (членъ и первый историкъ этого кружка) „шла трезво и бодро и, благодаря характеру своего вождя, носила рѣдкій отпечатокъ скромности“... „Болѣзненный, тихій по характеру поэтъ и мечтатель, Станкевичъ, естественно, долженъ былъ болѣе любить созерцаніе и отвлеченное мышленіе, чѣмъ вопросы жизненные и чисто практическіе“, говоритъ Герценъ. Это было физически слабое, хрупкое существо, съ очень тонкою, нервною организаціей.

При разностороннемъ образованіи и литературномъ талантѣ, при глубокомъ пониманіи произведеній искусства, онъ, однако, не способенъ былъ къ постоянному, упорному литературному труду. Близкіе говорятъ о немъ, что, „все, что требуетъ твердой рѣшимости, что можетъ быть исполнено энергическою волею, идущею войной на всякое зло,— не подходило къ темпераменту Станкевича. Онъ былъ созданъ только для мечты“... „Артистическій идеализмъ ему шелъ, это“, по словамъ Герцена, „былъ побѣдный вѣнокъ, выступавшій на блѣдномъ предсмертномъ челѣ юноши“. „Чувство красоты“, по его собственному выраженію, „становилось его единственною въ жизни отрадою“. Знакомство въ университетѣ съ философій Шеллинга обратило его къ эстетическимъ, сроднымъ ему интересамъ и къ общимъ отвлеченнымъ идеямъ. Одаренный большими способностями, онъ ушелъ весь въ философію. Университетскіе профессора остановились на Шеллингѣ, Станкевичъ пошелъ дальше, принялся за изученіе Гегеля и увлекъ за собой большой кругъ друзей въ свое любимое занятіе. „Грановскій, вѣришь ли“, пишетъ онъ, „оковы спали съ души, когда я увидѣлъ, что внѣ одной всеобъемлющей идеи нѣтъ знанія, что жизнь есть самонаслажденіе любви и что все другое — призракъ. Да, это мое твердое убѣжденіе. Теперь есть цѣль передо мною: я хочу полного единства въ мірѣ моего знанія, хочу дать себѣ отчетъ въ каждомъ явленіи, хочу видѣть связь его съ жизнью цѣлаго міра, его необходимость, его роль въ развитіи этой идеи“... „Поэзія и философія — сущность всего. Въ нихъ жизнь, въ нихъ любовь. Внѣ поэзіи и философіи — все мертво. Въ нихъ наслажденіе, въ нихъ спасеніе“... Одинъ изъ біогра-

фовъ справедливо называетъ его „романтикомъ чистой воды“ и нѣмецкаго образца. Это — избранныя натуры, это — жрецы прекраснаго. Они должны уходить отъ житейскихъ волненій: дѣйствительность въ ихъ глазахъ — грязное болото, засасывающее людей; ихъ дѣло — предаваться созерцанію чистой и вѣчной красоты въ образахъ и звукахъ искусства, главнымъ образомъ поэзіи и музыки. Идеалисты 30-хъ годовъ такъ были погружены во внутреннюю жизнь собственной души, что даже естественное чувство любви, явившееся въ ней подъ впечатлѣніемъ отъ міра внѣшняго, старательно изгонялось ими, какъ посягающее на свободу духа и нарушающее душевное равновѣсіе. Окружающій міръ, съ ихъ точки зрѣнія, былъ міръ призраковъ, а дѣйствительною жизнью считалась высшая жизнь духа. Когда „прекрасный призракъ“ вопреки теоріи начиналъ тревожить душу и становился дорогъ сердцу, возникала борьба съ этими, по ихъ взгляду, низкими стремленіями. Пускалась въ ходъ рефлексія, тонкій анализъ испытываемаго чувства, идеалистъ переживалъ рядъ мучительныхъ душевныхъ состояній. При взаимности чувства страдала, конечно, и любимая женщина. Романтическая теорія любви была въ высшей степени туманна. Самое чувство любви служило средствомъ подняться въ высшія духовныя сферы, достигнуть сліянія съ міровымъ духомъ. Идеалистъ романтикъ жилъ надеждой встрѣтить свой идеаль. „Я мелкимъ чувствомъ довольствоваться не могу“, писалъ Станкевичъ, „а для высокаго — нужна женщина съ высокими достоинствами“. Всѣ три романа его имѣли печальный конецъ. Только въ послѣдніе два, три года жизни Станкевичъ сталъ спускаться съ облаковъ на землю. Онъ начиналъ сознать,

что внѣшній міръ можетъ кое-что дать для полноты чувства. Теперь онъ предлагаетъ другіе совѣты друзьямъ въ своихъ письмахъ: „не рефлектируй много“, часто повторяется въ нихъ, или: „если трудно становится рѣшить что-нибудь, переставай думать и живи“. Но смерть слишкомъ рано прекратила жизнь богато-одареннаго юноши, въ самомъ началѣ новаго фазиса его развитія. Онъ умеръ 27 лѣтъ. Бѣлинскій въ началѣ 30-хъ годовъ держался той же теоріи, но онъ по самой натурѣ своей не могъ долго удовлетворяться фантастическими построениями мысли и ранѣе другихъ членовъ кружка перешелъ на сторону дѣйствительности. Вскорѣ, какъ увидимъ, онъ совсѣмъ снялъ философскія очки и взглянулъ на нее прямо и трезво.

Если мы припомнимъ страстное увлеченіе Бѣлинскаго поэзію, его постоянное стремленіе къ стихотворству, его трагедію, въ которой немало возвышенной романтической риторики, то насъ не удивитъ близкая дружеская связь его со Станкевичемъ и его друзьями, которые такъ глубоко уважали и сильно любили своего вождя, что стремились подражать ему, быть похожими на него. Бѣлинскій въ эту пору самъ былъ романтически настроенъ: героиня его трагедіи, желая умереть отъ руки своего возлюбленнаго, говоритъ объ окружающей ее дѣйствительности въ такихъ выраженіяхъ: „Я перешла цвѣтущій садъ бытія и вступила въ дикую пустыню, гдѣ растутъ терны колючіе, гдѣ текутъ ручьи ядовитые, ея зловѣщій видъ ужаснулъ меня, и я хочу возвращаться въ мое безсмертное отечество, гдѣ опять найду съ тобой потерянное счастье“... Правда, Бѣлинскій не былъ способенъ къ созерцательной жизни, — у него была страстная боевая натура, но не ме-

нѣе артистическая, чѣтъ натура Станкевича. Онъ былъ страстный любитель музыки, поэзіи, театра. И въ это время глубоко погружался въ міръ отвлеченныхъ идей и возвышенныхъ образовъ искусства. Сомнѣнія не переставали минутами его тревожить, но его нравственное чувство временно удовлетворялось спокойно-созерцательнымъ состояніемъ философа.

Мы знаемъ уже, что философія Шеллинга прежде другихъ системъ увлекла московскій кружокъ. Бѣлинскій со всею страстью отдался этому ученію. Въ своей первой статьѣ „Литературныя мечтанія“ онъ развиваетъ съ свойственнымъ ему восторженнымъ чувствомъ взгляды шеллингіанства: о мірѣ, какъ дыханіи единой вѣчной идеи (мысли единого, вѣчнаго бога), какъ великомъ зрѣлищѣ абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи; о творящей природѣ; о борьбѣ между добромъ и зломъ, уподобляемой противоборству въ жизни физической между шеллинговыми силами „сжимательной“ и „расширительной“: объ искусствѣ, какъ выраженіи въ его созданіяхъ великой идеи вселенной съ ея безконечнымъ разнообразіемъ явленій; о первенствующемъ значеніи эстетическаго чувства не только для поэта, но и для ученаго, и гражданина, и всего народа; о назначеніи каждаго народа особенно развивать одну сторону жизни цѣлаго человѣчества; о творествѣ художника, которому въ минуты вдохновенія природа чудеснымъ образомъ открываетъ свои таинственныя нѣдра, даетъ подсмотреть біеніе своего сердца и черпать въ своемъ лонѣ „живую воду“, вливающую струю жизни и въ металлъ, и въ мраморъ. Объясняя нѣкоторыя явленія природы, онъ примѣняетъ шеллингіанскій телеологическій приемъ... Горячія

рѣчи его на вышеуказанныя темы свидѣтельствуютъ, что онъ всѣмъ сердцемъ воспринялъ шеллинговскій пантеизмъ. Мы уже говорили, что система Шеллинга была больше поэзіей, чѣмъ голой логической системой, потому то она особенно сильно дѣйствовала на восторженныхъ поклонниковъ поэзіи. Шеллингъ имѣлъ у насъ особенный успѣхъ. И какъ онъ былъ принятъ! „Какимъ торжествомъ, свѣтлымъ радостнымъ чувствомъ исполнилась жизнь“, говоритъ Анненковъ, „когда указана была возможность объяснить явленія природы тѣми же самыми законами, какимъ подчиняется духъ человѣческій въ своемъ развитіи, закрыть, повидимому, навсегда пропасть, раздѣляющую два міра, и сдѣлать изъ нихъ единый сосудъ для вмѣщенія вѣчной идеи, вѣчнаго разума“... С. А. Венгеровъ справедливо замѣчаетъ, что основные тезисы Шеллинга, пройдя чрезъ восторженное сердце Бѣлинскаго, приняли окраску скорѣе религіознаго воззрѣнія, чѣмъ сухой философской схемы. Не умомъ, а сердцемъ былъ воспринятъ шеллинговскій пантеизмъ. „Съ какою юношескою и благородною гордостью понималась тогда часть, предоставленная человѣку въ этой всемірной жизни!“ продолжаетъ Анненковъ. „По свойству и праву мышленія, онъ переносилъ видимую природу въ самого себя, разбиралъ ее въ нѣдрахъ собственнаго сознанія, словомъ, становился ея центромъ, судьей и объяснителемъ. Природа была поглощена имъ и въ немъ же воскресала для новаго разумнаго и одухотвореннаго существованія... Чѣмъ свѣтлѣе отражается въ немъ самомъ вѣчный духъ, всеобщая идея, тѣмъ полнѣе понималъ онъ ея присутствіе во всѣхъ другихъ сферахъ жизни. На концѣ всего воззрѣнія стояли нравственныя обязанности —

высвободить въ себѣ самомъ божественную часть міровой идеи отъ всего случайнаго, нечистаго и ложнаго для того, чтобы имѣть право на блаженство дѣйствительнаго, разумаго существованія“. Эти нравственныя обязанности Бѣлинскій уже въ первый періодъ своего философскаго увлеченія, когда онъ, повидимому, долженъ бы удовлетворяться спокойно-созерцательнымъ состояніемъ духа, ставить на первый планъ. „Такъ“, говоритъ онъ въ первой статьѣ,—„идея живетъ: мы ясно видимъ это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидитъ, все держитъ въ равновѣсіи: за наводненіемъ и за лавою ниспосылаетъ плодородіе, за опустошительною грозой чистоту и свѣжесть воздуха, въ пустыняхъ песчаной Аравіи и Африки поселила верблюда и страуса, въ пустыняхъ ледяного Сѣвера поселила оленя (Телеологическій пріемъ). Вотъ ея мудрость, вотъ ея жизнь физическая: гдѣ же ея любовь? Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ и чувство, да постигаетъ сію идею своимъ умомъ и знаніемъ, да пріобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной зиждущей любви! И такъ она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись человѣкъ своимъ высокимъ назначеніемъ; но не забывай, что Божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живетъ, а жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба, не забывай, что твое безконечное, высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего я въ чувствѣ любви“... „отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное я, дыши для счастья другихъ, жертвуй

всѣмъ для блага ближняго, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего я, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства!“... Мы видимъ отсюда, какъ Бѣлинскій понималъ высокое назначеніе человека, который хочетъ гордиться имъ: оно представлялось ему не иначе, какъ въ связи съ обязанностью бороться, съ обязанностью жертвовать собой для родины, человечества. И хотя здѣсь нѣтъ еще опредѣленныхъ указаній, противъ чего именно должна быть направлена эта борьба, но уже важно самое требованіе ея, исключющее философское спокойное созерцаніе жизни. Это былъ, какъ позднѣе говорили, „абстрактный героизмъ“, который основывался на вѣрѣ, что зло должно исчезнуть, что стремленіе къ свободѣ, красотѣ, счастію присуще человеку, — тотъ героизмъ, который возбуждали и поддерживали въ сердцахъ нашихъ философовъ идеалистическая философія и драмы Шиллера. „Впослѣдствіи“, замѣчаетъ С. А. Венгеровъ, „Бѣлинскій говорилъ объ „абстрактномъ героизмѣ“ своей юности и ругалъ себя за это, требовалъ героизма, направленного на борьбу съ реальной дѣйствительностью. Но вѣдь дѣло не въ томъ, „абстрактенъ“ или не абстрактенъ героизмъ, а чтобы онъ былъ. Остальное приложится“. И мы знаемъ, что, носясь съ „абстрактнымъ идеаломъ общества“, Бѣлинскій мучительно „сознавалъ себя нулемъ“. Это душевное состояніе, которое испытывали лучшіе изъ его современниковъ, было особенно тяжело для его страстной, дѣятельной натуры. Едва ли можно сомнѣваться, что философское

спокойствіе, которое временно овладѣвало имъ, стоило ему большихъ усилій.

Съ 1835 года Бѣлинскій подѣ вліяніемъ Бакунина увлекается системой Фихте. Мы говорили уже о трудности усвоенія системы Фихте, приводили мнѣніе о неуловимости фихтевскаго абсолюта, высказанное такимъ глубокимъ философомъ, какъ Кантъ. Можно себѣ представить, какого умственного напряженія потребовало отъ Бѣлинскаго усвоеніе этой теоріи, и сколько труда было потрачено на него. По идеѣ Фихте, дѣйствительность обращается въ призракъ, такъ какъ она есть произведеніе абсолютнаго „я“; нравственная задача мыслящаго человѣка состоитъ въ стремленіи къ высшимъ духовнымъ интересамъ, къ нравственному самоусовершенствованію. Это стремленіе такъ овладѣло Бѣлинскимъ, что письма этого періода его жизни полны болѣзненно мучительныхъ признаній въ своихъ мнимыхъ недостаткахъ. „Тотъ подлѣ, кто не улучшается ежеминутно“, горячо восклицаетъ онъ, страстно, безмѣрно, увлекаясь въ эту сторону. Самъ Бѣлинскій, какъ говорятъ, не читалъ Фихте; онъ познакомился съ его ученіемъ въ талантливой передачѣ Бакунина, который, по выраженію самого Бѣлинскаго, „втащилъ его въ фихтіанскую отвлеченность“. Но Бѣлинскій вполне усвоилъ основныя идеи и терминологію Фихте, съ его противопоставленіемъ нашего „я“ внѣшнимъ предметамъ, съ его провозглашеніемъ самодѣятельности разума, съ его убѣжденіемъ, „что міръ можетъ быть понятъ изъ духа, а духъ только изъ воли“. „Я уцѣпилъ за фихтіанскій взглядъ съ энергіею, съ фанатизмомъ“, говоритъ Бѣлинскій. Но здѣсь опять онъ ищетъ рѣшенія самаго важнаго для него вопроса, — вопроса объ отношеніи идеала

къ дѣйствительности. Фихте убѣдилъ его, что „идеальная-то жизнь“, т.-е. жизнь духа, „есть именно жизнь дѣйствительная, положительная, конкретная, а такъ называемая дѣйствительная жизнь есть отрицаніе, призракъ, ничтожество, пустота“. Теперь, слѣдовательно, онъ приходилъ къ противоположному заключенію: онъ уже не чувствовалъ себя ничтожнымъ, безсильнымъ, нулемъ, напротивъ, къ нулю сводилась та дѣйствительность, противъ которой онъ возставалъ во имя „абстрактнаго идеала“. Но призракъ дѣйствительности разныхъ странъ Европы была очень различна: разумъ отказывался приводить ее вездѣ къ одному знаменателю. И какъ ни усиливался Бѣлинскій взглянуть на міръ Божій съ высоты новой философской формулы, спокойнаго, чисто созерцательнаго состоянія духа достичь ему не удавалось. А. Н. Пыпинъ передаетъ интересный рассказъ объ одномъ случаѣ изъ жизни Бѣлинскаго, относящемся къ „фихтеанскому періоду“. Въ большомъ, мало знакомомъ обществѣ Бѣлинскій высказалъ съ крайнею рѣзкостью свой взглядъ на событія конца XVIII вѣка во Франціи. Хозяинъ дома былъ чрезвычайно смущенъ. И Бѣлинскій, нѣсколько времени спустя, писалъ одному изъ друзей: „я нисколько не раскаиваюсь въ этой фразѣ и нисколько не смущаюсь воспоминаніемъ о ней: ею выразилъ я совершенно добросовѣстно и со всею полнотою моей неистовой натуры тогдашнее состояніе моего духа, черезъ которое необходимо долженъ былъ пройти“. Очевидно, что какъ ни призракъ была съ философской точки зрѣнія французская дѣйствительность, о которой здѣсь идетъ рѣчь, все-таки она внушала ему горячее сочувствіе, котораго еще не вызывала тогда въ немъ современная ему русская жизнь,

Однако вліяніе друзей, и въ особенности Мишеля (т.-е. Бакунина), продолжалось, и Бѣлинскій дѣлалъ большія усилія надъ собою, чтобы достигъ того блаженнаго состоянія духа, которое по теоріи признавалось возможнымъ только для избранныхъ натуръ. Вотъ что писалъ онъ вскорѣ одному изъ друзей: „Внѣ мысли все призракъ, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты самъ? Мысль, одѣтая тѣломъ; тѣло твое сгніетъ, но твое „я“ останется; слѣдовательно, тѣло есть призракъ, мечта, но „я“ твое существенно и вѣчно. Философія — вотъ что должно быть предметомъ твоей дѣятельности. Философія есть наука идеи чистой, отрѣшенной“... Грязь и пошлость тогдашней русской жизни помогали въ значительной степени этому отрѣшенію лучшихъ русскихъ людей отъ неприглядной дѣйствительности, которая ихъ окружала: тамъ, въ этой возвышенной сферѣ отвлеченныхъ идей, они искали отъ нея спасенія; туда они страстно хотѣли уйти отъ толпы, отъ міра, чтобы замкнуться въ своемъ собственномъ внутреннемъ мірѣ. „Только въ философіи“, пишетъ Бѣлинскій далѣе, „ты найдешь отвѣты на вопросы души твоей, только она дастъ миръ и гармонію душѣ твоей и подаритъ тебя такимъ счастіемъ, какого толпа и не подозреваетъ и какого внѣшняя жизнь не можетъ ни дать тебѣ, ни отнять у тебя. Ты будешь не въ мірѣ, но весь міръ будетъ въ тебѣ. Въ самомъ себѣ, въ сокровенномъ святилищѣ своего духа найдешь ты высшее счастье, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогій и тѣсный кабинетъ будетъ истиннымъ храмомъ счастья. Ты будешь свободенъ, потому что не будешь ничего просить у міра, и міръ оставитъ тебя въ покоѣ, видя, что ты у него ничего не просишь“. Это стремле-

ніе отрѣшиться отъ всего окружающаго, уйти въ себя, въ свою скорлупу, вело къ ошибочному взгляду на человѣческую личность, ея роль въ обществѣ и мѣсто въ природѣ. Человѣкъ представлялся центромъ міра, нося въ себѣ самомъ самостоятельный нравственный міръ, внѣ всякой связи съ обществомъ, независимо отъ общихъ условій жизни, и могъ, будто бы, развиваться, совершенствоваться самостоятельно, „ничего не прося у міра“. Мы увидимъ сейчасъ, къ чему повела эта высшая, отрѣшенная отъ жизни, точка зрѣнія. Сильнѣе всего въ это время Бѣлинскій возненавидѣлъ политику. „Пуще всего“, пишетъ онъ въ томъ же письмѣ, „оставь политику и бойся всякаго политическаго вліянія на твой образъ мыслей“... „Люби добро, и тогда ты будешь полезенъ своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезнымъ. Если бы каждый изъ индивидовъ, составляющихъ Россію, путемъ любви дошелъ до совершенства — тогда Россія безъ всякой политики сдѣлалась бы счастливѣйшей страной въ мірѣ“.

Нужно ли говорить о томъ, что индивидуалистическая точка зрѣнія, развиваемая здѣсь, ошибочна? Можно ли представить себѣ, чтобы люди развивались не другъ подлѣ друга, а въ одиночку? Можно ли думать, что отвлеченная любовь къ добру и горячая проповѣдь такой любви ведутъ къ уничтоженію зла? Да и возможно ли самое счастье, о которомъ мечтаетъ философъ, въ полномъ отрѣшеніи отъ міра? Можно только удивляться, слыша все это отъ Бѣлинскаго, который съ самаго начала говорилъ, что „жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба“. Но дальнѣйшее содержаніе цитируемаго письма вызываетъ еще больше удивленія.

Далѣ Бѣлинскій пускается въ область политики и обнаруживаетъ полное съ ней незнакомство. Сравнивая Россію съ Франціей, онъ приходитъ къ заключенію, что „Франція есть страна опыта, примѣненія идей къ жизни“, что „назначеніе Россіи совсѣмъ другое“. Во Франціи политическое направленіе наукъ, искусствъ и характера жителей, по его мнѣнію, имѣетъ смыслъ, законность и свою хорошую сторону. Въ Россіи весь источникъ благоденствія въ абсолютной власти. Правда, „мы еще рабы“, но это потому, что „Россія еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукѣ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости“... „Вся надежда Россіи на просвѣщеніе, а не на перевороты, не на революціи и не на конституціи“. Конституціонное начало вообще никуда не годится. „Во Франціи было двѣ революціи (письмо Бѣлинскаго написано въ 1837 году) и результатомъ ихъ конституція — и что же? въ этой конституціонной Франціи гораздо менѣе свободы мысли, нежели въ самодержавной Пруссіи (очевидно Бѣлинскій ничего не зналъ о преслѣдованіяхъ писателей „Молодой Германіи“). И это оттого, что свобода конституціонная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настааетъ въ государствѣ съ успѣхами просвѣщенія, основаннаго на философіи, на философіи умозрительной, а не эмпирической, на царствѣ чистаго разума, а не пошлаго здраваго смысла. Гражданская свобода должна быть плодомъ внутренней свободы каждаго индивида, составляющаго народъ, а внутренняя свобода „пріобрѣтается сознаніемъ. Вотъ именно этимъ прекраснымъ путемъ“ должна идти Россія. Далѣ Бѣлинскій

приводить примѣры, имѣющіе цѣлью доказать, что „въ Россіи все идетъ къ лучшему“. Причиною тому отчасти просвѣщеніе, а, можетъ быть, еще болѣе того, самодержавная власть“. Въ концѣ письма Бѣлинскій находитъ правительственную опеку разумною, полезною для общества и оправдываетъ всѣ стѣсненія свободы слова и печати. „Правительство“, говоритъ онъ, „позволяетъ намъ выписывать изъ-за границы все, что произведетъ германская мыслительность, самая свободная, и не позволяетъ выписывать политическихъ книгъ, которыя послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательныхъ людей“...

Мы остановились на этомъ письмѣ, потому что въ немъ содержатся почти всѣ тѣ взгляды, которыми характеризуется переходный отъ фихтеанства къ гегеліанству періодъ жизни Бѣлинскаго, къ счастію, довольно короткій. Это тѣ самыя идеи, которыя такъ сильно возмущали Герцена, спорившаго съ Бѣлинскимъ и Бакунинымъ въ 1839 году. Къ нимъ для полноты міровоззрѣнія Бѣлинскаго за этотъ періодъ остается прибавить немного.

Но намъ придется нѣсколько пріостановиться здѣсь и даже вернуться назадъ къ 36-му году, чтобы разсказать о такъ называемомъ бакунинскомъ эпизодѣ изъ жизни Бѣлинскаго, имѣвшемъ большое вліяніе на выработку его теоретическихъ воззрѣній и давшемъ сильный толчокъ къ самостоятельной работѣ его мысли. Въ 1836 году, какъ извѣстно, „Телескопъ“ прекратилъ свое существованіе, и Бѣлинскій, который съ 34-го года началъ сотрудничать въ немъ, лишился заработка и снова очутился въ критическомъ положеніи. Въ это время, осенью, онъ былъ приглашенъ другомъ своимъ Мишелемъ Бакунинымъ,

къ нему въ тверскую деревню, гдѣ отдохнулъ душою отъ житейскихъ неудачъ, но не надолго.

Высоко образованная, богатая и знатная семья Бакуниныхъ представляетъ рѣдкое явленіе въ помѣщичьей средѣ того времени, отличавшейся полнымъ отсутствіемъ умственныхъ интересовъ. Съ однимъ изъ младшихъ членомъ ея, М. А. Бакунинымъ, главнымъ распространителемъ фихтеанства и гегеліанства въ кружкѣ Станкевича, мы уже знакомы. Прибавимъ о немъ только нѣсколько словъ. „Къ нему“, говоритъ Анненковъ, „прибѣгали при всякомъ недоумѣніи, затруднительномъ вопросѣ, случайномъ перерывѣ идей, и пояснительная рѣчь его текла блестящей импровизаціей...“ „Онъ обладалъ особеннымъ даромъ, похожимъ на творчество, именно даромъ перерабатывать все вычитанное и узнанное въ собственную мысль, такъ что онъ самъ казался почти изобрѣтателемъ и родоначальникомъ поясненнаго имъ метода“. Неудивительно послѣ этого, что увлекающійся, пылкій Бѣлинскій нѣкоторое время находился подъ его вліяніемъ. Сестры Бакунины были молоды и красивы и обладали высокими душевными качествами. „Это были тоже люди сороковыхъ годовъ, и, въ лучшемъ смыслѣ этихъ словъ, онѣ не менѣе мужчинъ волновались высшими вопросами жизни“.

Въ этой „гармонической“ семьѣ измученная душа Бѣлинскаго должна бы, кажется, ощутить миръ и спокойствіе, которые были такъ необходимы ему. Мишель, приглашая его, такъ и думалъ. Онъ рассчитывалъ при этомъ „пробудить“ Бѣлинскаго „отъ постыднаго усыпленія и указать на новый для него міръ идеи“. Но Мишель ошибся. Душевный миръ Бѣлинскаго былъ нарушенъ вскорѣ по пріѣздѣ его въ деревню Бакуниныхъ

и совершенно неожиданно для него самого. Младшая Бакунина своею кротостью и женственностью настолько привлекла его вниманіе, что онъ влюбился въ нее и заболѣлъ тою „отрадною болѣзнью“, которая лучше всякаго здоровья“. Но это новое чувство осложнилось въ душѣ его очень мучительными ощущеніями. Застѣнчивый и робкій, болѣзненно мнительный и самолюбивый, Бѣлинскій, съ одной стороны, идеализировалъ достоинства Бакуниныхъ, съ другой — преувеличивалъ свои собственные недостатки, присоединивъ къ нимъ и такіе, которыхъ не существовало. „Мои недостатки нравственные терзали меня“, говорить онъ, „сравнивая свои мгновенные порывы восторга съ этою жизнью ровною, гармоническою, безъ пробѣловъ, безъ пустотъ, безъ паденія и возстанія, съ этимъ прогрессивнымъ ходомъ впередъ къ безконечному совершенству — я ужасался своего ничтожества... Не видя ихъ (т.-е. сестеръ Бакунина), я чувствовалъ внутри себя пожирающую лихорадку и думалъ, что ихъ присутствіе успокоитъ мою душу, но когда снова видѣлъ ихъ, то снова увѣрялся, что видъ ангеловъ возбуждаетъ въ чертяхъ только сознаніе ихъ паденія... Полною жизнію я жилъ только въ тѣ минуты, когда увлекался сильнымъ жаромъ въ спорахъ и, забывая себя, видѣлъ одну истину, которая меня занимала; еще тогда, когда всѣ собирались въ гостиную, толпились около рояли и пѣли хоромъ...“ Бѣлинскому представлялся разительнымъ контрастъ между нимъ и обитателями Прямухина (названіе деревни Бакуниныхъ). Онъ — бѣдный разночинецъ, невоспитанный правильно, не получившій серьезнаго образованія, одичавшій въ одиночествѣ, живущій тяжелымъ поденнымъ трудомъ, безъ опредѣленнаго будущаго... Какое

сравненіе съ ними — богатыми аристократами, образованными, живущими такою блаженною, гармоничною жизнью, стремящимися къ безконечному духовному совершенству! Ему казалось, что и они также представляютъ эту разницу между нимъ и собою. И въ душѣ его „было что-то тяжкое, невыносимое“, и онъ боялся своими „дикими движеніями обратить на себя вниманіе...“ Тяжесть положенія увеличивалась еще грубыми эгоистическими выходками Мишеля, ревновавшаго его къ сестрамъ и въ ихъ присутствіи избиравшаго его мишенью для своихъ остротъ. „О, ты вонзалъ мнѣ ножъ въ сердце“, писалъ ему потомъ Бѣлинскій, „и, вонзая, поворачивалъ его, какъ бы веселясь моими муками...“ Ко всему этому присоединялась мысль о томъ, что ожидаетъ его по возвращеніи въ Москву, „гдѣ всѣ способы были уже истощены“. И хотя „всѣ житейскія попеченія“ Бѣлинскій старался въ себѣ подавлять, какъ требовала теорія „полной жизни духа“, но они вопреки этимъ требованіямъ досаждали и мучили его очень часто. Эти заботы о матеріальныхъ средствахъ считались „призрачными“ съ фихтеанской точки зрѣнія, потому что онъ — порожденіе „призрачной дѣйствительности“. Три мѣсяца провелъ Бѣлинскій въ Прямухинѣ. „Эти три мѣсяца“, писалъ онъ въ послѣдствіи, „всѣ до одного часа... были для меня адомъ, но и теперь отъ одного воспоминанія о нихъ я чувствую вѣянія рая“. Нѣкоторое время, по возвращеніи въ Москву, Бѣлинскій жилъ надеждою, какъ и слѣдовало по романтическому кодексу, но Боткинъ безжалостно разбилъ ее, передавъ со словъ Мишеля, что сестра его не любитъ Бѣлинскаго. Хотя Бѣлинскій и не былъ твердо увѣренъ, что его чувство будетъ раздѣлено прямухинской барышней, но слова Боткина на-

несли его сердцу глубокую рану. Только вскорѣ устроившаяся поѣздка на Кавказъ нѣсколько помогла ему пережить тяжелый душевный кризисъ. Но если судьба отказала въ счастья, не дала войти любовью въ „полную жизнь духа“, то по теоріи оставалось еще одно средство — съ помощью страданія достигнуть той же цѣли. И Бѣлинскій надѣется, что „выстрадаетъ себѣ полную и истинную жизнь духа“. Между тѣмъ отношенія съ Мишелемъ чуть не порвались совсѣмъ. Въ одномъ изъ своихъ писемъ Мишель въ своемъ самомнѣніи зашелъ уже слишкомъ далеко и, причисливъ Бѣлинскаго и Станкевича къ „падшимъ“, объявилъ о своемъ намѣреніи разойтись съ ними. За послѣдняго въ особенности оскорбился Бѣлинскій и запротестовалъ противъ теоріи, которая идею цѣнила дороже человѣка. Рассказывая въ письмѣ къ Станкевичу о своей ссорѣ съ Бакунинымъ. Бѣлинскій пишетъ: „онъ (Бакунинъ) любитъ идеи, а не людей, хочетъ властвовать своимъ авторитетомъ, а не любить. Съ весны я пробудился для новой жизни, рѣшилъ, что каковъ бы я ни былъ, но я — самъ по себѣ, что ругать себя и кланяться другимъ на свой счетъ — глупо и смѣшно, что у всякаго свое призваніе, своя дорога въ жизни и пр. Ему это крайне не понравилось, и онъ съ удивленіемъ увидѣлъ, что во мнѣ самостоятельность, сила, и что на мнѣ верхомъ ѣздить опасно — сшибу, да еще копытомъ лягну. Началась борьба — перепискою. Онъ былъ израненъ, выслушалъ горькія истины, выраженные энергическимъ языкомъ. Примирился... Послѣ опять война. Онъ опять съ миромъ, а я пишу ему, что прекраснѣшныя и идеальныя комедіи мнѣ надѣли. Споръ о простотѣ игралъ тутъ важную роль. Я ему говорилъ, что о Богѣ, объ искусствѣ

можно разсуждать съ философской точки зрѣнія, но о достоинствѣ холодной телятины должно говорить просто. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что бунтъ противъ идеальности есть бунтъ противъ Бога, что я погибаю, дѣлаюсь добрымъ малымъ въ смыслѣ *bon vivant et bon camarade* и пр. А я только хочу бросить претензіи быть великимъ человѣкомъ, я хочу со всѣми быть, какъ всѣ...“ Споры съ М. Бакунинымъ, твердо державшимся фихтеанства, въ силу котораго онъ отрицательно относился ко всѣмъ условіямъ внѣшней жизни, мало-по-малу отрезвляли Бѣлинскаго. Онъ началъ понимать, что понятія: „истинная дѣйствительность“ и „дѣйствительность призрачная“, которыми орудуешь въ своихъ разсужденіяхъ его другъ, должны помѣняться мѣстами. Въ душѣ его готовился новый переворотъ.

Осенью 37-го года, по возвращеніи съ Кавказа, Бѣлинскій поселился на одной квартирѣ съ Бакунинымъ. Это было временное перемиріе. Бакунинъ лѣтомъ прочелъ нѣкоторыя изъ сочиненій Гегеля и познакомилъ съ ихъ содержаніемъ Бѣлинскаго. Новыя гегеліанскія идеи оказались въ полномъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что думалъ въ послѣднее время Бѣлинскій. Въ его умѣ уже назрѣвала мысль о необходимости существующаго. Мучась своимъ собственнымъ ничтожествомъ, признавая дрянность своей натуры, при сравненіи съ Бакуниными, онъ, однако, началъ находить себѣ оправданіе въ обстоятельствахъ своего происхожденія, въ условіяхъ воспитанія и всей своей жизни. При этомъ у него явилась мысль, что такъ какъ развитіе человѣка совершается во времени и обстоятельствахъ общественныхъ, то ужъ не должно ли ему, Бѣлинскому, быть именно такой дрянью, каковъ онъ есть, чтобы жить не

даромъ для общества, среди котораго рожденъ, „Вѣдь все, что ни есть“, разсуждалъ онъ, „есть вслѣдствіе необходимости, и должно быть такъ, какъ есть“. Такимъ образомъ мы видимъ, что споры съ Бакунинымъ, презрительно относившимся къ дѣйствительности, заставили Бѣлинскаго ранѣе другихъ друзей и самостоятельно выйти изъ фихтеанской отвлеченности. Теперь станетъ намъ вполне понятенъ тотъ восторгъ, который ощутилъ онъ, когда впервые познакомился съ знаменитымъ положеніемъ Гегеля о разумной дѣйствительности. Вотъ что писалъ онъ Станкевичу по этому поводу: „Пріѣзжаю въ Москву съ Кавказа, пріѣзжаетъ Бакунинъ, мы живемъ вмѣстѣ. Лѣтомъ просмотрѣлъ онъ философію религіи и права Гегеля. Новый міръ намъ открылся. Сила есть право, и право есть сила; — нѣтъ, не описать тебѣ, съ какимъ чувствомъ услышалъ я эти слова — это было освобожденіе. Я понялъ идею паденія царствъ, законность завоевателей. Я понялъ, что нѣтъ дикой матеріальной силы, нѣтъ владычества штыка и меча, нѣтъ произвола, нѣтъ случайности — и кончилась моя опека надъ родомъ человѣческимъ, и значеніе моего отечества предстало мнѣ въ новомъ видѣ... Передъ этимъ еще Катковъ передалъ мнѣ, какъ умѣлъ, а я принялъ въ себя, какъ могъ, нѣсколько результатовъ эстетики — Боже мой! Какой новый, свѣтлый, безконечный міръ!... Слово „дѣйствительность“ сдѣлалось для меня равнозначительно слову „Богъ“. И ты напрасно совѣтуешь мнѣ чаще смотрѣть на синее небо, — образъ безконечнаго, — чтобы не впасть въ кухонную дѣйствительность: другъ, блаженъ, кто можетъ видѣть въ образѣ неба символъ безконечнаго, но вѣдь небо часто застилается сѣрыми тучами, потому тотъ блаженнѣе, кто и кухню

умѣть просвѣтлить мыслью безконечнаго“. Въ этой тирадѣ вылилась вся „наивная и страстная“ душа Бѣлинскаго. Въ этомъ новомъ направленіи мысли онъ шелъ такъ же порывисто, такъ же неудержимо, стремительно, такъ же восторженно отдавался новому чувству дѣйствительности, какъ ранѣе отдавался счастью замкнутаго существованія „въ самомъ себѣ“. Онъ теперь наслаждается дѣйствительностью, онъ доволенъ скромною ролью учителя межевого института, той маленькой пользой, которую приноситъ на этомъ негромкомъ поприщѣ; „абстрактнаго героизма“ нѣтъ и въ поминѣ, какъ нѣтъ въ поминѣ и фихтеанскаго идеала самоусовершенствованія, съ точки зрѣнія котораго дѣйствительность превращалась въ призракъ. Теперь чѣмъ-то призрачнымъ представляется ему самый идеалъ Мишеля, и онъ клеймитъ его ироническимъ названіемъ „прекраснодушія“. Теперь для него всѣ явленія жизни, какъ выраженія одной и той же сущности міровой идеи, какъ различныя формы ея, имѣютъ одинаковое право на существованіе и безразличны въ нравственномъ отношеніи. Свобода и крѣпостное право, какъ свѣтъ и мракъ — конкретныя проявленія одной и той же абсолютной идеи. „Я гляжу на дѣйствительность“, пишетъ Бѣлинскій, „столь презираемую мною прежде, и трепещу таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность, видя, что изъ-подъ нея ничего нельзя выкинуть, и въ ней ничего нельзя похулить и низвергнуть. Всѣ самыя противоположныя понятія получили для меня какой-то цѣлостный смыслъ и уже не дерутся между собою, но образуютъ цѣлое зданіе со многими сторонами, одну общую картину изъ разныхъ красокъ, жизнь изъ безконечно-разнообразныхъ элементовъ...“ Бѣлинскій „съ нена-

сытнымъ любопытствомъ“ вглядывается въ дѣйствительность, и ему кажется, что всякій шагъ человѣка вѣренъ, всякое положеніе истинно, всѣ отношенія къ людямъ безошибочны...“ Герценъ былъ правъ, говоря, что Бѣлинскій въ это время проповѣдовалъ „индѣйскій покой созерцанія и теоретическое изученіе вмѣсто борьбы“. Въ статьѣ о Менцелѣ, критикѣ Гёте, Бѣлинскій ставитъ Гёте на высокій пьедесталъ за его олимпійское спокойствіе, за его объективизмъ, за безучастное отношеніе къ политикѣ, и въ равнодушіи поэта къ вопросу объединенія Германіи видитъ высшую мудрость. Вопросъ объ отношеніи поэта къ современности онъ рѣшаетъ въ слѣдующихъ словахъ: „Дѣло Питовъ, Фоксовъ, О'коннелей, Талейрановъ, Кауницевъ и Метерниховъ — участвовать въ судьбѣ народовъ, испытывать свое вліяніе въ политической сферѣ человѣчества. Дѣло художниковъ — созерцать „полное славы твореніе“ и быть его органами, а не вмѣшиваться въ дѣла политическія и правительственныя. Иначе придется воскликнуть:

Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги тачать пирожникъ“.

Въ этомъ хаотическомъ смѣшеніи политическихъ дѣятелей различнаго направленія, какъ представителя и вождя реакціи Метерниха, съ благороднымъ борцомъ за свободу О'коннелемъ, С. А. Венгеровъ справедливо видитъ полное незнакомство Бѣлинскаго съ политическимъ состояніемъ Европы въ то время. „Онъ (т.-е. Бѣлинскій), какъ и друзья его“, говоритъ С. А. Венгеровъ, „были въ то время политически необразованы, всецѣло ушедши въ философію и искусство“. Въ самый разгаръ увлеченія „разумною дѣйстви-

тельностью“ Бѣлинскій, перешедши въ петербургскій журналъ, „Отечественныя Записки“, написалъ свои извѣстныя статьи: „О Бородинской годовщинѣ“, о „Менцелѣ“ и о „Горѣ отъ ума“. Первые и были тѣмъ „залпомъ“, который далъ Бѣлинскій изъ Петербурга по своему противнику, Герцену. Онѣ развивали вышеуказанные узко-патріотическіе взгляды и прославляли современный строй русской жизни. Въ послѣдней же статьѣ „О горѣ отъ ума“ онъ выразилъ все свое страстное негодованіе на Чацкаго, какъ на протестанта противъ существующаго порядка вещей; онъ развѣнчалъ героя комедіи и отнесся къ нему, какъ къ полупомѣшанному. Увлеченіе теоріей „разумной дѣйствительности“ заставило его смотрѣть невѣрно на русскую дѣйствительность того времени и находить въ изображеніи картины русской общественной жизни у Грибоѣдова невѣрныя черты, преувеличенія, карикатуры, а въ его героѣ, Чацкомъ, представителѣ передовыхъ людей 20-хъ годовъ, видѣть просто нелѣпаго, безпокойнаго человѣка, фразера, протестующаго противъ русской дѣйствительности безосновательно, такъ какъ она вовсе не такъ дурна: она состоитъ не изъ однихъ Фамусовыхъ, Молчалиныхъ, Скалозубовъ и Загорѣцкихъ и заслуживаетъ оправданія и примиренія. Эта статья Бѣлинскаго нанесла едва ли не болѣе вреда, чѣмъ статьи о Бородинской годовщинѣ и Менцелѣ. Авторитетъ Бѣлинскаго въ оцѣнкѣ художественныхъ произведеній стоялъ уже такъ высоко, что его взглядъ на комедію Грибоѣдова утвердился въ литературѣ и проникъ даже въ школьные учебники, продолжавшись въ нихъ довольно долго. Въ письмахъ къ друзьямъ Бѣлинскій глубоко раскаивался потомъ въ своемъ увлеченіи, заставившемъ его

отнестись несправедливо къ высоко-художественному и жизненно-правдивому творенію Грибоѣдова. Сдѣлавъ потомъ попутно въ разныхъ статьяхъ частичныя поправки къ высказанному раньше о „Горѣ отъ ума“, онъ все-таки не успѣлъ написать большой специальной статьи объ этой комедіи, чтобы установить на нее вѣрную точку зрѣнія. Въ настоящее время ошибка Бѣлинскаго давно уже исправлена превосходной статьей („Милліонъ терзаній“) Гончарова, ставшей классическою.

Консервативно-патріотическія увлеченія Бѣлинскаго, основанныя на ученіи Гегеля о „разумной дѣйствительности“, могутъ въ настоящее время показаться странными, необъяснимыми и повести къ невѣрнымъ заключеніямъ объ его личности и направленіи его дѣятельности. Поэтому мы считаемъ необходимымъ дать нѣкоторыя историческія поясненія.

Стремленіе къ единой абсолютной истинѣ, овладѣвшее слѣдовавшими за Кантомъ философами, достигло, казалось, своего осуществленія въ грандіозной системѣ Гегеля, признавшей тождество мышленія и бытія, субъекта и объекта и объединившей ихъ въ саморазвивающейся безконечно идеѣ. Эта идея непрерывнаго развитія вносила въ исторію человѣчества взглядъ, устанавливавшій въ ней законосообразность историческаго процесса, и приводила къ мысли о необходимости движенія впередъ, придавая всей системѣ прогрессивный характеръ. Исторія у Гегеля представляла прогрессъ въ сознаніи свободы. Онъ призывалъ всѣхъ истинныхъ друзей свободы на защиту ея отъ грубаго насилія и произвола. Возможно ли было не увлечься такой системой? Она, видимо, звала къ научной разработкѣ самаго важнаго вопроса, самаго близкаго пробуждающе-

муся русскому сознанию, — вопроса объ улучшеніи формъ общественной жизни, объ освобожденіи отъ гнетущихъ ее условій. Теоретическая работа, казалось, должна была привести къ благотворнымъ практическимъ результатамъ. Такъ думали передовые русскіе люди и всецѣло отдавались этому благородному влеченію. Но восторгъ ихъ передъ гениемъ своего учителя былъ такъ великъ, а знакомство съ его сочиненіями настолько недостаточно, что они не могли своевременно замѣтить совершившейся въ послѣдніе годы жизни Гегеля перемѣны въ его взглядахъ. Гегель 20-хъ годовъ XIX вѣка, сдѣлавшійся берлинскимъ профессоромъ и начавшій идеализировать прусскій государственный строй, обезпечивавшій ему хорошее содержаніе; Гегель, признавшій въ это время, что все то, что существуетъ, уже по одному тому, что существуетъ, необходимо и, слѣдовательно, разумно, былъ далекъ отъ того Гегеля, который въ первомъ десятилѣтіи развивалъ идею о непрерывной, вѣчной работѣ всемірнаго духа, подрывающаго подобно кроту устарѣлый порядокъ вещей. Гегель, нашедшій абсолютную истину и, какъ выраженіе ея, абсолютный, общественный порядокъ въ Пруссіи, былъ не похожъ на Гегеля-діалектика, признававшаго необходимымъ непрерывное движеніе міровой идеи впередъ, которая совершенствуется въ своемъ развитіи, становится болѣе абсолютною, но никогда не становится абсолютною вполнѣ. Гегель, ставшій какъ бы официальнымъ философомъ Пруссіи въ 20-хъ годахъ, долженъ былъ, естественно, превратиться въ узкаго консерватора въ общественномъ смыслѣ. Эти взгляды его съ особенною ясностію выразились въ „Философіи права“, сочиненіи, вышедшемъ въ 21-мъ году. Здѣсь Гегель

придаетъ своему положенію о „разумной дѣйствительности“, выражающему основную идею его системы, уже иной смыслъ. Онъ уже не допускаетъ протеста противъ дѣйствительности: онъ видитъ въ немъ неполное пониманіе ея. Субъективная свобода осуществляется не въ разладѣ съ существующимъ, по его мнѣнію, а въ согласіи съ нимъ; человѣкъ, вполне понявшій дѣйствительность, открывшій въ ней разумъ, примирится съ нею, радуется на нее.

Г. Бельтовъ (Плехановъ) въ своей прекрасной статьѣ, „Бѣлинскій и разумная дѣйствительность“ („За двадцать лѣтъ“. Сборникъ статей литер., экономич. и философско-историч.), указывая на жалкое состояніе общественной жизни въ то время въ Германіи, удобное только для теоретическаго изученія хода всемірныхъ событій, справедливо замѣчаетъ, что въ Гегелѣ, какъ сынъ своего времени и своей страны, при всей его геніальности, не мало было филистерства. „Въ молодости Гегель очень сочувствовалъ великой французской революціи, но съ лѣтами любовь къ свободѣ у него все ослабѣвала, а стремленіе жить въ мирѣ съ существующимъ порядкомъ вещей усиливалось, такъ что іюльская революція 1830 года произвела на него тяжелое впечатлѣніе. Одинъ изъ лѣвыхъ гегеліанцевъ, извѣстный Арнольдъ Руге, упрекалъ впослѣдствіи философію своего учителя въ томъ, что она всегда ограничивалась созерцаніемъ явленій, нимало не стремясь перейти къ дѣйствию, и что, провозглашая свободу великой цѣлью историческаго развитія, она на практикѣ мирно уживалась съ самымъ несомнѣннымъ рабствомъ“. Знакома далѣе своего читателя съ содержаніемъ знаменитаго предисловія къ „Философіи права“, которымъ зачитывались русскіе

гегеліанцы, г. Бельтовъ приходитъ къ вѣрному заключенію: „Если ученіе Гегеля о разумности всего дѣйствительнаго“, говоритъ онъ, „многими понято было совершенно неправильно, то въ этомъ былъ виноватъ прежде всего онъ самъ, придавъ ему очень странное, совсѣмъ не діалектическое истолкованіе (не такое, какъ въ его „Логикѣ“), и провозгласивъ воплощеннымъ разумомъ тогдашній прусскій общественный порядокъ“.

Вопреки довольно распространенному мнѣнію, что будто бы Бѣлинскій невѣрно понялъ формулу Гегеля, мы должны сказать, что и Бѣлинскій, и его друзья поняли знаменитое положеніе точно такъ, какъ понималъ его въ это время самъ Гегель. Можетъ-быть, ихъ можно упрекать въ томъ, что они въ страстномъ порывѣ не усмотрѣли ошибочныхъ выводовъ своего учителя? Но и за это, намъ думается, они не заслуживаютъ упрека. Мы знаемъ теперь, что перемѣна взглядовъ Гегеля, была неизвѣстна нашимъ гегеліанцамъ. Знаемъ, что Бѣлинскій началъ болѣе и менѣе обстоятельно знакомиться съ философіей Гегеля именно съ того сочиненія („Философія права“), въ которомъ самъ Гегель истолковывалъ ученіе о разумной дѣйствительности неправильно по отношенію къ основной идеѣ своей системы. Наконецъ, не слѣдуетъ забывать, что Гегель былъ огромная умственная сила. Его геніальная діалектика дѣйствовала на всѣхъ такъ обаятельно, такъ неотразимо, что многіе замѣчательнѣйшіе мыслители Германіи раздѣляли ошибки и заблужденія знаменитаго философа. Ослѣпленные яркимъ блескомъ основныхъ истинъ системы, они не замѣчали противорѣчій въ выводахъ. Наиболѣе выдающіеся по уму послѣдователи Гегеля только послѣ продолжительнаго изученія его про-

изведеній открыли эти противорѣчія и смогли, отдѣлавшись отъ заблужденій учителя, пойти дальше самостоятельнымъ путемъ. Бѣлинскій и его друзья находились въ болѣе невыгодномъ положеніи, чѣмъ нѣмецкіе ученики Гегеля. Они не были знакомы со всѣми его сочиненіями и не изучали ихъ систематически, и самый интересъ ихъ къ философіи былъ иной, чѣмъ у нѣмцевъ. „Мы тогда въ философіи искали всего на свѣтѣ, кромѣ чистаго мышленія“ говоритъ Тургеневъ. Нашихъ философовъ привлекала всегда не столько самая философская система, отвлеченная мысль, сколько приложеніе ея къ жизни, къ существующему порядку вещей, къ данному общественному строю. Ихъ всегда болѣе занималъ вопросъ, какъ примирить то или другое идеальное воззрѣніе съ окружающею дѣйствительностью и со своими духовными запросами. Мы могли этотъ нравственный интересъ замѣтить вездѣ: и въ спорахъ славянофиловъ съ западниками, и въ спорахъ западниковъ между собою; мы видимъ его всегда на первомъ планѣ и у Бѣлинскаго. Усвоенную теоретически мысль онъ тотчасъ же пускаетъ въ обращеніе. Идея „разумной дѣйствительности“ тотчасъ же отразилась въ его вышеуказанныхъ статьяхъ, гдѣ онъ прилагаетъ ее и къ событіямъ русской жизни, и къ произведеніямъ литературы. По этой же причинѣ наши философы такъ быстро и съ такою радостью набросились на туманное изреченіе Гегеля: „что дѣйствительно, то разумно, что разумно, то дѣйствительно“. Та же причина облегчила и переходъ Бѣлинскаго отъ спокойнаго созерцанія дѣйствительности къ борьбѣ съ нею.

С. А. Венгеровъ въ этомъ стремленіи людей 40-хъ годовъ — какъ можно скорѣе приложить

теоретическіе выводы науки къ жизни — видитъ вообще русскую черту, которая проходитъ красною нитью черезъ всю нашу духовную жизнь послѣднихъ 60 лѣтъ. Онъ говоритъ, что „отвлеченныя идеи никогда не оставались для насъ отвлеченными, а, переходя въ плоть и кровь быстро переводились на языкъ дѣйствительности и становились чѣмъ-то очень конкретнымъ. И интересъ къ философіи у людей 40-хъ годовъ никогда не былъ интересомъ къ философіи *an und für sich*“... „И эту же мало научную и исключительно жизненную окраску носятъ всѣ дальнѣйшія движенія русской теоретической мысли вплоть до нашихъ дней. Послѣ Гегеля — французскіе утописты 40-хъ годовъ; въ 60-хъ годахъ — нѣмецкіе материалисты, Дарвинъ, Милль, Бокль; въ 70-хъ и 80-хъ — соціологія; въ наши дни — марксизмъ — все это не болѣе, какъ отправные пункты, отъ которыхъ идутъ самостоятельные русскіе пути. У насъ, какъ извѣстно, установился особый типъ критическихъ статей „по поводу“, въ которыхъ собственно о самомъ произведеніи говорится весьма мало, а выясняются разные вопросы общественной жизни“. Такая точка зрѣнія намъ кажется неоспоримо вѣрною и имѣетъ объясненіе главнымъ образомъ въ особыхъ условіяхъ нашей жизни. У насъ до сихъ поръ еще нѣтъ той необходимой для спокойной теоретической работы мысли обстановки, которая давно существуетъ на Западѣ и благопріятствуетъ успѣхамъ западной науки. Русскому ученому, при отсутствіи свободы научнаго изслѣдованія въ Россіи, и въ наши дни иногда приходится писать свои сочиненія въ Парижѣ или Лондонѣ на иностранныхъ языкахъ, и потомъ въ переводахъ, съ неизбѣжными пропусками, помѣщать въ урѣзанномъ видѣ

въ русскихъ журналахъ. Какъ сама русская жизнь, такъ и наука, и литература русская вообще всегда находились въ цензурныхъ тискахъ, и послѣдняя ставила первую и главную свою цѣлью — освобожденіе, въ болѣе или менѣе широкомъ смыслѣ этого слова. Идея освобожденія въ разныя эпохи собирала вокругъ себя лучшія литературныя силы. Потому-то вопросъ объ измѣненіи русской дѣйствительности всегда былъ главнымъ вопросомъ для передовыхъ русскихъ людей. Не даромъ Россія представлялась Достоевскому „вѣчно созидающеюся“.

Бѣлинскій самой природой и обстоятельствами своей жизни былъ предназначенъ не для спокойнаго созерцанія дѣйствительности, а для борьбы съ нею. Онъ скорѣе, чѣмъ кто-либо изъ его друзей, за исключеніемъ Герцена, понималъ, что намъ не до „чистаго мышленія“. Еще въ годы юности, одержимый „абстрактнымъ героизмомъ“, онъ бунтовалъ противъ самой подлинной русской дѣйствительности: его драма „Дмитрій Калининъ“ не что иное, какъ горячій протестъ противъ возмутительнѣйшаго ея явленія — крѣпостного права. Мы знаемъ далѣе, что жизнь Бѣлинскаго почти вся, отъ рожденія до самой смерти, за исключеніе немногихъ небольшихъ промежутковъ сноснаго существованія, прошла въ тяжеломъ упорномъ трудѣ, болѣзни и лишеніяхъ. Дѣйствительность давала ему чувствовать себя гораздо чаще и больнѣе, чѣмъ его обезпеченнымъ друзьямъ. Наконецъ то, что осталось для него неяснымъ изъ собственнаго жизненнаго опыта, было вскорѣ раскрыто русскою художественною литературою: съ половины 30-хъ годовъ неподкрашенная, живая Русь предстала передъ глазами русскихъ людей въ гениальныхъ твореніяхъ Гоголя. Вотъ

почему страстная, увлекающаяся натура Бѣлинскаго не могла, какъ ни насилывалъ онъ себя, успокоиться въ отвлеченныхъ идеяхъ Фихте или Гегеля. При его большомъ философскомъ умѣ, который признавали за нимъ и умнѣйшіе изъ враговъ его, въ немъ постоянно было живо и тревожило его чувство дѣйствительности. Мы видѣли, что изъ фихтеанства онъ ранѣе всѣхъ вышелъ въ „разумную дѣйствительность“, и самостоятельно додумался до вѣрной мысли, что надо бросить туманный идеалъ Фихте, что у каждаго свое призваніе, своя дорога, что каждому надо быть тѣмъ, что онъ есть, и работать по мѣрѣ силъ при существующихъ условіяхъ для общества, среди котораго рожденъ. Такъ же точно онъ вскорѣ освободился и отъ гегеліанства: изъ „разумной дѣйствительности“ вышелъ въ реальную.

До тѣхъ поръ, пока онъ жилъ въ Москвѣ и работалъ съ друзьями въ „Московскомъ Наблюдателѣ“, служившемъ органомъ философіи Гегеля, онъ могъ предаваться мечтѣ о разумности всего существующаго, — мечтѣ, построенной на философскихъ выкладкахъ: въ тѣсномъ кружкѣ, какъ на „необитаемомъ островѣ“, по выраженію самого Бѣлинскаго, они были далеки отъ реальной дѣйствительности. Споры съ Герценомъ, повидимому, не дѣйствовали на него. Спорить съ нимъ было трудно: онъ былъ слишкомъ силенъ своимъ искреннимъ и твердымъ убѣжденіемъ. Мы знаемъ уже, что запугать и сбить его было невозможно ничѣмъ; онъ доходилъ безстрашно до крайнихъ предѣловъ въ признаніи того, что считалъ истиннымъ. Мы видѣли, съ какой рѣшительностью онъ отвѣчалъ на вопросъ Герцена о разумности крѣпостного права. Но нельзя все-таки сказать,

чтобы попытки Герцена остались совершенно безплодны. Въ 39-мъ году Бѣлинскій, по приглашенію редактора „Отечественныхъ Записокъ“, А. Краевского, переехалъ въ Петербургъ, что по-дѣйствовало на него освѣжительно. Онъ вырвался изъ нѣсколько спертой атмосферы московскаго кружка, и около него явились новыя лица, съ иными воззрѣніями; вліяніе западныхъ литературъ, ограничивавшееся въ Москвѣ почти исключительно одною нѣмецкою философіею, въ Петербургѣ стало значительно шире. Петербургская жизнь очень быстро разсѣяла московскія мечты. Бѣлинскій самъ свидѣтельствуетъ объ этомъ въ своей статьѣ: „Москва и Петербургъ“. „Петербургъ“, говоритъ онъ, „имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее дѣйствіе: сначала кажется вамъ, что отъ его атмосферы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденные праздною жизнью и рѣшительнымъ незнаніемъ дѣйствительности, — и вы остаетесь, можетъ-быть, съ тяжелой грустью, но въ этой грусти такъ много святого, человѣческаго... Что мечты! Самыя обольстительныя изъ нихъ не стоятъ въ глазахъ дѣльнаго (въ разумномъ значеніи этого слова) человѣка самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда какъ страданіе дѣльнаго человѣка есть истина, и притомъ плодотворная“... Подъ такимъ отрезвляющимъ дѣйствіемъ Петербурга Бѣлинскій, конечно, могъ не разъ вспомнить свои московскіе споры съ Герценомъ и подумать серьезно и безпристрастно о доводахъ своего противника. Петербургъ многому научилъ его: здѣсь онъ ближе узналъ условія, при которыхъ приходилось работать тогдашнему русскому литератору; узнать,

какую силу имѣютъ въ обществѣ Булгаринъ, Гречъ, Сенковский; узналъ, что такое читающая публика. „Мы весь Божій свѣтъ“, пишетъ онъ, „видѣли въ своемъ кружкѣ. Появилось стихотвореніе, повѣсть — восхитили тебя, меня и прочихъ чудаковъ, а мы и говоримъ, что публика поняла это сочиненіе. Чтобы узнать, что такое русская читающая публика, надо пожить въ Петербургѣ“... Бѣлинскій дѣйствительно узналъ ее. Въ статьѣ: „Обзоръ русской литературы за 1847 г.“ онъ далъ чудныя, художественныя характеристики различныхъ типовъ читателей, недовольныхъ произведеніями писателей новой „натуральной школы“.

Итакъ, вліяніе Герцена, начавшееся еще въ Москвѣ, петербургская жизнь и новый кружокъ, въ составъ котораго входили Панаевъ, Некрасовъ, Тургеневъ, Кавелинъ, Анненковъ, Достоевскій, В. Милютинъ и др. — все это вмѣстѣ содѣйствовало освобожденію Бѣлинскаго отъ прежнихъ кружковыхъ взглядовъ, и онъ рѣшилъ броситься въ кипѣвшее вокругъ него море реальной дѣйствительности. „Гёте“, пишетъ онъ, „сравнилъ мужа съ кораблемъ, презирающимъ ярость волнъ и бури, — прекрасное сравненіе! Такъ вонъ же изъ тихой, мирной пристани, гдѣ только плѣсень зеленая, тина мягкая да квакающія лягушки, дальше отъ нихъ, туда, гдѣ только волны да небо, предательскія волны, предательское небо! Конечно, разсудокъ говоритъ, что гдѣ бы ни утонуть, — все равно, но я лучше хотѣлъ бы утонуть въ морѣ, чѣмъ въ лужѣ. Море — это дѣйствительность; лужа — это мечты о дѣйствительности“.

Но Бѣлинскій не сразу вошелъ въ колею новой жизни. На первыхъ порахъ онъ испытывалъ

тяжелое душевное состояніе. Письма его къ Боткину переполнены жалобами, въ которыхъ слышится тоска одинокаго человѣка, оторвавшагося отъ дружескаго кружка. Новое общество въ Петербургѣ, несмотря на завязавшіяся знакомства, не удовлетворяло его. Робкій, застѣнчивый Бѣлинскій не привыкъ къ обществу: ему нуженъ былъ тѣсный дружескій кружокъ, а его пока еще не было. Въ одномъ письмѣ онъ пишетъ, что „какъ безумный твердилъ“ „Молитву“ Лермонтова, а вслѣдъ за этимъ приводитъ другое удавившее по его нервамъ стихотвореніе:

И скучно, и грустно!... И некому руку пожать
Въ минуту душевной невзгоды!...

„Эту молитву“, говоритъ онъ, „твержу я теперь потому, что она есть полное выраженіе моего ментальнаго состоянія. Повѣришь ли, другъ Василій (т.-е. В. П. Боткинъ), — всѣ желанія уснули, ничто не манитъ, не интересуется... А дня черезъ два надо приниматься за статью о дѣтскихъ книжкахъ, гдѣ я буду говорить о любви, о благодати, о блаженствѣ жизни, какъ полнотѣ ея ощущенія, словомъ обо всемъ, чего и тѣни и призрака нѣтъ теперь въ пустой душѣ моей“... Бѣлинскій завѣдывалъ критическимъ и библиографическимъ отдѣломъ „Отечественныхъ Записокъ“. Онъ былъ обязанъ писать критическія большія статьи о выдающихся произведеніяхъ литературы, давать отчеты о всѣхъ книгахъ и мелкихъ книженкахъ, появившихся въ печати, какъ бы онѣ ни были ничтожны, и вести журнальную полемику съ Сенковскимъ, Гречемъ, Булгаринымъ и др. Срочность, обязательность и мелочность работы часто тяготили его, особенно, когда онъ находился въ подавленномъ состояніи духа.

Не сразу отдѣлался Бѣлинскій и отъ прежнихъ взглядовъ. Завѣты друзей сохраняли нѣкоторое время свою силу. Помня наказъ ихъ развивать въ себѣ способность къ самоотреченію (*Entsagung*), онъ не рѣшался еще признать за собой право на личное счастье, жажда котораго наперекоръ требованію теоріи въ немъ усиливалась. Но онъ уже находитъ возможнымъ откровенно заявить Боткину о своей неспособности къ отказу. „Вообрази себѣ мужика“, пишетъ онъ, „который всю жизнь свою не ѣдалъ ничего, кромѣ хлѣба, пополамъ съ пескомъ и мякиной, и, пришедъ въ большой городъ, увидѣлъ горы и калачей, и кондитерскихъ издѣлій, и плодовъ: можно сказать, что у него нѣтъ самообладанія и человѣческой воздержности, если онъ на эти вещи будетъ смотрѣть глазами тигра... а захвативши что-нибудь, начнетъ пожирать съ звѣрскою жадностью, а когда у него станутъ отнимать, онъ въ бѣшенствѣ разобьетъ себѣ черепъ? Какъ же отъ него требовать „*Entsagung*? У всякаго есть своя исторія, мой добрый Василій“... Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе возмущается Бѣлинскій противъ теоріи, по которой цѣнится только „общее“ и все „частное“ поглощается этимъ „общимъ“. „Ты пишешь“, говоритъ онъ тому же Боткину, „что Бакунинъ любитъ одно „общее“. О, пропадай это ненавистное общее, этотъ Молохъ, пожирающій жизнь, эта гремушка эгоизма! Лучше самая пошлая жизнь, чѣмъ такое общее, чтобъ чортъ его побралъ! Пусть лучше данъ будетъ моему разумѣнію маленькій уголокъ живой дѣйствительности, чѣмъ сухое, эгоистическое „общее“. Ты пишешь, что у меня такая же способность отвлеченія, какъ у М. (Бакунина); такъ, да не такъ; я резонеръ и рефлектировщикъ, правда, — но зато, какъ скоро представляли передъ

меня дивныя явленія дѣйствительности въ искусствѣ и жизни, я посылалъ къ чорту свою рефлексію, и никогда не мѣнялъ человѣка на книгу“. „Смѣшно и досадно, любовь Ромео и Юліи есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть призрачное, частное. Жизнь въ книгахъ, а въ жизни — ничто“. Въ этихъ словахъ ясно выражается протестъ противъ подавленія „личнаго“ „общимъ“, противъ лишенія личности всякаго права на активную роль въ жизни. Бѣлинскій, конечно, былъ согласенъ съ Гегелемъ въ томъ, что личные интересы не должны ставиться выше интересовъ „общаго“, но абсолютная философія Гегеля, философія послѣдняго періода, требовала полного примиренія съ тѣмъ, что есть, и возставала противъ выраженія всякаго недовольства дѣйствительностью, идущаго отъ личности: разумъ отдѣльной личности — конечный разумъ, а разумъ дѣйствительности — „отѣлесившійся міровой разумъ“. Гегель-абсолютистъ уже не допускалъ критическаго и творческаго отношенія личности къ существующему и проповѣдывалъ застой. Бѣлинскій почувствовалъ это скорѣе другихъ, и въ то время, когда правовѣрные гегеліанцы въ системѣ учителя видѣли окончательное и высшее завершеніе философской мысли, онъ писалъ Боткину: „Я давно уже подозрѣвалъ, что философія Гегеля только моментъ, хотя и великій, но что абсолютность ея результатовъ никуда не годится, что лучше умереть, чѣмъ помириться съ ними“. Въ другомъ письмѣ, говоря о трудности положенія среди дѣйствительности, заслуживающей презрѣнія, Бѣлинскій дѣлаетъ друзьямъ заслуженный упрекъ. „Гдѣ же убѣжище?“ спрашиваетъ онъ. — „На необитаемомъ островѣ, которымъ и былъ нашъ кружокъ. Но послѣднія наши ссоры

показали намъ, что для призраковъ нѣтъ спасенія на необитаемомъ островѣ. Я разстался съ тобой холодно (дѣло прошлое!), безъ ненависти и презрѣнія, но и безъ любви и уваженія, ибо потерялъ всякую вѣру въ самого себя. Въ Петербургѣ, съ необитаемаго острова я очутился въ столицѣ, журналъ поставилъ меня лицомъ къ лицу съ обществомъ, — и Богу извѣстно, какъ много перенесъ я! Для тебя еще не совсѣмъ понятна моя вражда къ *москвдушію*, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обѣ. Меня убило это зрѣлище общества, въ которомъ властвуютъ и играютъ роли подлецы и дюжинныя посредственности, а все благородное и даровитое лежитъ въ позорномъ бездѣйствіи на необитаемомъ островѣ... Отчего же европеецъ въ страданіи бросается въ общественную дѣятельность и находитъ въ ней выходъ изъ самаго страданія?..“ Мы видимъ, что Бѣлинскій, дѣйствительно, нашелъ настоящій выходъ, а въ слѣдующемъ письмѣ (4 окт. 1840 г.) онъ окончательно порываетъ съ кружковыми воззрѣніями. „Проклинаю“, пишетъ онъ, „мое гнусное стремленіе къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью!... Да здравствуетъ великій Шиллеръ, благородный адвокатъ человѣчества, яркая звѣзда спасенія, эманципаторъ общества отъ кровавыхъ предразсудковъ преданія! Да здравствуетъ разумъ, да скроется тьма! — какъ воскликнулъ великій Пушкинъ. Для меня теперь человѣческая личность выше исторіи, выше человѣчества. Это мысль и дума вѣка! Боже мой, страшно подумать, что со мной было — горячка или помѣшательство ума — я словно выздоравливающий“... Съ этого момента выздоровленія Бѣлинскій является передъ нами самобытнымъ, независимымъ отъ чьихъ-либо мнѣній, — тѣмъ Бѣ-

линскимъ, который становится во главѣ общественнаго движенія, котораго мы глубоко уважаемъ и высоко цѣнимъ.

Интересенъ рассказъ Герцена о первой встрѣчѣ съ Бѣлинскимъ въ Петербургѣ, послѣ разрыва съ нимъ отношеній въ Москвѣ, вслѣдствіе известнаго намъ спора, при которомъ обнаружилось коренное различіе въ убѣжденіяхъ противниковъ. „Наша встрѣча была холодна“, говоритъ Герценъ, „но ни я, ни Бѣлинскій, мы не были большіе дипломаты; въ продолженіи ничтожнаго разговора я помянулъ статью о „Бородинской годовщинѣ“. Бѣлинскій вскочилъ со своего мѣста и, вспыхнувъ въ лицѣ, пренаивно сказалъ мнѣ: „Ну, слава Богу, договорились же, а то я съ моимъ глупымъ нравомъ не зналъ, какъ начать... ваша взяла; три, четыре мѣсяца въ Петербургѣ меня лучше убѣдили, чѣмъ всѣ доводы. Забудемте этотъ вздоръ. Довольно вамъ сказать, что недняхъ я обѣдалъ у одного знакомаго, тамъ былъ инженерный офицеръ; хозяинъ спросилъ его, хочеть ли онъ со мной познакомиться. — Это авторъ статьи о бородинской годовщинѣ? спросилъ его офицеръ. — Да. — Нѣтъ, покорно благодарю, отвѣчалъ онъ. Я слышалъ всё и не могъ вытерпѣть, пожалъ руку офицеру и сказалъ ему: вы благородный человѣкъ, я васъ уважаю... Чего же вамъ больше?“ Съ этой минуты и до кончины Бѣлинскаго мы шли съ нимъ рука объ руку“.

Бѣлинскій, не щадя своего самолюбія, рѣшительно и мужественно отказывался отъ своихъ мнѣній, лишь только признавалъ ихъ невѣрными, но воспоминанія о прежнихъ ошибкахъ мучительно отзывались въ его душѣ. „Въ прошедшемъ“, писалъ онъ Боткину, „меня мучатъ двѣ мысли: первая, что мнѣ представлялись случаи

къ наслажденію, и я упустилъ ихъ, вслѣдствіе пошлой идеальности и робости своего характера; вторая, мое гнусное примиреніе съ дѣйствительностью. Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія! Болѣе всего печалитъ меня теперь выходка противъ Мицкевича, въ гадкой статьѣ о Менцелѣ: какъ! отнимать у великаго поэта священное право оплакивать паденіе того, что дороже ему всего въ мірѣ и въ вѣчности — его родины... И этого-то благороднаго и великаго поэта назвалъ я печатно крикуномъ, поэтомъ ррёмованныхъ памфлетовъ! Послѣ этого всего тяжелѣе мнѣ вспомнить о „Горе отъ ума“, которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія и о которомъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это — благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и при томъ еще первый) протестъ противъ гнусной расейской дѣйствительности, противъ чиновниковъ, взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ... свѣтскаго общества, противъ невѣжества, добровольнаго холопства и пр. и пр. и пр.“. Вспоминая статью по поводу книги Глинки „О Бородинскомъ сраженіи“, онъ сожалеетъ о томъ, что, развивая вѣрную основную идею, онъ не развилъ „идеи отрицанія, какъ историческаго права, не менѣе перваго священнаго и безъ котораго исторія челоѣчества превратилась бы въ стоячее и вонючее болото, — а если этого нельзя было писать, то долгъ чести требовалъ, чтобъ ужъ и ничего не писать“... „А дичь, которую изрыгаль я въ неистовствѣ противъ французовъ“, восклицаетъ онъ, — „этого энергическаго благороднаго народа, льющаго кровь свою за священнѣйшія права челоѣчества?“... „А это насильственное

примиреніе съ гнусною расейскою дѣйствительностью!“

Одобрѣя существующій порядокъ вещей и примиряясь съ нимъ, Бѣлинскій былъ, дѣйствительно, не правъ, когда, съ точки зрѣнія абсолютной гегелевой истины, строго осуждалъ всякій протестъ противъ него. Набрасываясь на Мицкевича, на Грибоѣдова, онъ лишалъ ихъ законнаго права отрицать извѣстныя общественныя явленія, какъ отжившія формы жизни, во имя необходимости, законности общественнаго развитія, во имя прогресса. Поддавшись Гегелю — глашатаю абсолютной истины, онъ забылъ или, вѣрнѣе, плохо зналъ Гегеля-діалектика, признававшаго законность вѣчной кротовой работы всемірнаго духа, подрывающей старый, обветшавшій строй жизни. Утверждая въ указанной статьѣ необходимость и, слѣдовательно, законность извѣстныхъ явленій общественной жизни, подготовленныхъ внутреннимъ развитіемъ страны, Бѣлинскій долженъ былъ признать и законность протеста, отрицанія этихъ явленій, потому что тѣ силы, которыя отрицаютъ данный общественный порядокъ, создаются тѣмъ же процессомъ развитія и такъ же законны, какъ и противодѣйствующія имъ. Герценъ, вѣрно и ранѣе другихъ понявшій сущность діалектики Гегеля, былъ правъ, когда говорилъ, что „если существующій общественный порядокъ оправдывается разумомъ, то и борьба противъ него, если только она существуетъ, оправдана“. Бѣлинскій, сожалея о томъ, что не развилъ идею отрицанія въ своей статьѣ о Бородинской годовщинѣ, приходилъ теперь къ полному согласію съ выводами, сдѣланными изъ философіи Гегеля Герценомъ. Теперь и „общество Герцена доставляетъ“ ему „больше наслажденія“, чѣмъ какое-нибудь

другое. „Эта живая натура“, говоритъ онъ, „вызываетъ наружу все мои убѣжденія“. Познакомясь съ началомъ повѣсти „Кто виноватъ“, Бѣлинскій даетъ такую характеристику Герцену: „Герценъ — большой человѣкъ въ нашей литературѣ, а не дилетантъ, не партизанъ, не наѣздникъ отъ нечего дѣлать. Онъ не поэтъ: объ этомъ смѣшно и толковать, но вѣдь и Вольтеръ не былъ поэтъ не только въ „Генріадѣ“, но и въ „Кандидѣ“; — однако его „Кандидъ“ потягается въ долговѣчности со многими великими художественными созданіями, а многія невеликія онъ уже пережилъ и еще больше переживетъ ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходитъ въ талантъ, въ творческую фантазію, — а потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умны; а какъ люди — ограничены и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). У Герцена, какъ у природы преимущественно мыслящей и сознательной, наоборотъ — талантъ и фантазія ушли въ умъ, оживленный и согрѣтый, осердеченный гуманистическимъ направлениемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ его натурѣ. У него страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачѣмъ его столько одному человѣку; у него много и таланта, и фантазіи, но не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который все родитъ самъ изъ себя и пользуется умомъ, какъ низшимъ, подчиненнымъ ему началомъ — а таланта, насквозь пропитаннаго умомъ“. Бѣлинскій, какъ видно изъ его разбора повѣсти „Кто виноватъ“, особенно высоко цѣнилъ въ Герценѣ этотъ „осердеченный“ гуманизмъ.

Но полному освобожденію ума Бѣлинскаго отъ абсолютной точки зрѣнія на дѣйствительность болѣе всего содѣйствовала сама русская дѣйствительность, съ которою онъ очутился лицомъ къ

лицу въ Петербургѣ. Ему надобно было видѣть во-очію, узнать поближе, всѣхъ этихъ Булгариныхъ, Гречей, Сенковскихъ и ихъ поклонниковъ, чтобы окончательно прозрѣть. Такъ съ нимъ бывало не разъ. Извѣстно, что незадолго до смерти Бѣлинскій былъ за границей. Въ Парижѣ проживало тогда немало русскихъ. Вопросы социальные во второй половинѣ 40-хъ годовъ волновали всю тогдашнюю интеллигенцію. Въ кружкѣ русскихъ людей, конечно, самымъ интереснымъ вопросомъ былъ вопросъ о роли Россіи, которую она должна сыграть въ рѣшеніи социального вопроса. Бѣлинскій принималъ горячее участіе въ спорахъ на эту тему. И вотъ что пишетъ онъ Анненкову въ февралѣ 48-го года изъ Петербурга, вспоминая это время: „Когда я въ спорахъ съ вами о буржуазіи называлъ васъ консерваторомъ, я былъ глупецъ, а вы умный человѣкъ. Вся будущность Франціи въ рукахъ буржуазіи, всякій прогрессъ зависитъ отъ нея одной“... „Мой вѣрующій другъ (одинъ изъ парижскихъ друзей Бѣлин.) доказывалъ мнѣ еще, что избави де Богъ Россію отъ буржуазіи. А теперь ясно видно, что *внутренній процессъ гражданскаго развитія въ Россіи начнетъ не раньше, какъ съ той минуты, когда русское дворянство обратится въ буржуазію*... Странный я человѣкъ! Когда въ мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелѣпость, здравомыслящимъ людямъ рѣдко удастся выколотить ее изъ меня доказательствами: для этого мнѣ непременно нужно сойтись съ мистиками, піэтистами и фантазерами, помѣшанными на той же мысли — тутъ я назадъ. Вѣрующій другъ и славянофилы наши оказали мнѣ большую услугу“... Такъ и въ вопросѣ о разумной дѣйствительности его заставили податься назадъ петербургскіе па-

тріоты, читатели „Сѣверной пчелы“, „Библіотеки для чтенія“, преклонявшіеся передъ существующимъ порядкомъ вещей.

Здѣсь кстати замѣтимъ, что взгляды Бѣлинскаго на „внутренній процессъ гражданскаго развитія въ Россіи“ свидѣтельствуетъ о томъ, что у него въ послѣдніе дни его жизни формировался уже не утопическій, не отвлеченный, а конкретный идеалъ соціальнаго развитія, хотя и требующій еще значительныхъ поправокъ. Онъ стремился освободиться отъ фантазій, „оторванныхъ отъ географическихъ и историческихъ условий“. „Наше поколѣніе“, говорилъ онъ о своихъ сверстникахъ, — „израильтяне“, блуждающіе по степи и которымъ не суждено узрѣть обѣтованной земли. И всѣ наши вожди Моисеи, а не Навины“. Г. Бельтовъ въ вышеуказанной статьѣ, признавая за Бѣлинскимъ „колоссальную, неоцѣненную заслугу“, видя въ немъ „замѣчательную философскую организацію, когда-либо выступавшую въ нашей литературѣ“, справедливо называетъ его „нашимъ Моисеемъ, который если не избавилъ, то всѣми силами старался избавить себя и своихъ ближнихъ по духу отъ египетскаго ига абстрактнаго идеала“.

Мужественно отказавшись отъ своихъ философскихъ ошибокъ, Бѣлинскій весь отдался „думѣ вѣка“ — освобожденію личности. Теперь главными врагами его были крѣпостное право и та старая государственность, которая не признавала за человѣкомъ права жить, мыслить и чувствовать самостоятельно. Гегель „изъ явленій жизни сдѣлалъ тѣни, сдѣлавшіяся костяными руками и пляшущія по воздуху надъ кладбищемъ“, пишетъ онъ Боткину. „Субъектъ у него не самъ себѣ цѣль, но средство для мгновеннаго выраженія

общаго, а это общее является у него въ отношеніи къ субъекту Молохомъ, ибо, пощеголявъ въ немъ (въ субъектѣ), бросаетъ его какъ старые штаны. Я имѣю особенно важныя причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему, мирясь съ російскою дѣйствительностью, хваля Загоскина и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера "... „Ты — я знаю — будешь надо мной смѣяться... но смѣйся, какъ хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т.-е. гегелевской *allgemeinheit*). Мнѣ говорить: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься — падай, — чортъ съ тобой — таковский и былъ... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедорычъ (Гегель) — кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, — я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. и пр.; иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головой. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить свою участію идею дисгармоніи..." „Годъ назадъ“, говоритъ Бѣлинскій въ концѣ письма, „я думалъ

діаметрально-противоположно тому, какъ думаю теперь,— и право я не знаю, счастье или несчастье для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать одно и то же“.

Люди, не понимавшіе Бѣлинскаго, не умѣвшіе оцѣнить кипѣвшей въ немъ страсти къ истинѣ, стоявшіе неизмѣримо ниже его въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, часто упрекали его въ отсутствіи убѣжденій, указывая на рѣзкія перемѣны въ его взглядахъ. Они съ особымъ злорадствомъ и часто говорили о томъ, что онъ не кончилъ университетскаго курса, и называли его недоучкой. Бѣлинскій и самъ признавался, что его развитіе совершалось неправильно, „зигзагами“, что онъ „купилъ истину цѣною ужасныхъ заблужденій“. Но эти заблужденія не были его личными ошибками, они принадлежали цѣлому кругу лучшихъ передовыхъ людей, и въ нихъ отразился одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ моментовъ нашего общественнаго развитія. Мы видѣли, напротивъ, что Бѣлинскій неудержимо стремился впередъ, ранѣе другихъ освобождался отъ философскихъ увлеченій и многихъ, конечно, вель за собой. Сознавая всю несправедливость обвиненій въ недостаткѣ истинныхъ убѣжденій, Бѣлинскій съ достоинствомъ отвѣчалъ на нихъ слѣдующими словами: „Талантъ самъ по себѣ нерѣдкость; но онъ всегда былъ и будетъ рѣдкостью въ соединеніи съ страстнымъ убѣжденіемъ, съ страстною дѣятельностью, потому что только тогда онъ можетъ быть дѣйствительно полезенъ обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли со способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей

своимъ самолюбіемъ "... Бѣлинскій имѣлъ право сказать это своимъ врагамъ. Его талантъ былъ дѣйствительно полезенъ обществу. Его вліяніе было гораздо шире и значительнѣе, чѣмъ всѣхъ другихъ его просвѣщенныхъ друзей и сверстниковъ, и никто такъ страстно и самоотверженно не искалъ истины, какъ онъ.

Развитіе эстетическихъ и вообще литературныхъ взглядовъ Бѣлинскаго совершалось въ тѣсной связи съ развитіемъ его теоретическихъ воззрѣній, съ выработкой его философскаго міросозерцанія. Перемены, происходившія въ послѣднемъ, естественно, вели къ переработкѣ и измѣненіямъ въ первыхъ и отражались въ его журнальныхъ статьяхъ. Разница, однако, заключается въ томъ, что собственно эстетическіе взгляды Бѣлинскаго отличаются гораздо большею устойчивостью, чѣмъ общественно-политическіе.

Литературная дѣятельность знаменитаго критика продолжалась всего 14 лѣтъ и дѣлится обыкновенно на два періода. Первый — идеалистическій — весь проходитъ подъ исключительнымъ почти вліяніемъ нѣмецкой идеалистической философіи; второй — реалистическій — преимущественно подъ вліяніемъ лѣвыхъ гегеліанцевъ и французскаго утопическаго социализма. Но это дѣленіе, какъ и всякое другое, необходимое для извѣстнаго удобства при историческомъ изученіи, оказывается не совсѣмъ точнымъ. Всякое развитіе совершается не сразу, а постепенно, и то, что на первый взглядъ иногда представляется изслѣдователю крутымъ поворотомъ, внезапнымъ переломомъ, при подробномъ внимательномъ изученіи оказывается обыкновенно результатомъ болѣе или менѣе продолжительнаго, скрытаго, трудно уловимаго процесса развитія. Такъ и въ данномъ

случаѣ. Присущій натурѣ Бѣлинскаго инстинктъ дѣйствительности еще въ первые годы его дѣятельности, въ началѣ идеалистическаго періода, нерѣдко обнаруживался невольнымъ съ его стороны сочувствіемъ новому реальному направленію нашей литературы. Съ другой стороны, развитое въ немъ чувство изящнаго, содѣйствовавшее выработкѣ опредѣленныхъ эстетическихъ воззрѣній, сдѣлало его постояннымъ поклонникомъ красоты до конца его жизни и было причиной прочности его эстетическаго кодекса, остававшагося почти безъ всякихъ перемѣнъ въ теченіе всего реалистическаго періода. Наконецъ, и самое освобожденіе его отъ нѣмецкаго идеализма совершилось во второмъ періодѣ не сразу и не вполне. Можно сказать, что въ сферѣ общественно-политической Бѣлинскій до конца жизни, при всемъ его страстномъ исканіи соціального идеала, „не оторваннаго отъ географическихъ и историческихъ условій“, остался въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ идеалистомъ, не успѣвшимъ совсѣмъ сбросить съ себя „иго абстрактнаго идеала“.

Мы уже говорили о вліяніи Надеждина и господствовавшаго въ началѣ 30-хъ годовъ шеллингянства на первыя статьи Бѣлинскаго и при этомъ прибавляли, что взятые изъ того или другого чужого источника тезисы всегда служили Бѣлинскому только отправными пунктами, что онъ развивалъ ихъ самостоятельно и приходилъ къ выводамъ, несходнымъ съ выводами его предшественниковъ. Странно было бы, конечно, и требовать отъ первыхъ статей Бѣлинскаго вполне оригинальныхъ и поразительно новыхъ взглядовъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ, какъ начинающій литераторъ, находился нѣкоторое время подъ вліяніемъ кружковыхъ мнѣній или мнѣній

того или другого критика предшественника. „Цѣль русскаго критика“, говоритъ онъ самъ въ одной изъ первыхъ статей, „должна состоять не столько въ томъ, чтобы расширить кругъ понятій чело-вѣчества объ изящномъ, сколько въ томъ, чтобы распространить въ своемъ отечествѣ уже извѣстныя, осѣдлыя понятія объ этомъ предметѣ. Не бойтесь, не стыдитесь, что вы будете повторять зады и не скажете ничего новаго! Это новое не такъ легко и часто, какъ обыкновенно думаютъ: оно едва примѣтными глыбами налипаетъ на глыбы стараго. Самое старое будетъ у васъ ново, если вы человѣкъ съ мнѣніемъ и глубоко убѣждены въ томъ, что говорите: ваша индивидуальность и вашъ способъ выраженія и самому вашему старому должны придать характеръ новости“... Такое именно впечатлѣніе и производили первыя статьи Бѣлинскаго, въ которыхъ, повидимому, не было ничего новаго, но сильно сказывалась индивидуальность ихъ автора. Панаевъ говоритъ, что, по прочтеніи статьи: „Литературныя мечтанія“, онъ охотно бы поскакалъ изъ Петербурга въ Москву, чтобы познакомиться съ ея авторомъ: „новый, смѣлый, свѣжій духъ ея такъ и охватилъ меня!“ восклицаетъ онъ. И дѣйствительно, по духу она была весьма нова: такъ горячо, смѣло и убѣжденно не писалъ никто изъ предшественниковъ Бѣлинскаго. Но оригинальныхъ, новыхъ взглядовъ въ ней почти не было. Подобно Надеждину онъ отнесся отрицательно къ русской литературѣ. По его мнѣнію, у насъ нѣтъ еще литературы въ настоящемъ смыслѣ этого слова, а есть только нѣсколько писателей. Но онъ убѣжденъ, что она будетъ. О нашей литературѣ до Пушкина онъ замѣчаетъ: „За насъ трудились другіе, а мы только брали готовое и пользова-

лись имъ: въ этомъ-то и заключается тайна неимоверной быстроты нашихъ успѣховъ и причина ихъ неимоверной непрочности"... У насъ были разныя литературныя эпохи: „эпоха схоластицизма, плаксивости, стихотворства, теперь эпоха драмы, но у насъ не было еще эпохи искусства, эпохи литературы“. Только съ Пушкина у насъ является литература, отражающая національныя русскія особенности. Но Бѣлинскій свѣтло смотритъ на наше будущее. Онъ ставитъ въ зависимость успѣхи литературы отъ успѣховъ нашей общественности и просвѣщенія. Эпоха истиннаго искусства „наступить“, говоритъ онъ, „будьте увѣрены въ томъ. Но для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось общество, въ которомъ бы выразилась фizioномія могучаго русскаго народа; надобно, чтобы у насъ было просвѣщеніе, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почвѣ. У насъ нѣтъ литературы: я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ этой истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ"... „Посмотрите, какъ новое поколѣніе, разочаровавшись въ геніальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыя творенія, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ"... „Придетъ время — просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная фizioномія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія налагать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученіе! ученіе! ученіе!..." Бѣлинскій, какъ видимъ, не сказалъ въ сущности ничего новаго сравнительно съ тѣмъ, что говорили его предшественники, за исключеніемъ только

нѣкоторыхъ оцѣнокъ дѣятельности отдѣльныхъ писателей. Но сказанное имъ вылилось въ такой своеобразной формѣ, такъ горячо, такъ сильно, что производило впечатлѣніе чего-то поразительно новаго. „Не оно ли, подумалъ я, это новое слово, котораго я жаждалъ“, говоритъ Панаевъ, „не это ли тотъ самый голосъ, голосъ правды, который я такъ давно хотѣлъ услышать?“

Въ теченіе всего перваго, московскаго періода дѣятельности Бѣлинскаго его эстетическіе взгляды основывались на той романтической теоріи искусства, съ которой мы познакомились въ системѣ Шеллинга. Назначеніе и цѣль искусства, говоритъ онъ, „изображать, воспроизводить въ словѣ, въ звукѣ, въ чертахъ и краскахъ идею всеобщей жизни природы: вотъ единая и вѣчная тема искусства. Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы. Чѣмъ выше геній поэта, тѣмъ глубже и обширнѣе обнимаетъ онъ природу“... Байронъ и Шиллеръ, каждый представилъ „только одну сторону бытія вселенной“, а „Шекспиръ постигъ и адъ, и землю, и небо: царь природы, онъ взялъ равную дань и съ добра, и со зла и подсматрѣлъ въ своемъ вдохновенномъ ясновидѣніи біеніе пульса вселенной. Каждая его драма есть міръ въ миниатюрѣ; у него нѣтъ, какъ у Шиллера, любимыхъ идей, любимыхъ героевъ... Да,— это безпристрастіе, это холодность поэта, который какъ будто говоритъ вамъ: такъ было, а впрочемъ, мнѣ какое дѣло,— есть высочайшій зенитъ художественнаго совершенства, есть истинное творчество, есть удѣлъ немногихъ избранныхъ, о коихъ говорятъ:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ,
Ручья разумѣлъ лепетанье и т. д.

(„Литературныя мечтанія“.)

Поэтъ, по господствовавшей тогда теоріи, долженъ „безотчетно слѣдовать вспыскѣ своего воображенія“, потому что „поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя“. Поэтъ отзывается „пламеннымъ сочувствіемъ“ на всѣ явленія природы — для него нѣтъ ограниченій: „Въ самомъ дѣлѣ“, говоритъ Бѣлинскій, „развѣ вы можете назвать то или другое явленіе прекраснымъ, а это безобразнымъ безъ отношеній?... Развѣ не одинъ и тотъ же духъ Божій создалъ кроткаго агнца и кровожаждущаго тигра?...“ Все доступно поэту, онъ все можетъ изображать, но онъ не долженъ „предполагать себѣ цѣль“, „задавать себѣ тему“. Тогда „онъ уже философъ, мыслитель, моралистъ“... „теряетъ свою чародѣйскую власть, разрушаетъ очарованіе“... Слѣдовательно, всеобъемлемость поэзіи, сочувствіе поэта всѣмъ явленіямъ природы, отсутствіе всякой преднамѣренной мысли — вотъ главные требованія Бѣлинскаго въ этихъ первыхъ статьяхъ. Идея поэзіи, не имѣющей цѣли внѣ себя, взята Бѣлинскимъ у Надеждина, какъ и идея о всеобъемлемости поэзіи. Надеждинъ, вооружаясь противъ романтиковъ, разсуждалъ по Канту такимъ образомъ: Кантъ требуетъ для поэтическаго произведенія „соразмѣрности съ цѣлью безъ цѣли“. Но это не значитъ, что „изящное произведеніе не должно имѣть никакой цѣли“. „Оно должно имѣть единственную цѣль въ самомъ себѣ, не подчиняясь никакимъ внѣшнимъ постороннимъ видамъ“... Бѣлинскій, соглашаясь съ нимъ, развиваетъ и поясняетъ его мысль въ одной изъ своихъ статей въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „когда поэтъ творитъ, то хочетъ выразить въ поэтическомъ символѣ какую-нибудь идею, слѣдовательно, имѣетъ цѣль, дѣйствуетъ съ сознаніемъ. Но ни выборъ идеи,

ни ея развитіе не зависитъ отъ его воли, управляемой умомъ, слѣдовательно, его дѣйствіе безцѣльно и безсознательно“. Поэты-романтики очень беспокоили Надеждина. Съ его точки зрѣнія, современная ему поэзія сбилась съ настоящаго пути и, забывъ о правилахъ нравственности, спускается въ такія области, которыя недостойны поэтическаго изображенія. Онъ опасается „живописанія бурныхъ порывовъ неистовства, покушающагося ниспровергнуть до основанія священный оплотъ общественнаго порядка и благоустройства, и, какъ мы уже говорили, старается въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ подчинить эстетическій интересъ нравственному и умственному“. Бѣлинскій, соглашаясь съ его мыслью о гармоніи красоты съ добромъ и истиною, горячо, однако, протестуетъ противъ стѣсненія свободы поэта въ выборѣ предмета. По его мнѣнію, нѣтъ темъ недостойныхъ истиннаго поэта, и онъ вопреки Надеждину отдаетъ первенство эстетическому чувству передъ нравственнымъ. Для него, какъ истаго шеллингянца, „чувство изящнаго есть условіе человѣческаго достоинства, только при немъ возможенъ умъ, только съ нимъ ученый возвышается до міровыхъ идей, понимаетъ природу и явленія въ ихъ общности; только съ нимъ гражданинъ можетъ нести въ жертву отечеству и свои личныя надежды, и свои частныя выгоды; только съ нимъ человѣкъ можетъ сдѣлать изъ жизни подвигъ и не сгибаться подъ его тяжестью“... „Эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности... Гдѣ нѣтъ владычества искусства, тамъ люди не добродѣтельны, а только благо-разумны; не нравственны, а только осторожны; они не борются со зломъ, а только избѣгаютъ его не по ненависти къ злу, а изъ разсчета“... Для

Бѣлинскаго нравственное чувство совершенно сливается съ эстетическимъ, и онъ беретъ подъ свою защиту и то и другое, отстаивая ихъ отъ разсудочной и противообщественной морали Надеждина, желавшаго поставить узкія рамки добродѣтели для поэтическаго творчества.

Вырабатывая свой эстетическій кодексъ, Бѣлинскій съ каждой статьёй уходилъ все дальше и дальше отъ своихъ предшественниковъ. Для поэтической фантазіи былъ открытъ, какъ мы видѣли, безпредѣльный просторъ. Такимъ образомъ право на существованіе поэзіи какъ субъективной, такъ и объективной было уже Бѣлинскимъ признано. Для первой была совершенно открыта область вымысла, безъ всякихъ ограниченій; вторая также свободно могла выбирать изъ міра дѣйствительнаго, что угодно. Поэты-романтики въ то время преобладали. Они впадали въ крайній субъективизмъ. На почвѣ идеалистической философіи онъ развивался широко и составлялъ яркую отличительную черту романтизма. Поэтъ считалъ себя центромъ всего существующаго, смотрѣлъ на міръ и на жизнь, какъ на игру формъ и цвѣтовъ въ калейдоскопѣ; его отношеніе къ дѣйствительности съ высоты собственнаго недосыгаемо высокаго идеала было презрительно-ироническое: „И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманіемъ вкругъ, такая пустая и глупая шутка“. Поэтъ-романтикъ искалъ разрѣшенія мучившихъ его вопросовъ въ собственномъ внутреннемъ мірѣ, а не въ изученіи окружавшей его дѣйствительной жизни, и въ результатѣ, чувствуя свое одиночество, приходилъ къ полной неудовлетворенности, тоскѣ и отчаянію. Это была поэзія субъективная, поэзія міра идеальнаго, а не дѣйствительнаго. Въ то же время нарождалась и другая поэзія, ко-

торая чѣмъ далѣе, тѣмъ съ бѣльшимъ вниманіемъ всматривалась въ современную русскую жизнь и изображала ее такую, какою она была въ дѣйствительности. Бѣлинскому предстояло высказаться рѣшительнѣе и опредѣленнѣе по отношенію къ тому и другому роду поэзіи. И онъ сдѣлалъ это въ статьѣ „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“. Идя въ этомъ вопросѣ своимъ особымъ путемъ, онъ рѣшилъ его самостоятельно, создавъ теорію идеальной и реальной поэзіи. Выясняя причины господства въ литературѣ романа и повѣсти надъ всѣми другими видами поэзіи, онъ говоритъ: „Поэзія двумя, такъ сказать, способами объемлетъ и воспроизводитъ явленія жизни. Эти способы противоположны одинъ другому, хотя ведутъ къ одной цѣли. Поэтъ или *пересоздаетъ жизнь* по собственному идеалу, зависящему отъ образа его воззрѣнія на вещи, отъ его отношенія къ міру, къ вѣку и къ народу, въ которомъ онъ живетъ, или *воспроизводитъ ее во всей наготѣ и истинѣ*, оставаясь вѣренъ всѣмъ подробностямъ, краскамъ и оттѣнкамъ ея дѣйствительности. Поэтому поэзію можно раздѣлить на два, такъ сказать, отдѣла — на *идеальную и реальную*“... Бѣлинскій считаетъ существованіе идеальной поэзіи возможнымъ для своего времени, но отдаетъ преимущество реальной. Эту послѣднюю онъ называетъ „истинной и настоящей поэзіей“. „Въ наше время“, говоритъ онъ, „преимущественно развилось это реальное направленіе поэзіи, это тѣсное сочетаніе искусства съ жизнью. Удивительно ли, что отличительный характеръ новѣйшихъ произведеній вообще состоитъ въ безпощадной откровенности, что въ нихъ жизнь является какъ бы на позоръ, во всей наготѣ, во всемъ ея ужасающемъ безобразіи и во всей ея торжествен-

ной красотѣ, что въ нихъ какъ будто вскрываютъ ее анатомическимъ ножомъ? Мы требуемъ не идеала жизни, но самой жизни, какъ она есть. Дурна ли, хороша ли она, но мы не хотимъ ее украшать, ибо думаемъ, что въ поэтическомъ представленіи она равно прекрасна въ томъ и другомъ случаѣ, и потому, именно, что истинна и что гдѣ истина, тамъ и поэзія“. Такъ говорилъ Бѣлинскій еще въ 35-мъ году. Онъ находилъ, что реальная поэзія болѣе согласна съ духомъ времени и болѣе удовлетворяетъ его потребности. „Мессинская невѣста“ и „Анна (Іоанна) д'Аркъ“ Шиллера найдутъ, по его словамъ, сочувствіе и отзывъ; но задушевными, любимыми созданіями времени всегда останутся тѣ, въ коихъ жизнь и дѣйствительность отражаются вѣрно и истинно“... Увлеченный поэзіей повѣстей Гоголя, Бѣлинскій уже отходитъ отъ перваго своего положенія о полной свободѣ эстетическаго чувства, отождествляя истину съ вѣрнымъ воспроизведеніемъ дѣйствительной жизни въ поэзіи реальной. Но свобода чувства остается у него за поэзіей идеальной. Въ этой послѣдней „естественность, гармонія съ законами дѣйствительности—дѣло постороннее: въ такомъ случаѣ поэтъ какъ бы заранѣе условливается съ читателемъ, чтобы тотъ вѣрилъ ему на слово и искалъ въ его созданіи не жизни, а мысли. Мысль—вотъ предметъ его вдохновенія“... „Въ этомъ случаѣ его поприще безгранично; ему открытъ весь дѣйствительный и воображаемый міръ, все роскошное царство вымысла, и прошедшее, и настоящее, и исторія, и басня, и преданіе, и народное суевѣріе, и вѣрованіе, земля и небо, и адъ. Безъ всякаго сомнѣнія, и тутъ есть своя логика, своя поэтическая истина, свои законы возможности и необходимости, которымъ

онъ остается вѣренъ, но только дѣло въ томъ, что онъ же самъ и творитъ себѣ эти условія"... Къ произведеніямъ этого рода Бѣлинскій относитъ „Фауста“ Гёте, „Манфреда“ Байрона, „Дзяды“ Мицкевича, „Лалла-Рукъ“ Томаса Мура и другія. Рѣшая вопросъ о преимуществѣ идеальной или реальной поэзіи, Бѣлинскій сначала говоритъ, что, „можетъ-быть, каждая изъ нихъ равна другой, когда удовлетворяетъ условіямъ творчества, т.-е. когда идеальная гармонируетъ съ чувствомъ, а реальная—съ истиной представляемой ею жизни“. Но впечатлѣніе отъ поэзіи Гоголя такъ сильно, что невольно заставляетъ его склониться на сторону реальной, какъ такой поэзіи, которая родилась „вслѣдствіе духа нашего положительнаго времени и болѣе удовлетворяетъ его господствующей потребности“. Говоря о впечатлѣніи отъ каждой повѣсти Гоголя, Бѣлинскій изумляется простотѣ, обыкновенности, естественности и вѣрности его изображеній и вмѣстѣ съ тѣмъ оригинальности и новости. „Не удивляетесь ли вы“, говоритъ онъ, „почему вамъ самимъ не пришла въ голову та же идея, почему вы сами не могли выдумать этихъ же самыхъ лицъ, такъ обыкновенныхъ, такъ знакомыхъ вамъ, такъ часто видѣнныхъ вами“... „Эта простота вымысла, эта нагота дѣйствія, эта скудность драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемыхъ авторомъ происшествій — суть вѣрные, необманимые признаки творчества; это поэзія реальная, поэзія жизни дѣйствительной, — жизни, коротко знакомой намъ“... „Въ самомъ дѣлѣ, заставить насъ принять живѣйшее участіе въ ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, насмѣшить насъ до слезъ глупостями, ничтожностью и юродствомъ этихъ живыхъ пасквилей на чело-

вѣчество — это удивительно; но заставить насъ потомъ пожалѣть объ этихъ идіотахъ, пожалѣть отъ всей души, заставить насъ разстаться съ ними съ какимъ-то глубоко-грустнымъ чувствомъ, заставить насъ воскликнуть вмѣстѣ съ собою: „Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“ — вотъ, вотъ оно, то божественное искусство, которое называется творчествомъ; вотъ онъ, тотъ художническій талантъ, для котораго, гдѣ жизнь, тамъ и поэзія!“ Не удивительно ли слышать все это въ 35-мъ году отъ Бѣлинскаго, идеалиста, раздѣляющаго сполна романтическую теорію искусства, по которой „главный отличительный признакъ творчества состоятъ въ таинственномъ ясновидѣніи, въ поэтическомъ сомнамбулизмѣ“? Такъ сильный умъ и живое чувство дѣйствительности заставили его отъ идеи безцѣльнаго и безсознательнаго искусства перейти къ признанію преимуществъ реальной поэзіи, вѣрно воспроизводящей дѣйствительную жизнь, и съ восторгомъ преклониться передъ нею.

Въ вопросѣ о народности Бѣлинскій такъ же ушелъ дальше Надеждина. Надеждинъ сводилъ это понятіе къ патріотизму, сближаясь въ этомъ вопросѣ съ официальной системой народности, которая, относясь безъ всякаго вниманія къ тяжелому положенію народа, требовала отъ него любви къ отечеству и постоянныхъ жертвъ во имя ея. „Патріотическій енеузіасмъ“, говоритъ онъ, „составляетъ какъ бы родовое непреложное наслѣдіе русской поэзіи: и это нисколько не удивительно, когда вѣковыя преданія и ежедневные опыты свидѣтельствуютъ, что національный характеръ самаго народа русскаго отличается — живою, пламенною, неизмѣнною любовью къ отечеству“. Бѣлинскій, опредѣляя „народную фізіономію“, изъ разныхъ отличительныхъ признаковъ выдвигаетъ

гаеть на первый планъ — обычаи. „Эти обычаи“, говоритъ онъ, „состоять въ образѣ одежды, прототипъ которой находится въ климатѣ страны, въ формахъ домашней и общественной жизни, причина коихъ скрывается въ вѣрованіяхъ, повѣрьяхъ и понятіяхъ народа, въ формахъ обращенія между недѣлимыми государства, оттѣнки которыхъ проистекають отъ гражданскихъ постановленій и различія сословій. Всѣ эти обычаи укрѣпляются давностью, освящаются временемъ и переходятъ изъ рода въ родъ, отъ поколѣнія къ поколѣнію, какъ наслѣдіе потомковъ отъ предковъ. Они составляютъ фیزیономію народа, и безъ нихъ народъ есть образъ безъ лица, мечта небывалая и несбыточная“... По мнѣнію Надеждина, мы, какъ члены одного великаго человѣческаго семейства, должны жить общей жизнью человечества и шествовать наравнѣ съ нимъ“... Бѣлинскій думаетъ, что только „идя по разнымъ дорогамъ, человечество можетъ достигнуть своей цѣли; только живя самобытною жизнью, можетъ каждый народъ принести свою долю въ общую сокровищницу. Говоря о нашей подражательности, онъ видитъ причину ея во внезапности и кругости реформы Петра, слѣдствіемъ чего былъ разрывъ между народомъ и обществомъ. „Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своихъ заунывныхъ пѣсняхъ, въ коихъ изливалась его душа въ горѣ и въ радости; второе же видимо измѣнялось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже *говорить русскій языкъ*“... Мы видимъ уже, что мнѣнія Бѣлинскаго о самобытномъ развитіи народа и о причинахъ разрыва между народомъ и обществомъ носятъ на себѣ явные оттѣнки славянофильскихъ взглядовъ. Это объясняется его связью

съ кружкомъ Станкевича, въ который входили будущіе славянофилы, и особенно въ это время близостью съ К. Аксаковымъ. Ошибочность этихъ мнѣній очевидна для насъ; но они, во всякомъ случаѣ, выше официальной точки зрѣнія, на которой стоялъ Надеждинъ; они глубже, искреннѣе, и потому были шагомъ впередъ и помогли въ послѣдствіи Бѣлинскому разрѣшить этотъ вопросъ правильно, опровергнувъ всѣ господствовавшія тогда ложныя воззрѣнія на народность, не исключая и славянофильскихъ. Славянофильская идея дала ему сразу основаніе, на которомъ онъ построилъ понятіе о самобытной, своеобразной русской литературѣ. Отсюда явилось требованіе самобытности, народности отъ русской поэзіи и отрицательное отношеніе къ явленіямъ подражательности въ русской литературѣ. Исходя изъ положенія о безцѣльномъ и бессознательномъ творествѣ поэта, Бѣлинскій пришелъ къ мысли о бессознательной народности поэта, которая является у него безъ всякихъ съ его стороны усилій ума и воли. „Развѣ Крыловъ потому народенъ въ высочайшей степени, что старался быть народнымъ?“ спрашиваетъ онъ. „Нѣтъ, онъ объ этомъ нисколько не думалъ; онъ былъ народенъ, потому что не могъ не быть народнымъ: былъ народенъ бессознательно и едва ли зналъ цѣну этой народности, которую усвоилъ созданіямъ своимъ безъ всякаго труда“... Истинный поэтъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, такъ же „бессознательно народенъ“, какъ онъ „бессознательно нравствененъ“ и „бессознательно правдивъ“.

Въ основаніе эстетической теоріи Бѣлинскаго легли двѣ идеи: идея безцѣльнаго съ цѣлью творчества и идея бессознательной народности. Отправляясь отъ этихъ основныхъ положеній,

Бѣлинскій вырабатываетъ цѣлый кодексъ законовъ изящнаго и въ періодъ примиренія своего съ дѣйствительностью окончательно его устанавливаетъ.

Въ разныхъ статьяхъ этого времени онъ опредѣляетъ поэзію, „какъ мышленіе въ образахъ, какъ непосредственное созерцаніе истины“. „Философъ говоритъ силлогизмами, поэтъ — образами и картинами“. Отсюда *поэтъ долженъ не доказывать, а показывать истину*. Сосредоточенное въ самомъ себѣ, чуждое постороннихъ цѣлей, художественное творчество должно исключительно заботиться о живости, пластичности, вѣрности, типичности образа. Не дѣло поэтическихъ произведеній „разсуждать, напримѣръ, объ отеческой власти и сыновнемъ повиновеніи: ихъ дѣло — представить или картину истинныхъ семейственныхъ отношеній, основанныхъ на любви, на общемъ стремленіи ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимномъ уваженіи къ своему человѣческому достоинству, къ своимъ человѣческимъ правамъ; или изобразить уклоненіе отъ этой нормы — произволъ отечественной власти, для корыстныхъ расчетовъ истребляющей въ дѣтяхъ любовь къ истинѣ и добру, и необходимое слѣдствіе этого — нравственное искаженіе дѣтей, ихъ неуваженіе, ихъ неблагодарность къ родителямъ. Если ваша картина будетъ вѣрна — ее поймутъ безъ вашихъ разсужденій. Вы были только художникомъ и хлопотали изъ того, чтобы нарисовать возникшую въ вашей фантазіи картину“... „и кто ни посмотритъ на эту картину, всякій, пораженный ея истинностью, лучше почувствуетъ и сознаетъ самъ все то, что вы стали бы толковать и чего бы никто не захотѣлъ отъ васъ слушать“... Бѣлинскій говоритъ это уже

въ 1844 году, когда его общественные взгляды измѣнились, и вмѣсто примирительнаго отношенія къ дѣйствительности онъ всталъ къ ней въ отношеніе боевое. Но его взглядъ на поэзію, имѣющую цѣль въ самой себѣ, остался тотъ же. Теперь только совѣтуетъ онъ смотрѣть на дѣйствительность „глазами живой современности, а не сквозь закоптѣлыя очки морали, которая была истинна во время оно, а теперь превратилась въ общія мѣста, многими повторяемые, но уже никого не убѣждающія“... Слѣдовательно, основанія его эстетической теоріи остались въ цѣлости.

Обратимся же теперь къ этимъ основнымъ положеніямъ эстетическаго кодекса Бѣлинскаго. Такъ какъ поэзія, по его мнѣнію, преслѣдуетъ ту же цѣль, что и философія, — ищетъ истину, только употребляетъ при этомъ свои особые средства, то правдивость, естественность, простота изображенія составляютъ необходимыя условія истиннаго поэтическаго произведенія. Отсюда вытекаетъ требованіе, чтобы поэтъ изображалъ жизнь безъ прикрасъ и искаженій. Мы видѣли уже изъ первыхъ статей Бѣлинскаго, что именно этими свойствами своей поэзіи производилъ на него сильное впечатлѣніе Гоголь. А въ 40-хъ годахъ, при разборахъ произведеній „натуральной школы“ онъ видитъ въ сближеніи нашей литературы съ жизнью „торжественный побѣдоносный ходъ ея“ и ея „зрѣлость и возмужалость“. Непремѣннымъ условіемъ для поэта Бѣлинскій ставилъ также заботу о цѣлостности своего произведенія, о гармоническомъ сочетаніи его частей, о томъ, чтобы идея, лежащая въ основаніи его, отличалась единствомъ. „Если мысль пьесы переходитъ въ другую“, говоритъ Бѣлинскій, „хотя бы и имѣющую къ ней отношеніе мысль, — тогда нарушается

единство художественнаго произведенія, а слѣдовательно, единство и сила впечатлѣнія. Прочтя такое произведеніе, чувствуешь себя только обезпокоеннымъ, но неудовлетвореннымъ; утомленіе и досада заступаютъ мѣсто наслажденія. Если мысль поэтическаго произведенія истинна въ самой себѣ, ясна и опредѣленна для поэта, если произведеніе вѣрно концепировано и достаточно выношено въ душѣ поэта, то въ немъ не можетъ быть ни уродливыхъ частностей, ни слабыхъ мѣстъ, ни темныхъ и непонятныхъ выраженій, ни недостатка во внѣшней отдѣлкѣ. Произведеніе въ такомъ случаѣ органически цѣлостно; въ немъ нѣтъ ничего ни излишняго, ни недостающаго; оно округлено; его начало вводитъ читателя въ его смыслъ, послѣднее слово замыкаетъ собой все его содержаніе, такъ что читатель вполне удовлетворенъ и не можетъ спросить: „что же дальше?“ Съ единствомъ мысли Бѣлинскій связываетъ и единство формы. Произведеніе „органически цѣлостное“, по его мнѣнію, должно представлять собою гармоническое сочетаніе частей. Между идеей и формой необходимо строгое соотвѣтствіе.

Вотъ тѣ главныя эстетическія требованія, съ которыми Бѣлинскій подходилъ къ поэтическимъ произведеніямъ русской и иностранной литературы. Онъ примѣнялъ ихъ и къ Пушкину, и къ Гоголю, и къ другимъ первокласснымъ поэтамъ, во всѣ періоды своей дѣятельности. Эти понятія держались прочно въ его сознаніи все время. Но при перемѣнѣ своихъ общественныхъ воззрѣній онъ истолковывалъ нѣкоторыя изъ нихъ иначе. Его взглядъ на ту роль, которую должно играть искусство въ общественной жизни, также при этомъ мѣнялся. Такъ, напримѣръ, въ первомъ періодѣ онъ утверждалъ, что поэзія, отрѣшенная

отъ вопросовъ жизни, есть самая высокая въ мірѣ поэзія. Формула — „поэзія сама себѣ цѣль“ — имѣла именно этотъ смыслъ. Во время же возстанія противъ дѣйствительности, покинувъ абсолютную точку зрѣнія на искусство, Бѣлинскій въ 1843 году пишетъ: „Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничивается птичьимъ пѣніемъ, создаетъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ философскою и историческою дѣйствительностью современности, если она воображаетъ, что земля не достойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ сновидѣній и поэтическихъ созерцаній. *Свобода творчества лежко согласуется съ служеніемъ современности*: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего отечества, своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями, для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отдѣляетъ убѣжденій отъ дѣла, сочиненія отъ жизни“. Свобода творчества, какъ мы видимъ, осталась, но она теперь согласована съ общественнымъ служеніемъ; принципъ: „поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя“ получилъ другую интерпретацію: поэту не нужно насиловать свою фантазію, она свободна, но она сама будетъ дѣйствовать, невольно, въ общественномъ направленіи, такъ какъ поэтъ долженъ быть гражданиномъ, сыномъ своего отечества, своего времени. Безсознательности творчества Бѣлинскій всегда придавалъ большое значеніе, хотя въ послѣдніе годы не такъ сильно настаивалъ на ней, какъ въ первый идеалистическій

періодъ, и не такъ рѣшительно ее требовалъ. Въ послѣднемъ своемъ литературномъ обзорѣ за 1847 годъ онъ пишетъ: „Теперь всѣхъ увлекаетъ волшебное слово „направленіе“, думаютъ, что все дѣло въ немъ, и не понимаютъ, что въ сферѣ искусства, во-первыхъ, никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта, а во-вторыхъ, самое направленіе должно быть не въ головѣ только, а прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго; прежде всего должно быть чувствомъ, инстинктомъ, а потомъ уже, пожалуй, и сознательною мыслью, — что для него, этого направленія, такъ же надобно родиться, какъ и для самаго искусства“... Въ той же статьѣ, защищая писателей „натуральной школы“ отъ нападковъ на нихъ за то, „что они любятъ изображать людей низкаго званія, дѣлаютъ героями своихъ повѣстей мужиковъ“, Бѣлинскій говоритъ, что писатель не ремесленникъ, „что въ отношеніи къ выбору предметовъ сочиненія писатель не можетъ руководствоваться ни чуждой ему волей, ни даже собственнымъ произволомъ, ибо искусство имѣетъ свои законы, безъ уваженія которыхъ нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требуетъ, чтобы писатель былъ вѣренъ собственной натурѣ, своему таланту, своей фантазіи“...

Взгляды Бѣлинскаго на критику также измѣнялись въ связи съ перемѣнами его общественныхъ воззрѣній. Въ первомъ идеалистическомъ періодѣ своего философскаго развитія онъ былъ приверженцемъ нѣмецкой философской и психологической критики и враждебно относился къ французской исторической критикѣ. Слѣдуя нѣмецкому критику Рётшеру, онъ ставилъ выше всего философскую критику, которая стремится изъ общаго объяснить частное и фактами подтверждать дѣйствительность своихъ началъ, а не изъ

фактовъ выводить свои начала и доказательства "... „Это критика абсолютная, и ея задача — найти въ частномъ и конечномъ проявленіе общаго, абсолютнаго. Ея суду могутъ подлежать только произведенія вполнѣ художественныя, т.-е. такія, въ которыхъ все необходимо, все конкретно, и всѣ части органически выражаютъ единое цѣлое, т.-е. конкретную идею. Разумѣется, что такой критикъ долженъ стоять на ряду съ вѣкомъ, быть обладателемъ современнаго ему знанія"... „Полное и совершенное пониманіе произведеній искусства возможно только черезъ философскую критику"... „Психологическая критика ограниченнѣе въ своихъ условіяхъ и доступнѣе для усилій посвящающаго себя критикѣ. Ея цѣль — уясненіе характеровъ отдѣльныхъ лицъ художественнаго произведенія"... „Психологическая критика можетъ посвятить насъ“, по словамъ Рётшера, „въ тайнства души Гамлета, Офеліи, Порціи, но не объяснить намъ, почему именно эти, а не другіе характеры необходимы въ „Гамлетѣ“ и „Венеціанскомъ купцѣ“; она можетъ разоблачить процессъ безумія Лира во всей его цѣлости, но не можетъ рѣшить, какъ можетъ быть художнически оправдано изображеніе этого состоянія духа (безумія)“... Для критики же французской не существуютъ законы изящнаго, по мнѣнію Бѣлинскаго, и не о художественности произведенія хлопочетъ она. „Она беретъ произведеніе, какъ бы заранѣе условившись почитать его истиннымъ произведеніемъ искусства, и начинаетъ отыскивать на немъ клеймо вѣка, не какъ историческаго момента въ абсолютномъ развитіи человечества или даже одного какого-нибудь народа, а какъ момента гражданскаго и политическаго. Для этого она обращается къ жизни поэта, его личному характеру, его внѣшнимъ

обстоятельствамъ, воспитанію, женитьбѣ, всѣмъ подробностямъ его семейнаго, гражданскаго быта, вліянію на него современности въ политическомъ, ученомъ и литературномъ отношеніи, и изъ всего этого силится вывести причину и необходимость того, почему онъ писалъ такъ, а не иначе. Разумѣется, это не критика на изящное произведеніе, а комментарий на него, который можетъ имѣть большую или меньшую цѣну, но только какъ комментарий“. Бѣлинскій видитъ въ критикѣ, обращающейся за объясненіями поэтическаго творчества къ личной жизни поэта, лишь удовлетвореніе простого любопытства, потому что „подробности жизни поэта нисколько не поясняютъ его твореній“. „Законы творчества“, говоритъ онъ, „вѣчны, какъ законы разума, и Гомеръ написалъ свою „Иліаду“ по тѣмъ же законамъ, по которымъ Шекспиръ писалъ свои драмы, а Гёте своего Фауста; при разборѣ произведеній этихъ исполиновъ искусства, отдѣленныхъ одинъ отъ другого тысячелѣтіями и вѣками, критикъ будетъ поступать одинаковымъ образомъ. Что мы знаемъ о жизни Шекспира? Почти ничего, а между тѣмъ его творенія отъ этого не менѣе ясны, не меньше говорятъ сами за себя. На что намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхиль или Софокль были къ своему правительству, къ своимъ согражданамъ, и что при нихъ дѣлалось въ Греціи? Чтобы понимать ихъ трагедіи, намъ нужно знать значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человѣчества; нужно знать, что греки выразили собою одинъ изъ прекраснѣйшихъ моментовъ живого конкретнаго сознанія истины въ искусствѣ. До политическихъ событій и мелочей намъ нѣтъ дѣла“... Бѣлинскій признаетъ за французской критикой право на существованіе только для не ху-

дожественныхъ произведеній, имѣющихъ историческое значеніе, какъ, напр., сочиненія Вольтера.

Такъ думалъ Бѣлинскій въ 1838 году, въ періодъ своего увлеченія Гегелемъ, когда смотрѣлъ на исторію, на литературу и на искусство съ абсолютной точки зрѣнія. Въ это время онъ постоянно повторяетъ: истина одна, истина абсолютна. Съ этой точки зрѣнія, конечно, критику нѣтъ дѣла до частнаго, временнаго, до политическихъ событій и разныхъ историческихъ подробностей, для него важно общее, вѣчное, и онъ на основаніи этого общаго, т.-е. абсолютной идеи, опредѣляетъ цѣну, достоинство, мѣсто и важность поэта. Съ этой точки зрѣнія и исторія человѣчества легко и просто объясняется логическими законами развитія идеи и служитъ для идеалиста-философа прикладной логикой. Позднѣе, когда Бѣлинскій покончилъ съ Гегелемъ-абсолютистомъ, въ его критическихъ взглядахъ произошла значительная перемѣна. Онъ начинаетъ смотрѣть на искусство съ исторической точки зрѣнія: оно проходитъ извѣстные фазисы развитія. Онъ признаетъ теперь, что развитіе таланта совершается подъ вліяніемъ окружающаго общества. Новый взглядъ на личность, которая теперь стала для него „выше исторіи, выше человѣчества“, заставляетъ его измѣнить отношеніе къ произведеніямъ, въ которыхъ изображается борьба отдѣльной личности съ отсталымъ, коснымъ обществомъ и ея страданія.

Вотъ почему теперь Шиллеръ становится для него „благороднымъ адвокатомъ человѣчества“, „эманципаторомъ общества отъ кровавыхъ предрассудковъ преданія“. По той же причинѣ онъ превозноситъ теперь романы Жоржъ-Зандъ, къ которымъ прежде относился неодобрительно. Благородное негодованіе французской романистки противъ лжи

и насилія, гнетущихъ семейную и общественную жизнь, подкупаетъ Бѣлинскаго. Но съ точки зрѣнія неизмѣнныхъ принциповъ его эстетической теоріи какъ драмы Шиллера оказываются не драмами, а лирическими произведеніями, такъ и романы Жоржъ-Зандъ — обилующими значительными художественными недостатками. Такимъ образомъ эстетическій кодексъ Бѣлинскаго, выработанный имъ еще въ первые годы литературной дѣятельности, остается неизмѣннымъ, какъ прочное красивое зданіе, построенное талантливымъ архитекторомъ, требующее по временамъ неизбѣжнаго, но не капитальнаго ремонта. Самая крупная перемѣна въ эстетическихъ взглядахъ Бѣлинскаго, происшедшая въ началѣ 40-хъ годовъ, заключается въ томъ, что онъ отказался отъ защиты чистаго искусства. „Гнусная расейская дѣйствительность“, какъ мы уже видѣли ранѣе, убѣдила его, что намъ не до чистаго мышленія. Она же убѣдила его вскорѣ и въ томъ, что намъ не до чистаго искусства. Раскрывъ передъ нимъ свои неприглядныя стороны, она показала, что подъ защитой чистаго, отрѣшеннаго отъ живыхъ вопросовъ текущей жизни искусства скрывается чаще всего отстаиваніе стараго гнетущаго порядка вещей, который выгоденъ для высшаго сословія. Овладевъшая умомъ Бѣлинскаго идея личности, признаніе за личностью права протеста заставили его отвергнуть ту эстетическую точку зрѣнія, которая требуетъ отъ поэта безстрастнаго отношенія къ своимъ созданіямъ и стѣсняетъ свободное выраженіе его личности въ его твореніяхъ. Бѣлинскій понялъ, что не въ туманныхъ началахъ нѣмецкаго идеализма и не въ чистомъ искусствѣ наше спасеніе, а въ новомъ реальномъ направленіи нашей мысли и литературы. Писа-

тель-реалистъ, воспроизводя неприкрашенную дѣйствительность, показывая ея недостатки, будить общественное сознаніе, уничтожаетъ вредную мысль, что существующій порядокъ наилучшій въ мірѣ, и призываетъ всѣхъ любящихъ родину и вѣрящихъ въ ея силы къ упорному труду и борьбѣ съ застоємъ во имя лучшаго будущаго. Новая школа писателей этого направленія вела свое начало отъ Гоголя. Ея враги дали ей названіе „натуральной“, желая показать этимъ словомъ, что она далека отъ истиннаго искусства, что писатели этого направленія не художники, а простые копировщики натуры. Бѣлинскій, понимая серьезное общественное значеніе новой литературной школы, взялъ ее подъ свою защиту. Онъ съ восторгомъ привѣтствовалъ выступающіе молодые таланты, которые сразу принялись за изображеніе крестьянскаго быта и давившаго крестьянина гнета помѣщичьей власти. Поэзія, такимъ образомъ, становилась проводникомъ общественныхъ идей, и критика Бѣлинскаго выдвигала на первый планъ общественную стоимость художественнаго произведенія. Реальная поэзія окончательно захватила Бѣлинскаго. Онъ уже иначе теперь относится къ идеальной поэзіи, т.-е. романтической: онъ радуется, что она умираетъ. Романтизмъ слишкомъ любитъ фантастическое, увлекаетъ пустыми призраками, мечтами. Теперь для Бѣлинскаго одинаково смѣшны и тихая меланхолическая задумчивость романтика, и его бурные, но безплодные порывы къ высокому, туманному идеалу. Онъ всецѣло переходитъ на сторону реализма, на сторону искусства для жизни.

Теперь онъ спорить съ теоретиками того искусства, которое „само себѣ цѣль и внѣ себя не признаетъ никакихъ цѣлей“. „Въ этой мысли“,

говорить онъ, „есть основаніе, но ея преувеличенность замѣтна съ перваго взгляда. Мысль эта чисто нѣмецкаго происхожденія; она могла родиться только у народа созерцательнаго, мыслящаго и мечтающаго, и никакъ не могла бы явиться у народа практическаго, общественность котораго для всѣхъ и cadaго представляетъ широкое поле для живой дѣятельности“. И Бѣлинскій старается доказать историческими примѣрами, что чистаго искусства никогда и нигдѣ не существовало. „Что такое чистое искусство, этого хорошо не знаютъ сами поборники его, и оттого оно является у нихъ какимъ-то идеаломъ, а не существуетъ фактически. Оно въ сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т.-е искусства дидактическаго, поучительнаго, холоднаго, сухого, мертваго, котораго произведенія не иное что, какъ риторическія упражненія на заданныя темы. Безъ всякаго сомнѣнія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху“... „Когда въ романѣ или повѣсти нѣтъ образовъ и лицъ, нѣтъ характеровъ, нѣтъ ничего типическаго,—какъ бы вѣрно и тщательно ни было списано съ натуры все, что въ немъ разсказывается, читатель не найдетъ тутъ никакой натуральности, не замѣтитъ ничего вѣрно подмѣченнаго, ловко схваченнаго“... „Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства“... Бѣлинскій требуетъ, чтобы явленія дѣйствительности поэтъ провелъ чрезъ свою фантазію, далъ имъ новую жизнь. Для этого онъ долженъ проникнуть мыслью во внутреннюю сущность изображаемаго событія, отгадать тайныя душевныя побужденія, заставившія участвующихъ въ немъ лицъ дѣйствовать такъ, а не иначе, схватить ту

точку, которая составляет центръ этихъ дѣйствій, и дать имъ смыслъ чего-то единого, полнаго, цѣлаго, замкнутаго въ самомъ себѣ. Мы видимъ отсюда, что эстетическій кодексъ Бѣлинскаго остался во всей своей цѣлости, и лишь одинъ только пунктъ его — о чистой поэзіи, не имѣющей цѣли внѣ себя — подвергся иному истолкованію. По прежнему взгляду Бѣлинскаго, поэтъ изъ-за образа не видѣлъ идеи, творилъ безсознательно, преслѣдуя исключительно эстетическія цѣли; теперь для него обязательно выраженіе идей своего времени, своего общества. Слѣдовательно, въ творческій процессъ входитъ элементъ сознательности. Поэтъ только не долженъ быть выразителемъ духа „той или другой партіи или секты, осужденной, можетъ-быть, на эфемерное существованіе, обреченной исчезнуть безъ слѣда“. Его поэзія должна выражать „сокровенную думу всего общества, его, можетъ-быть, еще неясное самому ему стремленіе“... „Въ наше время“, говоритъ Бѣлинскій далѣе, „искусство и литература больше, чѣмъ когда-либо прежде, сдѣлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общіе, доступнѣе всѣмъ, яснѣе, сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во главѣ всѣхъ другихъ вопросовъ“... И если иногда современность и общественный характеръ произведенія вредитъ его художественности, то это происходитъ „не отъ вліянія современныхъ общественныхъ вопросовъ, а оттого, что авторъ существующую дѣйствительность хотѣлъ замѣнить утопией, и вслѣдствіе этого заставилъ искусство изображать міръ, существующій только въ его воображеніи“. Бѣлинскій указываетъ въ видѣ примѣровъ на нѣкоторые романы Ж.-Зандъ, отличающіеся

фантастичностью лицъ, идеализованныхъ до крайней степени, и на недостатки произведеній Евг. Сю, заключающіеся въ преувеличеніи, мелодраматическихъ эффектахъ и небывалыхъ характерахъ. Зато, романы Диккенса, глубоко проникнутые симпатіями къ современнымъ общественнымъ вопросамъ, являются превосходными художественными произведеніями. Слѣдовательно, современность и общественный характеръ поэтического произведенія не мѣшаютъ его художественности, степень которой зависитъ исключительно отъ степени талантиности поэта.

Все это Бѣлинскій говоритъ въ своемъ послѣднемъ литературномъ обзорѣни, въ статьѣ: „Взглядъ на русскую литературу 1847 года“, за нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти, и мы ясно видимъ, что онъ до конца жизни, при всѣхъ переменѣхъ въ его міровоззрѣніи, почти нисколько не измѣнилъ своихъ эстетическихъ взглядовъ. И въ самыхъ послѣднихъ статьяхъ онъ являлся и публицистомъ, и художественнымъ критикомъ, обнаруживая постоянно необыкновенное художественное чутье. Такъ, напр., въ указанномъ послѣднемъ обзорѣни, при разборѣ „Обыкновенной исторіи“ Гончарова, онъ, выражая недовольство спокойнымъ, безстрастнымъ отношеніемъ автора къ изображаемымъ лицамъ и жизни, находитъ, однако, въ этой повѣсти высокія художественныя достоинства. Въ Гончаровѣ онъ видитъ художника необыкновеннаго таланта, умѣющаго рисовать живыя фигуры во весь ростъ кистью широкой, смѣлой и вѣрной. Оцѣнивая талантъ Тургенева, по его первымъ стихотворнымъ произведеніямъ и нѣсколькимъ прозаическимъ рассказамъ, онъ, конечно, не могъ еще въ немъ усмотрѣть крупнаго представителя русскаго общественнаго ро-

мана, но многія черты его художественнаго таланта указаны совершенно вѣрно. Мы не говоримъ уже о томъ, какъ много было обнаружено Бѣлинскимъ тонкаго художественнаго пониманія и чувства при оцѣнкѣ произведеній Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова и современныхъ ему поэтовъ-лириковъ, какъ Майковъ, Полонскій, Бенедиктовъ, Языковъ, Хомяковъ и др. — все это слишкомъ извѣстно. Мы отмѣчаемъ только на указанныхъ выше оцѣнкахъ Гончарова и Тургенева, что, ставъ на новую публицистическую точку зрѣнія, Бѣлинскій не утратилъ способности вѣрно оцѣнивать художественную сторону поэтическихъ произведеній и не сталъ къ ней въ отрицательное отношеніе, какъ это бывало потомъ съ нѣкоторыми русскими критиками 60-хъ годовъ.

Но высшую цѣну поэтическому произведенію придаетъ теперь въ глазахъ Бѣлинскаго не художественность его, а нѣчто другое. Онъ видитъ въ спокойномъ, безстрастномъ художествѣ Гончарова очень большой недостатокъ. Авторъ повѣсти „Обыкновенная исторія“, говоритъ онъ, — „поэтъ, художникъ, и больше ничего. У него нѣтъ ни любви ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ... онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ будто думаетъ, кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона“. Сопоставляя Гончарова съ другими писателями „натуральной школы“, онъ находитъ, что только Гончаровъ „одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство — и тѣмъ самымъ успѣваютъ. Всѣ нынѣшніе писатели имѣютъ еще нѣчто, кромѣ таланта, и это-то нѣчто важнѣе самаго таланта и составляетъ его силу; у Гончарова нѣтъ ничего, кромѣ таланта; онъ больше,

чѣмъ кто-нибудь теперь, поэтъ-художникъ "... Что же такое это нѣчто, имѣющее болѣшую важность, чѣмъ самый талантъ? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, слѣдуетъ обратиться къ разбору романа Герцена: „Кто виноватъ?“, страдающаго, по мнѣнію Бѣлинскаго, очень крупными художественными недостатками, и посмотрѣть, въ чемъ критикъ видитъ достоинство этого слабаго въ художественномъ отношеніи произведенія. Этому роману, говоритъ Бѣлинскій, „придаетъ убѣдительность, увлекательность“, неотразимо дѣйствующую на читателя, основная его мысль, которая „срослась“ съ талантомъ автора. „О чемъ бы онъ ни говорилъ, чѣмъ бы ни увлекся въ отступленіи, онъ никогда не забываетъ ея, безпрестанно возвращается къ ней, она какъ будто невольно сама высказывается у него“... „Какая же это мысль? Это — страданіе, болѣзнь при видѣ непризнаннаго человѣческаго достоинства, оскорбляемаго съ умысломъ и еще больше безъ умысла; это то, что нѣмцы называютъ гуманностью (Humanität)“. Далѣе Бѣлинскій блестяще развиваетъ идею гуманности на нѣсколькихъ страницахъ, иллюстрируя ее самыми простыми всѣмъ знакомыми примѣрами изъ жизни семейной и общественной. Вотъ какъ смотритъ теперь нашъ знаменитый критикъ на поэтическое произведеніе. Вотъ что даетъ въ его глазахъ высокую цѣну литературѣ: она — проповѣдница гуманныхъ началъ; она защитница — человѣческой личности, ея оскорбляемаго человѣческаго достоинства. Теперь намъ будутъ совершенно понятны тѣ чувства Бѣлинскаго, съ которыми онъ встрѣтилъ повѣсти Григоровича: „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“, первые рассказы изъ „Записокъ охотника“ и первую повѣсть: „Бѣдные люди“ Достоевскаго, — всѣ тѣ произведенія, въ

которыхъ защищается унижаемое, оскорбляемое достоинство человѣческой личности. „Вѣроятно“, пишетъ онъ Боткину, „ты уже получилъ XI № „Современника“. Тамъ повѣсть Григоровича („Антонъ Горемыка“), которая измучила меня; читая ее, я все думалъ, что присутствую при экзекуціяхъ. Страшно! Вотъ поди ты... цензура чуть ее не прихлопнула; конецъ передѣланъ — выкинута сцена разбоя, въ которой онъ (т.-е. Антонъ) участвуетъ. Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно. Выкинута о Мицкевичѣ, о шалкѣ-мурмолкѣ, а мелкихъ фразъ, строкъ — безъ числа. Но объ этомъ я еще буду писать къ тебѣ, потому что это довело меня до отчаянія, и я выдержалъ нѣсколько тяжелыхъ дней“... Получивъ отъ Боткина отвѣтъ на это письмо и узнавъ изъ него, что „Антонъ Горемыка“ не понравился Боткину, Бѣлинскій разсердился. „Ты сибаритъ, сладѣна“, писалъ онъ ему, „тебѣ, вишь, давай поэзіи да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т.-е. не впадала въ аллегорію или не отзывалась диссертациею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества, — она для меня тѣмъ не менѣе интересна... Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности, — тѣмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ. Будь повѣсть хоть расхудожественна, да если въ ней нѣтъ дѣла, — то я къ ней совершенно равнодушенъ... Я знаю, что сижу въ односторонности, но

не хочу выходить изъ нея и жалѣю, и болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней. Вотъ почему въ „Антонѣ“ я не замѣтилъ длиннотъ или, лучше сказать, упивался длиннотами... Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удушающаго впечатлѣнія: читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину — законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ“.

Бѣлинскій отличался необыкновенной чуткостью къ потребностямъ времени и понималъ, что въ переживаемый моментъ всего важнѣе и полезнѣе для русскаго общества. Ни этой чуткости, ни этого пониманія не было у такихъ крайнихъ эстетиковъ, какъ Боткинъ и многіе другіе, бывшіе друзья Бѣлинскаго. Вотъ причины, почему онъ расходился теперь съ ними. Для него теперь „личность выше исторіи, выше человѣчества“, т.-е. личность пріобрѣтаетъ, вопреки идеалистическимъ теоріямъ друзей, право протеста и въ жизни, и въ поэзіи. Этотъ принципъ становится исходнымъ пунктомъ и его критики. Публицистическая струя въ ней бьетъ все сильнѣе и шире. Нѣмецкая критика, ставящая искусству исключительную цѣль въ самомъ себѣ и освобождающая его отъ „всякаго соотношенія съ жизнью“, теперь окончательно потеряла для Бѣлинскаго свою цѣну. Но это не значитъ, повторяемъ, что онъ пересталъ цѣнить красоту и совсѣмъ отрекся отъ законовъ изящнаго. Нѣтъ, онъ только выше ихъ поставилъ право личности, человѣческое счастье, жизнь. „Жизнь всегда выше искусства“, говоритъ онъ, „потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни“... А нѣмецкая критика смотритъ иначе: она „исключительно

вращается въ тѣсной сферѣ эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобы обращаться изрѣдка къ характеристикѣ личности поэта, а на исторію, общество, словомъ, на жизнь — не обращаетъ никакого вниманія“. Бѣлинскій съ большимъ сочувствіемъ относится теперь къ французской литературѣ, критикѣ и къ французской жизни; онъ немилосердно казнить „нѣмецкую апатическую терпимость ко всему, что бываетъ и дѣлается на бѣломъ свѣтѣ“, „нѣмецкую безличную универсальность, которая, признавая все, сама не можетъ сдѣлаться ничѣмъ“...

Онъ уже иначе смотритъ на „общее“ нѣмецкой философіи, которое, какъ господствующее надъ всѣмъ начало, мѣшало проявленію личности, давило ее, не давало ей жить. „Общее выше частнаго“, говоритъ онъ, „безусловное выше индивидуальнаго, разумъ выше личности: это истина несомнѣнная, противъ которой нечего сказать; но вѣдь общее выражается въ частномъ, безусловное — въ индивидуальномъ, а разумъ — въ личности, и безъ частнаго, индивидуальнаго и личнаго общее, безусловное и разумное есть только идеальная возможность, а не живая дѣйствительность“. По послѣднимъ его критическимъ статьямъ все болѣе и болѣе замѣтно, что онъ проникается взглядами лѣвыхъ гегеліанцевъ. Лѣвое крыло гегеліанства, какъ извѣстно, отрицательно отнеслось къ интеллектуализму своего учителя, къ его логизированію міра и жизни, и къ спиритуализму нѣмецкой философіи вообще. Съ особенною силой дѣйствовалъ въ этомъ направленіи Л. Фейербахъ, сочиненіями котораго, какъ мы уже знаемъ, зачитывались многіе русскіе гегеліанцы. Если самъ Бѣлинскій и не читалъ Фейербаха, то бесѣды съ новыми петербургскими друзьями и

особенно съ Герценомъ могли дать ему основательное знакомство съ главными положеніями его философіи. Господству гегеліанской идеи былъ нанесенъ смертельный ударъ именно Фейербахомъ, который ясно показалъ, что она такое. Всеобъемлющая, міровая идея Гегеля, по его вѣрному опредѣленію, есть простая психологическая абстракція: это — процессъ человѣческаго мышленія, взятый въ отвлеченіи отъ его субъективнаго характера и провозглашенный сущностью мірового процесса. Такое простое объясненіе пресловутаго гегелевскаго абсолюта нанесло поражение не только самой системѣ Гегеля, но и всему нѣмецкому идеализму, показавъ полную несостоятельность чистаго умозрѣнія, когда оно стремится стать на мѣсто научнаго изслѣдованія. Если міровая идея Гегеля есть въ сущности процессъ нашего мышленія въ отвлеченіи, то она никакъ не можетъ быть сущностью мірового процесса, она — сущность человѣка, да и то неполная, односторонняя, потому что сущность человѣка не одна только мысль, но и ощущение. Возстановить по-пранныя идеалистами права чувственности, права плоти и правильно поставить изученіе человѣка въ полномъ его составѣ составляло главную задачу Фейербаха и его послѣдователей. Человѣкъ и природа, какъ его базисъ, становятся единственнымъ, всеобщимъ и высшимъ предметомъ его философіи, при чемъ впрахъ разлетаются многія фантастическія представленія и выведенныя изъ нихъ понятія. Кратко характеризую пройденный своей мыслью путь, Фейербахъ говоритъ: „Богъ былъ моею первой мыслью, разумъ — второй, человѣкъ — третьей и послѣдней мыслью“. Его религиозно-философское ученіе, атеистическаго характера, привело къ созданію новой религіи человѣ-

чества безъ личнаго Бога, легкой въ основу общественныхъ движеній новаго времени. Въ томъ же направленіи дѣйствовала и религіозная доктрина О. Конта, создателя позитивной философіи, съ которой передовые русскіе люди впервые начали знакомиться въ 40-хъ годахъ. Все это являлось противовѣсомъ нѣмецкому идеализму, пренебрежительно относившемуся къ фактамъ, къ опытному изслѣдованію; все дѣйствовало, какъ сила, освобождающая отъ ига абстракцій, отъ исключительнаго господства чистаго умозрѣнія, тормозившаго движеніе науки.

Подъ этими вліяніями западной науки и литературы интересы русской интеллигенціи, какъ мы уже говорили, круто измѣнились ко второй половинѣ 40-хъ годовъ. Въ журналахъ начали появляться естественно-научныя, политико-экономическія статьи, Герценъ печатаетъ свои „Письма объ изученіи природы“, тотчасъ послѣ этого пишетъ повѣсть „Сорока-воровка“ — одинъ изъ самыхъ сильныхъ протестовъ противъ крѣпостнаго права. Въ сознаніи лучшихъ русскихъ людей уже сложился и окрѣпъ идеаль нормальныхъ семейныхъ и общественныхъ отношеній; надо было провести этотъ идеаль въ общественное сознаніе, распространить его, какъ можно, шире. Ихъ терзала мысль о томъ, что, при существующихъ тяжелыхъ условіяхъ, поработенная жестокой государственностью личность русскаго человѣка не въ состояніи свободно развивать свои богатые природныя силы и способности: цѣпи рабства тяжелѣе всего, конечно, давали себя чувствовать крестьянину, но онъ же сковывали и умственную дѣятельность всего образованнаго общества. Вотъ почему для передовыхъ людей того времени „думать и чувствовать, понимать и страдать было

одно и то же“, какъ говорилъ Бѣлинскій. У всѣхъ была одна и та же мысль, одна и та же „дума вѣка“ — освобожденіе личности въ широкомъ смыслѣ этихъ словъ. Бѣлинскій, главный носитель и распространитель этой думы, занималъ первое мѣсто среди другихъ. Мы уже нѣсколько разъ говорили о его сильномъ влияніи на общество. Рядомъ съ нимъ шелъ Герценъ, но его влияние въ это время было ограниченнѣе. Какъ постоянный сотрудникъ передового журнала, какъ горячій, страстный поборникъ новыхъ идей, съ пафосомъ проповѣдника соединявшій необыкновенную способность педагога просто, ясно и увлекательно излагать свои мысли, Бѣлинскій дѣйствовалъ на болѣе широкіе круги читателей. Эстетикъ въ немъ не исчезъ безслѣдно, но уступилъ теперь первое мѣсто просвѣтителю-публицисту. Онъ даже измѣнилъ свои взгляды на нѣкоторыя изъ лирическихъ пьесъ Пушкина. Въ своемъ просвѣтительномъ увлеченіи онъ даже несправедливо упрекаетъ Пушкина за презрительное отношеніе къ толпѣ въ стихотвореніяхъ: „Поэту“ и „Чернь“, совершенно упуская изъ виду, что подъ словами „толпа“ и „чернь“ поэтъ разумѣлъ пошлое свѣтское общество, а не простой народъ. Онъ теперь находитъ, что поэзія Пушкина, „вся насквозь проникнутая гуманностью, умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то отрицаніемъ (*resignatio*), какъ бы признавая ихъ роковую неизбѣжность и ненося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія“... „Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства“, говоритъ онъ, „которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта.

Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи“. Здѣсь Бѣлинскій, конечно, неправъ: онъ сходитъ съ исторической точки зрѣнія, забывая, что въ 30-хъ годахъ такія мысли, которыхъ онъ требуетъ отъ Пушкина, были невозможны. Тогда все лучшее въ Россіи находило одинъ только выходъ въ возвышенныя сферы. Неудивительно, что Пушкинъ, какъ поэтъ, ушелъ въ чистое искусство и „навсегда затворился“, какъ выражается Бѣлинскій, „въ гордомъ величіи непонятаго и оскорбленнаго художника“. Тогда не могло быть и рѣчи о народѣ, о мужикѣ, и крѣпостное право стояло твердо. Общественная атмосфера въ 40-хъ годахъ была уже не та. Сознаніе, что такъ жить нельзя, проникало въ широкіе общественные слои, какъ это мы видѣли въ движеніи Петрашевцевъ; литература смѣло подняла вопросъ о коренномъ злѣ русской жизни. Писатели натуральной школы „наводнили литературу мужиками“, и тотъ, кто возставалъ противъ новаго литературнаго направленія, возставалъ уже противъ освободительнаго движенія. Осуждавшіе новую школу и ратовавшіе за чистое искусство прикрывали имъ свои крѣпостническія тенденціи. Возраставшее въ обществѣ сочувствіе къ закрѣпощенному крестьянству будило въ нихъ опасенія, тревогу за цѣлость своихъ привиллегій. Бѣлинскій отлично понималъ причины нападеній на новую школу писателей и разоблачалъ скрытыя, тайныя побужденія ея враговъ. Но Пушкинъ былъ нисколько не виноватъ въ томъ, что его чудные стихи служили опорой для враговъ прогресса. Точка зрѣнія просвѣтителей всегда грѣшитъ тѣмъ, что игнорируетъ историческія условія данной эпохи. Но о Бѣлинскомъ

слѣдуетъ сказать, что онъ, при всей своей страстности, очень рѣдко забывалъ о нихъ. И эти рѣдкіе моменты объясняются горячностью увлеченія общественно-политическими вопросами времени.

Политическія движенія, происходившія въ культурныхъ государствахъ Европы въ 40-хъ годахъ, сильно волновали все русское общество. Мы видѣли, съ какимъ сочувствіемъ относились наши писатели къ тому, что происходило во Франціи въ концѣ этого десятилѣтія; видѣли, какой интересъ возбуждали вопросы социальнаго характера и какъ велико было ихъ воспитательное значеніе для нашего общества. Борьба съ абсолютизмомъ за права личности, за свободу мысли и чувства, борьба съ застарѣлыми предразсудками, которая велась въ это время на Западѣ, не могла не производить впечатлѣнія на русскихъ образованныхъ людей. Она имѣла общечеловѣческій интересъ. Въ русскомъ мыслящемъ человѣкѣ она невольно вызывала тяжелую думу о своемъ собственномъ положеніи и заставляла внимательно присматриваться къ явленіямъ своей національной жизни. Мы знаемъ уже, что его взоръ встрѣчалъ мало отраднаго вокругъ. Но онъ не отчаялся, не махнулъ рукой на „гнусную расейскую дѣйствительность“, а рѣшилъ вскрыть ея гніющія язвы и показать ихъ всему обществу. Эту-то трудную задачу и взяла на себя новая школа писателей. Ея произведенія давали Бѣлинскому богатый матеріалъ и твердую почву. Но путь критика въ Россіи былъ тѣсенъ и труденъ, на каждомъ шагу встрѣчались неожиданныя препятствія — нужна была большая осторожность. Мы уже знаемъ, въ какія тяжелыя условія была поставлена дѣятельность писателя въ тѣ времена. Мы говорили и о томъ, какъ поступала цензура со статьями Бѣлинскаго, и какія

душевные муки испытывалъ онъ отъ смѣлыхъ цензорскихъ операций. Но эти мытарства не останавливали его работы, и она продолжалась теперь съ удвоенной энергіей. Молодые писатели-реалисты принялись за изображеніе народной жизни, преимущественно обращая вниманіе на ея мрачныя стороны. Бѣлинскому этотъ предметъ былъ ранѣе мало знакомъ. Произведенія Герцена, Григоровича, Тургенева давали ему возможность ближе узнать и тяжелое, безвыходное положеніе крѣпостного крестьянина и его душу. Они правдиво говорили о непечатыхъ силахъ и способностяхъ его, которыя, при условіяхъ крѣпостного права, лишены были возможности правильнаго и свободнаго развитія. Опираясь на данныя этой мужицкой беллетристики, Бѣлинскій могъ бы сказать много цѣннаго о крѣпостномъ правѣ, лежавшемъ въ основѣ нашей общественности. Но ему приходилось ограничиваться тонкими намеками, многозначительными для смѣтливаго читателя недомолвками или, наконецъ, просто обходить опасные вопросы молчаніемъ. Оттого-то такъ высоко цѣнятся теперь его письма къ друзьямъ, гдѣ онъ свободно, безъ всякихъ стѣсненій излагаетъ свои мысли; только въ этихъ письмахъ мы видимъ Бѣлинскаго во весь ростъ. Какъ на самый яркій примѣръ, свидѣтельствующій о невыносимо тяжеломъ его въ то время положеніи, мы укажемъ на статью по поводу книги Гоголя: „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Книга полна, какъ извѣстно, нелѣпыхъ, отсталыхъ до дикости понятій, крайняго мистицизма, но она затрогиваетъ множество живыхъ вопросовъ, касается самыхъ больныхъ мѣстъ русской семейной, общественной и народной жизни. Какой бы объемистой, сильной, громовой статьей долженъ былъ отвѣтить на нее

Бѣлинскій, если бы была хоть какая-нибудь возможность говорить тогда правду! И что же мы видимъ? Небольшую сравнительно съ важностью содержанія книги Гоголя статью, наполненную, главнымъ образомъ, цитатами изъ нея да кое-какими скромными, сдержанными замѣчаніями критика и оканчивающуюся маленькимъ резюме ея содержанія и печальнымъ выводомъ, что Гоголь — художникъ по природѣ, принявшійся за публицистику, взялся не за свое дѣло. Но прибавленныя къ концу статьи три горькія строчки отъ автора, показываютъ читателю ясно, въ чемъ дѣло. „Приходили намъ въ голову и другіе выводы“, говоритъ Бѣлинскій, „но... статья наша и такъ вышла черезчуръ длинна“. И только благодаря счастливому стеченію случайныхъ обстоятельствъ русское общество узнало объ этихъ „другихъ выводахъ“.

Въ іюлѣ 1847 года Бѣлинскій находился за границей, въ Зальцбруннѣ, куда былъ отправленъ друзьями для лѣченія отъ злой чахотки. Гоголь написалъ ему въ это время письмо по поводу его рецензіи на „переписку съ друзьями“. Привыкну издавна встрѣчать у Бѣлинскаго лишь восторженные похвалы, Гоголь, естественно, былъ огорченъ отрицательнымъ, хотя и сдержаннымъ отзывомъ критика. Но онъ не понялъ истинной причины такого отношенія, и объяснилъ себѣ выраженное въ рецензіи раздраженіе сдѣланными имъ въ книгѣ нелестными замѣчаніями о почитателяхъ своего таланта. Въ отвѣтъ на это Бѣлинскій, пользуясь удобнымъ случаемъ своего пребыванія за границей, не стѣсняемый цензурой и никакими другими опасеніями, написалъ свое знаменитое письмо, сдѣлавшееся вскорѣ извѣстнымъ всей мыслящей Россіи.

Когда заходить рѣчь объ этомъ замѣчательномъ произведеніи русской литературы, имѣвшемъ огромное вліяніе на наше образованное общество, то хочется обыкновенно привести его все полнотью: такъ оно цѣнно отъ перваго слова до послѣдняго. Но въ настоящее время въ этомъ нѣтъ необходимости, потому что оно, послѣ долго тяготѣвшаго надъ нимъ запрета, напечатано, наконецъ, цѣликомъ съ прекраснымъ предисловіемъ С. А. Венгерова и выпущено въ дешевомъ изданіи (10 коп.) издательскою фирмою „Свѣточъ“. Мы приведемъ, поэтому, только нѣкоторыя мѣста, наиболѣе важныя для характеристики общественно-политическихъ взглядовъ Бѣлинскаго за послѣдніе годы его жизни. Въ самомъ началѣ письма Бѣлинскій указываетъ Гоголю настоящую причину своего негодованія. „Оскорбленное чувство самолюбія еще можно перенести“, говоритъ онъ, „и у меня достало бы ума промолчать объ этомъ предметѣ, если бы все дѣло заключалось въ немъ, но нельзя перенести оскорбленнаго чувства истины, человеческого достоинства; нельзя молчать, когда подъ покровомъ религіи и защитою кнута проповѣдуютъ ложь и безнравственность, какъ истину и добродѣтель. Да, я любилъ васъ со всею страстію, съ какой человѣкъ, кровно связанный съ своею страной, можетъ любить ея надежду, честь, славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія, прогресса... Я не въ состояніи дать вамъ ни малѣйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила ваша книга во всѣмъ благородныхъ сердцахъ, ни о тѣхъ вопляхъ дикой радости, которые издали, при появленіи ея, всѣ враги ваши, и нелитературные — Чичиковы, Поздревы, Городничіе... и литературные, которыхъ имена хорошо вамъ извѣстны... Россія видитъ свое спасеніе не

въ мистицизмѣ, не въ аскетизмѣ, не въ піэтизмѣ, а въ успѣхахъ цивилизаціи, просвѣщенія, гуманности. Ей нужны не проповѣди (довольно она слышала ихъ!), не молитвы (довольно она твердила ихъ!), а пробужденіе въ народѣ чувства человѣческаго достоинства, столько вѣковъ потеряннаго въ грязи и сорѣ, — права и законы, сообразные не съ ученіемъ церкви, а съ здравымъ смысломъ и справедливостью, и строгое, по возможности, ихъ исполненіе. А вмѣсто этого она представляетъ собою ужасное зрѣлище страны, гдѣ люди торгуютъ людьми, не имѣя на это и того оправданія, какимъ лукаво пользуются американскіе плантаторы, утверждая, что негръ не человѣкъ; страны, гдѣ люди сами себя называютъ не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Степками, Палашками; страны, гдѣ, наконецъ, нѣтъ не только никакихъ гарантій для личности, чести и собственности, но нѣтъ даже и полицейскаго порядка, а есть только огромныя корпораціи разныхъ служебныхъ воровъ и грабителей! Самые живые, современные національные вопросы въ Россіи теперь: уничтоженіе крѣпостнаго права, отмѣненіе тѣлеснаго наказанія, введеніе, по возможности, строгаго выполненія хотя тѣхъ законовъ, которые уже есть... И въ это-то время великій писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными твореніями такъ могущественно содѣйствовалъ самосознанію Россіи, давши ей возможность взглянуть на самое себя, какъ будто въ зеркалѣ — является съ книгою, въ которой во имя Христа и церкви учить варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, учить ихъ ругать побольше... И это не должно было привести меня въ негодованіе?... Если бы вы дѣйствительно преисполнились истиною Хри-

стовою, а не дьяволова ученія — совѣмъ не то написали бы вы въ вашей новой книгѣ. Вы сказали бы помѣщику, что, такъ какъ крестьяне его братья о Христѣ, а какъ братъ не можетъ быть рабомъ своего брата, то онъ и долженъ или дать имъ свободу, или хотя, по крайней мѣрѣ, пользоваться ихъ трудами какъ можно выгоднѣе для нихъ, сознавая себя, въ глубинѣ своей совѣсти, въ ложномъ положеніи въ отношеніи къ нимъ“... Показавъ затѣмъ, что Гоголь невѣрно представляетъ себѣ отношеніе русскаго народа къ религіи, что „мистическая экзальтація не въ его натурѣ“, что „у него слишкомъ много для этого здраваго смысла, ясности и положительности въ умѣ“, Бѣлинскій переходитъ къ вопросу объ отношеніи русскаго народа къ самодержавію. „Не буду“, говоритъ онъ, „распространяться о вашемъ диѳирамбѣ любовной связи русскаго народа съ его владыками. Скажу прямо: этотъ диѳирамбъ ни въ комъ не встрѣтилъ себѣ сочувствія и уронилъ васъ въ глазахъ даже людей, въ другихъ отношеніяхъ очень близкихъ къ вамъ по ихъ направленію“... Далѣе Бѣлинскій съ чувствомъ негодованія отвергаетъ дикую мысль Гоголя о вредѣ грамотности для простого народа и ставитъ его, по сходству общественныхъ взглядовъ, рядомъ съ редакторомъ журнала „Маякъ“, Бурачкомъ, который изъ личныхъ выгодъ всецѣло одобрялъ официальную систему мнѣній. „Чья же голова“, спрашиваетъ возмущенный Бѣлинскій, „могла переварить мысль о тождественности Гоголя съ Бурачкомъ?“ Объясняя неуспѣхъ книги въ публикѣ и паденіе репутаціи Гоголя, какъ писателя и человѣка, Бѣлинскій даетъ характеристику русскаго общества 40-хъ годовъ. „Вы сколько я вижу“, говоритъ онъ, „не совѣмъ хорошо

понимаете русскую публику. Ея характеръ опредѣляется положеніемъ русскаго общества, въ которомъ кипятъ и рвутся наружу свѣжія силы, но, сдавленные тяжелымъ гнетомъ, не находя исхода, производятъ только уныніе, тоску, апатію. Только въ одной литературѣ, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движеніе впередъ. Вотъ почему званіе писателя у насъ такъ почетно, почему у насъ такъ легко литературный успѣхъ даже при маленькомъ талантѣ. Титло поэта, званіе литератора у насъ давно уже затмило мишуру эпюлетъ и разноцвѣтныхъ мундировъ. И вотъ почему у насъ въ особенности награждается общимъ вниманіемъ всякое такъ называемое либеральное направленіе, даже и при бѣдности таланта; и почему такъ скоро падаетъ популярность великихъ талантовъ, искренно или неискренно отдающихъ себя въ услуженіе православію, самодержавію и народности... И публика тутъ права: она видитъ въ русскихъ писателяхъ своихъ единственныхъ вождей, защитниковъ и спасителей отъ русскаго самодержавія, православія и народности, и потому всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не проститъ ему зловредной книги. Это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществѣ, хотя еще въ зародышѣ, свѣжаго, здороваго чутья, и это же показываетъ, что у него есть будущность. Если вы любите Россію, порадитесь вмѣстѣ со мной паденію вашей книги!..." Заканчивая свое письмо, Бѣлинскій обращается къ Гоголю съ приглашеніемъ его отречься отъ своей послѣдней книги и загладить грѣхъ ея появленія новыми твореніями, которыя напомнили бы его прежнія.

Взгляды, съ полною откровенностью выраженные въ этомъ письмѣ, представляютъ собою общественную программу Бѣлинскаго. Она является

полною противоположною господствовавшей системѣ понятій, которыя, съ одобренія официальныхъ сферъ, распространялись такими органами застоя, какъ упомянутый „Маякъ“ Бурачка или „Сѣверная Пчела“ Булгарина, или „Библиотека для Чтенія“ Сенковского. Въ началѣ 40-хъ годовъ у насъ уже окончательно опредѣлились литературныя партіи. Ихъ насчитываютъ три: партія официальной народности, славянофильская и западническая. Въ партіи официальной народности главными дѣятелями были Булгаринъ, Гречъ и Сенковский въ Петербургѣ, и извѣстные уже намъ Погодинъ и Шевыревъ — въ Москвѣ. Все это были враги Бѣлинскаго. Но вражда къ прогрессивнымъ взглядамъ обуславливалась у разныхъ лицъ различными причинами: у петербургскихъ журналистовъ напервомъ планѣ стояли корыстные расчеты, изъ которыхъ, при отсутствіи твердыхъ убѣжденій, само собою вытекало желаніе угождать низменнымъ инстинктамъ и вкусамъ малоразвитой публики и, главнымъ образомъ, начальству. Ѳаддей Булгаринъ въ особенности отличался угодничествомъ, доходившимъ до пресмыкательства передъ сановными лицами. Московскіе же представители официальной системы стояли въ нравственномъ отношеніи выше своихъ петербургскихъ единомышленниковъ, и ихъ обскурантизмъ объясняется просто умственною ограниченностью, косностью, непониманіемъ задачъ времени и ученымъ педантизмомъ, съ точки зрѣнія котораго Бѣлинскій имъ представлялся не чѣмъ инымъ, какъ дерзкимъ недоучившимся студентомъ. Съ людьми этого лагеря Бѣлинскому справиться было не трудно. Ихъ взгляды отличались узостью, непродуманностью, неосновательностью, чаще всего оказывались очевидною для всѣхъ мыслящихъ людей

нелѣпостью. Да и тревожиться тутъ особенно не стоило: корысть и тупость всегда и вездѣ являются врагами всякаго движенія впередъ.

Совершенно иной видъ, иной характеръ имѣла борьба Бѣлинскаго съ славянофилами. Это были люди твердыхъ убѣжденій, — люди, искренно преданные идеѣ народнаго блага, критически относившіеся ко многимъ сторонамъ русской дѣйствительности. Они никогда не были безусловными сторонниками существующаго строя, напротивъ, отъ души ненавидѣли чиновничество николаевского времени. Нѣкоторые изъ нихъ еще недавно были близкими друзьями Бѣлинскаго, и борьба съ ними отзывалась мучительною болью въ его душѣ. Бѣлинскій понималъ и всю трудность этой борьбы, и всю ея невыгоду какъ для одной, такъ и для другой стороны: разладъ въ русской интеллигенціи, еще незначительной тогда по своимъ силамъ, былъ очень на руку врагамъ прогресса. Трудность борьбы увеличивалась для Бѣлинскаго еще тѣмъ обстоятельствомъ, что нѣкоторыми своими взглядами славянофилы очень близко подходили къ господствующимъ въ официальныхъ сферахъ, и оспаривать ихъ печатно, при существованіи „татарской цензуры“, представлялось дѣломъ очень опаснымъ и почти невозможнымъ. Да и самая система славянофиловъ въ 40-хъ годахъ не успѣла еще сложиться въ стройное цѣлое, она продолжала еще вырабатываться въ живыхъ бесѣдахъ и горячихъ спорахъ, которыя, какъ мы знаемъ, велись постоянно въ московскихъ гостиныхъ. Бѣлинскій жилъ въ это время въ Петербургѣ, не могъ принимать въ нихъ участія и вслѣдствіе этого оставался въ невѣдѣніи относительно нѣкоторыхъ, даже основныхъ положеній доктрины своихъ противниковъ. Про-

тивники его, рѣзко нападая на самыя дорогія для него западническія идеи, не позаботились ясно изложить основныя положенія своей теоріи. Отсюда полное незнакомство Бѣлинскаго съ положительными сторонами славянофильскаго ученія, что ставило его при спорахъ въ чрезвычайно затруднительное положеніе и вводило иногда въ невольныя заблужденія. Такъ, напр., только при незнаніи славянофильскаго ученія могъ онъ Шевырева и Погодина считать истинными славянофилами и журналъ „Маякъ“ принимать за органъ славянофильства. Какъ Шевыревъ, такъ и Погодинъ робко сторонились отъ такихъ именно взглядовъ славянофиловъ, которые расходились съ взглядами официальной системы, а журналъ Бурачка былъ самымъ ретрограднымъ изъ существовавшихъ тогда органовъ печати. Но эти ошибки Бѣлинскаго вполнѣ извинительны: онѣ естественный результатъ недоговоренности со стороны его противниковъ, туманности и необоснованности ихъ мнѣній, съ которыми они выступали въ своихъ журнальныхъ статьяхъ, полемизируя съ нимъ.

Журнальный споръ между западниками и славянофилами начался въ 40-хъ годахъ съ появленія на свѣтъ погодинскаго журнала „Москвитянинъ“, въ которомъ послѣдніе нашли себѣ временное пристанище. Этотъ союзъ съ Погодинымъ, конечно, могъ только уронить въ глазахъ Бѣлинскаго взгляды противной стороны и содѣйствовать ихъ отождествленію съ погодинскими воззрѣніями. При этомъ, для объясненія крайняго возмущенія Бѣлинскаго противъ славянофиловъ, не мѣшаетъ припомнить безобразный эпизодъ съ нападеніями Погодина, Шевырева и нѣкоторыхъ славянофиловъ на Грановскаго за его блестящія публичныя лекціи. Рьяные патріоты обвиняли лектора въ

томъ, что онъ, читая курсъ по средневѣковой исторіи Европы, нигдѣ не восхвалялъ Русь, не говорилъ о христіанствѣ вообще и о православіи въ частности. Начатая ими травля западниковъ привела въ результатъ къ запрещенію статьи Герцена о лекціяхъ Грановскаго и настолько встревожила университетское начальство, что заставила его думать о мѣрахъ противъ вреднаго западнаго направленія, распространяемаго преподаваніемъ нѣмецкой философіи. Вслѣдствіе всего этого разрывъ между западниками и славянофилами сталъ неизбеженъ. Предпринятая Грановскимъ и Герценомъ попытки къ примиренію оказались безуспѣшными. Бѣлинскій слалъ изъ Петербурга своимъ единомышленникамъ сердитыя письма съ упреками за сближеніе съ славянофилами и „Москвитяниномъ“. Въ одномъ очень длинномъ письмѣ онъ говорилъ, между прочимъ: „Я жидъ по натурѣ — и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу... Грановскій хочетъ знать, читалъ ли я его статью въ „Москвитянинѣ“. Нѣтъ, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія“... И Бѣлинскій оказался правымъ: сближеніе противниковъ было немыслимо, борьба двухъ міровоззрѣній стала неизбежной. Взгляды ихъ отличались діаметральною противоположностью, они расходились почти во всемъ; только конечная цѣль — достиженіе народнаго блага — была у нихъ одна и та же, и чувство искренней, глубокой любви къ народу было также общимъ. Но пути ихъ шли въ разныя стороны.

Начиная съ 1842 года, Бѣлинскій старался всѣми силами вызвать славянофиловъ на спокойный открытый обмѣнъ мнѣній. Но послѣдніе не прини-

мали этого вызова. И Бѣлинскій имѣлъ право упрекать ихъ въ томъ, что „ни одинъ изъ нихъ не потрудился изложить основныхъ началъ славянофильскаго ученія, показать, чѣмъ оно разнится отъ извѣстныхъ воззрѣній (т.-е. официальныхъ)... Доселѣ“, говоритъ онъ, „ихъ образъ мыслей проглядываетъ только въ симпатіяхъ и антипатіяхъ къ тѣмъ или другимъ литературнымъ произведеніямъ и лицамъ. Кромѣ того, они безпрестанно противорѣчатъ самимъ себѣ, такъ что можно подумать, что у нихъ столько же мнѣній, сколько и лицъ. Можно указать на выходки, разбросанныя тамъ и сямъ, противъ европеизма, цивилизаціи, необходимости образованія и грамотности для простого народа, противъ реформы Петра Великаго, современныхъ нравовъ, какіе-то темные намеки на то, что русскому обществу надо воротиться назадъ и снова начать свое самобытное развитіе съ той эпохи, на которой оно было прервано, надо сблизиться съ народомъ, который, будто бы, сохранилъ въ чистотѣ древніе славянскіе нравы и нисколько не измѣнился въ продолженіе вѣковъ“... Отсутствіе систематическаго изложенія славянофильской теоріи заставляетъ Бѣлинскаго справедливо назвать это ученіе „таинственнымъ“. Но въ одной изъ послѣднихъ своихъ статей, въ первой книгѣ некрасовскаго „Современника“, онъ съ полнымъ безпристрастіемъ заявилъ, что „явленіе славянофильства есть фактъ, замѣчательный до извѣстной степени, какъ протестъ противъ безусловной подражательности и какъ свидѣтельство потребности русскаго общества въ самостоятельномъ развитіи“. Если бы славянофилы, въ отвѣтъ на это заявленіе, выступили со спокойнымъ, подробнымъ изложеніемъ своихъ взглядовъ, возможенъ былъ бы правиль-

ный споръ, правильное обсужденіе вопросовъ, вызывающихъ разногласіе. Но для этого надо было „любить истину больше себя“, какъ любилъ ее Бѣлинскій. У противниковъ его это высокое свойство отсутствовало. Они предпочитали отъ времени до времени являться въ печати съ полемическими, задорными статьями противъ западничества вообще и противъ Бѣлинскаго въ особенности. Славянофилъ, скрывавшій свое имя подъ буквами М... З... К... (Ю. Самаринъ), обвинялъ его, напримѣръ, въ нетерпимости, въ отсутствіи своего образа мыслей, въ легкомъ и поверхностномъ пониманіи, въ способности отречься сегодня отъ сказаннаго вчера и осуждалъ на вѣчную неразвитость. „Москвитянинъ“ часто позволялъ себѣ неприличные выходы противъ Бѣлинскаго: онъ называлъ его недоучкой, говорилъ, что онъ ни о чемъ не имѣетъ понятія, не знаетъ ни одного иностраннаго языка и т. п. Мы уже говорили, съ какимъ самообладаніемъ и достоинствомъ Бѣлинскій отвѣчалъ своимъ врагамъ, и если иногда бывалъ рѣзокъ, особенно по отношенію къ Шевыреву и Погодину, то эти рѣзкости вызывались не нападками на его личность, а крайнимъ его не расположеніемъ къ нимъ, какъ къ людямъ бездарнымъ, безыдейнымъ, мелочнымъ, часто враждебно относившимся къ живой, свободной мысли.

Религіозные и политическіе вопросы не могли въ то время обсуждаться открыто въ печати, и потому споръ противныхъ сторонъ сводился, главнымъ образомъ, къ вопросамъ: о самобытномъ развитіи народа и участіи въ немъ интеллигентной личности, о высокомъ призваніи Россіи и роли ея въ міровомъ развитіи, объ отношеніи къ западной культурѣ и къ прошлому нашей жизни. Славянофильская идея самобытнаго развитія осно-

вывалась на томъ, что русскій народъ, будто бы, хранить въ глубинахъ своего духа неизмѣнными самыя высокія идеи и чувства, какихъ не имѣютъ другіе народы. Отсюда, естественно, вытекаетъ забота о сохраненіи во всей цѣлости стараго преданія и желаніе оградить его отъ чужеземныхъ вліяній; отсюда же и враждебное отношеніе къ реформѣ Петра I; этими же соображеніями опредѣлялась и пассивная роль въ дѣлѣ народнаго развитія зараженной чужеземными вліяніями русской интеллигенціи, которая сама должна учиться у народа. Бѣлинскій не вѣрилъ въ чудесныя свойства русской натуры, которая, при совершенной изолированности, можетъ, будто бы, достигнуть весьма высокаго развитія и удивить весь міръ, сказавъ ему такое слово, какого онъ еще не слышалъ. Онъ не отрицалъ хорошихъ задатковъ въ натурѣ русскаго человѣка, но единственное средство для ихъ успѣшнаго развитія видѣлъ во вліяніи западной культуры, потому что, по его мнѣнію, культура всякаго народа развивается при помощи общечеловѣческой культуры. Къ Петру онъ относился восторженно. Петръ, по его мнѣнію, былъ истинно русскимъ человѣкомъ, и его реформы въ западномъ духѣ удовлетворяли давно назрѣвшей потребности страны. Наши заимствованія и подражанія иноземному представлялись ему дѣломъ естественнымъ: съ этого начинается всякая культура. Но отъ простаго подражанія мы перешли къ сознательному усвоенію мысли Запада и самостоятельной работѣ. Къ старымъ домостроевскимъ началамъ русской жизни, на которыхъ настаивали славянофилы, Бѣлинскій относился отрицательно; особенно боялся онъ превозносимаго „Москвитяниномъ“ „смиренія“, которое, будто бы, составляетъ высшую и исключительную добродѣ-

тель русскаго народа. Это свойство личности, по мнѣнію Бѣлинскаго, можетъ стать порокомъ: доведенное до извѣстной степени, оно ведетъ къ потерѣ способности отстаивать свои человѣческія права. Славянофилы посылали интеллигенцію учиться у народа. Бѣлинскій, напротивъ, воѣ надежды возлагалъ на интеллигентную личность. Сближеніе интеллигенціи съ народомъ и ея вліяніе на народъ онъ считалъ необходимымъ. Только такимъ путемъ находилъ онъ возможнымъ поднять умственно и нравственно безсознательныя народныя массы. Вообще, Бѣлинскій въ этихъ вопросахъ стоялъ на вѣрной, научной точкѣ зрѣнія. Онъ былъ чуждъ всякой мистики и отказывался понимать чудесныя свойства русской природы, о которыхъ говорили славянофилы. Развитие русскаго народа, по его мнѣнію, должно было идти такимъ же путемъ, какимъ шли другіе народы, при чемъ онъ не отрицалъ, что, при усвоеніи общечеловѣческихъ культурныхъ началъ, всякій народъ налагаетъ свою печать на чужое заимствованное добро, вноситъ свои національныя особенности. Обладая сильнымъ логическимъ умомъ и присущимъ его натурѣ чувствомъ дѣйствительности, онъ очень рѣдко поддавался какой-нибудь иллюзіи и то на очень короткое время. Такъ, А. Н. Пыпинъ во второмъ томѣ своей книги о Бѣлинскомъ (стр. 209) приводитъ изъ воспоминаній Кавелина интересный разговоръ Бѣлинскаго съ Грановскимъ о будущемъ Россіи. Бѣлинскій, по словамъ Кавелина, высказалъ, между прочимъ, славянофильскую мысль, что „Россія лучше, пожалуй, сумѣетъ разрѣшить социальный вопросъ и покончить съ враждой капитала и собственности съ трудомъ, чѣмъ Европа“. Мысль эта, дѣйствительно, близка къ тому, о чемъ мечтали славяно-

филы. Но она имѣетъ простое объясненіе. Бѣлинскій, при всемъ страстномъ исканіи конкретнаго соціального идеала, до конца своей жизни не могъ совершенно отдѣлаться отъ абстракцій, тяготѣвшихъ надъ нимъ долгое время, и по старой привычкѣ идеалиста, гадая о будущемъ Россіи, пускался иногда въ область фантастическихъ, съ національной точки зрѣнія, желательныхъ построеній, не стѣсняясь историческими условіями. Въ частномъ разговорѣ съ близкими это тѣмъ болѣе понятно и извинительно. Но въ своихъ статьяхъ онъ былъ непримиримымъ врагомъ абстрактнаго идеала. „Жизнь народа“, говорилъ онъ, „не есть утлая лодочка, которой каждый можетъ давать произвольное направленіе легкимъ движеніемъ весла. Въмѣсто того, чтобы думать о невозможномъ и смѣшать всѣхъ самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историческія судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизмѣнную дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основаніи, руководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фантазіями“... Бѣлинскій, повторяемъ, стоялъ въ вопросахъ общественно-политическихъ на вѣрной точкѣ зрѣнія, которую оправдали какъ видно особенно въ настоящее время, не только наука, но и ходъ нашей жизни.

Противники Бѣлинскаго утверждали, что онъ не цѣнитъ своего національнаго, что онъ крайній западникъ, которому мило и дорого все западное, и только потому, что оно западное. На самомъ же дѣлѣ, Бѣлинскій любилъ и уважалъ европейское постольку, поскольку находилъ въ немъ человѣческое. Онъ отрицательно относился къ внѣшнему европеизму и говорилъ, что пора намъ „перестать казаться и начать быть“. Въ нашу

жизнь, по его мнѣнію, вошло такъ много европейскаго, что намъ вовсе нѣтъ надобности ежеминутно обращаться къ Европѣ: и того, что мы усвоили отъ нея, достаточно, чтобы судить о томъ, что намъ нужно, чтобы сознать наши потребности. Онъ признавалъ справедливость славянофильскихъ упрековъ нашему обществу за слѣпое подражаніе иноземному, и роль славянофиловъ представлялась ему временно полезною, хотя только съ чисто отрицательной стороны. Онъ ясно сознвалъ, что Россія еще молода, что она находится въ началѣ процесса развитія. Ошибочные выводы славянофиловъ онъ вѣрно объяснялъ тѣмъ, что „они (т.-е. славянофилы) произвольно упреждаютъ время, процессъ развитія принимаютъ за его результатъ, хотятъ видѣть плодъ прежде цвѣта и, находя листья безвкусными, объявляютъ плодъ гнилымъ“... „Они забыли, что въ разгарѣ процесса часто особенно бросаются въ глаза именно тѣ явленія, которыя по окончаніи процесса должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впоследствии должно явиться результатомъ процесса... русскому легче усвоить себѣ взглядъ француза, англичанина или нѣмца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взглядъ, съ которымъ равно легко знакомить его и наука, и современная дѣйствительность; тогда какъ онъ въ отношеніи къ самому себѣ еще загадка, потому что еще загадка для него значеніе и судьба его отечества, гдѣ все зародыши, зачатки и ничего опредѣленнаго, развившагося, сформировавшагося“... Указывая на молодость Россіи, на то, что ея культурное развитіе началось недавно, и понимая, что только этимъ путемъ она получить возможность проявить вполне свои національныя силы и особенности, находящіяся въ зачаточномъ

состояніи, Бѣлинскій справедливо замѣчалъ, что эти скрытыя еще русскія особенности и опредѣлить пока трудно. Онъ ссылался при этомъ на свидѣтельство русской литературы, которая тоже началась недавно. „Въ ней есть уже нѣсколько произведеній“, говоритъ онъ, „которые потому только и интересны для иностранцевъ, что кажутся имъ не похожими на произведенія ихъ литературъ, слѣдовательно оригинальными, самобытными, т.-е. національно-русскими. Но въ чемъ состоитъ эта русская національность, — этого пока еще нельзя опредѣлить; для насъ пока довольно того, что элементы ея уже начинаютъ пробиваться и обнаруживаться сквозь безцвѣтность и подражательность, въ которыя ввергла насъ реформа Петра Великаго“. Но и къ реформѣ Петра Бѣлинскій относился не враждебно, не отрицательно, а считая ее, напротивъ, необходимой. Въ ней же, въ самой реформѣ, направившей насъ по европейскому пути, Бѣлинскій видѣлъ и единственное средство выйти изъ слѣпой подражательности и стать на свой національный путь. Онъ убѣдительно доказываетъ несостоятельность и неисполнимость совѣтовъ славянофиловъ рекомендовавшихъ вернуться намъ къ общественному устройству и нравамъ дореформеннаго періода. Это такъ же, по его мнѣнію, невозможно, какъ невозможно перемѣнить порядокъ временъ года. Перескочить эпоху реформы и весь такъ называемый петербургскій періодъ нашей исторіи и возвратиться къ временамъ предшествовавшимъ значило бы признать всѣ великія событія этого времени „случайными, какимъ-то тяжелымъ сномъ, который тотчасъ исчезаетъ и уничтожается, какъ скоро проснувшійся человѣкъ открываетъ глаза“. Въ славянофильскомъ противопоставленіи Востока Западу

Бѣлинскій видѣлъ борьбу національнаго съ чело-
вѣческимъ. Эта борьба казалась ему нелѣпостью,
и онъ особенно старался выяснитъ смутныя еще
въ то время понятія о національномъ и чело-
вѣческомъ и установить правильныя между ними
отношенія. „Что личность въ отношеніи къ идеѣ
человѣка“, говоритъ онъ, „то народность въ отно-
шеніи къ идеѣ чело-вѣчества. Другими словами:
народности суть личности чело-вѣчества. Безъ
національностей чело-вѣчество было бы мертвымъ
и логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содер-
жанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ
этому вопросу, я скорѣе готовъ перейти на сто-
рону славянофиловъ, нежели оставаться на сто-
ронѣ гуманическихъ космополитовъ, потому что
если первые ошибаются, то какъ люди, какъ
живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ
какъ такое-то изданіе такой-то логики... Но, къ
счастью, я надѣюсь остаться на своемъ мѣстѣ,
не переходя ни къ кому“... И Бѣлинскій, дѣй-
ствительно, занимаетъ въ этомъ вопросѣ свою
особую позицію, отличную и отъ славянофиль-
ской, и отъ чисто космополитической. „Даже и
тогда“, говоритъ онъ, „когда прогрессъ одного
народа совершается черезъ заимствованіе у дру-
гого, онъ тѣмъ не менѣе совершается націо-
нально. Иначе нѣтъ прогресса. Когда народъ под-
дается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ,
не имѣя въ себѣ силы перерабатывать ихъ само-
дѣятельностью собственной національности, въ
собственную же сущность,— тогда онъ гибнетъ
политически. На свѣтѣ много людей, извѣстныхъ
подъ именемъ „пустыхъ“: они умны чужимъ
умомъ, ни о чемъ не имѣютъ своего мнѣнія, а
между тѣмъ и учатся, и слѣдятъ за всѣмъ на
свѣтѣ. Пустота ихъ въ томъ и состоитъ, что они

займствуютъ цѣликомъ, и ихъ мозгъ не перевариваетъ чужой мысли, а передаетъ ее черезъ языкъ въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ принялъ ее. Это люди безличныя, потому что чѣмъ человѣкъ личнѣе, тѣмъ способнѣе обращать чужое въ свое, т.-е. налагать на него отпечатокъ своей личности. Что человѣкъ безъ личности, то народъ безъ національности. Это доказывается тѣмъ, что всѣ націи, игравшія и играющія первыя роли въ исторіи человѣчества, отличались и отличаются наиболѣе рѣзкою національностью. Вспомните евреевъ, грековъ и римлянъ; посмотрите на французовъ, англичанъ, нѣмцевъ. Въ наше время народныя вражды и антипатіи погасли совершенно... Напротивъ, со дня на день болѣе и болѣе обнаруживается въ наше время сочувствіе и любовь народа къ народу. Это утѣшительное гуманное явленіе есть результатъ просвѣщенія. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобы просвѣщеніе сглаживало народности и дѣлало всѣ народы похожими одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Напротивъ, наше время есть по преимуществу время сильнаго развитія національностей. Французъ хочетъ быть французомъ и требуетъ отъ нѣмца, чтобы тотъ былъ нѣмцемъ, и только на этомъ основаніи и интересуется имъ. Въ такихъ точно отношеніяхъ находятся теперь другъ къ другу всѣ европейскіе народы. А между тѣмъ они нещадно заимствуютъ другъ у друга, нисколько не боясь повредить своей національности "... Далѣе Бѣлинскій историческими примѣрами доказываетъ, что опасенія утратить свою національность могутъ быть дѣйствительны только для народовъ нравственно безсильныхъ и ничтожныхъ.

Въ настоящее время, когда наша родина окончательно вступила на путь европейскаго развитія,

мы болѣе, чѣмъ когда-либо прежде можемъ оцѣнить великую заслугу Бѣлинскаго, боровшагося съ націоналистическими стремленіями своего времени и распространявшаго здравыя, научныя понятія о національности. Какъ человѣкъ сильнаго и прозорливаго ума, онъ смотрѣлъ далеко впередъ, и его пугала та въ высшей степени вредная мысль, которая ставила насъ въ исключительное и уединенное положеніе, какъ особый народъ, самимъ Провидѣніемъ предназначенный для достиженія таинственныхъ высокихъ цѣлей, — народъ, которому суждено идти своимъ особымъ путемъ развитія. Словомъ сказать, онъ боялся русскаго мессіанизма, на которомъ очень близко сходились въ то время и славянофилы, и сторонники официальной системы. Мы, люди XX вѣка, пережившія и славянофильскія заблужденія, и ошибки семидесятниковъ-народниковъ, возлагавшихъ всѣ надежды на народные устои, и реакціонныя стремленія націоналистовъ 80-хъ и 90-хъ годовъ, ясно видимъ живучесть этой мысли въ нашемъ обществѣ. Ею и въ наши тяжелые дни пользуются, какъ однимъ изъ сильныхъ средствъ противъ освободительнаго движенія. Противонаучная мысль, что для насъ никакіе историческіе законы не писаны, руководить и теперь нашими реакціонерами. Мы яснѣе, чѣмъ наши предшественники, можемъ видѣть и вѣрнѣе оцѣнить заслугу Бѣлинскаго, изъ всѣхъ силъ боровшагося съ предразсудками націонализма. Онъ предвидѣлъ трудность и продолжительность этой серьезной борьбы. И мы не станемъ удивляться, что иногда возмущеніе Бѣлинскаго достигало значительныхъ размѣровъ, и онъ становился рѣзокъ въ нѣкоторыхъ своихъ статьяхъ противъ славянофиловъ, сближая ихъ съ отчаянными обскуран-

тами того времени. Онъ, конечно, въ этомъ сближеніи дѣлалъ ошибку, но ошибку невольную, какъ мы уже говорили ранѣе. И какъ было не возмущаться, когда славянофилы звали общество назадъ, когда они строили свои фантастическіе идеалы на старыхъ до петровскихъ началахъ и усматривали самобытное русское развитіе въ томъ періодѣ нашей жизни, гдѣ, какъ показала современная намъ наука, отсутствовало всякое развитіе и царилъ полный застой (см. „Введеніе“).

Но рѣзкости Бѣлинскаго никогда не выходили изъ границъ литературныхъ приличій. Если бы онъ давалъ полную свободу своему незаурядному остроумію, онъ могъ быть гораздо болѣе язвительнымъ и рѣзкимъ. Мы знаемъ это по нѣкоторымъ его письмамъ къ близкимъ людямъ, гдѣ онъ не стѣснялъ себя въ выраженіяхъ. Вотъ, напримѣръ, что писалъ онъ пріятелю во время своего путешествія на югъ Россіи: „Вѣхавши въ Крымскія степи, мы увидѣли три новыхъ для насъ націй: крымскихъ барановъ, крымскихъ верблюдовъ и крымскихъ татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разныя колѣна одного племени: такъ много общаго въ ихъ фізіономіи. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то тѣмъ не менѣе хорошо понимаютъ другъ друга. А смотрятъ рѣшительно славянофилами. Но — увы! — въ лицѣ татаръ даже и настоящее, коренное, восточное, патриархальное славянофильство поколебалось отъ вліянія лукаваго Запада. Татары большею частію носятъ на головѣ длинные волосы, а бороду бреютъ! Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотеческихъ обычаевъ временъ Котошихина — своего мнѣнія не имѣютъ, буйной воли и буйнаго разума боятся пуще чумы, и безконечно уважаютъ

старшаго въ родѣ, т.-е. татарина, позволяя ему вести себя, куда угодно, и не позволяя себѣ спросить его, почему, будучи ничѣмъ не умнѣе ихъ, гоняетъ онъ ихъ съ мѣста на мѣсто. Словомъ, принципъ смиренія и кротости постигнуть ими въ совершенствѣ, и на этотъ счетъ они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснѣе того, что блеетъ Шевыревъ и вся почтенная славянофильская братія“. Сдержанность Бѣлинскаго въ серьезной журнальной полемикѣ, отсутствіе хлесткости, трескучей фразы и смѣлаго наѣздничества объясняется опять тѣмъ же рѣдкимъ его свойствомъ — ставить истину выше своего самолюбія. Если въ поэзіи въ эти послѣдніе свои годы онъ цѣнилъ прежде всего идейную сторону и требовалъ, чтобы въ ней было больше дѣла, чѣмъ щегольства художественными красотами, то въ своихъ собственныхъ прозаическихъ статьяхъ онъ, естественно, не терпѣлъ блестящей фразы, щегольства остроуміемъ. Серьезность, простота и ясность составляютъ отличительныя черты его критическихъ статей. Горячее желаніе удовлетворить настоятельныя потребности времени, стремленіе пробудить общественное самосознаніе были главными и единственными руководителями въ его работахъ. Онъ дорожилъ именно тѣми изъ нихъ, которыя „просты и по идеѣ, и по изложенію“.

Несмотря на то, что періодъ самовоспитанія и начала дѣятельности Бѣлинскаго совпалъ съ самой глухой порой нашей общественной жизни, что его собственное развитіе совершалось при самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ и куплено было цѣною мучительныхъ душевныхъ страданій, онъ сдѣлалъ для нашего общественнаго развитія такъ много, такъ сильно подвинулъ его впередъ, что имя его достойно жить и сіять въ исторіи

нашей литературы, и въ исторіи нашего общественнаго развитія. Говорятъ иногда съ упрекомъ о цѣлыхъ годахъ блужданія его мысли, но въ сущности всѣ перемѣны въ его взглядахъ сводятся къ одному главному пункту — къ „исканію истинныхъ задачъ человѣческаго существованія“. Въ этомъ исканіи онъ былъ постояненъ и упоренъ. Не его, конечно, вина, что время и обстоятельства, отрывая отъ жизни дѣйствительной, заставляли лучшихъ передовыхъ людей уходить въ отвлеченныя сферы мысли. Но и годы, ушедшіе на увлеченіе нѣмецкой идеалистической философіей, прошли для Бѣлинскаго не даромъ. Онъ, какъ мы уже знаемъ, многому научился. Умъ его — философскій, творческій умъ. Онъ не пассивно усваивалъ чужія идеи, а самостоятельно перерабатывалъ ихъ, обращалъ въ свою личную собственность; и потомъ, пройдя черезъ его великую душу, онѣ становились общественнымъ достояніемъ. Чаще всего эти чужія идеи служили ему лишь исходными пунктами, отъ которыхъ онъ шелъ самостоятельно, создавая свои теоріи, прокладывая новые пути въ наукѣ. Такъ онъ создалъ у насъ теорію литературной критики, превосходно выяснивъ многія эстетическія понятія; весьма справедливо также онъ считается основателемъ исторіи русской литературы. Разбирая ея произведенія съ начала XVIII вѣка, онъ вноситъ въ нее плодотворную идею историческаго развитія и постепеннаго совершенствованія художественнаго творчества и при этомъ выясняетъ тѣсную связь произведенія съ жизнью. Все это было ново для того времени и составляетъ большую научную заслугу, которая въ настоящее время и признается за нимъ лучшими авторитетными историками нашей литературы. Правда его

вниманіе было обращено исключительно на художественныя произведенія, его историко-литературныя рамки были еще узки, но это объясняется временемъ и состояніемъ самой науки: исторія литературы у насъ тогда только-что нарождалась.

Чтобы показать, какъ велико значеніе дѣятельности Бѣлинскаго въ исторіи русской литературы и общественнаго развитія, мы приведемъ вѣскія слова редактора и комментатора послѣдняго, самаго полного, изданія сочиненій Бѣлинскаго, С. А. Венгерова. „Эпоха“, говоритъ онъ, „которою начинается исторія новѣйшей русской литературы, т.-е. конецъ 30-хъ и 40-е годы, нашла наиболѣе яркое выраженіе въ дѣятельности Бѣлинскаго. Его именемъ можно назвать эту эпоху, потому что онъ, дѣйствительно, далъ ей свою окраску. Бѣлинскій, конечно, краеугольный камень всей вообще новой русской литературной мысли. Бѣлинскій первоисточникъ всего великаго, хорошаго, эстетически вѣрнаго и этически-правильнаго, что было въ русской литературѣ послѣднихъ шести десятилѣтъ... Критика Бѣлинскаго была средоточіемъ русской мысли своего времени, энциклопедіей русскаго ума и чувства. Она захватывала все, что интересовало лучшихъ людей эпохи; она старалась отвѣчать на всѣ проклятые вопросы, которые возникали въ душѣ чуткаго человѣка... Вытекая изъ пламеннѣйшаго стремленія передать читателю выношенные путемъ истиннаго страданія идеалы, статьи Бѣлинскаго, его обзоры, всегда имѣли въ своей основѣ ту руководящую идею, которая была нервомъ времени. Оттого они прокладывали новые пути въ литературѣ и создали школу“. Можно сказать съ полною увѣренностью, что въ приведенныхъ словахъ нѣтъ ни малѣйшаго пре-

увеличенія. Бѣлинскій, дѣйствительно, шелъ впереди своихъ современниковъ и былъ истиннымъ просвѣтителемъ русскаго общества. Его сочиненія — цѣлая энциклопедія знаній для своего времени. Какихъ только понятій не выясняетъ онъ для современнаго ему общества, какихъ вопросовъ не ставитъ и не обсуждаетъ онъ съ возможною для своего времени основательностью и обстоятельностью. Философія, соціологія, искусство, исторія, педагогика, литература даютъ ему богатый и разнообразный матеріалъ. Онъ пользуется очень ловко малѣйшимъ поводомъ, при разборѣ того или другого сочиненія, чтобы разъяснить какое-нибудь темное для своихъ современниковъ понятіе. Пишетъ ли онъ о дѣтской книжкѣ кн. Одоевскаго, изъ-подъ его пера выходитъ блестящій и серьезный трактатъ, о воспитаніи дѣтей, объ отношеніяхъ между родителями и дѣтьми, — трактатъ, изъ котораго не выкинешь ни одного слова и сейчасъ, черезъ 60 слишкомъ лѣтъ. Говоритъ ли о томъ, что такое народность и дѣйствительность, имѣя въ виду разбить существующія въ обществѣ ложныя понятія объ этихъ предметахъ, онъ заводитъ попутно, но кстати рѣчь о физической природѣ человѣка, о цѣнности въ человѣческомъ тѣлѣ органовъ, безъ которыхъ нѣтъ умственной дѣятельности, о значеніи естественныхъ наукъ, объ отношеніяхъ психологіи къ фізіологіи и этой послѣдней къ анатоміи; онъ разбиваетъ здѣсь старый вредный предразсудокъ, въ силу котораго мы, высоко оцѣнивая нравственныя качества человѣка, съ презрѣніемъ относимся къ тѣлу; далѣе онъ говоритъ о чувствѣ любви, на которое имѣютъ вліяніе высокія качества ума и сердца любимаго существа, но которое естественно распространяется на всего

человѣка, представляющаго собою не идею, а живую личность; потомъ идетъ рѣчь о тонкихъ нравственныхъ оттѣнкахъ въ человѣческой натурѣ и въ связи съ этимъ объ оригинальности великихъ поэтовъ. Разбираетъ ли онъ игру актера Мочалова въ роли Гамлета, у него является серьезное психологическое изслѣдованіе, глубокій анализъ характера героя этой драмы, — такой анализъ, который до сихъ поръ остается самымъ значительнымъ и мастерскимъ на русскомъ языкѣ комментариемъ къ Гамлету. Отмѣчая въ своемъ литературномъ обзорѣ за 1847 годъ успѣхъ русской литературы, заключающійся въ томъ, что „она нашла уже свою настоящую дорогу“, т.-е. новое реальное направленіе, ведущее по прямому пути къ самобытности, онъ указываетъ читателю на новыя сочиненія по русской исторіи, которыя свидѣлствуютъ о томъ, что и русская наука уже вступила на тотъ же путь, и именно въ той сферѣ, гдѣ прежде всего должна начаться самобытность, въ сферѣ изученія русскаго прошлаго. Однимъ словомъ, вездѣ Бѣлинскій является провозвѣстникомъ новаго, просвѣтителемъ, руководителемъ общества, прокладываетъ новые пути, предугадываетъ и облегчаетъ дальнѣйшій ходъ прогрессивнаго движенія русской мысли. Онъ первый настойчиво заговорилъ о томъ, что, интересуясь вопросами европейской науки и жизни, мы слишкомъ мало удѣляемъ вниманія вопросамъ собственной національной жизни. Въ статьѣ „Взглядъ на русскую литературу 1846 года“ онъ пишетъ: „Теперь Европу занимаютъ новыя великіе вопросы. Интересоваться ими, слѣдить за ними можно и должно, ибо ничто человѣческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то же время для насъ было бы

безплодно принимать эти вопросы какъ наши собственные... У себя, вокругъ себя, вотъ гдѣ должны мы искать и вопросовъ, и рѣшенія. Это направленіе будетъ плодотворно, если и не будетъ блестяще. И начатки этого направленія видимъ мы въ современной русской литературѣ, а въ нихъ близость ея зрѣлости и возмужалости. Въ этомъ отношеніи литература наша дошла до такого положенія, что ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, доступныхъ ея завѣдыванію, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, чѣмъ больше будетъ пищи ея дѣятельности, тѣмъ быстрее и плодovitѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, она уже нашла, нащупала, такъ сказать, прямую дорогу къ ней, — а это великій успѣхъ съ ея стороны"... Вопреки взводимымъ на Бѣлинскаго обвиненіямъ въ крайнемъ западничествѣ, онъ, какъ мы видимъ, никогда не упускалъ изъ виду національных задачъ, напротивъ, указывалъ всегда на неотложность рѣшенія такихъ, съ которыми медлить было не возможно. Слѣдовало скорѣе, по его мнѣнію, бросить вредную мысль о нашемъ мнимомъ благоденствіи, процвѣтаніи и приняться за дѣла, которыхъ было такъ много вокругъ насъ. Литература могла бы прямо указать на нихъ, но для этого нужно было расширить предѣлы ея вѣдѣнія. Бѣлинскій справедливо признавалъ ее настолько зрѣлою, что она уже могла стать истинною руководительницею общества. Надо было добиваться расширенія ея содержанія, т.-е. свободы печати. Это былъ одинъ изъ самыхъ насущныхъ вопросовъ, правильное разрѣшеніе котораго имѣло огромное значеніе. Бѣлинскій хо-

рошо понималъ, что уже настало время заявить о существованіи общественнаго мнѣнія. Но дѣятельность писателя въ ту пору была крайне сужена, крайне загромождена разнаго рода препятствіями, и только „вѣра въ чудеса“, какъ говоритъ Салтыковъ, „помогла литературѣ 40-хъ годовъ отыскать извѣстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась“... Свободное выраженіе мысли такъ и осталось идеаломъ Бѣлинскаго, осуществленія котораго онъ не могъ дожидаться.

Напротивъ, наступало „страшное время“, наступала эпоха „цензурнаго террора“ (1848—1855 гг.). Но Бѣлинскій, къ счастью для него, умеръ 26 мая 1848 года. По словамъ Грановскаго, искренно завидовавшаго его смерти, онъ умеръ какъ разъ въ-время. Панаевъ, часто посѣщавшій Бѣлинскаго, рассказываетъ, что зима 1847—1848 года „тянулась для него мучительно“... „Болѣзненные страданія развились страшно въ послѣднее время отъ петербургскаго климата, отъ разныхъ огорченій, непріятностей и отъ тяжелыхъ смутныхъ предчувствій чего-то недобраго. Стали носиться какіе-то неблагоприятные для него слухи, все какъ-то душнѣе и мрачнѣе становилось кругомъ его, статьи его разсматривались все строже и строже“... Придя однажды къ Бѣлинскому, Панаевъ засталъ его въ сильномъ волненіи. Оказалось, что къ нему являлся жандармъ съ повѣсткою, приглашавшей пожаловать для объясненій въ то учрежденіе, которое завѣдовало тогда дѣлами печати. Но Бѣлинскій уже не могъ встать съ постели, и свиданіе „съ хозяиномъ тогдашней литературы“ не состоялось. Болѣзнь и нравственные страданія быстро разрушали слабый организмъ Бѣлинскаго, и онъ скончался вскорѣ послѣ разсказаннаго Панаевымъ

случая. Похороны Бѣлинскаго были, по рассказамъ присутствовавшихъ на нихъ, какъ нельзя болѣе скромны. На Волково кладбище провожали его тѣло немногіе друзья, но къ нимъ, точно выросши вдругъ изъ земли, по дорогѣ примкнули трое или четверо неизвѣстныхъ лицъ, остававшихся до конца совершенія обряда и слѣдившихъ весьма внимательно за всѣми подробностями.

Да, смерть спасла Бѣлинскаго вѣ-время отъ предстоявшихъ ему тяжелыхъ испытаній. Можно себѣ представить, какая жестокая кáра постигла бы автора письма къ Гоголю, если за одно только чтеніе или распространеніе этого письма ссылали на каторгу. Русская государственность страшно мстила каждой личности за сознательно-критическое отношеніе къ окружающей дѣйствительности. Чѣмъ крупнѣе была личность, чѣмъ болѣе она содѣйствовала пробужденію общаго сознанія, тѣмъ труднѣе ей было жить въ то безправное время. Бѣлинскій всю жизнь страдалъ отъ тяжелыхъ цензурныхъ условій. Онъ давно жаловался близкимъ людямъ, что у насъ можно только об искусствѣ „врать, что угодно“, а „о дѣлѣ, т.-е. о нравахъ и нравственности“ писать почти не возможно: цензура вырѣзываетъ цѣлыми листами. Нѣсколько позднѣе, но еще до перехода въ „Современникъ“ онъ писалъ: „Мы живемъ въ страшное время, судьба налагаетъ на насъ схиму; мы должны страдать, чтобы нашимъ внукамъ было легче жить... Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книгу „Отечественныхъ Записокъ“. Я литераторъ — говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ расейской моя жизнь и моя кровь“...

Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о духовной личности Бѣлинскаго и его отношеніяхъ

къ друзьямъ. Воспоминанія и письма послѣднихъ даютъ обильный матеріалъ для ея характеристики. Изъ московскаго кружка ближе другихъ стояли къ Бѣлинскому Станкевичъ и Боткинъ. Объ отношеніяхъ Бѣлинскаго къ первому мы уже говорили. Продолжительная переписка Бѣлинскаго со вторымъ свидѣтельствуетъ о тѣсной дружеской связи между ними. Но едва ли эта связь могла имѣть такое серьезное значеніе въ ходѣ умственнаго развитія знаменитаго критика, какъ связь съ первымъ, хотя эта послѣдняя была гораздо короче. Когда въ 1857 году извѣстный въ то время писатель Дружининъ, задумавъ обширную работу о Бѣлинскомъ, обратился къ Боткину за матеріалами и сообщилъ ему, что хочетъ его въ своемъ трудѣ поставить на первое мѣсто, какъ вліятельнѣйшаго друга Бѣлинскаго, Боткинъ благоразумно отказался отъ такой почетной, но непосильной для него роли. Время Бѣлинскаго, отвѣтилъ „онъ, было то, что нѣмцы называютъ „Sturm und Drang Periode“. Все въ насъ кипѣло и все требовало отвѣта и разъясненія; всякій клалъ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, которой была критика Бѣлинскаго. Одинъ меньше, другой больше, но какъ теперь разберешь?“ Замѣчаніе вѣрное. Не только тогда, въ 50-хъ годахъ, но и теперь, несмотря на обиліе вышедшихъ въ свѣтъ матеріаловъ, окончательно разбраться въ этомъ вопросѣ невозможно. Въ кружкахъ, дѣйствительно, кипѣла живая общая работа. Какъ среди славянофиловъ, такъ и среди западниковъ шли нескончаемые разговоры, происходилъ постоянный обмѣнъ мыслей, создавались общими силами теоріи, и до сихъ поръ далеко не всегда можно рѣшить, кому принадлежитъ та или другая идея, то или другое положеніе. Также

вѣрно замѣчено Боткинымъ относительно зависимости критики Бѣлинскаго отъ кружковыхъ идей: въ извѣстной мѣрѣ она была; дѣйствительно, общей сокровищницей, что нисколько не умаляетъ ея достоинствъ и не уничтожаетъ ея весьма сильнаго самобытнаго, личнаго характера. Что же вложилъ въ эту сокровищницу Боткинъ? Изъ его переписки съ Бѣлинскимъ ясно видно, что между ними существовали тѣсныя дружескія отношенія, что онъ былъ полезенъ Бѣлинскому своими обширными знаніями по исторіи европейскаго искусства и эстетики. Но и только; только въ этой области возможно допустить вліяніе Боткина на Бѣлинскаго. По вопросамъ чисто литературнымъ Бѣлинскій охотно совѣтовался съ нимъ и часто соглашался, по вопросамъ философскимъ и общественнымъ — чаще спорилъ и расходился, какъ это мы могли замѣтить изъ приведенныхъ выше цитатъ. Что же касается вопросовъ нравственнаго порядка, въ этой области авторитетъ Бѣлинскаго стоялъ такъ недосыгаемо высоко надъ всѣми окружавшими его, что здѣсь вліяніе могло исходить только отъ его замѣчательной личности. И дѣйствительно, умеръ Бѣлинскій — упала и нравственная личность Боткина, который, оставшись безъ дружеской поддержки, совсѣмъ опустился нравственно и въ своей враждѣ къ движенію 60-хъ годовъ дошелъ чуть не до чистаго доноса. Въ талантливыхъ характеристикахъ Бѣлинскаго, написанныхъ лучшими друзьями послѣднихъ лѣтъ его жизни, наиболѣе справедливо оцѣнившими высокія свойства его души, живо рисуется его чистый, свѣтлый образъ. Изъ нихъ мы узнаемъ, какъ сильно и благотворно было его вліяніе на друзей и какъ горячо его всѣ любили и уважали.

„Бѣлинскій“, говоритъ Кавелинъ, „имѣлъ на меня и на всѣхъ чарующее дѣйствіе. Это было дѣйствіе человѣка, который не только шелъ далеко впереди насъ яснымъ пониманіемъ стремленій и потребностей того мыслящаго меньшинства, къ которому мы принадлежали, не только освѣщалъ и указывалъ намъ путь, но всѣмъ своимъ существомъ жилъ для тѣхъ идей и стремленій, которыя жили во всѣхъ насъ, отдавался имъ страстно, наполнялъ ими все свое бытіе. Прибавьте къ этому гражданскую, политическую и всяческую безупречность, безпощадность къ самому себѣ, при большомъ самолюбіи, и вы поймете, почему этотъ человѣкъ господствовалъ въ кружкѣ неограниченно. Мы понимали, что онъ въ своихъ сужденіяхъ часто бывалъ неправъ, увлекался страстью далеко за предѣлы истины; мы знали, что свѣдѣнія его (кромѣ русской литературы и ея исторіи) бывали недостаточны; мы видѣли, что Бѣлинскій часто поступалъ, какъ ребенокъ, какъ ребенокъ, капризничалъ, малодушествовалъ и увлекался... Но все это исчезало передъ подавляющимъ авторитетомъ великаго таланта, страстной, благороднѣйшей гражданской мысли и чистой личности, безъ пятна, личности, которой нельзя было подкупить ничѣмъ, — даже ловкой игрой на струнѣ самолюбія. Бѣлинскаго въ нашемъ кружкѣ не только нѣжно любили и уважали, но и побаивались. Каждый пряталъ гниль, которую носилъ въ своей душѣ, какъ можно, подальше. Бѣда, если она попадала на глаза Бѣлинскому: онъ ее выворачивалъ тотчасъ же на показъ всѣмъ и неумолимо, язвительно преслѣдовалъ несчастнаго дни и недѣли, не келейно, а соборнѣ, передъ всѣмъ кружкомъ... Извѣстно, что и себя онъ тоже не щадилъ. Панаеву не мало

доставалось за его суетность, мнѣ за „прекрасно-душіе“ и за славянофильскія наклонности, которыя въ то время были очень сильны. Вліяніе Бѣлинскаго на мое нравственное и умственное воспитаніе за этотъ періодъ моей жизни было неизмѣримо, и оно никогда не изгладится изъ моей памяти“. Это добровольное подчиненіе человѣку, признаніе за нимъ права быть судьей, судьей безпощаднымъ, неумолимымъ, можетъ быть объяснено только тѣмъ высокимъ строемъ всего нравственного существа, той рѣдкой нравственной чистотой, которыми отличался Бѣлинскій. Кавелинъ говоритъ вѣрно, тутъ дѣйствовало все въ совокупности: и авторитетъ великаго таланта, и благородство мысли, и ея честность, неподкупность, и всяческая безупречность. „Когда я познакомился съ нимъ“, пишетъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ, „его мучили сомнѣнія“. Эту фразу я часто слышалъ и самъ примѣнялъ ее не однажды, но дѣйствительно и вполне примѣнялась она къ одному Бѣлинскому. Сомнѣнія его именно мучили, лишали его сна, пищи, неустанно жгли и грызли его; онъ не позволялъ себѣ забыться и не зналъ усталости; онъ денно и ночью бился надъ разрѣшеніемъ вопросовъ, которые самъ задавалъ себѣ. Бывало, какъ только я приду къ нему,—онъ исхудалый, больной (съ нимъ сдѣлалось воспаленіе въ легкихъ и чуть не унесло его въ могилу), тотчасъ вставалъ съ дивана и едва слышнымъ голосомъ, безпрестанно кашляя, съ пульсомъ, бившимъ сто разъ въ минуту, съ неровнымъ румянцемъ на щекахъ, начнетъ прерванную наканунѣ бесѣду. Искренность его дѣйствовала на меня, его огонь сообщался и мнѣ, важность предмета меня увлекала; но, поговоривъ часа два, три, я ослабѣвалъ, лекомысліе молодости

брало свое, мнѣ хотѣлось отдохнуть, я думалъ о прогулкѣ, объ обѣдѣ; сама жена Бѣлинскаго умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти пренія, напоминала ему предписаніе врача... но съ Бѣлинскимъ сладить было не легко. — „Мы не рѣшили еще вопроса о существованіи Бога, — сказалъ онъ мнѣ однажды съ горькимъ упрекомъ, — а вы хотите ѣсть!...“ „Сознаюсь“, прибавляетъ Тургеневъ, „что, написавъ эти слова, я чуть не вычеркнулъ ихъ при мысли, что они могутъ возбудить улыбку на лицахъ иныхъ изъ моихъ читателей... Но не пришло бы въ голову смѣяться тому, кто самъ бы слышалъ ихъ, какъ Бѣлинскій произнесъ эти слова, и если при воспоминаніи объ этой небоязни смѣшного улыбка можетъ прійти на уста, то развѣ улыбка умиленія и удивленія“... Бѣлинскій бывалъ строгъ къ людямъ: онъ особенно казнилъ въ нихъ отсутствіе прочныхъ нравственныхъ устоевъ. Но онъ имѣлъ на это право. Въ своей собственной жизни, къ себѣ самому онъ былъ безпощадно требователенъ и суровъ. Онъ неуклонно, подвижнически, слѣдовалъ своему идеалу. Слово не расходилось у него съ дѣломъ. „Разъ приходитъ онъ“, рассказываетъ Герценъ, „обѣдать къ одному литератору на страстной недѣлѣ, подаютъ постныя блюда. Давно ли, спрашиваетъ онъ, вы сдѣлались такъ богомольны. — Мы ѣдимъ, отвѣчаетъ литераторъ, постное просто-на-просто для людей. — Для людей? — спросилъ Бѣлинскій и поблѣднѣлъ — для людей? повторилъ онъ и бросилъ свое мѣсто. Гдѣ ваши люди? я имъ скажу, что они обмануты; всякій открытый порокъ лучше и человѣчественнѣе этого презрѣнія къ слабому и необразованному, этого лицемѣрія, поддерживающаго невѣжество. И вы думаете, что

вы свободные люди? Прощайте, я не ѣмъ, поста-
наго для поученія, у меня нѣтъ людей!“ Бѣлин-
скій не выносилъ также ученаго педантизма,
смѣло рѣшающаго живые общественные вопросы,
не терпѣлъ пошлыхъ рѣчей, произносимыхъ съ
апломбомъ и докторальнымъ тономъ. Герценъ
разсказываетъ о непріятной встрѣчѣ съ такимъ
ученымъ на литературной вечеринкѣ у лите-
ратора, соблюдающаго посты для своихъ людей.
Одинъ изъ присутствовавшихъ, чопорный и при-
личный магистръ-филологъ, говоря о знаменитомъ
письмѣ Чаадаева, назвалъ это произведеніе гнус-
нымъ и презрительнымъ. „Я ему доказывалъ“,
говоритъ Герценъ, „что эпитеты гнусный и пре-
зрительный — гнусны и презрительны, относясь
къ человѣку, смѣло высказавшему свое мнѣніе
и пострадавшему за него. Онъ мнѣ толковалъ о
цѣлости народа, о единствѣ отечества, о престу-
пленіи разрушать это единство, о святыняхъ, до
которыхъ нельзя касаться. Вдругъ мою рѣчь под-
косилъ Бѣлинскій. Онъ вскочилъ съ своего ди-
вана, подошелъ ко мнѣ уже блѣдный, какъ по-
лотно, и, ударивъ меня по плечу, сказалъ: „Вотъ
они высказались — инквизиторы, цензоры — на ве-
рвочкѣ мысль водить“... и пошелъ, и пошелъ. Съ
грознымъ вдохновеніемъ говорилъ онъ, припра-
вляя серьезныя слова убійственными колкостями.
„Что за обидчивость такая, палками бьютъ, не
обижаемся, въ Сибирь посылаютъ, не обижаемся,
а тутъ Чаадаевъ, видите, зацѣпилъ народную
честь, не смѣй говорить; рѣчь — дерзость, лакей
никогда не долженъ говорить! Отчего же въ стра-
нахъ больше образованныхъ, гдѣ кажется чувстви-
тельность тоже должна быть развитѣе, чѣмъ въ
Костромѣ да Калугѣ, не обижаются словами?“ —
Въ образованныхъ странахъ, сказалъ съ непо-

дражаемымъ самодовольствомъ магистръ, есть тюрьмы, въ которыя запирають безумныхъ, оскорбляющихъ то, что чтить цѣлый народъ... и прекрасно дѣлають. Бѣлинскій выросъ, онъ былъ страшенъ, великъ въ эту минуту; скрестивъ на больной груди руки и, глядя прямо на магистра, онъ отвѣтилъ глухимъ голосомъ: — А въ еще болѣе образованныхъ странахъ бываетъ гильотина, которой казнятъ тѣхъ, которые находятъ это прекраснымъ "... Герценъ говоритъ, что послѣ этихъ словъ наступила пауза, всѣ были смущены, магистръ-патріотъ былъ уничтоженъ и вскорѣ уѣхалъ. „Въ Бѣлинскомъ“, говоритъ Герценъ, „обитала мощная, гладіаторская натура! Да, это былъ сильный боецъ: онъ не умѣлъ проповѣдовать, поучать, ему надобенъ былъ споръ. Безъ возраженій, безъ раздраженія, онъ нехорошо говорилъ, но когда онъ чувствовалъ себя уязвленнымъ, когда касались до его дорогихъ убѣжденій, когда у него начинали дрожать мышцы щекъ и голосъ прерываться, тутъ надобно было его видѣть: онъ бросался на противника барсомъ, онъ рвалъ его на части, дѣлалъ его смѣшнымъ, дѣлалъ его жалкимъ и по дорогѣ съ необычайной силой, съ необычайной поэзіей развивалъ свою мысль. Споръ оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась изъ горла. Блѣдный, задыхающійся, съ глазами, остановленными на томъ, съ кѣмъ говорилъ, онъ дрожащею рукой поднималъ платокъ ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Какъ я любилъ и какъ жалѣлъ я его въ эти минуты!“

Тотъ же Герценъ рассказываетъ много смѣшного объ извѣстной уже намъ застѣнчивости Бѣлинскаго. Онъ всегда терялся въ незнакомомъ

или большомъ обществѣ. На улицѣ, по словамъ Панаева, его походка дѣлалась робкою, „онъ производилъ впечатлѣніе травленнаго волка — своею пугливою серьезностью, тревожными взглядами, которые онъ бросалъ по сторонамъ“... Бѣлинскій всячески старался скрыть это „дикое“, какъ онъ самъ выражался, свойство своей натуры, нелѣпую боязнь людей, но безуспѣшно, и это огорчало, сердило и разстраивало его. Онъ чувствовалъ себя свободно, самимъ собою, только въ тѣсномъ кругу друзей. Здѣсь онъ былъ развязенъ, веселъ, остроуменъ. Часто приходилъ онъ усталый къ Герцену и, лежа на полу, игралъ съ его двухлѣтнимъ ребенкомъ цѣлые часы отдыхая, но при звукѣ колокольчика онъ безпокойно вздрагивалъ и хватался за свою шляпу.

Болѣзнь и житейскія невзгоды быстро подтачивали его здоровье въ послѣднее время, но несмотря на это онъ находилъ въ себѣ достаточно силъ и для работы, и для поддержки, и ободренія другихъ близкихъ ему людей. Въ этомъ хиломъ, больномъ, раздражительномъ человѣкѣ было очень много глубокой любви къ людямъ вообще и нѣжнаго трогательнаго чувства къ тѣмъ, которые близко сходились съ нимъ по своимъ воззрѣніямъ. Его письма къ несчастному въ своей семейной жизни Кольцову переполнены сердечнымъ участіемъ и нѣжной лаской. И какъ же любили его за это друзья! „Не лгая говорю вамъ“, пишетъ Кольцовъ, „давно я васъ люблю, давно читаю ваши мнѣнія, читаю и учусь, но теперь читаю ихъ больше... Много уже они сдѣлали добра, но болѣе сдѣлаютъ... Ваша рѣчь — высокая, святая рѣчь убѣжденія“. Едва ли не болѣе всѣхъ Бѣлинскому обязанъ былъ Некрасовъ. Онъ и самъ свидѣтельствуетъ объ этомъ. Подъ непосредственнымъ руко-

водствомъ Бѣлинскаго онъ работалъ надъ своимъ самообразованіемъ. Бѣлинскій мягко, деликатно давалъ чувствовать молодому умному юношѣ недостаточность его знаній. Замѣтивъ большія дарованія Некрасова, онъ вытащилъ его изъ той низменной литературной среды, въ которой онъ вращался, поставляя, по нуждѣ изъ-за куска хлѣба, на книжный рынокъ разнообразныя лубочныя произведенія. Некрасовъ именно ему обязанъ своимъ спасеніемъ, и онъ не остался въ долгу у своего учителя: онъ заплатилъ ему чудными, высоко поэтическими характеристиками его личности, которыя знаетъ наизусть вся образованная Россія. Нравственное вліяніе Бѣлинскаго на Тургенева также стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія. Бѣлинскому нерѣдко приходилось сдерживать и справедливо упрекать тогда еще очень молодого писателя за нѣкоторыя легкомысленныя увлеченія. Кромѣ Достоевскаго, объ отношеніяхъ котораго къ Бѣлинскому у насъ рѣчь впереди, въ кружкѣ не было человѣка, который бы не любилъ его и не хранилъ о немъ благодарныхъ и часто восторженныхъ воспоминаній.

Бѣлинскій былъ истиннымъ нравственнымъ руководителемъ многихъ нашихъ писателей. Его обаятельная, свѣтлая личность, отразившаяся и въ его сочиненіяхъ, и въ приведенныхъ воспоминаніяхъ друзей благотворно дѣйствовала и продолжаетъ до сихъ поръ дѣйствовать на читателя. „Великое сердце“, „человѣкъ безъ единого пятнышка“, „великій праведникъ литературы русской“, „великомученикъ правды“, „духовный отецъ нашей литературы“ — вотъ опредѣленія, вотъ эпитеты, которые прилагаются къ имени Бѣлинскаго лучшими біографами и изслѣдователями его эпохи. И говоря строго, по всей справедливости, ни въ

одномъ изъ нихъ нельзя найти преувеличенія, всѣ они на мѣстѣ. Да, Бѣлинскій — отрадное, чудное, великое явленіе русской жизни и литературы, хотя и рѣдкое, но не исключительное, къ нашему счастью. Въ дальнѣйшихъ очеркахъ мы укажемъ въ числѣ продолжателей его дѣла ему подобныхъ.

XII.

Д. В. Григоровичъ.

Періодъ новѣйшей русской литературы, начинающійся 40-ми годами, отличается отъ предшествующаго многими особенностями, которыя рѣзко бросаются въ глаза. Въ это время, какъ мы видѣли, въ нашей литературѣ ясно обозначаются литературныя партіи, отличающіяся одна отъ другой опредѣленнымъ направленіемъ. Писателю приходится держаться извѣстной системы воззрѣній: онъ становится общественнымъ вождемъ. „Волшебное слово направленіе всѣхъ увлекаетъ“, говоритъ Бѣлинскій. „Словесныхъ дѣлъ мастера“, люди безъ убѣжденій, теряютъ мало-по-малу всѣ шансы на успѣхъ. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе литература сближается съ жизнью, становится болѣе чуткою къ требованіямъ времени, отзывчивою на вопросы текущей жизни. Въ новомъ общественномъ движеніи, начавшемся съ половины 50-хъ годовъ, она уже является главной движущей силой: литераторы-публицисты и критики разныхъ направлений обсуждаютъ поставленные на очередь важнѣйшіе общественные вопросы, направляютъ общественную мысль, руководятъ движеніемъ; поэты въ стихахъ и прозѣ отражаютъ новое обще-

ственное настроеніе, создаютъ новые общественные типы, иногда опережающіе современную жизнь. Теперь писатель уже поставленъ въ необходимость выставить свое знамя, заявить о принадлежности къ той или другой партіи, „пойти направо или налево“. Даже большой талантъ не спасаетъ его отъ равнодушія общества, если онъ проводитъ отсталые взгляды, не интересуется общественными вопросами и совершенно глухъ къ требованіямъ времени. Поэтому можетъ онъ не быть, „но гражданиномъ быть обязанъ“. Такъ, напр., поэтъ А. Майковъ, остававшійся почти все время равнодушнымъ къ живой современности и въ концѣ вдохновлявшійся славянофильскими идеями, не вызывалъ къ себѣ большихъ симпатій и не имѣлъ такого широкаго распространенія, какъ, напр., Некрасовъ или, позднѣе, Надсонъ, хотя въ антологическихъ стихотвореніяхъ стоялъ на одной высотѣ съ Пушкинымъ. А. Толстой при жизни не былъ популяренъ по тѣмъ же причинамъ, и только послѣ смерти его талантъ былъ оцѣненъ болѣе справедливо, когда изъ опубликованныхъ его писемъ и другихъ біографическихъ данныхъ узнали, что онъ вовсе не былъ ни ретроградомъ, ни славянофиломъ, какъ это могло казаться по нѣкоторымъ его съ полемическимъ задоромъ написаннымъ произведеніямъ, ни человѣкомъ, вполне равнодушнымъ къ современности. Первоклассный русскій драматургъ, А. Н. Островскій, имѣвшій сначала огромный успѣхъ, быстро потерялъ расположеніе публики въ 70-хъ годахъ, когда пересталъ интересоваться современною жизнью, началъ писать историческія хроники и такія фантастическія пьесы, какъ „Снѣгурочка“.

Съ 40-хъ же годовъ наша литература перестаетъ быть исключительно дворянскою. Хотя

большинство выдающихся литературных дарований эпохи Бѣлинскаго принадлежитъ еще къ болѣе или менѣе родовитому дворянству, какъ Аксаковы, Хомяковъ, И. Кирѣевскій, Станкевичъ, Герценъ, Огаревъ, Бакунинъ, Грановскій, Тургеневъ, Некрасовъ, Салтыковъ и др., но составъ дѣятелей литературы уже замѣтно начинаетъ обновляться входящими въ него людьми изъ другихъ сословій, такъ называемыми разночинцами: Полевой, Надеждинъ, Бѣлинскій, Воткинъ, Кольцовъ, Гончаровъ, Островскій — не дворяне. Вмѣстѣ съ тѣмъ измѣняются литературные формы и интересы. Любимою формой изящной словесности становятся романъ и повѣсть и поглощаютъ всѣ остальные роды и виды поэтическихъ произведеній, какъ это отмѣтилъ Бѣлинскій въ одной еще изъ первыхъ своихъ статей. На первый планъ выдвигаются интересы общественные и въ художественныхъ произведеніяхъ, и въ критикѣ: Гоголевское направленіе преобладаетъ надъ Пушкинскимъ. Русская литература усваиваетъ французскій терминъ „фізіологія общества“ (т.-е. его бытовая сторона) и ставитъ своей задачей изображеніе состоянія общества въ извѣстный періодъ, при извѣстныхъ условіяхъ. Все шире и шире захватываетъ она національную жизнь: въ ней выступаютъ одно за другимъ такіе сословія, состоянія, которымъ не было мѣста въ прежней литературѣ: являются мелкіе чиновники, купцы, мѣщане, крестьяне, бѣдные, забытые люди, униженные, оскорбленные, чему такъ радовался Бѣлинскій, разбирая первую повѣсть Достоевскаго; наконецъ, изображаются городскія „норы и трущобы“. Чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе и глубже начинаютъ интересоваться образованные русскіе люди жизнью крестьянина. Его быть нравы, обы-

чай, вѣрованія, поэзія становятся предметомъ внимательнаго наблюденія и изученія. Нѣкоторые отправляются пѣшкомъ въ далекія путешествія, чтобъ изучить эту жизнь на мѣстахъ, собрать матеріалъ для научной обработки. Возникаетъ серьезный этнографическій интересъ. Симпатіи къ народу, обнаружившіяся въ 40-е годы, все болѣе и болѣе усиливаются въ предреформенные 50-е годы и въ слѣдующую за ними эпоху реформъ, а въ пореформенное время пробуждается благородное стремленіе научить, просвѣтить темную деревню и помочь ей въ годину народнаго бѣдствія. Это движеніе интеллигенціи къ народу очень ярко отражается въ нашей литературѣ. Разказы, повѣсти, драмы изъ народнаго быта появляются все чаще и чаще въ нашихъ журналахъ и въ отдѣльных изданіяхъ. Создается цѣлая „мужицкая“ беллетристика и популярно-научная народная литература.

Въ этомъ движеніи русская общественная мысль, блуждавшая въ 30-хъ годахъ внѣ времени и пространства, нашла, наконецъ, конкретныя формы для своего выраженія. Изъ предыдущаго мы видѣли, что Герценъ нѣсколько ранѣе, а Бѣлинскій немного позднѣе пришли къ однимъ и тѣмъ же выводамъ: въ общественныхъ интересахъ, въ народной идеѣ нашли они то, чего искали. Съ начала 40-хъ годовъ ихъ вліяніе становится шире, а съ половины этого десятилѣтія новыя идеи распространяются уже съ какою-то стихійною силой: онѣ захватываютъ даже людей равнодушныхъ къ общественнымъ интересамъ. Литературная дѣятельность Григоровича можетъ служить убѣдительнымъ тому доказательствомъ. Она является весьма характернымъ для этой эпохи фактомъ. Въ самомъ дѣлѣ, не удивительно ли, что

человѣкъ съ натурой артистической, никогда не интересовавшійся общественными вопросами, полурусскаго происхожденія, чисто французскаго воспитанія, до самаго совершеннолѣтія плохо владѣвшій русскимъ языкомъ положилъ начало нашей „мужицкой“ беллетристикѣ? Какъ это случилось, мы сейчасъ расскажемъ.

Д. В. Григоровичъ родился въ 1822 году въ гор. Симбирскѣ. Его мать и бабушка съ материной стороны были чистокровныя француженки. Имъ то и пришлось воспитывать будущаго русскаго писателя-народника, такъ какъ отецъ его, отставной гусарь, помѣщикъ, умеръ въ то время, когда ребенокъ находился еще въ безсознательномъ, младенческомъ возрастѣ. „Воспитаніемъ моимъ“, говоритъ Григоровичъ, „почти исключительно занималась бабушка, шестидесятилѣтняя старуха... вольтерьянка въ душѣ“, женщина съ сильнымъ и властнымъ характеромъ. Мать Григоровича боялась ея и относилась къ ней съ „подобострастіемъ“ и „покорностью дѣвочки-подростка“... Съ большою и безразсудною строгостью воспитывала старуха своего внука. Первоначальное обученіе велось безтолково. Русскій языкъ слышался только въ разговорахъ съ прислугой. Мальчикъ читалъ сентиментальныя французскіе рассказы и былъ постоянно одинокъ. Когда ему минуло 8 лѣтъ, кому-то пришло въ голову отвезти его въ Москву. Здѣсь онъ случайно попалъ въ пансіонъ содержательницы моднаго французскаго магазина, г-жи Монигетти, гдѣ пробылъ три года и ничему не научился, кромѣ французскаго языка, которымъ щеголяли у насъ тогда всѣ частныя заведенія для дворянскихъ дѣтей. „Умственныя способности“, какъ говоритъ онъ самъ, „за это время не двинулись ни на одинъ градусъ“... Также случайно

попалъ онъ и въ Петербургское инженерное училище, гдѣ его товарищемъ былъ Достоевскій. Много интересныхъ, характерныхъ подробностей въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ передаетъ Григоровичъ о суровой системѣ военнаго воспитанія въ николаевскую эпоху. Его умственное развитіе и здѣсь не подвигалось впередъ. „Я все еще не выходилъ изъ полусознательнаго и туманнаго состоянія ума, мѣшавшаго быстро и ясно схватывать то, что читалъ преподаватель съ кафедръ“, говоритъ онъ, „любопытство мое гораздо больше возбуждали наружность преподавателя, его голосъ, движенія, манера, чѣмъ то, о чемъ онъ говорилъ“. Науки точныя, составлявшія главный предметъ преподаванія въ училищѣ, не давались ему. Положеніе его было тяжелое. Къ счастью, одинъ, хотя и непріятный, случай помогъ ему отдѣлаться отъ заведенія, которое нисколько не соотвѣтствовало его склонностямъ и способностямъ. Онъ поступилъ въ Академію художествъ, но и тутъ пробылъ недолго, потому что серьезнаго таланта къ живописи не оказалось, хотя онъ чувствовалъ влеченіе къ этому искусству съ дѣтскаго возраста. Въ это время у него явилась другая, болѣе сильная страсть — къ литературѣ. Еще въ училищѣ онъ встрѣтился съ пріохотившимъ его къ чтенію Достоевскимъ и познакомился съ Некрасовымъ, выпустившимъ тогда въ свѣтъ свою первую книжку стиховъ подъ заглавіемъ: „Меяты и звуки“. По выходѣ изъ Академіи, онъ ближе сошелся съ обоими писателями и сталъ принимать участіе въ юмористическихъ сборникахъ, которые издавалъ Некрасовъ. Но литературная работа шла туго, по собственнымъ признаніямъ Григоровича, русская грамота все еще ему давалась съ трудомъ.

Вскорѣ онъ началъ сожителствовать съ Достоевскимъ. Они много вмѣстѣ читали, но исключительно романы и повѣсти; зачитывались особенно французскими. Въ своихъ „Воспоминаніяхъ“ Григоровичъ интересно рассказываетъ, какъ замкнутый въ себѣ Достоевскій тайкомъ отъ него въ это время писалъ своихъ „Бѣдныхъ Людей“, какой огромный успѣхъ имѣла эта повѣсть въ чтеніи и какъ вредно повліялъ этотъ неожиданный успѣхъ на характеръ самолюбиваго автора. Оба они находились подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя. Повѣсть „Шинель“ перечитывалась съ жадностью. Когда Некрасовъ поручилъ Григоровичу написать очеркъ изъ петербургской жизни для своего сборника „Физиологія Петербурга“, то онъ, напавъ на мысль описать бытъ шарманщиковъ, занялся наблюденіями надъ петербургскими шарманщиками, собираніемъ матеріала, потому что хотѣлъ, какъ говорить, изобразить дѣйствительность такъ, какъ она есть, какъ Гоголь описываетъ ее въ „Шинели“. Онъ горячо и упорно работалъ. Его очерки имѣли нѣкоторый успѣхъ: ихъ печатали охотно, одинъ изъ нихъ даже заслужилъ одобренія Бѣлинскаго. Но ни по силѣ художественнаго творчества, ни по общественному значенію они не представляли собою ничего выдающагося. При всей своей любви къ литературѣ и способностяхъ, молодой Григоровичъ былъ слишкомъ мало подготовленъ къ серьезной литературной дѣятельности, чтобы стать извѣстнымъ писателемъ съ общественнымъ значеніемъ и занять въ ряду другихъ почетное мѣсто, да и крупнаго художественнаго таланта не имѣлъ. Но вотъ онъ попадаетъ въ одинъ изъ тѣхъ кружковъ, которые собирало пробуждавшееся общественное сознаніе во вторую половину 40-хъ годовъ. Это былъ кру-

жокъ братьевъ Бекетовыхъ. Въ составъ кружка входили Достоевскій и Плещеевъ, и многіе изъ членовъ были потомъ постоянными посѣтителями вечеровъ Петрашевскаго. „Кружку Бекетовыхъ“, рассказываетъ Григоровичъ, „я многимъ обязанъ. До того времени, какъ я сдѣлался постояннымъ его членомъ, мои мыслительныя способности облекались какъ туманомъ. Бесѣды съ Достоевскимъ никогда не переходили предѣловъ литературы; весь интересъ жизни сосредоточивался на ней одной. Читалъ я правда много, но читалъ безъ всякаго выбора, все, что попадало подъ руку, читалъ исключительно романы, повѣсти, жизнеописанія художниковъ. Я ни надъ чѣмъ не задумывался сколько-нибудь серьезно; общественные вопросы меня нисколько не интересовали. Впечатлительный и страстный, я очертя голову бросался въ жизнь, отдаваясь минутному увлеченію. Многое, о чемъ не приходило мнѣ въ голову, стало теперь занимать меня; живое слово, отрезвляющее умъ отъ легкомыслія, я впервые услышалъ только здѣсь, въ кружкѣ Бекетовыхъ“... Здѣсь, на кружковыхъ вечерахъ, Григоровичъ почувствовалъ свою отсталость и застыдился, здѣсь впервые онъ встрѣтился съ проявленіемъ „негодующаго, благороднаго порыва противъ угнетенія и несправедливости“... и рѣшилъ, что дальше такъ жить и писать нельзя. Онъ ясно увидѣлъ всю ничтожность, бессодержательность своихъ произведеній, которыми начиналъ было уже гордиться.

Подъ этими впечатлѣніями онъ бросаетъ Петербургъ и удаляется для серьезной работы въ деревню. Исторія одной несчастной крестьянки, рассказанная ему его матерью, даетъ благодарный матеріалъ для первой повѣсти. Сколько было

положено имъ труда на эту новую для него работу, можно видѣть изъ собственныхъ его признаній. „Знакомый съ простонароднымъ русскимъ языкомъ только по рѣдкимъ книгамъ, которыя удавалось читать, я сталъ усердно изучать его практически“, говоритъ онъ, „проводилъ часы на мельницѣ, бесѣдуя съ помольцами, разговаривалъ съ нашими крестьянами, стараясь прислушаться къ складу ихъ рѣчи, записывалъ ихъ выраженія, казавшіяся мнѣ особенно характерными и живописными. Первые главы повѣсти „Деревня“ стоили мнѣ неимовернаго труда. Французскій языкъ, которымъ меня питали до тринадцатилѣтняго возраста, все еще по временамъ давалъ себя чувствовать“. Трудность работы, конечно, увеличивалась еще тѣмъ, что Григоровичъ совсѣмъ не зналъ жизни крестьянина или зналъ ее только, какъ баринъ, который всю жизнь, со школьнаго возраста, провелъ въ столицѣ и лишь изрѣдка и не надолго наѣзжалъ въ деревню. Съ балкона барскаго дома или даже на мельницѣ, на ярмаркѣ, въ случайныхъ встрѣчахъ съ крестьянами, близко узнать крестьянскую жизнь и крестьянскую душу невозможно. Григоровичъ видѣлъ главнымъ образомъ наружную или праздничную сторону жизни, внутренняя, интимная ея сторона оставалась для него неизвѣстной. Отсюда въ его деревенскихъ повѣстяхъ и романахъ недостатокъ психологическаго анализа. Усиленное чтеніе французскихъ романовъ и особенно Ж. Зандъ сказалось какъ на большихъ его романахъ изъ народнаго быта, такъ и на повѣстяхъ: въ нихъ много искусственнаго, дѣланнаго по французскимъ образцамъ. Передавая очень правдиво обстановку и злоключенія главныхъ дѣйствующихъ лицъ повѣстей: „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“, Григоровичъ идеа-

лизируетъ ихъ характеры, подобно Ж. Зандъ. И Акулина (пов. „Деревня“), и Антонъ (пов. „Антонъ Горемыка“) вышли у него героями безъ одинаго пятнышка. Акулина страдаетъ безропотно, молча, великодушно до послѣдняго вздоха, авторъ украсилъ ея образъ, придавъ ей даже свою личную черту — страсть къ поэтическому созерцанію красотъ природы.

Тѣмъ не менѣе въ этихъ двухъ повѣстяхъ Григоровичу удалось выразить ярко духъ времени. Въ нихъ отразилось настроеніе эпохи. Мы видѣли, какое впечатлѣніе произвели онѣ на Бѣлинскаго. Вотъ что писалъ онъ объ „Антонѣ Горемыкѣ“ въ „Современникѣ“: „Деревня“ и „Антонъ Горемыка“ — идутъ гораздо дальше фізіологическихъ очерковъ. Антонъ Горемыка — больше, чѣмъ повѣсть: это романъ, въ которомъ все вѣрно основной идеѣ, все относится къ ней, завязка и развязка свободно выходятъ изъ самой сущности дѣла. Несмотря на то, что внѣшняя сторона разсказа вся вертится на пропажѣ мужицкой лошаденки, несмотря на то, что Антонъ — мужикъ простой, вовсе не изъ бойкихъ и хитрыхъ, онъ лицо трагическое въ полномъ значеніи этого слова. Эта повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя. Желаемъ отъ всей души, чтобы Григоровичъ продолжалъ идти по этой дорогѣ, на которой отъ его таланта можно ожидать такъ многого... И пусть онъ не смущается бранью хулителей: эти господа полезны и необходимы для вѣрнаго опредѣленія объема таланта; чѣмъ болѣе ихъ стая бѣжить вслѣдъ успѣха, тѣмъ, значить, успѣхъ огромнѣе... Успѣхъ былъ дѣйствительно огромный, и объясняется онъ тѣмъ, что Григоровичъ первый дерзнулъ посвятить цѣлую

повѣсть изображенію простой будничной жизни крестьянина, изображенію его невыносимо тяжелаго положенія. Онъ первый заставилъ пожалѣть мужика, первый до слезъ тронулъ его несчастной судьбой. Бытовая правда повѣсти была такъ необычна для того времени, что поразила всю читающую публику, а славянофилы, привыкшіе представлять себѣ народную жизнь, текущую ровно, невозмутимо, спокойно, увидѣли въ повѣстяхъ Григоровича и ложь, и оскорбленіе русскаго народа. „Историческое значеніе Антона Горемыки“, говоритъ С. А. Венгеровъ, „вообще не меньше, чѣмъ „Записокъ Охотника“. Уступая имъ въ художественныхъ достоинствахъ и въ глубинѣ народной психологіи, „Антонъ Горемыка“ яснѣе и непосредственнѣе обрисовалъ ужасы крѣпостного права. Если возводить 19 февраля къ его литературному генезису, то слезы, пролитыя надъ „Антономъ Горемыкою“, занимаютъ въ немъ такое же почетное мѣсто, какъ чувство глубокаго уваженія къ народу, которое читателя „Записокъ Охотника“ приводило къ убѣжденію, что народъ достоинъ свободы“.

Разсказы изъ народной жизни писались и ранѣе Григоровича, но въ нихъ не касались ея отрицательныхъ сторонъ; рисовали преимущественно привлекательныя свойства русскаго національнаго характера, какъ, напр., это дѣлалъ Даль, или изображали поэтическія стороны простого народного быта, какъ въ знаменитыхъ „Вечерахъ на хуторѣ“. Мужички Даля всегда обнаруживали необыкновенную смѣтливость, ловкость, добродушіе и затыкали за поясъ любого иностранца; они и выражались какъ-то особенно кудреватю, сыпали острыми словцами, прибаутками, пословицами, какъ будто вмѣстѣ съ авторомъ были ихъ соби-

рателями. Здѣсь кстати замѣтимъ, что и Григоровичъ не избѣгъ этого недостатка, какъ результатъ болѣе книжнаго изученія жизни деревни, чѣмъ прямого, непосредственнаго знакомства съ нею. Въ своихъ большихъ деревенскихъ романахъ („Рыбаки“ и „Переселенцы“) да и другихъ разсказахъ, при изображеніи положительныхъ крестьянскихъ типовъ, онъ нерѣдко напоминаетъ Дала.

Въ талантѣ Григоровича, по вѣрному указанію нашей критики, значительно преобладалъ эстетическій элементъ надъ всѣми остальными. Даже въ тѣ моменты, когда онъ изображаетъ страданія своихъ героевъ, онъ является художникомъ живописцемъ. „На первомъ планѣ всюду у него“, говоритъ одинъ изъ критиковъ, „описаніе, картина, ландшафтъ: то изображеніе внутренности какой-нибудь убогонькой избенки, то покривившагося плетня, то сцены у кабака въ духѣ деревенскаго жанра, то явленій природы: грозы, осенней непогоды, распутицы и т. п.“ Слѣдуетъ отдать ему справедливость, въ этомъ описательномъ родѣ онъ большой мастеръ. Эстетическій элементъ глубоко сидѣлъ въ самой натурѣ Григоровича. Онъ любилъ изящество, красоту во всемъ и цѣнилъ ее очень высоко. Эстетическіе интересы были его кровными интересами. И самъ онъ былъ милъ и изященъ. Въ кружкѣ его такъ и звали: „милѣйшій Григоровичъ“. Главный его талантъ, какъ разсказываютъ, заключался въ умѣннѣ разговаривать; говорилъ онъ просто, красиво, увѣренно, барскимъ, бархатнымъ тономъ; говорилъ преимущественно о своихъ заграничныхъ путешествіяхъ и художественныхъ музеяхъ, которые онъ осматривалъ. Все въ немъ показывало настоящаго художника-диллетанта. Этимъ, думается намъ, отчасти объясняется тотъ удивительный фактъ

въ жизни Григоровича, что въ эпоху реформъ, въ самое горячее время прогрессивной работы, когда всѣ его сверстники: Тургеневъ, Герценъ, Толстой, Достоевскій, Некрасовъ, Салтыковъ, Островскій, проявили удвоенную энергію въ литературной работѣ, онъ совсѣмъ бросилъ перо и отдалъ свои силы исключительно художеству. Въ теченіе 23 лѣтъ, съ 60-го года и до 83-го онъ не писалъ ничего. Въ качествѣ секретаря Общества поощренія художествъ все это время онъ всецѣло посвящаетъ служенію русскому искусству. И только въ 83-мъ году, въ глухую пору, онъ снова появляется въ литературѣ, но двѣ послѣднія его повѣсти: „Гуттаперчевый мальчикъ“ и „Акробаты благотворительности“ ничего не прибавили къ его прежней литературной славѣ.

Все историческое значеніе Григоровича держится на двухъ указанныхъ нами первыхъ повѣстяхъ изъ народнаго быта, въ которыхъ уловленъ важный историческій моментъ. Что касается до остальныхъ многочисленныхъ его произведений и мелкихъ, и крупныхъ, въ которыхъ съ такою же любовью изображается деревенская жизнь, то они и тогда уже не производили такого сильнаго впечатлѣнія, какъ указанные первыя повѣсти, по той, вѣроятно, причинѣ, что въ нихъ онъ не сказалъ ничего новаго: изученіе крестьянской жизни авторомъ не подвинулось ни на шагъ. Напротивъ, въ нихъ больше было художческаго любованія красотами сельской природы и картинами крестьянской жизни. Въ нихъ сильнѣе и рѣзче выступали недостатки его творчества: идеализація крестьянскихъ характеровъ, манерность, слащавость въ изображеніи, заимствованная у Ж. Зандъ, искусственные эффекты. Всѣ эти недостатки указаны еще критикой 50-хъ годовъ.

Въ одной изъ книжекъ „Современника“ за 55-й годъ была помѣщена даже шутливая пародія на повѣсть „Смедовская долина“ Григоровича подъ названіемъ: „Черная долина“, съ эпиграфомъ изъ Ж. Занда: „Oh! que j'aime cette vie calme et douce“. Она начинается такъ: „У пастуха Ивана есть падчерица Марья. Однажды вечеромъ, стирая бѣлье на живописной рѣчкѣ (см. „Jeanne“ Ж. Занда), она слышитъ подлѣ себя вздохъ — это Ѳедоръ, который служитъ батракомъ на сосѣднемъ пчельникѣ; Ѳедоръ подходитъ къ ней и, почесывая въ затылкѣ, смотритъ на нее.

— Чаво не видаль, глаза-те уставиль? — не безъ наивнаго кокетства спрашиваетъ Марья, слегка краснѣя.

— Эхъ, Машутка, больно тея полюбиль-то!.. и т. д.

„Упреки въ пейзажѣ“, говоритъ С. А. Венгеровъ, „т.-е. въ томъ, что незамысловатымъ русскимъ мужичкамъ приданы Григоровичемъ совершенно несвойственные имъ французско-романтическія качества въ извѣстной степени справедливы по отношенію къ большимъ его народнымъ романамъ. Идеализаціи въ нихъ дѣйствительно не мало“.

„Внѣ изображенія народной жизни“, по справедливому мнѣнію того же С. А. Венгерова, „произведенія Григоровича не представляютъ собой литературнаго интереса“... Особенно, прибавимъ мы, неудачны, скучны его юмористическія произведенія, какъ, напр., его большой романъ „Проселочныя дороги“, въ которомъ онъ, изображая старый помѣщичій бытъ, рабски подражаетъ Гоголю въ „Мертвыхъ Душахъ“. Очевидно, юморъ не составлялъ необходимой принадлежности его таланта.

Первыми народными повѣстями Григоровичъ выдвинулся впередъ и сталъ на ряду съ такими

первоклассными талантами, какъ Герценъ, Тургеневъ, Гончаровъ и потомъ Л. Толстой; онъ вошелъ и въ кружокъ Бѣлинскаго, но не сблизился съ знаменитымъ критикомъ. Изъ его „Литературныхъ Воспоминаній“, вышедшихъ въ 1893 году, ясно видно, что онъ не благоволилъ къ Бѣлинскому. Оно и понятно: Бѣлинскій въ эти послѣдніе годы жизни былъ всецѣло поглощенъ общественными вопросами, къ которымъ Григоровичъ былъ довольно равнодушенъ. Ихъ интересы расходились. Григоровичъ только случайно и на краткій мигъ прикоснулся въ кружкѣ Бекетовыхъ къ новому движенію; онъ увлекся „живымъ словомъ“, услышаннымъ здѣсь, но это увлеченіе было поверхностнымъ и скоро прошло, „живое слово“ довольно быстро вылетѣло изъ памяти. И мужицкой жизнью онъ заинтересовался по-барски, слегка, не углубляясь въ нее. Огромный успѣхъ „Антоня Горемыки“ вполне удовлетворилъ его, и онъ остановился на барскомъ состраданіи къ меньшому брату. Оно нравилось ему, какъ красивая, изящная поза, въ которой онъ и застылъ навсегда.

Нужно, впрочемъ, сказать, что и наступившее съ 48-го года время не благопріятствовало никакому движенію впередъ. Это было самое удушливое время, когда своеволіе подозрительной не въ мѣру администраціи не знало никакихъ предѣловъ. Все какъ-то принизилось и опустилось въ эту пору; и осиротѣвшій кружокъ Бѣлинскаго измѣнился не къ лучшему: оставшись безъ поддержки и руководства, тѣ изъ его членовъ, въ которыхъ еще при жизни Бѣлинскаго замѣчалась склонность къ смакованію художественныхъ красотъ въ поэтическихъ произведеніяхъ, окончательно отдались эстетическимъ интересамъ, забывъ

завѣты своего учителя. Эстетическая рутина стала господствующимъ элементомъ въ изящной словесности и особенно въ критикѣ. Даже въ лучшемъ изъ тогдашнихъ журналовъ, „Современникѣ“, тонъ значительно понизился. „Настроение было подавленное“, говоритъ А. Н. Пыпинъ по своимъ личнымъ воспоминаніямъ, „трудно было говорить въ литературѣ даже то, что говорилось еще недавно, въ концѣ сороковыхъ годовъ. По распоряженіямъ негласнаго комитета даже отбирались нѣкоторыя книги прежняго времени, напр., „Отечественныя Записки“ сороковыхъ годовъ; славянофиламъ просто запрещали писать“... „Въ кругу „Современника“ передавались текущія новости разнаго рода, цензурные анекдоты, иногда сверхъестественные, или шла незатѣйливая пріятельская болтовня, какая издавна господствовала въ холостой компаніи тогдашняго барскаго сословія. Нерѣдко она попадала на темы совсѣмъ скользкія. Въ это время Дружининъ писалъ въ „Современникѣ“ цѣлые шутовскіе фельетоны подъ заглавіемъ: „Путешествіе Ивана Чернокнижника по Петербургскимъ дачамъ“— для развлеченія читателя, да и собственнаго. Въ это время создавались творенія знаменитаго Кузьмы Пруткова, которыя печатались въ „Современникѣ“, въ особомъ отдѣлѣ журнала, и въ редакціи „Современника“, я въ первый разъ познакомился съ однимъ изъ главныхъ представителей этого сборнаго символическаго псевдонима, Владиміромъ Жемчужниковымъ. Въ то же время, когда писались творенія Кузьмы Пруткова, пріятельская компанія, которую онъ собой представлялъ, отчасти аристократическая, продѣлывала въ Петербургѣ различныя практическія шутовства...“ Вотъ въ какомъ состояніи находилась литература и какъ была

пуста общественная жизнь въ эпоху „цензурнаго террора“ (1848 — 1855 гг.).

Въ старомъ пріятельскомъ кружкѣ Бѣлинскаго самую крупною личностью былъ теперь Тургеневъ, но и онъ, при всемъ своемъ большомъ умѣ и широкомъ образованіи, не удержался на высотѣ прежнихъ воззрѣній. Подъ давленіемъ такихъ друзей, какъ Боткинъ и недавно примкнувшій къ кружку Фетъ, общественные интересы были забыты ради интересовъ эстетическихъ. Но еще болѣе здѣсь удивительно то, что въ основу тѣсной дружбы, вскорѣ образовавшейся между этими тремя писателями, легла не одна любезная имъ эстетика, но и общая у нихъ вражда къ новому направленію „Современника“, которое обнаружилось въ немъ тотчасъ, по вступленіи въ серединѣ 50-хъ гг. въ редакцію молодыхъ сотрудниковъ, Н. Г. Чернышевскаго и Н. А. Добролюбова. Вражда эта, постепенно усиливаясь, дошла до окончательнаго разрыва трехъ друзей съ журналомъ и его редакторомъ. Очевидно, что старые пріатели Некрасова утратили всякое пониманіе основныхъ интересовъ времени. Григоровичъ примыкалъ къ этому Тургеневскому кружку и въ своихъ „Литературныхъ Воспоминаніяхъ“, рассказывая объ этомъ разрывѣ, становится на сторону Тургенева и его друзей, обвиняя во всемъ Некрасова и „новыхъ лицъ“, принадлежащихъ другому поколѣнію“. Но намъ теперь достовѣрно извѣстно, что все это происходило не такъ. Тургеневъ былъ далеко не правъ въ своихъ отношеніяхъ къ Некрасову и „новымъ лицамъ“, и если позднѣе не сознался въ этомъ прямо и не возобновилъ прежнихъ дружескихъ отношеній съ Некрасовымъ, то все-таки перешелъ, какъ видно изъ его крупныхъ романовъ съ обще-

ственнымъ значеніемъ, на сторону этого новаго, прогрессивнаго направленія, а его пріятели, Боткинъ и Фетъ, очутились въ лагерѣ враговъ прогресса. Боткинъ потомъ въ своей враждѣ къ либераламъ дошелъ до того, что дѣлалъ прямые указанія на „Современникъ“, какъ на вредный органъ, лицу, назначенному на главный постъ въ управленіи по дѣламъ печати, и потомъ радовался, когда этотъ журналъ былъ запрещенъ въ 1866 году. Поэтъ Фетъ съ самаго начала заявилъ себя помѣщикомъ-крѣпостникомъ. Онъ гордился тѣмъ, что тогдѣшняя литература была „дворянская“, и глубоко скорбѣлъ, что вошедшіе въ нее „разночинцы“ испортили ее, а во время освобожденія крестьянъ негодовалъ на то, что многіе писатели-дворяне измѣнили „дворянскимъ интересамъ“.

Въ безпристрастно написанной недавно книгѣ ак. А. Н. Пыпина: „Н. А. Некрасовъ“, причины вражды Тургеневскаго кружка къ редактору „Современника“ и молодымъ его сотрудникамъ выяснены обстоятельно по личнымъ воспоминаніямъ и письмамъ Некрасова къ Тургеневу. По этимъ неоспоримымъ даннымъ оказывается, что разладъ и разрывъ между двумя литературными поколѣніями, старымъ и молодымъ, былъ неизбеженъ. Въ основѣ такихъ отношеній между ними лежало различіе взглядовъ на художественность и различіе въ отношеніяхъ къ общественнымъ вопросамъ. А разница вкусовъ, привычекъ и самаго образа жизни, обусловленная различнымъ происхожденіемъ и воспитаніемъ, еще болѣе усиливала первоначальную неприязнь, перешедшую потомъ въ непримиримую вражду. Здѣсь впервые столкнулись строго, послѣдовательно мыслящій, серьезно образованный реалистъ-„разночинецъ“

съ избалованнымъ эстетомъ, идеалистомъ „баринъ“ и разошлись навсегда. Правда была на сторонѣ перваго: его стремленія отвѣчали требованіямъ времени и были именно дальнѣйшимъ развитіемъ идей Бѣлинскаго, на которыхъ онъ воспитался. Чернышевскій и Добролюбовъ были людьми того самаго типа, появленія котораго страстно желалъ Бѣлинскій, когда говорилъ, что теперь „предстоитъ надобность въ человѣкѣ трезвомъ, бодромъ, дѣятельномъ, который бы смотрѣлъ на вещи прямо и любилъ бы землю, жилище наше и нашихъ потомковъ“. Чернышевскій и Добролюбовъ были достойными преемниками Бѣлинскаго и съ огромнымъ успѣхомъ продолжали его работу. Подобно Бѣлинскому, требовавшему въ послѣдніе годы отъ повѣсти прежде всего дѣльности, а не щегольства, они настаивали на серьезности содержанія въ тогдашней повѣствовательной литературѣ, на удаленіи изъ нея фальшивой идеализаціи; на первый планъ выдвигали общественное значеніе художественнаго произведенія, требовали серьезнаго изображенія общественной жизни и ея условій. Они свято чтили память Бѣлинскаго, и не поминальными обѣдами, не съ бокалами въ рукахъ, не на словахъ только. Н. Г. Чернышевскій раньше всѣхъ вспомнилъ великаго критика. Въ цѣломъ рядѣ статей, напечатанныхъ въ „Современникѣ“ подъ заглавіемъ: „Очерки Гоголевскаго періода“, онъ первый выяснилъ великое значеніе дѣятельности Бѣлинскаго для русскаго общества. Этотъ серьезный историко-литературный трудъ, цѣнный до сихъ поръ, начатъ былъ въ то тяжелое время, когда самое имя Бѣлинскаго было запретнымъ, тѣмъ не менѣе Чернышевскій справился съ трудной задачей и сумѣлъ обществу напомнить „боязливо

забытые“ завѣты великаго критика. Некрасовъ, котораго старые пріятели кружка Бѣлинскаго считали теперь измѣнникомъ прежнимъ кружковымъ традиціямъ, ясно понималъ, что направленіе молодыхъ его сотрудниковъ, которое казалось новымъ, въ сущности было продолженіемъ, развитіемъ взглядовъ и стремленій Бѣлинскаго. Чернышевскій и Добролюбовъ работали хорошо и много, и Некрасовъ, какъ редакторъ журнала, вѣрно оцѣнивалъ ихъ трудъ и таланты, ихъ серьезное образованіе и глубокую преданность новымъ общественнымъ идеямъ. „Друзьямъ стараго кружка редакціи“, по словамъ А. Н. Пыпина, „новая критика была непріятна; „политика“, т.-е. вопросы общественные, была неинтересна; „разные экономическіе вопросы“ (а рѣчь шла объ освобожденіи крестьянъ) просто невразумительны“. Некрасовъ же, какъ „настоящій литературный кормчій“, хорошо сознавалъ всю важность и огромное общественное значеніе новаго направленія и дорожилъ настолько молодыми сотрудниками, что для того, чтобы не потерять ихъ, не остановился даже передъ разрывомъ съ Тургеневымъ и другими старыми пріятелями. И мы знаемъ, что онъ не ошибся. И Чернышевскій, и Добролюбовъ вполнѣ оправдали его высокую оцѣнку.

Григоровичъ, какъ видно изъ его „Воспоминаній“, всегда былъ чуждъ правильнаго пониманія этихъ отношеній; ему не по душѣ было новое направленіе „Современника“ своимъ рѣзкимъ демократизмомъ. Въ суровыхъ иногда отзывавъ Чернышевскаго онъ видѣлъ только „разстройство печени“. Надо прибавить, что Григоровичъ и лично былъ задѣтъ въ рецензіяхъ Чернышевскаго. Та щутливая пародія на повѣсть Григо-

ровича, начало которой приведено у насъ выше, принадлежала Чернышевскому. По этимъ причинамъ его разсказъ о разрывѣ старыхъ сотрудниковъ съ редакціей „Современника“ не отличается безпристрастіемъ, страдаетъ часто неточностями въ передачѣ фактовъ или невѣрнымъ ихъ освѣщеніемъ. Его точка зрѣнія на „Современникъ“ и новое направленіе выясняется и изъ характеристикъ главныхъ тогда въ журналѣ лицъ. Некрасовъ представленъ у него безпутнымъ игрокомъ, ведущимъ журналъ безъ всякаго вниманія. Добролюбовъ охарактеризованъ, какъ человѣкъ, хотя и „даровитый, но холодный и замкнутый“. Наконецъ и самый журналъ, послѣ ухода старыхъ сотрудниковъ, представленъ клонящимся къ упадку. Все это, какъ мы увидимъ во второй уже части нашихъ „Очерковъ“, или слишкомъ преувеличено, или совсѣмъ невѣрно.

Выпуская въ свѣтъ свои „Воспоминанія“, Григоровичъ забылъ о томъ, что кромѣ суда современниковъ, часто пристрастнаго, существуетъ нелицепріятный судъ исторіи, судъ потомства, приговоры котораго безпристрастнѣе, вѣрнѣе и оцѣнки правильнѣе. Такой именно судъ и наступилъ теперь какъ для Некрасова и его знаменитыхъ сотрудниковъ, такъ и для ихъ обвинителей. Въ настоящее время обнародовано много интереснѣйшихъ документовъ той эпохи и многое, въ чемъ обвиняли, напр., Некрасова и Чернышевскаго, оказалось возмутительною, злобною клеветой. Но объ этомъ у насъ рѣчь впереди.

Заканчивая нашъ разсказъ о Григоровичѣ, мы считаемъ нужнымъ сказать въ заключеніе, что для знакомства съ нимъ, какъ беллетристомъ, достаточно прочесть три лучшихъ и наиболѣе характерныхъ для него произведенія: „Деревня“,

„Антонъ Горемыка“, „Рыбаки“. Они дадутъ все, необходимое для того, чтобы уяснить себѣ его историческое значеніе, видѣть всѣ особенности его таланта и понять причины его огромнаго въ ту пору успѣха, кроющіяся главнымъ образомъ въ условіяхъ времени.

~~~~~

### Важнѣйшія пособія.

Къ 1-й части.

1. Исторія русской литературы. IV т. А. Н. Пыпина.
2. Общественное движеніе при Александрѣ I. Его же.
3. Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятихъ годовъ. Его же.
4. Изъ исторіи русской интеллигенціи. П. Милюкова.
5. Изъ прошлаго русскаго общества. В. Богучарскаго.
6. Въ сороковыхъ годахъ. Ч. Вѣтринскаго.
7. Т. Н. Грановскій и его время. Его же.
8. А. И. Герценъ. Д. В. Смирнова (Изъ серіи біографій замѣч. людей. изд. Павленкова.)
9. Герценъ, его друзья и знакомые. В. Батуринскаго.
10. П. В. Анненковъ и его друзья. Изд. Суворина 1892 г.
11. Изъ исторіи русскаго общества. В. Мякотина.
12. В. Г. Бѣлинскій. М. Протопопова (Павленковской серіи).
13. Бѣлинскій, его жизнь и переписка. А. Н. Пыпина. 2 части.
14. Очерки Гоголевскаго періода русской литературы. Изд. М. Чернышевскаго.
15. В. Г. Бѣлинскій въ его письмахъ и сочиненіяхъ. Е. Соловьева (Скриба).
16. Эпоха Бѣлинскаго. С. А. Венгерова.
17. Письмо Бѣлинскаго къ Гоголю. Библіотека „Свѣточа“, подъ редакц. С. А. Венгерова.
18. Изъ исторіи общественныхъ идей 40-хъ годовъ. В. И. Семевскаго.
19. Замѣчательное десятилѣтіе. Стат. П. В. Анненкова въ III томѣ его „Воспоминаній и Очерковъ“.

20. „Бѣлинскій и разумная дѣйствительность“, „Литературные взгляды В. Г. Бѣлинскаго“. Бельтова. (Обѣ статьи помѣщены въ сборникъ „За двадцать лѣтъ“.)

21. „В. Г. Бѣлинскій“, А. Грузинскаго. „Д. В. Григоровичъ“, С. Смирнова. (Статьи помѣщены въ книгѣ: „Десять чтеній по литературѣ“.)

22. В. Г. Бѣлинскій. Биографическій очеркъ (съ портретомъ). А. Алферова.

23. Сочиненія А. И. Герцена. Изд. 1905 г. (Главнымъ образомъ I и II томы).

24. Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго 2 тома. Изд. О. Поповой со стат. проф. Котляревскаго.

25. Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго. 4 тома. Изд. 2-е Павленкова. (Приложены письма.)

26. Полное собраніе сочиненій Бѣлинскаго въ 12 томахъ, подъ ред. и съ примѣч. С. А. Венгерова. (Вышло 7 томовъ.)

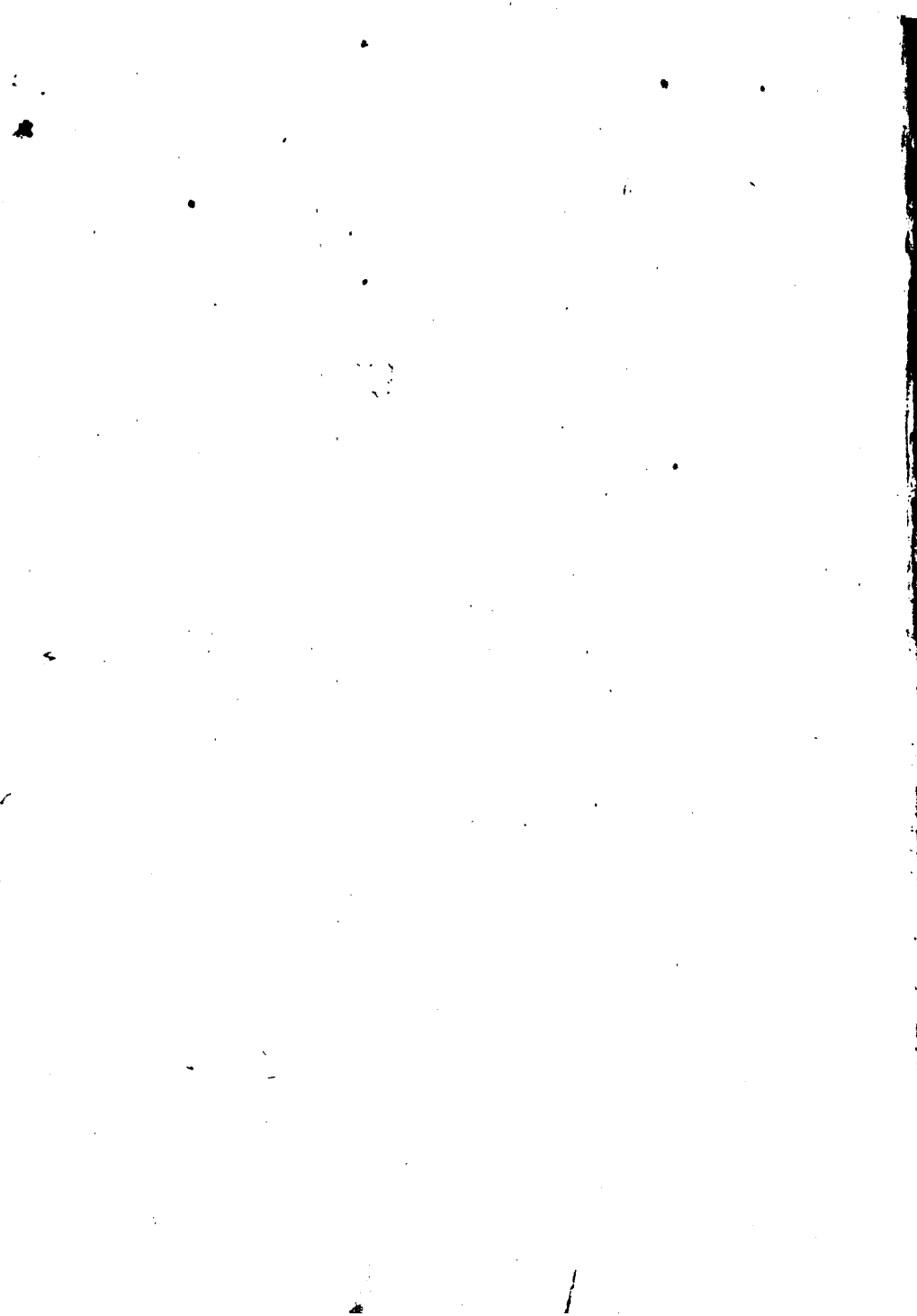
27. Полное собраніе сочиненій Григоровича въ 12 томахъ. 1896 г. (Реком. I, V и XII томы, гдѣ помѣщены: „Деревня“, „Антонъ Горемыка“, „Рыбаки“, „Литературныя Воспоминанія“.)

28. По Западной литературѣ: „Гёте и его время“. А. Шахова. „Очерки литературнаго движенія въ первую половину XIX вѣка“. Его же. „Очерки по исторіи западно-европейскихъ литературъ“. Два тома. П. Когана.

29. По исторіи общественныхъ движеній: книга С. Г. Сватикова: „Общественное движеніе въ Россіи (1700—1895)“.







This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine is incurred by retaining it  
beyond the specified time.

Please return promptly.

4298  
CANCELLED  
DUE NOV '74 H

JAN  
CANCELLED  
DUE-WID  
APR 21 1979  
6371363

BOOK DUE-WID

FEB 5 1979

6202430